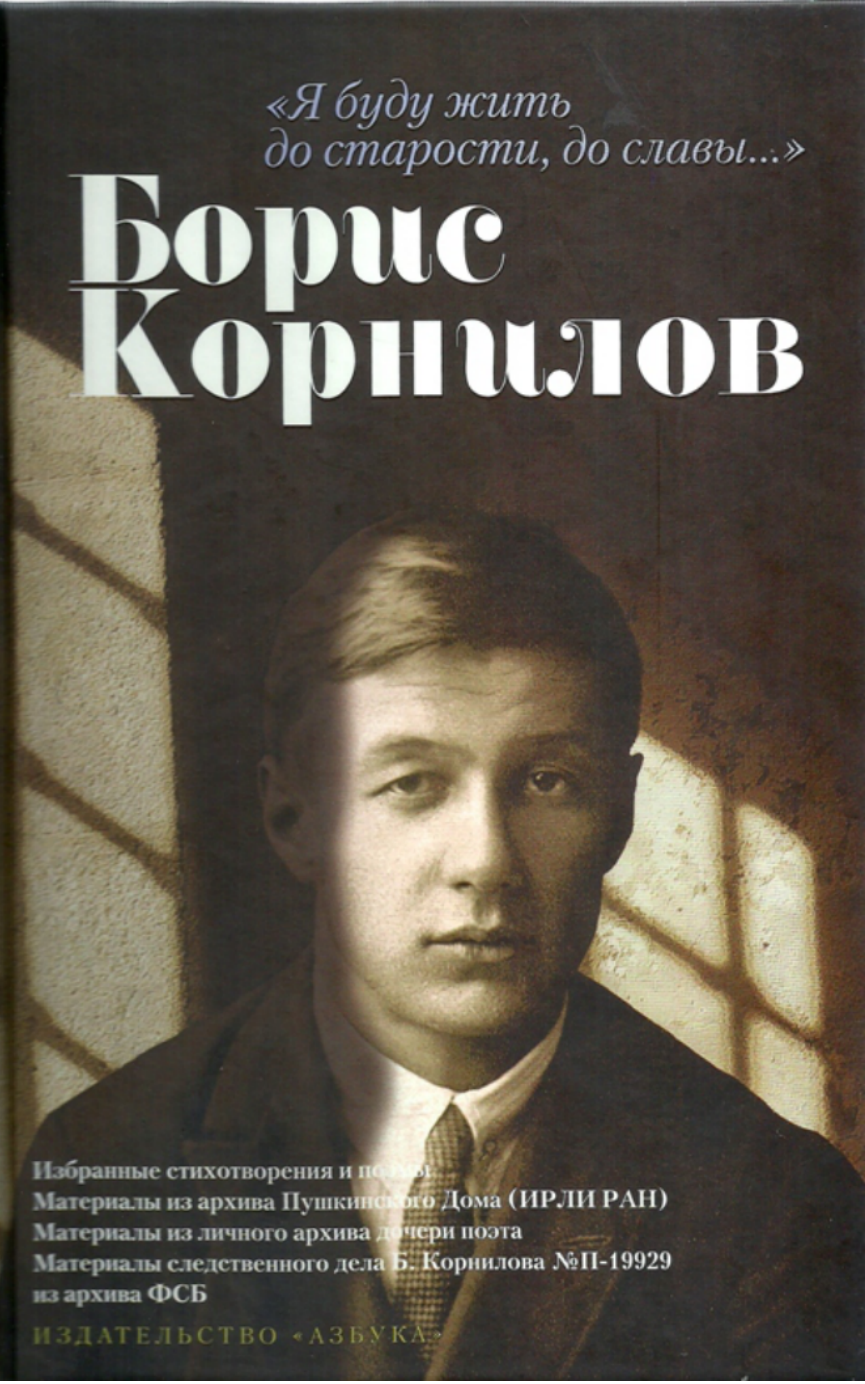
Б. КОРНИЛОВ

«Я буду жить
до старости, до славы...»

«Я буду жить
до старости, до славы...»

Борис Корнилов



Избранные стихотворения и поэмы
Материалы из архива Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН)
Материалы из личного архива дочери поэта
Материалы следственного дела Б. Корнилова №П-19929
из архива ФСБ

АЗБУКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Я буду жить до старости, до славы…» — писал молодой ленинградский поэт Борис Корнилов. До старости он не дожил: его убил советский режим. Но слава у него была уже при жизни. Он стал одним из самым ярких поэтов поколения, входившего в литературу в конце 20-х годов XX века. Песню из кинофильма «Встречный» на его слова пела вся страна: «Нас утро встречает прохладой, Нас ветром встречает река…» После гибели поэта эту песню стали объявлять как народную.

В первую часть книги входят избранные стихотворения и поэмы Б. Корнилова, а также новонайденные материалы из архива Пушкинского Дома.

Вторая часть содержит уникальный дневник Ольги Берггольц 1928–1930 гг. — периода их брака с Корниловым и письма Бориса Корнилова к Татьяне Степениной (его первой любви) и Ольге Берггольц.

Третью часть книги составили материалы из личного архива Ирины Басовой, дочери поэта: воспоминания ее матери Людмилы Григорьевны Борнштейн — второй жены Б. Корнилова, а также переписка Л. Борнштейн-Басовой с Таисией Михайловной Корниловой (матерью Бориса Корнилова), поэтами Борисом Лихаревым и Михаилом Берновичем. Эту часть книги открывает эссе Ирины Басовой «Я — последний из вашего рода…».

В четвертую часть вошли материалы следственного дела Бориса Корнилова из архивов ФСБ.

Книга содержит редкие и неизвестные фотографии и автографы.

Предваряет книгу эссе Никиты Елисеева «Разорванный мир».

- «Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнилов
  - К читателю
  - Часть первая
    - Никита Елисеев. Разорванный мир
    - ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
      - «Усталость тихая, вечерняя…»
      - «Так хорошо и просто…»
      - Терем
      - Девушке заставы
      - «Под равнодушный шепот…»
      - Книга
      - В нашей волости
      - Лесной дом

- «Айда, голубарь…»
- Ожидание
- На Керженце
- Лирические строки
- Обвиняемый
- Последнее письмо
- Цыганки
- Провинциалка
- «Похваляясь любовью недолгой…»
- Русалка
- Начало зимы
- Лес
- Лесной пожар
- Однажды ночью
- Чаепитие
- Война
- «До земли опуская длани…»
- Дед
- Качка на Каспийском море
- «Снова звезды пылают и кружатся…»
- Подруга
- «Ты как рыба выплываешь с этого…»
- Открытое письмо моим приятелям
- Продолжение жизни
- «Большая весна наступает с полей…»
- «Тосковать о прожитом излишне…»
- Сыновья своего отца
- Песня о встречном
- Вошь
- «Ты шла ко мне пушистая, как вата…»
- Семейный совет
- Убийца
- «Я замолчу, в любови разуверясь…»
- «Мы хлеб солили крупной солью…»
- Охота
- «В Нижнем Новгороде с Откоса…»
- Ящик моего письменного стола
- «Без тоски, без грусти, без оглядки…»
- «Под елью изнуренной и громоздкой…»
- «Лес над нами огромным навесом…»
- Из летних стихов
- Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое
- Эдуарду Багрицкому[64]

- Соловьиха
- «Знакомят молодых и незнакомых…»
- Открытие лета
- Мечта
- Вечер
- Одиночество
- Как от меда у медведя зубы начали болеть
- Елка
- Прадед
- Ленинградские стихи
- Мама
- Из автобиографии
- «Яхта шла молодая, косая…»
- «Спичка отгорела и погасла…»
- У меня была невеста
- Сын
- Скала «Пронеси, Господи»
- «Мы, маленькие, все-таки сумели…»
- Собака
- Память
- Путь корабля
- Чиж
- Зоосад
- Ночные рассуждения
- Разговор
- Последняя дорога
- В селе Михайловском
- Триполье
  - Часть первая
  - Часть вторая
  - Часть третья. Пять шагов вперед
- Из неоконченного
  - Воззвание
  - «Я приличий не нарушу…»
  - «У моей, у милой, у прелестной…»
  - «Вы меня теперь не трогте…»
  - Люся
  - Парашютист

- Н. А. Прозорова

○ Часть вторая. «НАС УКАЧИВАЛА ЛЮБОВЬ»

- «Я хочу жизни — много, много…»
- «Моя девчонка верная…»:
- Письмо Бориса Корнилова к Ольге Берггольц

○ Часть третья. «Я — ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВАШЕГО РОДА…»

- Ирина Басова. «Я — последний из вашего рода…»
- Переписка Людмилы Григорьевны Басовой с Таисией Михайловной Корниловой. 1941—1959
- Письма Б. М. Лихарева к Л. Г. Басовой
- Людмила Басова. <Жена поэта>
- «Но о сохранении рукописей после меня пора подумать…»

○ Часть четвертая. «ПРИЧИНА СМЕРТИ — РАССТРЕЛ»
- Протокол первого допроса
- Н. Лесючевский. О стихах Б. Корнилова (литературоведческая экспертиза)
- Обвинительное заключение
- Расписка о получении копии обвинительного заключения
- Протокол закрытого судебного заседания. 20 февраля 1938 года
- Приговор
- Справка о приведении приговора в исполнение
- Заявление Ольги Берггольц военному прокурору
- Заявление военному прокурору от секретариата ЛО СП СССР
- Заявление в Ленинградскую прокуратуру поэта Я. Смелякова
- Повторная литературоведческая экспертиза стихов Бориса Корнилова. 1956 год
- Определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 5 января 1957 года

○ Иллюстрации

• notes
○ 1
○ 2
○ 3
○ 4
○ 5
○ 6
○ 7
○ 8
○ 9
○ 10
○ 11
○ 12
○ 13
○ 14

- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58

- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102

- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146

- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190

- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234

- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278

- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322

- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366

- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410

- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454

- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498

- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542

- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556

«Я буду жить
до старости, до славы...»

Борис Корнилов

АЗБУКА

Санкт-Петербург
2012

«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнилов

К читателю

Он был самым ярким поэтом поколения, входившего в литературу в конце двадцатых.

В девятнадцать лет он встретил свою будущую жену, Ольгу Берггольц.

Спустя три года их бурные личные отношения закончились. Начались не менее бурные «литературные разборки». Обоих они завели слишком далеко…

В 1930 году Корнилов связал свою судьбу с юной красавицей Люсей Борнштейн. «Восемнадцатилетней дурью пахнет в комнате у меня…»

На самом деле ей было шестнадцать. Однажды он приревнует молодую жену к Мейерхольду, привезшему ей из Парижа флакончик «Коти», и швырнет духи об пол. Люся, недолго думая, выхватит из шкафа свои платья и бросит их в душистую лужицу.

И вот, спустя семьдесят два года, я встречаюсь в Париже с Ириной, дочерью Люси и Бориса Корнилова. От церкви Мадлен мы спускаемся к площади Согласия, через Тюильри выходим к набережной Лувра и говорим о ее отце, который был расстрелян спустя пять месяцев после рождения дочери. И о ней самой, дочери, которая только в двадцать три года узнала, кто ее отец.

Ирина похожа на отца, так же красива, как ее мать, и она пишет стихи. Она рассказывает мне о Людмиле Григорьевне, своей маме, о своей бабушке Таисии Михайловне Корниловой, о переписке мамы с бабушкой. На другой день я увижу эти письма, когда приду в гости к Ирине. А еще я увижу копии протоколов допросов и свидетельство о смерти Бориса Корнилова, в котором черным по белому обычными буквами написано: *причина смерти — расстрел*.

Наверное, с этого документа — с этого *ужаса* — и начинается книга, которую вы, читатель, держите в руках. Потому что эта книга в известной мере — ответ убийцам. И этот ответ никогда не бывает запоздалым.

Я вернулась в Петербург и пошла в «писательский дом» на канале Грибоедова, куда Люся в августе 1937 года принесла новорожденную дочь.

И поняла, что должна проделать вместе с Ириной путь от ступенек Мадлен до этого дома и дальше, до Левашовской пустоши, где в тайном могильнике НКВД, среди тысяч других жертв, погребен прах ее отца.

Спустя полтора года мы проделаем этот путь в сопровождении лучшего из возможных Вергилиев — Александра

Олейникова, сына расстрелянного на три месяца раньше Корнилова и тоже погребенного на Левашовской пустоши поэта Николая Олейникова.

Корнилов входил в литературу со стихотворением «Окно в Европу» — дерзкой переклички с Пушкиным.

Его публичная травля начиналась на фоне грандиозной подготовки годовщины смерти Пушкина, когда газетные полосы были заполнены пушкинскими портретами, стихами, статьями о нем… на развороте с заголовками: «Троцкистско-зиновьевские террористы разоблачены!», «Приговор приведен в исполнение. Контрреволюционное отребье мечом народного правосудия стерто с лица земли…», «В эти дни одно слово было у всех на устах — расстрел!»

Его последние, написанные в конце 1936 года стихотворения, посвящены Пушкину.

Он был арестован в 1937-м, через месяц после того, как страна с чудовищной помпой отметила *смерть поэта*.

Через год, в *пушкинском* феврале, он был расстрелян в тюрьме НКВД.

Судьба держится на внутренних рифмах.

Часть первую книги «Борис Корнилов: „Я буду жить до старости, до славы…“» составляют избранные стихотворения, поэмы, а также новонайденные материалы.

Часть вторую — материалы из Рукописного отдела Пушкинского Дома, в том числе неизвестный широкому кругу читателей дневник Ольги Берггольц, относящийся ко времени ее брака с Борисом Корниловым.

Часть третью книги открывает эссе Ирины Басовой, урожденной Корниловой, «Я — последний из вашего рода…». В эту часть входят воспоминания Людмилы Басовой «Жена поэта», переписка Людмилы Басовой с Таисией Михайловной Корниловой и другие материалы.

Часть четвертая содержит материалы следственного дела Бориса Корнилова из архива ФСБ.

Книгу предваряет эссе Никиты Елисеева «Разорванный мир».

Наталия Соколовская

Часть первая
«СНОВА ЗВЕЗДЫ ПЫЛАЮТ И КРУЖАТСЯ…»

Никита Елисеев. Разорванный мир
Эссе

Обстоятельства времени и места

Мир был разорван. Дважды, а то и трижды. Между временны**ы**ми пластами этого мира образовывались рвы, набитые трупами, рвы, которые не перескочишь. Прошлое становилось опасным, его невозможно было забыть, — но от него надо было оттолкнуться; о нем нельзя было говорить, — чтобы выжить, чтобы сохраниться.

Вторая жена Бориса Корнилова, Люся Борнштейн, была на третьем месяце беременности, когда арестовали мужа. Друзья и знакомые, завидев ее, переходили на другую сторону улицы. Ее не принимали ни на одну работу. Ее и Бориса Корнилова ребенок должен был появиться на свет с клеймом «ребенок врага народа». Люсю спасает товарищ ее брата, художник, Яков Басов.

Она перестанет отсвечивать по месту проживания арестованного. Выпадет из поля зрения «компетентных органов». Будто ее и не было. Куда бы Люся ни переместилась, ее не будет там, где она попала бы в их лапы с большой вероятностью. Ее и Корнилова дочь получила отчество Яковлевна и фамилию — Басова. До самой смерти матери Ирина Басова не знала, что ее отец — Борис Корнилов.

В 1985 году в город Семенов приезжает первая, школьная еще любовь Бориса Корнилова, Татьяна Степенина (Шишогина). Идет в музей поэта. Оставляет запись в книге посетителей: «Сегодня 27/XI-85 года я впервые посетила историко-литературный музей, т. к. я с 1926 г. по сей день не была у себя на родине в г. Семенове. Мне особенно дорог музей Бориса Корнилова — он воскрешает нашу комсомольскую юность и пионерскую дружную семью. Походы под бодрый барабанный бой Володи Маркова, зажигательные песни, воодушевляемые Васей Молчановым и Борей Корниловым…»[1] А что она могла написать? «Семья, в которой воспитывалась девушка, считалась в городе зажиточной. Карп Васильевич Ефимов, краевед, биограф поэта, сообщает: „Дом Степениных находился и находится на ул. Тельмана в г. Семенове. Дом деревянный двухэтажный. В начале 30-х годов прошлого века был конфискован. Хозяева были выселены. В доме было образовано четыре квартиры, в которых жили работники милиции“»[2]. Такое не то что записывать в книге посетителей

музея, помнить было опасно. Что ей было записывать в эту книгу? Что ее родители, зажиточные ремесленники, запрещали ей водиться с комсой, особенно с этим вот… Борькой? «По воспоминаниям школьной подруги Степениной — Анны Васильевны Ефимовой, чтобы разлучить влюбленных во время летних каникул, Татьяну отправили в деревню Хахалы за 30 км от дома, и, чтобы увидеться с нею, Борис преодолевал это расстояние пешком»[3].

Это вечная тема Бориса Корнилова. Родители его избранниц, и первой, Татьяны Степениной, и второй, Ольги Берггольц, и третьей, Люси Борнштейн, лишь только видели этого парня, как с ходу давали дочкам наказ: ни в коем случае. Через наши трупы. Помимо того, что все они, и зажиточный часовщик Степенин, и врач Фридрих Берггольц, и бывший купец первой гильдии Григорий Борнштейн, владелец деревообрабатывающей фабрики, сохраненный Советской республикой в качестве спеца, были людьми старого времени, которым октябрьский переворот ничего, кроме горя и разорения, не принес, а тут певец героя Гражданской войны Громобоя, чоновец собственной персоной. Помимо этой классовой причины, в принципе преодолимой, была и еще одна. Срабатывал безошибочный родительский инстинкт. То предупреждение, что было впервые сформулировано Генрихом Гейне и адекватно переведено на русский язык Федором Тютчевым: «Не верь, не верь поэту, дева. Его своим ты не зови и пуще божеского гнева страшись поэтовой любви…» — внятно нормальным, настоящим родителям кожей, а не разумом.

При одном только взгляде на этого парня становилось понятно: дочке обеспечена полноценная, весомая трагедия. Нет, дочка будет благодарна за эту трагедию. Татьяна Степенина всю жизнь помнила Борю; Ольга Берггольц боролась за его реабилитацию, пробивала в печать его первый посмертный сборник, написала к нему прекрасное предисловие. Люся Борнштейн-Басова хранила его тетради, чудом сбереженные ею во время обыска.

Но… «Больше всего вспоминается мне то, как я хотела спать и как это всегда было некстати. Было ли это „средь шумного бала“, т. е. за́ полночь, когда, после выпитого вина, собравшиеся в нашей комнате поэты читали свои стихи и я, усевшись в угол дивана, тщательно растирала слипавшиеся глаза. Было ли это, когда избранный мною поэт, больше всего по ночам, писал стихи. Был он всегда трезвый при этом. Но как загнанный зверь ходил взад и вперед по комнате, рубя воздух правой рукой и бормоча одному ему ясные стихи. Если я засыпала, он обрушивался на меня градом упреков, что я не ценю вдохновение поэта, что он

переживает Болдинскую осень, что ему надо же на ком-нибудь проверять стихи. И я опять силилась не спать…»[4]

Но… «Борис прочитал мои дневники. Сказал — уйду. Я поверила и почувствовала житейское горе и жизнь. Я плакала. Конечно, он не ушел. Но получил 2 письма от Татьяны»; «Какая скотина Борис… Сволочь. Не люблю! Безденежье. На мать прямо смотреть не могу. Борис бегает, „устраивается“. О, да, мы поторопились. Мы поторопились. А если я опять беременна?»; «Борька где-то пропадал всю ночь. Пришел пьяный, противный, прямо отвращение.»[5] — это отрывки из дневников Ольги Берггольц. Вообще-то, надо задаться вопросом: стоит ли печатать женские дневники. Но если человека убили, и все следы его стерли, то возникает потребность собрать в горсть все, что осталось хоть где-нибудь. Подобно археологам, раскапывающим стоянки. К тому же становится понятно, почему Берггольц сорвалась на том собрании, где Корнилова громили за его стихи. Помимо комсомольской, идейной принципиальности здесь была нормальная, женская обида и боль.

«С Корниловым я познакомилась в 1930 г., — пишет вторая жена поэта, Люся Борнштейн, — в Ленингр<адском> Доме печати во время 17 конференции ЛАППа[6], на которой он за свои кулацкие тенденции в поэзии был исключен.

Его жена, молодая поэтесса Ольга Берггольц, всеми силами способствовала этому решению. Она была убеждена, что для коммунизма Корнилов не созрел. И верно, он был поэт совсем особый — по-детски влюбленный в Блока, Есенина, Маяковского и Багрицкого… <…>

…семейная жизнь Корнилова лопнула от „политических разногласий“… и я стала его женой»[7].

Да уж какие там «политические разногласия», когда парень ночами дома не бывает и вовсю переписывается с первой любовью… Та еще… политика.

Могла ли Ольга Берггольц, сама прошедшая тюрьму и чудом избежавшая расстрела, после XX съезда вспомнить все те муки, которые причинил ей другой поэт? Нет. У нее был долг перед ним. Его убили. Перед смертью били. Заставили оговорить себя и других. Перед этим все мелкие бытовые неудобства, семейные трагедии, пьянство, неверность меркли. Исчезали. Оставалось только одно — долг перед настоящим поэтом, с которым не посчастливилось или посчастливилось жить; дочь которого умерла ребенком[8]. Оставался долг перед трагедией. Перед тем, от кого последними словами остались показания, выбитые на допросах. А что такое эти допросы, Ольга Берггольц знала. Сама это испытала. Чтобы это выдержать, нужно было быть очень

холодным, очень спокойным, очень умным, фантастически сильным человеком, каковым был поэт Николай Заболоцкий. Борис Корнилов таким человеком не был.

(Особый документ — протоколы допросов. Здесь разрешение той загадки, над которой бился слишком умный Василий Гроссман: для чего нужно было, чтобы арестованные под пытками сами сознавались? Ведь все равно же и сознавшихся, и не сознавшихся расстреливали или ссылали. Для чего же нужно было их признание? Сейчас, много после хрущевской реабилитации, становится понятен ответ на этот вопрос. Да ведь это же мина под реабилитацию… Это же оправдание, которое палачи загодя готовили себе в истории. Это же точный, инстинктивный расчет на «документный кретинизм» историков наших дней. Документ есть — какие вопросы? Сам сказал.

Били? В лицо мочились? Спать не давали? А чего он сломался? Чего он тогда стишки и песни героико-романтические писал? Самый изощренный и самый кощунственный из всех возможных плевок на могилу. Одно из двух, если он сознался: или он — враг, предатель и двурушник; или трус, сломавшийся от побоев. И в том и в другом случае — плевок. И плевок абсолютно безнаказанный. Потому что в какую сторону кричать: «А вы-то кто, те, что его мордовали и заставляли оговаривать себя и других?» — «А мы — никто. Нас нет. Мы — работнички, служащие. Вы и фамилий, имен наших не запомните, а запомните, так они вам ничего не скажут. Ну, Лупандин, ну, Гантман… И все… А его фамилию вы запомните. Песенки его „Не спи, вставай, кудрявая…“, стишки: „Яхта шла молодая, косая, серебристая вся от света — гнутым парусом срезая тонкий слой голубого ветра“».)

Настоящий поэт всегда настоящая трагедия, в какое бы время он ни жил. А если время, в которое живет, время жестокое, безжалостное, то трагедия только увеличивается. Настоящий поэт, особенно если это поэт стихийный, не рефлектирующий, живет только ради стихов. Он мучает всех окружающих — чем ближе ему человек, тем больше мучает, чтобы в конце концов получились строчки, от которых перехватывает горло: «Милый тесть мой, Иван Иваныч, берегите мою жену, я опять пропадаю на ночь, словно камень иду ко дну…» Но кроме этой бытийственной, метафизической стороны, есть и еще одна сторона — бытовая. Поэты и писатели никогда в бытовом смысле хорошо не жили. Конечно, с начала 30-х годов они уже стали превращаться в привилегированную касту, но — по-настоящему — этой кастой в СССР писатели — все, а не только знаменитые — сделались в короткий период 60—80-х годов XX века. Солженицын,

получивший первый гонорар за «Ивана Денисовича» в «Новом мире», потрясенно отметил, что это четыре его учительские зарплаты. В это время писатели, чьи тексты печатали за границей, буде то Стругацкие, Аксенов, Окуджава, Шаламов или сам опальный Никита Хрущев, ставший на склоне отставных своих лет мемуаристом, то есть писателем, отделывались не каторгой, не ссылкой, а короткими письмами в «Литгазету»: возмущены, мол, змеиной практикой господ из «Посева», не передавали мы свои тексты за границу — и точка. Разумеется, если писатель отказывался от этого короткого письма, его ждали большие неприятности внесудебного характера. Могли избить до полусмерти «хулиганы», как избили Юрия Осиповича Домбровского, но люфт, выбор был. Это был короткий и весьма парадоксальный период, а до него и в Советском Союзе бытование писателей и поэтов было весьма шатким. «Время было суровое. Стихи легче было написать, напечатать, чем получить за них деньги. Помню бухгалтера Клааса из „Красной газеты“, который неделями мучил писателей, приходивших к нему за гонораром»[9]. Повторюсь, для писателей и поэтов все времена такие: «Ах, какую Вы статью замечательную написали, просто — блеск…» — «Спасибо, спасибо, но я, собственно, за гонораром…» — «Ах, за гонораром… Ну, это Вам в 303 комнату, только там сейчас никого нет. Приходите завтра, хорошо?» Завтра тоже никого не будет.

Неприкаянность

Есть одна черта, которая становится очень хорошо видна всякому, кто соприкасается с жизнью и судьбой Бориса Корнилова. Черта эта — неприкаянность. Недаром Люся Борнштейн начинает воспоминания о Борисе Корнилове цитатой из Пастернака: «Любимая — жуть! Когда любит поэт, влюбляется бог неприкаянный». Одиночество, которое вообще свойственно любому поэту, у Корнилова приобретает особые трагические черты в том времени, в которое жил, которое пытался воспевать.

Это кажется парадоксом. Время только то и делало, что славило дружбу, коллективизм, товарищескую спайку — и вдруг одиночество. Именно что кажется… Потому-то время устами своих поэтов и славило дружбу и спайку (товарищескую), что сильнее всего поэты чувствовали… одиночество. Иногда они проговаривались: «Век притаился, как часовой. Оглянешься, а кругом — враги…» — писал любимый поэт Корнилова Эдуард Багрицкий, подаривший своему молодому другу двустволку.

Двустволку конфисковали во время обыска, но в списке изъятых при аресте вещей она не значится. Хорошая была, видимо, двустволка. Досталась какому-нибудь бойцу невидимого фронта.

Время хотело быть коллективистским, товарищеским, поэтому у певцов этого времени лучше всего получалось и то, что хотелось, и то, что было. «Приснился сон хозяину: / идут за ним грозя, / и убежать нельзя ему, / и спрятаться нельзя. / <…> Идут за ним по клеверу, / не спрятаться ему, / ни к зятю, / и ни к деверю, / ни к сыну своему. / Заполонили поле, / идут со всех сторон…» Это «Одиночество» Бориса Корнилова. Дата 15 ноября 1934 года. Две недели осталось до выстрела Николаева в Кирова в коридоре Смольного, две недели до чудовищной волны террора, чудовищной даже для привычной к террору Советской России. И рядом с этим: «Пойте песню. / Она простая. / Пойте хором и под гитару. / Пусть идет она, вырастая, / к стадиону, / к реке, / к загару».

Поэт никогда не врет. Он просто фиксирует время. Если страшно от одиночества, если ночью снятся сны, как со всех сторон идут, грозя, то лучшим релаксом будет простая, дневная, утренняя песня. Под гитару или хором. Но ночное, страшное одиночество останется. Останется — неприкаянность. Лучше всего это можно понять по дневникам первой жены Корнилова, Ольги Берггольц. Судьба на редкость удачно расположила двух разных поэтов из одного времени, из одного поколения — рядом.

Корнилов никогда не рефлексировал, не размышлял. Он был орудием языка своего времени и своей страны и тогда, когда (по воспоминаниям второй жены) вымучивал строчки, и тогда, когда строчки с освобожденной легкостью выскакивали из-под его пера. Иное дело Берггольц. При всей яростной эмоциональности своей поэзии, она была думающим поэтом. Невозможно себе представить Корнилова, который доверил бы бумаге такие свои сомнения, просто бы их сформулировал: «Была вчера у Ахматовой. Ее собрание сочинений „допустили к печати“, выкинув колоссальное количество стихов.

Слова — бог, богородица и пр. — запрещены. Подчеркнуты и вычеркнуты. Сколько хороших стихов погибло! Допустим, они не советские, и может быть, антисоветские — но что ж из этого? Контрреволюционного характера они не носят, зачем же запрещать их? Боже мой, какая тупость, какая реакция. Да, реакция. Мне стыдно, что я вместе с (пусть умными и талантливыми людьми, но все же) с бывшими людьми произношу это слово, но все же, мне кажется, что можно произнести его…»[10]

Невозможно себе представить Корнилова, который бы

сформулировал с такой ясностью такие свои ощущения: «Какие мы дубины по сравнению с женою Тихонова. Она говорит о своей молодости, о небывалом культурном подъеме 1905–1917 г<одов>. Т<ихонов> показывает мне журналы 1921—<19>23 г<одов>. Тогда кипела культурная жизнь, вернее, литературная. Дрались, отстаивали, боролись. Мне очень хочется теперь принимать такое же участие»[11].

Невозможно представить себе Корнилова, записывающего, пусть и в дневник: «Уж одна эта цензура чего стоит… Третье отделение какое-то. А репрессии над троцкистами?»[12] Не из одного только страха, а просто потому, что такие ясно сформулированные сомнения и колебания могут взорвать его мир беспрекословной веры. Были они у него? У него, бравшего в качестве эпиграфов к своим стихам строчки из акмеистов Нарбута и Мандельштама, конечно, была тоска по временам «культурного подъема», когда «дрались, отстаивали, боролись» и за эти драки и отстаивания никого не ссылали и не отстраняли от литературы. А у кого из поэтов этой тоски может не быть?

У кого из поэтов может не быть ненависти к цензуре, особенно если она тупая и заставляет поэтов выбрасывать из стихов слово «Бог», с маленькой буквы разумеется: с заглавной можно и статью заработать, не критическую, а из УК РСФСР. У кого из ленинградских комсомольцев не вызывало недоумения расправа над «троцкистами», над теми, кто выиграл Гражданскую войну, остался верен партийной программе и расходился со Сталиным только в вопросах партийной (не общегосударственной) демократии, а с тогдашним союзником Сталина, Бухариным, только в вопросах срока «перемирия с частным капиталом», с НЭПом? Комсомольцы читали стенографические отчеты съездов РКП(б), переизданные в СССР только при Хрущеве, и знали, что и сам Сталин был в 1919 году участником «военной оппозиции»; знали о яростных спорах на всех съездах, переходивших на личности.

Но ведь никто не ссылал тогда Давида Рязанова, выкрикнувшего в Президиум, где сидели Ленин и Зиновьев: «Я не из тех, кто прятался в июньские дни…» Почему теперь, в пору мирной передышки, Давида Рязанова, основателя Института Маркса и Энгельса, ссылают? И не одного Рязанова. Все эти сомнения, колебания были и у Корнилова. Только он давил их пьянством, скандалами, загулом, драками и… готовностью к гибели: «И когда меня, / играя шпорами, / поведет поручик на расстрел, / я припомню детство, одиночество, / погляжу на ободок луны / и забуду вовсе имя, отчество / той, белесой, как луна, жены». Повел на расстрел Корнилова не поручик, а чекист.

Мог ли такое предположить Корнилов? Мог. Можно быть стихийным поэтом, орудием языка, но не быть совершенно слепым дураком. Здесь срабатывало не знание, не точный анализ ситуации, а именно что чувство, предчувствие. Это-то чувство, предчувствие Корнилов и гнал от себя пьянками и дебошами. Он был готов погибнуть за СССР от пули врага, но погибнуть… от пули… своего, на допросе заставившего его признать, что он против? Такое можно было увидеть только в самом страшном сне.

«…И птиц надо мною нависла толпа, / Гремя составными крылами. / И тело мое, / Кровожадна, слепа, / Трехпалыми топчет ногами. / На пять километров / И дальше кругом, / Шипя, освещает зарница / Насильственной смерти / Щербатым клыком / Разбитые вдребезги лица, / Убийства с безумьем кромешного смесь / Ужасную бестолочь боя…» Война, тотальная, жуткая, с современными орудиями истребления — да, Гражданская война с поручиком, звякающим шпорами, но… свои? И в том же стихотворении «Война» есть две пророческие строчки: «Я пущен в расход — / И это совсем непонятно». Непонятность будущей своей гибели — вот что прорывается в этих строчках.

Эксперимент

Готовность к гибели — была необходимой составляющей в мирочувствовании этого поколения. «Мы идем, зажатые железной клятвой, за нее — на крест, и пулею чешите…» — эти строчки Маяковского были для того поколения не просто красивыми словами. Это была программа. Это было оправдание. Первая страна, в которой будет по-настоящему осуществлена мечта о свободе, равенстве, братстве, о том, чтобы в мире «без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем», со всех сторон зажата врагами.

Они, враги, только и мечтают, чтобы уничтожить эту страну, эту революцию. Они не только извне, они — в ней. Весь этот мерзкий, мещанский быт — все это наши враги. «Я мечтаю о жизни, здоровой, жадной и хищной до солнца, до радости, до знаний. О людях веселых, умных и здоровых. А получаю все обратное. Люди, окружающие меня (дома), либо нервны, больны, злы, либо тупы, ограниченны и затхлы. Они убиты нудной, спешной, безрадостной жизнью, очередями, профобрами, „жидами“. Они унылы и не умеют веселиться, или не знают, как… Скучно на этом свете, граждане! Я уйду из этой жизни, я не хочу покрыться ее налетом, не хочу, чтоб меня „потратила моль“, эта ядовитая канашка, по выражению одного автора-юмориста»[13].

Так пишет юная Ольга Берггольц в своем дневнике. И в этом случае Борис Корнилов согласен с ней на все сто процентов. Одной из самых страшных особенностей революции и людей революции является то, что она и они живут только для будущего. Настоящего для нее и для них — нет. Настоящее для нее и для них — враг, его надо уничтожить, переделать. Отсюда — готовность к гибели у них, настоящих, ради будущего, ради будущих. «Мы — ржавые листья / На ржавых дубах… / Чуть ветер, / Чуть север — / И мы облетаем. / Чей путь мы собою теперь устилаем? / Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? / Потопчут ли нас трубачи молодые? / Взойдут ли над нами созвездья чужие? / Мы — ржавых дубов облетевший уют… / Бездомною стужей уют раздуваем… / Мы в ночь улетаем!» — так обозначил эту готовность Эдуард Багрицкий. Разумеется, всякое настоящее произведение искусства многослойно и потому может быть проинтерпретировано по-разному. Можно сказать, что строчки Багрицкого — ощущение трагизма жизни, без которого вовсе нет поэта. Можно сказать, что в них столько же готовности к гибели, сколько и ужаса перед ней. Но все это будут современные интерпретации. Для того поколения эти строчки звучали по-другому и значили другое. То самое — готовность к гибели.

Насколько эта готовность была и бывает оправданна исторически, социологически? Приходится признать, что да. Она оправданна. Тот мир, в который вложился большевистский, левоэкстремистский переворот, изменился кардинально, и в немалой степени благодаря жуткому социальному эксперименту, который эти экстремисты поставили над целой страной. Приходится признать странную правоту Ленина, в 1920 году писавшего: «…после победы пролетарской революции хотя бы в одной из передовых стран наступит, по всей вероятности, крутой перелом, именно Россия сделается вскоре после этого не образцовой, а опять отсталой (в „советском“ и в социалистическом смысле) страной» («Детская болезнь „левизны“ в коммунизме»).

Странной эта правота является по той причине, что никакой «пролетарской революции» ни в одной из передовых стран не было, но та модернизация, каковая происходила в них и привела в конце концов к тому миру, в котором мы живем, не была бы возможна без ленинского переворота. В ходе этой всемирной модернизации (а вот тут Ленин прав полностью) Россия опять стала отсталой страной. Другой вопрос: надо ли было втаскивать свою страну, свой народ в такой эксперимент, полезный для всего мира, а для своей страны — кровавый и мучительный? На этот

вопрос разные люди отвечают по-разному. Иосиф Бродский, например, четко сказал: «Для этого господина (Ленина. — Н. Е.) у меня луковки нет».

Люди

Луковки, которая вытянула бы грешника из преисподней, у Бродского нет по очень простой причине. Эксперимент был поставлен на людях. Причем на очень молодых людях. На тех, чье детство и отрочество пришлись на годы Гражданской войны. Кому-то из них довелось в ней участвовать непосредственно, как Аркадию Гайдару, во взрослые свои годы заносившего в дневник: «Сегодня опять снились люди, которых убил в детстве»; кто-то просто вырос в условиях этой всеобщей войны, кто-то захватил ее кусочек, как Борис Корнилов, гордившийся своей дружбой с бойцами ЧОНа. В карательных экспедициях ЧОНа Борис Корнилов участия не принимал, но чоновцев знал очень близко, воспевал в своих стихах. ЧОН (части особого назначения) были созданы для того, чтобы забирать у крестьян хлеб для города. Твердой валюты не было, промышленные предприятия не работали, чтобы они заработали, нужны были, кроме всего прочего, продукты. А как их взять? Или пойти на то, на что в конце концов пошли, — НЭП — введение каких-никаких рыночных отношений, или отбирать хлеб у крестьян силой.

Крестьяне, само собой, хлеб не отдавали, чоновцев убивали со всею крестьянской яростью и безжалостностью. Корнилов хоронил трех своих друзей-комсомольцев, зарезанных во время одной из экспедиций. Здесь стоит подзадержаться на теме крестьянской жестокости, каковую Корнилову предстояло воплотить в одних из самых сильных своих произведений — в «Убийце», «Семейном совете», в поэме «Триполье». «Пропадай, жеребенок, к черту, / погибай от ножа, огня… — / И хозяин берет за челку / настороженного коня. / Кровь, застывшую словно патоку, / он стирает с ножа рукой, / стонет, / колет коня под лопатку — / на колени рушится конь, / слабнет, / роет навоз копытом — / смерть выходит со всех сторон, / только пух на коне убитом / мокнет, красен, / потом черен. / А хозяин в багровых росах, / облит росами, как из ведра, — / он коров и свиней поросых / режет начисто до утра».

Крестьянин по роду своих занятий ближе к убийству, к преодолению жалости. Он холит и лелеет своих животных, дает им смешные прозвища, а потом… режет. А как иначе? Жить-то надо… Крестьянину внятнее всего строчка из «Баллады

Реддингской тюрьмы» Оскара Уайльда: «Любимых убивают все…» И если уж он борова Петьку не пожалел, которого он поросенком в суровые зимы в избу пускал, чтоб не замерз, то какого… ляда он будет жалеть городского обормота, приехавшего забирать у него хлеб ради этой, как ее… ливолюции и этой индитуализации? Парадокс крестьянской психологии — когда могут убить свое родное, выращенное, живое, Корнилов с жуткой достоверностью воплотил в «Убийце», и там же он с великолепной эмоциональной убедительностью и достоверностью подвел к выводу: если этот сильный, яростный, смелый человек бестрепетно режет своего любимого коня, чтобы тот не доставался колхозу, то уж будьте уверены — председателю этого колхоза, рабселькору, учительше-комсомолке он точно кишки выпустит.

«Он солому кладет на срубы / и на трупы коров, коня, / плачет, / лижет сухие губы / золотым языком огня / Ноги, красные, как у аиста, / отмывает, / бросает нож: / — Получай, коллектив, хозяйство, — / ты под пеплом его найдешь…»

Вот в такой жестокий, ощеренный мир вступал мальчик, зачитывающийся балладами Жуковского. В этом случае возможны три стратегии поведения. Одна ничем не хуже и не трусливее другой. И не спасительнее. Или ты прочно затворяешься от обступающего тебя кошмара в мире высокой культуры. Так поступил сверстник Бориса Корнилова Даниил Жуковский, погибший в том же, что и Корнилов, 1938 году. Переживаешь лихолетье по книжным полкам и доходишь до потомков «далеким переплеском Фета». Для этой стратегии необходим очень большой запас культурной прочности, для приобретения означенной прочности нужно родиться и вырасти в семье переводчицы Ницше на русский язык Аделаиды Герцык. Возможна другая стратегия: бестрепетно вглядываться в творящееся вокруг, пытаться найти ему хоть какое-то объяснение или признавать, что никакого объяснения нет и не может быть. Абсурд — это и есть сама жизнь. Так поступали другие сверстники Корнилова, в середине двадцатых — в тридцатых жившие с ним в одном городе, Ленинграде, и почти все уничтоженные, — обериуты. Но для этой стратегии нужно обладать очень большой эмоциональной устойчивостью, трезвостью, холодностью, внутренним, ничем не нарушаемым покоем. Всего этого и в помине не было у Бориса Корнилова.

Значит, оставалась третья стратегия. Допинг. Страсть. Полная отдача себя одной из противоборствующих сторон: «Но наполнено сердце спесью, / и в зрачках моих торжество, / потому что я слышу песню / сочинения моего. / Вот летит она, молодая, / а какое горло у ней! / Запевают ее, сидая / с маху конники на

коней. / Я сижу над столом разрытым, / песня наземь идет с высот, / и подкованным бьет копытом, / и железо в зубах несет!» Тогда встает вопрос, какой из противоборствующих сторон отдать свою песню. Той, что побеждает и наверняка победит? Нет, все не так просто. В противном случае в стихах Корнилова не было бы столько предсказаний собственной гибели — от кулацкого ножа, от пули белого поручика, от снаряда интервента… Это сейчас большевистский рейх кажется таким же несокрушимым, как царская Россия. Это сейчас кажется, что гибель и того, и другой были историческими случайностями, а вот не будь Николай II таким или Горбачев эдаким — и все бы стояло века, а тогда авантюра левых экстремистов выглядела тем, чем она и была, — авантюрой.

Когда академик Иван Петрович Павлов в близком дружеском кругу с мудрым прищуром говаривал: «Прекрасный человек Николай Иванович Бухарин, но какой он, к черту, большевик? Обыкновенная русская интеллигентная сопля», он ведь не просто давал нелестную и, в общем-то, не совсем верную характеристику полюбившемуся ему большевистскому лидеру, он отрабатывал тезис своей защитительной речи на будущем судебном процессе по делу о преступлениях левоэкстремистского, авантюристического режима: «Господа присяжные заседатели! Николай Иванович Бухарин примкнул к злодеям исключительно по слабости характера. Взгляните на него: ну какой он, прости Господи, большевик, — обыкновенная русская интеллигентная сопля!» — может, и скостят… срок.

Надо сказать, что умные и хотя бы по-марксистски образованные лидеры большевистского переворота превосходно понимали всю обреченность своей затеи. Ленин в начале 1918 года с гордостью говорил Троцкому: «Мы продержались уже на месяц больше, чем Парижская коммуна». Тогда зачем они все это затеяли? Зачем подобрали власть, валявшуюся на улице? Детонатор, зерно, которое погибнет, но даст урожай сторицей. Нас уничтожат, но мы дадим толчок мировой революции: сначала в Германии, где самая многочисленная марксистская рабочая партия, потом в других странах.

Понятно, что любого подростка, любого юношу привлекают авантюры, привлекает азарт борьбы с неясным исходом. С другой, вражеской стороны белогвардейский молодой поэт Арсений Несмелов с гордостью писал: «Смешно, постарели и вымрем / в безлюдье[14] осеннем, нагом, / но помни, конторская мымра, / сам Ленин был нашим врагом!» Однако было и еще кое-что помимо авантюризма, что привлекало к большевикам Бориса Корнилова и таких, как Борис Корнилов. Мир (даже изломанный

и перекореженный), окружавший их, был привычным, обычным миром. И как во всяком обычном и привычном мире, в нем была скука и несправедливость, и злоба, и обиды, и одиночество, а большевики обещали построить новый, невиданный мир, где все будут веселы и счастливы, где «Счастье для всех… даром… никто не уйдет обиженный!» (А. и Б. Стругацкие. «Пикник на обочине»[15]). Как этим не увлечься? «Вот вам классовый ветра анализ, наша легкая сила живая, / снова девушки засмеялись, / рыбьей стайкою проплывая».

Борис Корнилов — романтик. Он родился в городе Семенове 29 июля 1907 года. Родители — провинциальные учителя. Отец — участник Первой мировой и Гражданской войн. Один год, с 1920 по 1921-й, прослужил управделами уездной комиссии по борьбе с дезертирством. Потом учительствовал. Последняя должность — директор школы для взрослых в городе Семенове. Там его и арестовали вскоре после расстрела сына. Гребли всех подчистую. План выполняли. Вернемся в 20-е годы. В школе Корнилов полюбил баллады Жуковского. Отроческая эта любовь осталась в нем на всю жизнь. Своему выдуманному герою Гражданской войны он дает имя из баллады Василия Андреевича — Громобой. Но что гораздо важнее: одной из самых обаятельных и плодотворных черт поэтики Корнилова оказывается оксюморонное сочетание советского канцелярита, советской бытовой речи и вокабуляра баллад первого русского романтика. «У меня к тебе дела такого рода, / что уйдет на разговоры вечер весь, — / затвори свои тесовые ворота / и плотней холстиной окна занавесь». Такая пушкинско-жуковская струна в кровавом советском тумане.

Эффект ошарашивающий, немного комический, сюжетный, потому что с ходу задается загадка, создается сюжетное напряжение, не сразу поймешь, что речь сейчас пойдет о любви и ревности, о любовном соперничестве.

Ведь первые два стиха — нормальная речь партийно-хозяйственного руководителя среднего звена: «Товарищ Парамонова, у меня к тебе дела такого рода, что уйдет на разговоры вечер весь: не выполнен план по удою молока, опять (в который уже раз) сорваны хлебопоставки». Вторые, балладные, Жуковские строчки, загадки тоже не разрешают, поскольку о хлебопоставках (как и о любви) тоже разговаривали за плотно затворенными воротами и занавешенными окнами. След Жуковского обнаруживается чуть ли не во всех балладах Корнилова. Натуралистическая, написанная с использованием жестоких средств современной Корнилову образности немецких экспрессионистов, «Война» при внимательном рассмотрении

оказывается вариацией на тему первой баллады Жуковского (и вообще первой русской баллады) «Светлана».

У Жуковского невеста умоляет бога войны вернуть ей жениха, и жених возвращается… мертвый, забирает ее с собой в смерть, в могилу. У Корнилова муж будит жену среди ночи и говорит ей о том, что видит свою близкую смерть на войне. Он так ее видит, что он, вообще-то, уже мертвец. «Жена моя! / Встань, подойди, посмотри, / Мне душно, мне сыро и плохо. / Две кости и череп, / И черви внутри, / Под шишками чертополоха. / И птиц надо мною нависла толпа, / Гремя составными крылами. / И тело мое, / Кровожадна, слепа, / Трехпалыми топчет ногами». «Ты обручилась не со мной, со смертью», — говорит жене герой баллады Корнилова, продолжая тему «Светланы». Даже финал «Войны» перекликается с той давней русской балладой. Светлана просыпается, ночной морок рассеивается, жених возвращается живой, ну не очень здоровый и целый, подраненный, но возвращается! «О, не знай сих страшных снов, ты, моя Светлана!» И герой баллады Корнилова заставляет себя скинуть ночной кошмар: «Жена моя! / Песня плохая моя, / Последняя, / Я протестую!»

Вообще, баллады консерватора, монархиста, мистика Жуковского парадоксальным образом пришлись ко двору советской революционной лирике. Сюжет, виртуозное владение стихом — что еще надо молодой поэзии? Борис Слуцкий вспоминал, что со своим другом, Михаилом Кульчицким, в 10-м классе, уже готовясь стать профессиональными поэтами, они перекладывали баллады Жуковского «лесенкой» Маяковского. Получалось эффектно, повторимся, оксюморонно.

Но, помимо романтизма, было и еще одно обстоятельство, влекшее к большевикам. Большевики, городские жители, несли с собой культуру — ту культуру, к которой тянулся Борис Корнилов. Стихи Пушкина и Жуковского, Есенина и Нарбута (которые он полюбил позднее) издавались не в деревне, а в городе, в советских издательствах, потому что других тогда не было. Да, Борис Корнилов любил деревню и с восторгом описывал косьбу, туес, из которого пил квас, лошадь, которую кормил хлебом, но слова, соответствующим образом организованные, чтобы описать, то есть воспеть, все это, дал ему город, в котором были большевики. Во всяком случае, они были знаком города. Вот Борис Корнилов и стал большевиком и был им до последнего своего расстрельного часа, до самых своих кромешных, пыточных дней: как присягнул на верность мировой революции, так и остался ей верен.

Разумеется, в околочоновском[16] отрочестве Корнилова было

еще одно обстоятельство, которое нельзя сбрасывать со счета. А оно было важно. Именно для революции, для Гражданской войны. Об этом обстоятельстве написали два принципиально разных писателя в двух своих прославленных книгах: «Кровь легла промеж нас, но ить не чужие ж мы?» (Михаил Шолохов. «Тихий Дон»), «Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается!» (Борис Пастернак. «Доктор Живаго»).

«Переплетение двух лагерей в деревенской действительности» России после Гражданской войны Борис Корнилов не мог не увидеть, не мог не почувствовать. Вот что пишет современный историк Борис Колоницкий в своей статье «Красные против красных» (статья еще не опубликована, и я благодарю Бориса Колоницкого за предоставленный материал) [17]: «Не всегда можно понять, где „свои“, а где „чужие“: молодой советский работник губернского уровня, бывший прапорщик военного времени, справляет свадьбу в родной деревне. Гуляют знатно, запасы самогона соответствуют значимости события, приглашены видные люди… Сельские дипломаты и знатоки деревенского протокола внимательно смотрят за тем, чтобы визиты местных чекистов, приехавших из города, и вожаков бандитов, контролирующих соседний лес, не совпали по времени. И те и другие были школьными товарищами жениха».

Сие, как вы сами понимаете, не очень способствует ориентации в социальном пространстве, но зато вбивает в психику опаснейшую особенность — недоверие. Готовность поверить в то, что «свой» может оказаться «чужим». Недоверие не только к другим, но — вот что удивительно и закономерно — к себе.

Мировоззрение

Мировоззрения, продуманного, выстраданного в спорах с самим собой, как у Ольги Берггольц, у Бориса Корнилова не было. Такое мировоззрение появляется у людей образованных, то есть образовывающих самих себя, в этом и заключается образование у людей культурных, то есть впускающих культуру в себя. Упреки современных критиков к Корнилову в его малокультурности были совершенно справедливы и подтверждаются свидетельством человека, знавшего Корнилова лучше, чем они, — свидетельством Ольги Берггольц: «Он был <…> малокультурен, но стихийно, органически талантлив»[18].

Это не означает, что Борис Корнилов не стал бы

образовываться. Его очень рано убили, в 31 год. Он довольно быстро вошел в культурную элиту Ленинграда. То, что было соприродно его темпераменту в мировой и русской поэзии, знал назубок. Последний его цикл о Пушкине — как раз доказательство того, что он начал рефлектировать, «впускать культуру в себя», вырабатывать мировоззрение. Но до этого у него было (как и у всякого стихийного, эмоционального поэта) не мировоззрение, но мирочувствие. На редкость точное. (Насколько вообще могут быть точны чувства.)

Во время деревенского погрома, в 1930 году, после года «великого перелома», в пору всеобщей коллективизации, Борис Корнилов пишет реквием по убитой деревне, свое с ней прощание, стихотворение «Чаепитие»: «Во веки веков осужденный на скуку, / на психоанализ любовных страстей, / деревня — предвижу с тобою разлуку, — / внезапный отлет одичавших гостей. / И тяжко подумать — бродивший по краю / поемных лугов, перепутанных трав, / я все-таки сердце и голос теряю, любовь и дыханье твое потеряв. / <…> Деревня российская — облик России, / лицо, опаленное майским огнем, / и блудного сына тропинки косые — / скитанья мои, как морщины на нем».

Самое интересное здесь слово — «психоанализ». Ольга Берггольц была увлечена психоанализом, была, как это сейчас называется, фрейдо-марксисткой. За это стихотворение Борис Корнилов был жестоко раскритикован, чему свидетелем была его будущая жена, Люся Борнштейн, сразу влюбившаяся в человека, против которого все, а он стоит и, несмотря на все и на всех, читает прекрасные стихи. Надо сказать, что с догматической, комсомольско-лапповской точки зрения исключение Бориса Корнилова тогда было абсолютно правомерным. Это и впрямь стихи, враждебные генеральной линии партии, каковой ЛАПП был верен. Другой вопрос, насколько было правильно с житейской, просто человеческой точки зрения совать талантливого парня под гильотину. Тогдашние комсомольцы были строгими и честными в идеологических спорах, не понимая, что эти споры уже являются частью убийственного конвейера, что их поколение будет выбито их собственными руками, не понимая того, что на смену им придут просто бессовестные и безыдейные карьеристы.

Спустя два года Корнилов напишет яростные антикулацкие стихи «Семейный совет» и «Убийца». Все то же — мирочувствование. Сопротивление деревни было яростным, подпольным, вызывающим воспоминания о тех, убитых мужиками, чоновцах. Убийства председателей колхозов, рабселькоров, учителей (и учительниц) — не выдумки советской

пропаганды, а факты новой «тихой» гражданской войны, развернутой сталинским руководством. «Второй революции не будет», — уверял Бухарин, союзник Сталина по борьбе с левой (троцкистской) оппозицией, призывавшей к наступлению на кулачество в деревне и нэпманов в городах. А вот она и разразилась вслед за падением с партийного Олимпа Николая Ивановича Бухарина. Логика революции проста: кто не с нами, тот против нас. Когда режут в ножи и стреляют из обрезов, не до ностальгии по косым тропинкам.

«Убийца» и «Семейный совет» не менее искренни, не менее поэтически убедительны, чем «Чаепитие», но и они были признаны кулацкими. Спокойно перечтите эти жуткие стихотворения, не пытайтесь вчитать в них то, что вчитывали сталинские интерпретаторы и порой вчитывают некоторые современные: где в них сочувствие к кулакам? Да, кулаки в них страстные, сильные, смелые… враги, но тем почетнее победа нам такими врагами. Можно предположить, что люди, слышавшие, как читал Корнилов эти стихи, вспоминали его во время наиболее мрачных загулов и понимали, что мрачную, земляную страсть к разрушению он описал так хорошо, ибо и в себе самом ее носил. Так и что? Поэт всегда описывает то, что носит в себе самом. Корнилов ведь не славит эту страсть, а клеймит, проклинает. Вообще, стихотворение всегда многогранно, потому открыто для самых разных интерпретаций. При некоторой филологической сноровке можно доказать, что и «Мы живем, под собою не чуя страны…» Мандельштама — не сатира на Сталина, а ода.

Но добросовестное прочтение и понимание стиха все же предполагает некоторое ограничение интерпретаций. Если и можно обвинить в чем-то не соответствующем политике партии эти корниловские стихи, так это… в троцкизме. Это же выкрикнутая радость того, кто в 1926 году сочувствовал левой оппозиции. Того, кто в 1926 году поехал в Ленинград, в штаб мировой революции под руководством тогдашнего союзника Льва Троцкого Григория Зиновьева. Это стихи ленинградского комсомольца 1920-х годов, члена той комсомольской организации, которая (единственный случай в истории ВЛКСМ) на своей конференции проголосовала против решения XIV партсъезда, разгромившего оппозиционеров.

Противоречие? Каким образом поэт, сочувствующий деревне, может сочувствовать ее врагам? Это противоречие неразрешимо для поэта с мировоззрением, или он попытается его разрешить в довольно непростых размышлениях. Для поэта с мирочувствованием это противоречие разрешается стихами, всякий раз искренними.

«Убийца» — это же спустя семилетие выговоренное возражение Николаю Ивановичу Бухарину. Дескать, видите, Николай Иваныч, вы говорили, что не будет второй революции, революции в деревне — а вот она! Грянула. Вы утверждали, что «кулак врастет в социализм», вот он как «врастает»… с ножом и обрезом. Выходит, правильно мы, ленинградские комсомольцы, тогда, в двадцатых годах, поддержали наших ленинградских старших товарищей. Выходит, прав был Лев Давидович Троцкий.

Троцкистский план свертывания НЭПа, уничтожения кулачества как класса, форсированной индустриализации выполняется не на 100, на 150 %! А каким именем будет называться этот план — сталинским или троцкистским — для истории не так уж и важно… Вот этого Сталину не хотелось. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь, кроме него, Хозяина, оказывался прав. Ему не хотелось, чтобы имел место такой прецедент: когда-то мы спорили со Сталиным и были правы. Зачем? Мало ли какие зигзаги еще выкрутит его политика? Завтра надо будет сговариваться с нацистами, они снова голоснут против? На каждом из непредвиденных зигзагов они будут гнуть свою линию? Нет уж, они должны быть верны не мировой революции, не коммунизму, марксизму или чему там еще — а мне, лично мне, их Хозяину.

Сталин не был силен так, как был силен Троцкий, — догматической, но умной верностью однажды выбранной доктрине. Сталин не был силен так, как был силен Бухарин, — честными интеллектуальными попытками приспособить эту доктрину к необычной, не предусмотренной для нее социально-экономической ситуации. Сталин был силен потрясающим инстинктом выживания, приспособления, инстинктом сохранения власти. Ему, по большому-то счету, чем дальше, тем больше становилось плевать на любые доктрины. «Суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет», — порой забывается, что Гёте вложил эти слова в уста дьявола.

Надо было — и он становился интернационалистом и атеистом, надо — восстанавливал патриарший престол и разыгрывал русско-патриотическую карту; надо было — признавал одним из первых вновь образованное государство Израиль, надо — делался антисемитом и готовил евреям России ледяной Освенцим на Колыме. «Короля играет свита». Те, кого он вырастил «на счастье народу», обладали тем же безошибочным инстинктом (инстинкт, впрочем, всегда безошибочен, на то он и инстинкт…). Надо было вдарить по бывшим симпатизантам «Иудушки Троцкого», чтобы в следующий раз не радовались так правоте своего… очкарика. Но надо вдарить так, чтобы они не

могли возразить: позвольте, но ведь прогноз Троцкого оказался верен? Значит, жахнуть с неожиданной стороны, чтобы рты поразевали, чтобы ничего возразить не могли, чтобы не смогли оправдаться, потому что можно оправдываться в том, в чем ты виноват, в чем ты ошибался, но невозможно оправдываться в том, в чем ты не виноват.

Получите: что это вы нам богатыря, нибелунга[19] рисуете во всем его демоническом великолепии, в зареве пожара, залитого кровью, а? Стеньку Разина живописуете? Батьку Махно? Атамана Зеленого? Вы героизируете кулачество, поднимаете его на котурны, пугаете народ — нам этого не надо… И если ошарашенные… экстремисты спросят: «А… как надо?» — тут же привести пример: «Их не били, не вязали, не пытали пытками, их везли, везли возами с детьми и пожитками. А кто сам не шел из хаты, кто кидался в обмороки, — милицейские ребята выводили под руки». Вот как надо… Никакой тебе революции. Обыкновенная милицейская акция. Встали, пошли, на выход с вещами.

И никакого тебе героического, демонического сопротивления. Ответ на эту акцию — не поджог и выстрел, а… обморок. Так описал коллективизацию сын раскулаченного крестьянина, великий поэт советской эпохи Александр Твардовский в своей «Стране Муравии». Самый удивительный парадокс советской истории состоял не в том, что Сталин выполнил план ненавистного ему во всем пижона Троцкого, на скучных заседаниях Политбюро почитывающего новые французские романы в подлиннике, а в том, что предсказание Бухарина сбылось. Кулак действительно врос в социализм, только не так, как это представлял себе Бухарин.

Вышвырнутые гигантским социальным взрывом дети кулаков или погибли, или выжили, вписавшись в предъявленные им социальные обстоятельства. Пошли наверх и стали одной из опор Хозяина. Как и ему, им было чихать на любую идеологию. Им было не чихать на выживаемость. Самые подлые из них после смерти Хозяина составили удивительный, химерический комплот русского национализма и коммунизма; самые совестливые (вроде Твардовского) стали верными десталинизаторами сознания. Собственно говоря, Твардовский ведь и коллективизацию описал с человеческой точки зрения страшнее, чем Борис Корнилов. Одно дело, когда сильный зверь в образе человека восстает против справедливого мироустройства, и совсем другое дело, когда несопротивляющихся крестьян везут, везут возами с детьми и пожитками. Одной строчкой, вставленной в частушечную, хореическую поэму, Твардовский нарисовал картину исхода: «Их

везли, везли возами с детьми и пожитками». Их много. И они — с детьми.

Но Сталину и тем, кого он вырастил, так же как и на идеологию, плевать было и на человечность. И хорошо, что те, кого мы уничтожаем, — слабые и ничтожные. Милицейский наряд справится. Сильных нам не надо. Мы сами сильные. Для Бориса Корнилова этот удар был так силен потому, что он впервые увидел своих настоящих врагов: тех, кто его уничтожит; тех, кого он видел в своих пророческих ночных кошмарах. Нет, это были не кулаки с ножами и обрезами (откуда им взяться в Ленинграде), не белогвардейские поручики, звякающие шпорами (можно себе представить, как усмехался бывший деникинец Мирский, ставший советским критиком, читая корниловские описания лощеных белых офицеров: белая армия была обмундирована и вооружена ничуть не лучше, чем красная), не интервенты с отравляющими газами, бомбами и снарядами, это были… свои.

Свои

Они клялись теми же словами, что и он. Только клятвы у них получались неубедительными. Потому что они были вглухую, втемную бездарны. Потому что он мог написать: «Щука — младшая сестрица крокодила — неживая возле берега стоит», а они не могли. Поэтому они завидовали ему. Завидовали во всем. В том, что он был сильный, красивый, хорошо играл в бильярд, в том, что его любили бабы (а их не любили); в том, что, когда он напивался, он не блевал, как свинья, а дрался, как нибелунг. Но помимо этой, совершенно естественной, зависти, у них было инстинктивное, совершенно верное понимание того, что в литературе, где есть такие, как Борис Корнилов, им, с их серыми, бездарными писаниями, делать совершенно нечего.

Поэтому его надо уничтожить. Не потому, что он троцкист, зиновьевец, кулак, фашист, черносотенец, террорист и двурушник, а потому, что он — талантлив. Когда Хозяин даст отмашку, надо вцепиться в загривок и уничтожить, стереть в лагерную пыль. Если бы Борис Корнилов любил и умел думать, то при несложном мыслительном усилии он бы, пожалуй, сообразил, что подобным же образом завистливые и слабые соседи во время коллективизации уничтожали тех, кто просто умел лучше, чем они, работать. Борис Корнилов умел чувствовать. Он почувствовал подлый, трусливый запах предательства, запах доноса, удара в спину, вонь измены.

«И последнее солнце / стоит над базаром, / и выходят вперед / командир с комиссаром. / Щеки, крытые прахом, / лиловые в страхе / ноги, гнутые страхом, / худые папахи. / Бело тело скукожено, / с разумом — худо, / в галифе поналожено / сраму с полпуда…» Это из поэмы Корнилова «Триполье», написанной в 1933 году, полностью опубликованной в 1934 году. Поэма о крестьянском (кулацком) восстании во время Гражданской войны и о гибели комсомольского отряда, пытавшегося восстание это подавить. Поэма печаталась главами в разных журналах, но глава «Измена» о предательстве командира и комиссара отряда была напечатана только в отдельном книжном издании поэмы.

Потому что это самая важная глава. Потому что в ней Корнилов изобразил своих настоящих врагов. Кулаки в поэме — такие же, как и в «Убийце» и в «Семейном совете», сверхчеловеки, охваченные яростью и ненавистью. Но трусы, заботящиеся только о собственной шкуре, готовые продать своих, поскольку им никто не свои, кроме самих себя, появляются у Корнилова впервые. И впервые Корнилов, эмоциональнейший поэт, дал вырваться той эмоции, которой начинала быть охвачена страна. Страху.

Поэма «Триполье», кулаки которой ничем не отличаются от кулаков «Семейного совета» и «Убийцы», была расхвалена и поднята на щит. Руководитель комсомола Александр Косарев слушал ее в авторском исполнении и пришел в полный восторг. Обстоятельства переменились. Сталину опять могли занадобиться лихие парни, верные догматическому марксизму и мировой революции. Заморский пижон Троцкий, похоже, опять оказался прав. Никогда еще Европа не была так близка к чаемой им революции, как в 1933–1934 годах. В Испании и во Франции на всех парах к власти шла коалиция социалистов, коммунистов и радикалов, Народный фронт. В Германии у власти оказались нацисты, с которыми надо было только драться, иного выхода самые последовательные, самые жестокие враги коммунистов просто не оставляли. Значит, надо привлечь к себе как можно больше сторонников. Бывшему лидеру правых, Бухарину, отдать крупнейшую газету страны «Известия», пусть он там соберет всех, кого сможет: и бывших правых, и бывших левых. Пусть западные интеллигенты увидят: мы не варвары вроде нацистов. У нас в газетах печатаются не фельетонисты — великие, сложные, высококультурные поэты вроде Бориса Пастернака. Вперед!

Николай Бухарин

Наступил последний период взлета и удач Бориса Корнилова,

завершившийся пытками и расстрелом. Период этот был связан с Николаем Ивановичем Бухариным, взявшим в штат своей газеты «Известия» Бориса Корнилова на место частушечника и баснописца Демьяна Бедного. Так что о Бухарине придется говорить так же, как и о Никите Хрущеве, хотя во всем он был полной противоположностью будущего первого секретаря. В конце концов, именно Бухарин, возвращенный Сталиным из опалы на большевистский Олимп, на Первом съезде советских писателей говорил о Корнилове как о надежде советской поэзии.

«Среди поэтической „комсомольской“ молодежи следует особо сказать о *Борисе Корнилове*. У него есть крепкая хватка поэтического образа и ритма, тяжелая поэтическая поступь, яркость и насыщенность метафоры и подлинная страсть. Классовая ненависть внука бедняка, как пес ползавшего перед „тушей розового барина“, отстоялась в густой настой стиха… У него „крепко сшитое“ мировоззрение и каменная скала уверенности в победе. Само „я“, исчезая, находит свое „продолжение жизни“ в новой веренице людей и дел. Поступь железных шагов схвачена в напластовании словесных масс…»

В общем, почти все — мимо. Николай Иванович Бухарин отличался именно этим. Порой он умудрялся писать все с точностью до наоборот. Насчет «крепко сшитого» мировоззрения — ошибка, и ошибка очевиднейшая. Мировоззрения четкого, выверенного, продуманного у Корнилова не было. Было страстное (повторимся) «мирочувствование», и это «мирочувствование» он воплощал с завидной точностью. Насчет «уверенности в победе» у поэта, который так часто пишет о собственной гибели, — тоже большие сомнения. Все остальное — риторические красоты, вроде «поступь железных шагов схвачена в напластовании словесных масс».

Поэт Николай Тихонов куда точнее говорил о нем на том же съезде: «Не потому ли мы выдвигаем стихи Корнилова! Они удачны, когда он, говоря о кулаках, с почти натуралистической жестокостью описывает блеск ножа, которым режут скот, показывает, как кулак убивает советского работника, как темный совет кулацкого семейства поднимается против наших Советов. Но беда Корнилова в том, что, сосредоточив свое внимание и все свои изобразительные средства на этих подробностях, он не дает другой стороны, колхозной, потому что, постигая ее умом, не знает, как ее образно передать с такой же силой».

Вот тут все верно. Верно настолько, что хочется продолжить: так это беда не Корнилова, а колхозной жизни. Что он, с его образной силой, должен будет передавать: как колхозники вкалывают за нищенские трудодни и как у них до зернышка

выгребают хлеб? Физкультурников в Парке культуры и отдыха, яхту на Финском заливе он изобразит в лучшем виде, бодро и радостно, но вот это-то как изобразить бодро и радостно? Остается только одно — «постигать умом».

Вернемся к Бухарину. Почему бывший лидер правых взял на штатную работу в свою газету бывшего (а скорее всего, и нынешнего) симпатизанта левых ленинградских оппозиционеров? Только потому, что совсем недавно его ославили «кулацким поэтом», а значит, сам партийный бог велел бывшему лидеру «кулацкого уклона» приветить… союзника?

Вовсе нет. О Бухарине труднее писать, чем о Сталине или Троцком. И Сталин, и Троцкий, в общем ясны. Один — умный бандит, другой — умный догматик. О Бухарине приходится сразу говорить отрицательными предложениями. Он не был «обыкновенной интеллигентной русской соплей», как его обозвал Иван Павлов; и не был «Колей Балаболкиным», как его презрительно называл Троцкий. Он не был «самым глупым человеком русской истории», по определению одного из лучших исследователей советской политики и идеологии — Михаила Агурского. И Ленин был несправедлив по отношению к «Бухарчику», между делом обронив в своем последнем письме: «Бухарин, конечно, — крупнейший теоретик партии, но никогда ничему всерьез не учился и никогда не понимал диалектики». (Любопытный психологический вопрос: как Ленин относился к организации, которой руководил, чей крупнейший теоретик «никогда ничему серьезно не учился»?)

Однако каждое из этих оскорбительных определений, к сожалению, захватывает что-то существенное в Николае Ивановиче Бухарине. Потому что он был интеллигентом и интеллектуалом. И, как всякий интеллектуал, был подвержен и колебаниям, и сомнениям, и страху. И, как всякий интеллигент, пытался заполнить недостатки своего образования риторическим многословием. И, как всякий интеллигент и интеллектуал, столкнувшийся с безвыходной ситуацией в действительности, он пытался найти из нее интеллектуальный, интеллигибельный выход, чаще всего оказывающийся гибельным, особенно если партнером интеллигента и интеллектуала по борьбе с действительностью оказывался умный бандит.

Как в 1925–1929 годах Бухарин пытался найти выход во «врастании кулака в социализм», так и в 1934—1937-х он пытался найти выход во… «врастании в социализм демократии». Поэтому в 1935 году он разработал самую демократическую Конституцию за всю историю советской власти; поэтому он собрал в свои «Известия» самых разных, но главным образом талантливых

людей — от Эренбурга и Радека до Пастернака и Бориса Корнилова. Попытка Бухарина завершилась процессом 1938 года, раскручиванием маховика сталинских репрессий, расстрелом. В камере смертника Бухарин писал… автобиографическую повесть о своем детстве. Лучшее из всего, что было им написано, что, в общем-то, свойственно и интеллигенту, и интеллектуалу.

Последнее

Корнилову осталось совсем немного до гибели. Бухаринская «весна» продлилась недолго. Уже в декабре 1934 года прогремел выстрел в коридоре Смольного. Был убит первый секретарь Ленинградского обкома Сергей Киров. Одно из самых темных политических убийств русского XX века, по степени загадочности и неясности сравнимое разве что с убийством Столыпина. Но если в случае убийства Столыпина почти со стопроцентной гарантией можно сказать, что то была провокация жандармерии с молчаливого согласия царя, то в случае Кирова этого сказать никак нельзя.

Похоже на то, что в этом единственном убийстве среди миллионов других убийств Сталин был неповинен. Похоже, что Николаев был одиночкой, рассерженным на нищую советскую жизнь, на жирование (по сравнению с общей нищетой) партверхушки, ну и на то, что один из этой верхушки, Киров, ухлестывает за его женой, Мильдой Драуле. Похоже, что Сталин просто испугался и потому стал раскручивать маховик репрессий, лупя по всем подряд, чтобы никакому одиночке не пришло в голову взять револьвер и пальнуть в ярости, вспомнив пример русских террористов, народовольцев.

Вот в это время набирающего силу террора Борис Корнилов начал пить по-настоящему, по-черному. В это время он пишет одно из лучших своих печальных стихотворений — «Елку», напечатанную только после его реабилитации: «Меня ни разу не встречали / заботой друга и жены — / так без тоски и без печали / уйду из этой тишины. / Уйду из этой жизни прошлой, / веселой злобы не тая, — / и в землю втоптана подошвой — / как елка — молодость моя».

Его арестовали в марте 1937 года. Критик Лесючевский по заданию НКВД написал «литературоведческую экспертизу» стихов Корнилова: «Ознакомившись с данными мне для анализа стихами Б. Корнилова, могу сказать о них следующее. В этих стихах много враждебных нам, издевательских над советской жизнью, клеветнических и т. п. мотивов. Политический смысл их

Корнилов обычно не выражает в прямой, ясной форме. Он стремится затушевать эти мотивы, протащить их под маской „чисто лирического“ стихотворения, под маской воспевания природы и т. д. Несмотря на это, враждебные, контрреволюционные мотивы в целом ряде случаев звучат совершенно ясно и недвусмысленно. Они отчетливо прорываются во многих стихотворениях, они являются лейт-мотивами некоторых стихотворений целиком. Прежде всего, здесь следует назвать стихотворение „Елка“. В нем Корнилов, верный своему методу двурушнической маскировки в поэзии, дает, якобы, описание природы, леса. Но маска здесь настолько прозрачна, что даже неопытному, невооруженному глазу становится полностью ясна откровенная контрреволюционность стихотворения. Написанное с большим чувством, с большим темпераментом, оно является тем более враждебным, тем более активно направленным на организацию контрреволюционных сил. Корнилов цинично пишет о советской жизни (якобы о мире природы): „Я в мире темном и пустом…“ / „Здесь все рассудку незнакомо… / здесь ни завета, / Ни закона, / Ни заповеди, / Ни души…“»[20]

Вообще, при такой сноровке можно и «Люблю грозу в начале мая…» проинтерпретировать как призыв к немедленной социальной революции, было бы желание или задание. По что сильнее всего поражает в тексте Лесючевского? Не его бредовость. В конце концов, и бредовый текст можно выполнить на уровне. Нет. Поражает его полная литературная бездарность. Абсолютное неумение писать мало-мальски внятно или интересно. Людей, пишущих подобные тексты, надо гнать от литературы не потому, что они сталинисты или троцкисты, а потому, что они писать не умеют, как нужно отбирать молоток у умельца, с первого удара раздробившего себе палец.

«Нас не так на земле качало, / нас мотало кругом во мгле — / качка в море берет начало, / а бесчинствует на земле. / Нас качало в казачьих седлах, / только стыла по жилам кровь, / мы любили девчонок подлых — / нас укачивала любовь» — вот так писал Борис Корнилов. Талант, отточенный мучительным трудом, он отдал не столько современникам, сколько людям, которые пришли позже и стали говорить на этом языке. Ведь, читая хорошие стихи, мы сами становимся лучше. Горькая история поэта Бориса Корнилова оказалась фоном для светлых слов, оставленных им в русской литературе.

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

«Усталость тихая, вечерняя…»

Усталость тихая, вечерняя
Зовет из гула голосов
В Нижегородскую губернию
И в синь Семеновских лесов.

Сосновый шум и смех осиновый
Опять кулигами[21] пройдет.
Я вечера припомню синие
И дымом пахнущий омет[22].

Березы нежной тело белое
В руках увижу ложкаря,
И вновь непочатая, целая
Заколыхается заря.

Ты не уйдешь, моя сосновая,
Моя любимая страна!
Когда-нибудь, но буду снова я
Бросать на землю семена.

Когда хозяйки хлопнут ставнями
И отдых скрюченным рукам,
Я расскажу про город каменный
Седым, угрюмым старикам.

Познаю вновь любовь вечернюю,
Уйдя из гула голосов
В Нижегородскую губернию,
В разбег Семеновских лесов.

1925

Лошадь

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова, —

И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.

Гладил уши, морду
Тихо гладил
И глядел в печальные глаза.
Был с тобой, как и бывало,
Рядом,
Но не знал, о чем тебе сказать.

Не сказал, что есть другие кони,
Из железа кони,
Из огня…
Ты б меня, мой дорогой, не понял,
Ты б не понял нового меня.

Говорил о полевом, о прошлом,
Как в полях, у старенькой сохи,
Как в лугах немятых и некошеных
Я читал тебе
Свои стихи…

Мне так дорого и так мне любо
ни мои любить и вспоминать.
Как, смеясь, тебе совал я в губы
Хлеб, что утром мне давала мать.

Потому ты не поймешь железа,
Что завод деревне подарил,
Хорошо которым
Землю резать,
Но нельзя с которым говорить.

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова, —
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.

1925

Мне про старое не говори.
И в груди особенная радость —
Щупают лучами фонари
Каменные скулы Ленинграда.
Я ходил и к сердцу прижимал
Только что увиденное глазом,
А по серым улицам туман,
Перешибленный огнями, лазил.
Много неисхоженных кругов,
Много перехваченного боком —
У крутых гранитных берегов
Не шуршит зеленая осока.
Пусть зеленых снов не пощадят,
Но одно так дорого и просто —
На больших холодных площадях
У людей упористая поступь.
Мажут трубы дымом дочерна,
Лезет копоть в каждый переулок,
Стонет Выборгская сторона[23]
От фабричного большого гула.
Над Невой отчаянно, когда
Фабрики гудками выли —
Вспоминать ушедшие года
И дворец,
Расстрелянный навылет.
Гудки по-новому зовут,
Кричат в тумане о победе,
А всадник, скомканный из меди[24],
Хотел скакать через Неву.
Хотел заводов не понять,
Но врезан в глаз
Матросский вырез —
Матрос у конской морды вырос
И спутал поступь у коня.
И был приглушен медный топот,
А ночью Пушкин прокричал,
Что здесь продавлено сейчас
Окно
В рабочую Европу[25].

<1926>

«Так хорошо и просто…»

Так хорошо и просто,
Шагнув через порог,
Рассыпать нашу поступь
По зелени дорог.

В улыбчивое лето
Бросать среди путей
Задумчивость поэта
И шалости детей.

Луна — под вечер выйди,
Чтоб, как бывало, вновь
У девушки увидеть
Смущенье и любовь.

Любовная зараза —
Недаром у меня
Заходит ум за разум
При увяданьи дня.

Но от нее я просто
Шагну через порог,
Чтобы рассыпать поступь
По зелени дорог.

1926

Терем

У девушки маленькая рука,
И девушку держит терем.

Все это перешагнули века,
И этому мы не поверим.
И сгинули в темень
И терем и князь.
Лихую былину рассеяв,
Шумит по загумнам
И клонится в пляс
Зазвонистая Расея.
Забылись кабальная жуть и тоска,
И этой тоски не изведав,
Любимая девушка будет ласкать

От вечера и до рассвета.
Затихли бубенчики дурака,
И день по-другому измерен…

Но мне показалось,
Что манит рука
И девушку держит терем.
И вот —
  через сад,
Где белеет окно,
Я прыгаю, как от погони,
И нам для побега
Готовы давно
Лихие и верные кони.
Чтоб девушку эту
  никто не сберег —
Ни терем и ни охрана,
Ее положу на седло поперек,
К кургану помчусь от кургана,
И будет вода по озерам дрожать
От конского грубого топота.
Медвежьею силой
И сталью ножа
Любимая девушка добыта…
Ну, где им
  размашистого догнать?..
Гу-уди, непогодушка злая…

Но, срезанный выстрелом из окна,
Я падаю, матерно лаясь.
Горячая и кровяная река,
А в мыслях — про то и про это:
И топот коня,
И девичья рука,
И сталь голубая рассвета,
А в сердце звериная, горькая грусть, —
Качается бешено терем…

И я просыпаюсь.
Ушла эта Русь, —
Такому теперь не поверим.

1926

Девушке заставы

Не про такое разве
Песня в родимых местах, —
Девочки голубоглазые,
Девочки наших застав.

Я погляжу и, спокоен,
Горечь раздумья маня,
Поговорю про такое,
Что на душе у меня:

В позеленелом затишье
Ласковых деревень
Пахнут получше вишни,
Чем по садам сирень.

Где дорогое наречье,
Ласки никак не новы,
Любят не хуже под вечер,
Чем комсомолки с Невы.

Все же себя не заставить
Позабывать и вдруг
Девочек из-за заставы,
Лучших из наших подруг.

Мы под могильным курганом
Всю тишину бережем,
Может, угробят наганом
Или же финским ножом.

Ты исподлобья не брызни
Струйками синих очей,
Нам еще топать по жизни
И в переулках ночей.

1926

«Под равнодушный шепот…»

Под равнодушный шепот
Старушечьей тоски

Ты будешь дома штопать
Дешевые носки.

И кошка пялит зенки
На ленточку косы,
И тикают на стенке
Жестяные часы.

И лампа керосином
Доверху налита.
По вечерам, по синим
Ушли твои лета.

И вянет новый веник,
Опять пусты леса,
Для матери и денег
Забытая краса.

А милый не дивится,
Уже давно одна.
Ты — старая девица
И замуж негодна.

Болят худые пальцы,
И дума об одном, —
Что вот седые зайцы
Гуляют под окном.

Постылые иголки,
А за стеной зовут,
Хохочут комсомолки,
Хохочут и живут.

И материнский шепот…
Уйти бы от тоски, —
Но снова будешь штопать
Дешевые носки.

1926

Книга

Ползали сумерки у колен,

И стали бескровными лица.
Я книгу знакомую взял на столе
И стал шелестеть страницей.
Придвинул стул,
Замолчал и сел,
И пепельницу поставил.
Я стал читать,
Как читают все,
Помахивая листами.
Но книга разбе́галась в голове,
И мысли другие реже.
… … … … … … …
И вот —
Насилуют и режут,
И исходит кровью человек.
Вот он мечется,
И вот он плачет,
Умирает, губы покривив,
И кому-то ничего не значит
Уходить запачканным в крови.
Отойдет от брошенного тела
Так задумчиво и не спеша
И, разглядывая, что он сделал,
Вытирает саблю о кушак.
Он теперь по-мертвому спокоен,
Даже радость где-то заперта.
Он стоит с разрубленной щекою,
С пеною кровавою у рта.
Но враги бросаются навстречу,
И трещат ружейные курки.
Защищаться не к чему
И нечем —
Сабля, выбитая из руки,
И не убивая, и не раня,
Все равно его не пощадят,
А подтаскивают на аркане
И прикручивают к лошадям.
Он умрет,
Как люди — не иначе,
И на грудь повиснет голова,
Чтобы мать, пригнутая казачка,
Говорила горькие слова.
И опять идут рубить и прыгать,
Задыхаться в собственной крови.

… … … … … … …
А Гоголь такой добродушный на вид,
И белая,
Мертвая книга[26].

1926

В нашей волости

По ночам в нашей волости тихо,
Незнакомы полям голоса,
И по синему насту волчиха
Убегает в седые леса.
По полям, по лесам, по болотам
Мы поедем к родному селу.
Пахнет холодом, сеном и потом
Мой овчинный дорожный тулуп.
Скоро лошади в мыле и пене,
Старый дом, принесут до тебя.
Наша мать приготовит пельмени
И немного поплачет любя.
Голова от зимы поседела,
Молодая моя голова.
Но спешит с озорных посиделок
И в сенцах колобродит братва.
Вот и радость опять на пороге —
У гармошки и трели и звон;
Хорошо обжигает с дороги
Горьковатый первач-самогон.
Только мать поглядит огорченно,
Перекрестит меня у дверей.
Я пойду посмотреть на девчонок
И с одною уйду поскорей.
Синева…
И от края до края
По дорогам гуляет луна…

Эх ты, волость моя дорогая
И дорожная чашка вина!..

<1927>

Лесной дом

От резных ворот
Через отчий сад
И поля, где пасутся закаты,
Я пошел вперед,
Не взглянув назад —
На соломой покрытые хаты.

А когда ушел,
Знать, попутал бес, —
Ничего не вижу я,
  кроме,
Что за лесом дол,
А за долом лес
И в лесу притаился домик.

Тих
  и невелик,
Словно птичий шаг,
Он запрятал себя, беспокоясь.
Ив
  и повилик
Вышитый кушак
Для соснового домика — пояс.

Есть хозяйка в нем, —
Будто с девьих плеч
Сарафан на березу надели…
Помнит хмурый дом:
Семь веселых встреч
Проходило в лесу на неделе.

Но за часом — час,
А за днем еще
(И у времени много прыти)
Старый день угас
  И румянец щек,
Умирая, на памяти вытер.

Только тихий дом
Мне в стихи залез.
Ничего не пишу я,
  кроме,

Что за лесом — дол,
А за долом — лес
И в лесу — удивительный домик.

<1927>

«Айда, голубарь…»

Айда, голубарь[27],
  пошевеливай, трогай,
Бродяга, — мой конь вороной!
Все люди —
  как люди,
    поедут дорогой,
А мы пронесем стороной.
Чтобы мать не любить
  и красавицу тоже,
Мы, нашу судьбу не кляня,
Себя понесем,
  словно нету дороже
На свете меня и коня.
Зеленые звезды,
  любимое небо!
Озера, леса, хутора!
Не я ли у вас
  будто был и не был
Вчера и позавчера.
Не я ли прошел —
  не берег, не лелеял?
Не я ли махнул рукой
На то, что зари не нашел алее?
На то, что девчат не нашел милее?
И волости — вот такой?
А нынче почудилось:
  конь, бездорожье,
Бревенчатый дом на реку, —
И нет ничего,
  и не сыщешь дороже
Такому, как я, — дураку…

1927

Ожидание

Грудь слезами выпачкав,
Снова к вербе, к омуту
Ты уйдешь на цыпочках,
Покидая комнату.

Только хлопнут двери там,
Где кончалась комната, —
Ходит ветер берегом
К омуту от омута.

И приносит вести он,
И уйдет назад, —
На лице невестином
Полыхнет закат.

Руки сломит надвое,
Плача и любя,
Волны встанут, падая,
Прямо на тебя…

Криками совиными
В ельники игольчатые…
Только за овинами[28]
Дрогнут колокольчики.

Никого в овинах нет, —
Может, тройка дикая
На поляну вымахнет,
Звякая и гикая.

Кручами и срывами,
А над нею вороны —
Пристяжные[29] гривами
Машут в обе стороны.

Тропками забытыми
На лугах и насыпях
Коренник[30] копытами
Рвет поляну наспех.

Недолга у девушек
И тоска и жалоба.

Где она? Где уже?
Сам жених пожаловал.

Постели ему постель
Без худого словушка, —
Сбоку ходит коростель[31],
В головах — соловушка.

Убаюкай, успокой,
С новою тревогой
Тихо ласковой рукой
Голову потрогай.

Высоко заря горит,
Скоро утро будет,
Ветер ходит, говорит
И тебя разбудит.

Никого в долинах нет,
И путями новыми
Вороной не вымахнет,
Стукая подковами.

Не дрожали у реки
Кони, колокольчики,
Где шумят березники,
Ельники игольчатые.

Не любили, не могли, —
Нива колосистая, —
Милый водит корабли,
Песенку насвистывая.

На веселый хоровод
У реки, у хутора
Милый больше не придет,
Уходя под утро.

Не твои картузы
И сапожки лаковые,
Не в последние разы
Глазыньки заплаканные.

1927

На Керженце

Мы идем.
И рука в руке,
И шумит молодая смородина.
Мы на Керженце[32], на реке,
Где моя непонятная родина,
Где растут вековые леса,
Где гуляют и лось и лиса
И на каждой лесной версте,
У любого кержачьего скита[33]
Русь, распятая на кресте,
На старинном,
На медном прибита.
Девки черные молятся здесь,
Старики умирают за делом
И не любят, что тракторы есть —
Жеребцы с металлическим телом.
Эта русская старина,
Вся замшенная, как стена,
Где водою сморена смородина,
Где реке незабвенность дана, —
Там корежит медведя она,
Желтобородая родина,
Там медведя корежит медведь.

Замолчи!
Нам про это не петь.

1927

Лирические строки

[34]

Моя девчонка верная,
Ты вновь невесела,
И вновь твоя губерния
В снега занесена.

Опять заплакало в трубе
И стонет у окна, —

Метель, метель идет к тебе,
А ночь — темным-темна.

В лесу часами этими
Неслышные шаги, —
С волчатами, с медведями
Играют лешаки,

Дерутся, бьют копытами,
Одежду положа,
И песнями забытыми
Всю волость полошат.

И ты заплачешь в три ручья,
Глаза свои слепя, —
Ведь ты совсем-совсем ничья,
И я забыл тебя.

Сижу на пятом этаже,
И все мое добро —
Табак, коробочки ТЭЖЭ[35]
И мягкое перо —

Перо в кавказском серебре.
И вечер за окном,
Кричит татарин на дворе[36]:
— Шурум-бурум берем…

Я не продам перо, но вот
Спасение мое:
Он эти строки заберет,
Как всякое старье.

1927

Обвиняемый

Не лирике больше звенеть…
В конвульсиях падаю наземь я,
Миражи ползут по стене,
По комнате ходит фантазия.
И очень орать горазд,
В теоретическом лоске

Несет социальный заказ
Довольный собой Маяковский.

Любимая, извини,
Но злобен критический демон.
Я, девочкам изменив,
Возьму нелюбовную тему…
И вот —
Из уютных квартир
К моей односпальной кровати
С улыбкой дешевых картин
Идет пожилой обыватель.
Он, вынув мандаты свои,
Скулит о классической прозе,
Он в тему встает
И стоит
В меланхолической позе.
Он пальцами трет виски
И смотрит в глаза без корысти…
Я скромно пощупал листки
Служебных характеристик,
И, злобою ожесточен,
Я комнату криком пронзаю:
— Тут лирика ни при чем,
И я, извини,
Не прозаик,
А радость вечерних икот
Совсем не хочу отмечать я.
Вот —
Каждый прошедший год
Заверен у вас печатью.
Житье вам нетрудно нести,
И месяц проносится скоро.
Зарплату по ведомости
Выписывает контора,
И вы, хорошо пообедав,
Дородной и рыхлой жене
Читаете о победах
Социализма в стране.
А ночью при синих огнях,
Мясистое тело обняв.
……

И мучает, туго старея,

Хроническая гонорея[37].
Вам эта болезнь по плечу,
У вас не тощает бумажник,
Но стыдно явиться к врачу,
Боясь разговоров домашних…

Вдали розовеет восток,
Неискренне каркает ворон, —
Хохочет и пляшет восторг
В бреду моего разговора.
Глядит на бумаге печать
Презрительно и сурово.
Я буду суду отвечать
За оскорбление словом,
И провожает конвой
У черной канвы тротуара,
Где плачут над головой
И клен и каналья гитара.

1927

Последнее письмо

На санных путях,
овчинами хлопая,
Ударили заморозки.
Зима.
Вьюжит метель.
Тяжелые хлопья
Во первых строках моего письма.
А в нашей губернии лешие по лесу
Снова хохочут,
еле дыша,
И яблони светят,
И шелк по поясу,
И нет ничего хорошей камыша.
И снова девчонка
сварила варенье.
И плачет девчонка,
девчонка в бреду,
Опять перечитывая стихотворенье
О том, что я —
никогда не приду.

И старую со́сну скребут медвежата —
Мохнатые звери.
Мне душно сейчас,
Последняя песня тоскою зажата,
И высохло слово,
на свет просочась.
И нет у меня
никакого решенья.
Поют комсомолки на том берегу,
Где кабель
высокого напряженья
Тяжелой струей ударяет в реку.
Парнишка, наверное, этот,
глотая
Горячую копоть,
не сходит с ума,
Покуда вьюга
звенит золотая
Во первых строках моего письма.
Какую найду небывалую пользу,
Опять вспоминая,
еле дыша,
Что в нашей губернии
лешие по лесу
И нет ничего хорошей камыша?
И девушка,
что наварила варенья
В исключительно плодородном году,
Вздохнет от печального стихотворенья
И снова поверит, что я не приду.
И плачет, и плачет, платок вышивая,
Травинку спеша пережевывая…
И жизнь твоя — песенка неживая,
Темная,
камышовая.

1927

Цыганки

Не стоит десятки годов спустя
Словами себя опоганить,
Что снова цыганки

Грегочут, свистят
И топают сапогами.

Поют и запляшут —
Гуляет нога,
Ломая зеленые стебли…
  И я вспоминаю
  Шатры
  И луга,
Повозки цыганок и степи…

Держите меня…
Это все не пустяк…
Держите…
Спросите —
  куда я?

Но снова и гикают, и свистят,
И врут про меня, гадая…

Среди обыденных людских племен
В Самаре, в Москве, в Ярославле
Я буду богат,
И я буду умен,
И буду навеки прославлен…
Прекрасная радость
И ласковый стыд, —
Как жить хорошо на свете!..

……
Гадалка, прости,
Мы не очень просты,
И мы не зеленые дети.
А наше житье —
Не обед, не кровать, —
К чему мне такие враки?
Я часто от голода околевать
Учился у нашей собаки.
Напрасно, цыганка, трясешь головой.
А завтра…
  Айда спозаранок…
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой[38],

Погуляем мы на свете,
Молодая егоза,
Поглядим, как заезды светят
И восточные глаза.

Чтобы пели,
Чтобы пили, —
На поляне визг, —
Под гитару бы любили
На поляне вдрызг,
И подковками звеня,
Не ушла бы от меня…
Вы знаете?
Это теперь — пустяк,
Но чудятся тройки и санки,
Отчаянно гикают и свистят,
И любят меня цыганки.

<1928>

Провинциалка

Покоя и скромности ради
В краю невеселых берез
Зачесаны мягкие пряди
Твоих темноватых волос.
В альбомчиках инициалы
Поют про любовь и про Русь,
И трогает провинциалок
Не провинциальная грусть.
Но сон промаячит неслышно,
И плавает мутная рань, —
Все так же на солнышко вышла
И вянет по окнам герань.

Ты смотришь печально-печально,
Цветок на груди теребя,
Когда станционный начальник
Намерен засватать тебя.
И около маленьких окон
Ты слушаешь, сев на крылец,
Как плещется в омуте окунь
И треплет язык бубенец,

А вечером сонная заводь
Туманом и теплой водой
Зовет по-мальчишески плавать
И плакать в тоске молодой.

Не пой о затишье любимом —
Калитка не брякнет кольцом,
И милый протопает мимо
С упрямым и жестким лицом.
Опять никому не потрафив,
Он тусклую скуку унес,
На лица твоих фотографий
Глядит из-под мятых волос.
А ночь духотою намокла,
И чудится жуткая дрянь,
Что саваны машут на окнах
И душит за горло герань…

Но песня гуляет печально,
Не нашу тоску полюбя, —
Пока станционный начальник
Не смеет засватать тебя.

<1928>

«Похваляясь любовью недолгой…»

Похваляясь любовью недолгой,
растопыривши крылышки в ряд,
по ночам, застывая над Волгой,
соловьи запевают не в лад.

Соловьи, над рекой тараторя,
разлетаясь по сторонам,
города до Каспийского моря
называют по именам.

Ни за что пропадает кустарь в них,
ложки делает, пьет вино.
Перебитый в суставах кустарник
ночью рушится на окно.

Звезды падают с ребер карнизов,

а за городом, вдалеке, —
тошнотворный черемухи вызов,
весла шлепают на реке.

Я опять повстречаю ровно
в десять вечера руки твои.
Про тебя, Александра Петровна,
заливают вовсю соловьи.

Ты опустишь тяжелые веки,
пропотевшая,
тяжко дыша…
Погляди —
мелководные реки
машут перьями камыша.

Александра Петровна,
послушай, —
эта ночь доведет до беды,
придавившая мутною тушей
наши крошечные сады.

Двинут в берег огромные бревна
с грозной песней плотовщики.
Я умру, Александра Петровна,
у твоей побледневшей щеки.

……
Но ни песен, ни славы, ни горя,
только плотная ходит вода,
и стоят до Каспийского моря,
засыпая вовсю, города.

Февраль 1929

Русалка

[39]

Медвежья дорога — поганая гать,
набитая рыбой река —
и мы до зари запекаем опять
медвежьи окорока.

В дыму, на отлете, ревут комары
и крылышками стучат,
от горя, от голода, от жары
летит комарье назад.

Летит комарье,
летит воронье
к береговым кустам —
и слушают русалки там
охотничье вранье.

Один говорит:
— На Иванов день[40]
закинул невода.
Вода не вода, а дребедень,
такая была вода.

Рябят промысловые омута,
качают поплавки,
туманом покрытые омута
охотнику не с руки.

Рябая вода — рыбаку беда, —
иду снимать невода.

Наверху, надо мною, тонет луна,
как пробковый поплавок,
в мои глаза ударяет она,
падая на восток.

Звезда сияет на всех путях —
при звездочке, при луне
упала из невода
и на локтях
добыча ползет ко мне.

Вода стекает по грудям,
бежит по животу,
и я прибираю ее к рукам —
такую красоту.

Теперь у желтого огня,
теперь поет она,
живет на кухне у меня

русалка как жена.

Она готовит мне уху,
на волчьем спит меху,
она ласкает кожей свежей
на шкуре вытертой медвежьей.

Охотник молчит.
Застилает сосна
четыре стороны света,
над белой волною гуляет весна
и песня русалочья эта.

А я, веселый и молодой,
иду по омутам,
я поджидаю тебя над водой,
а ты поджидаешь там.

Я песни пою,
я чищу ружье,
вдыхаю дым табака,
я на зиму таскаю в жилье
медвежьи окорока.

Дубовые приготовлю дрова,
сложу кирпичную печь,
широкую сделаю кровать,
чтоб можно было лечь.

Иди, обитательница омутов,
женщина с рыбьим хвостом,
теперь навеки тебе готов
и хлеб,
и муж,
и дом.

Но вот —
наступает с утра ветерок,
последний свист соловья,
я с лодки ночью сбиваю замок,
я вымок,
я высох
и снова намок,
и снова высохну я.

Тяжелые руки мои на руле.
Вода на моей бороде.
И дочь
и жена у меня —
на земле,
  и промысел —
    на воде.

Февраль 1929

Начало зимы

Довольно.
Гремучие сосны летят,
метель нависает, как пена,
сохатые ходят,
рогами стучат,
в тяжелом снегу по колено.

Опять по курятникам лазит хорек,
копытом забита дорога,
седые зайчихи идут поперек
восточного, дальнего лога.
Оббитой рябины
последняя гроздь,
последние звери —
широкая кость,
высоких рогов золотые концы,
декабрьских метелей заносы,
шальные щеглы,
голубые синцы,
девчонок отжатые косы…

Поутру затишье,
и снег лиловатый
мое окружает жилье,
и я прочищаю бензином и ватой
центрального боя ружье.

1929

Лес

Деревья, кустарника пропасть,
болотная прорва, овраг…
Ты чувствуешь —
горе и робость
тебя окружают…
и мрак.

Ходов не давая пронырам,
у самой качаясь луны,
сосновые лапы над миром,
как сабли, занесены.

Рыдают мохнатые совы,
а сосны поют о другом —
бок о бок стучат, как засовы,
тебя запирая кругом.

Тебе, проходимец, судьбою,
дорогой — болота одни;
теперь над тобой, под тобою
гадюки, гнилье, западни.

Потом, на глазах вырастая,
лобастая волчья башка,
лохматая, целая стая
охотится исподтишка.

И старая туша, как туча,
как бурей отбитый карниз,
ломая огромные сучья,
медведь обрывается вниз.

Ни выхода нет, ни просвета,
и только в шерсти и зубах
погибель тяжелая эта
идет на тебя на дыбах.

Деревья клубятся клубами —
ни сна,
ни пути,
ни красы,
и ты на зверье над зубами

свои поднимаешь усы.

Ты видишь прижатые уши,
свинячьего глаза свинец,
шатанье слежавшейся туши,
обсосанной лапы конец.

Последние два шага,
последние два шага…

И грудь перехвачена жаждой,
и гнилостный ветер везде,
и старые сосны —
над каждой
по страшной пылает звезде.

1929

Лесной пожар

Июлю месяцу не впервой
давить меня тяжелой пятой,
ловить меня, окружая травой,
томить меня духотой.

Я вижу, как лопнула кожура
багровых овощей, —
на черное небо пошла жара,
ломая уклад вещей.

Я задыхаюсь в час ночной
и воду пью спеша,
луна — как белый надо мной
каленый край ковша.

Я по утрам ищу… увы…
подножный корм коню —
звон кругом
от лезвий травы,
высохшей на корню.

И вот
начинает течь смола,

обваривая мух,
по ночам выходит из-за угла
истлевшей падали дух.
В конце концов
половина зари
отваливается дрожа,
болото кипит —
на нем пузыри,
вонючая липкая ржа, —
и лес загорается.
Дует на юг,
поглубже в лес ветерок,
дубам и осинам
приходит каюк —
трескучей погибели срок.

Вставай,
поднимайся тогда,
ветлугай[41],
с водою иди на огонь,
туши его,
задуши,
напугай,
гони дымок и вонь.
Копай топорами широкие рвы,
траву губи на корню,
чтобы нельзя по клочьям травы
дальше лететь огню.
Чтобы между сосновых корней
с повадкой лесного клеща
маленькое семейство огней
не распухало, треща.

Вставай,
поднимайся —
и я за тобой,
последний леса жилец,
иду вперед с опаленной губой
и падаю наконец.

Огонь проходит сквозь меня.
Я лег на пути огня,
и падает на голову головня,
смердя,

клокоча
и звеня.

Вот так прожить
и так умереть,
истлеть, рассыпаясь в прах,
золою лежать
и только шипеть,
пропеть не имея прав.

И новые сосны взойдут надо мной,
взметнут свою красу,
я тлею и знаю —
всегда под сосной,
всегда живу в лесу.

1929

Однажды ночью

Вот сумрак сер,
и соловьи
в кустарниках
и там —
за мной,
где я,
где песни мои, —
летают по пятам.
По вечерам
по пустырям,
по всей земле кругом
в обычном счете — тарарам,
в конечном счете — гром.
И, вдохновляем соловьем,
гремящим при луне,
я запеваю о твоем
отношении ко мне.
И снова на бумаге клок
моих любовных стихов,
идет высокопарный слог
до первых петухов.
До первых петухов —
затем перемена тем.

Курятника тяжелый дух,
встает во тьме петух.
Раздуто горло,
страшен вид,
изнеможден вконец,
пернатый зверь ревет, хрипит,
герой,
божок,
самец.
Хвостов огромные костры
летят на страх врагам,
и перья падают, пестры,
чадя, к моим ногам.
Его судьба — моя судьба,
в лесу моя страна,
и злом набитые зоба,
и хрипнет горло, как труба,
и сосны
и луна.
И утро белое встает
сегодня, как вчера, —
сегодня, как вчера, и вот
достоинство утра.
В работе наших рук оно,
а руки — вот они,
оно порой заключено
в зажиме пятерни.
А руки — вот они. С пяти,
с пяти часов утра
они в работе, как в пути,
до вечера, до десяти,
сегодня, как вчера.
И снова над столом моим,
над бестолочью снов
бессонницы табачный дым,
основа всех основ.
Моей страны высокий дух,
стихи
и, наконец,
тяжелый, пламенный петух,
герой,
божок,
самец.
Потом и он идет во тьму

и пропадет совсем,
огромный,
золотой, — кому
я здесь обязан всем.

1929–1930

Чаепитие

Блаженство сельское — попить чайку…

В. Нарбут[42]

Как медная туча, шипя и сгорая,
на скатерти белой владыча с утра,
стоит самовар — и от края до края
над ним деревенские дуют ветра.
Последняя чаша багрового чая —
над чашею дым, пузырьки по бокам,
фигуры из пара, томясь и скучая,
гонимы ветрами, идут к облакам.
Блаженство тяжелое — яйца и масло,
холодные крынки полны молока,
и пот прошибает, пока не погасло
светило или не ушло в облака.
Пока не свистят над стеною деревья
о жизни иной, о любви городской,
пока опаленная солнцем деревня
объята работой и смертной тоской.
Но вечер настанет — и в этом пейзаже
все краски темны, очертанья слабы,
и скучно презрение выразить даже
ленивым движением нижней губы.
Во веки веков осужденный на скуку,
на психоанализ любовных страстей,
деревня — предвижу с тобою разлуку, —
внезапный отлет одичавших гостей.
И тяжко подумать — бродивший по краю
поемных лугов, перепутанных трав,
я все-таки сердце и голос теряю,
любовь и дыханье твое потеряв.
И жизнь тяжела — наступает кончина
благих помышлений, юдоли земной,

твоей бороды золотая овчина,
как облако зноя, стоит предо мной.
Стоят омута с лиловатым отливом,
речные глубоко мерцают огни,
в купанье, в тоске, в разговоре шутливом
проходят мои безвозвратные дни.
Деревня российская — облик России,
лицо, опаленное майским огнем,
и блудного сына тропинки косые —
скитанья мои, как морщины, на нем…

<1930>

Война

Я снова тебя беспокою, жена,
Неслаженной песней, не славной,
И в черные дебри несчастий она
Уходит от буквы заглавной.
Жена моя!
Видишь ли — мне не до сна,
Меня подозренье тревожит.
Жена моя!
Белая полночь ясна,
Она меня спрятать не может,
Она застывает, над миром вися,
И старые ставни колышет,
Огромная вся и ненужная вся,
Она ничего не услышит.
И звякнет последняя пуля стрелка,
И кровь мою на землю выльет;
Свистя, упадет и повиснет рука,
Пробитая в локте навылет.
Или — ты подумай —
Сверкнет под ножом
Моя синеватая шея.
И нож упадет, извиваясь ужом,
От крови моей хорошея.
Потом заржавеет,
На нем через год
Кровавые выступят пятна.
Я их не увижу,
Я пущен в расход —

И это совсем непонятно.
Примятая смертью, восходит трава,
Встает над полянами дыбом,
Моя в ней течет и плывет голова,
А тело заброшено рыбам.
Жена моя!
Встань, подойди, посмотри,
Мне душно, мне сыро и плохо.
Две кости и череп,
И черви внутри,
Под шишками чертополоха.
И птиц надо мною повисла толпа,
Гремя составными крылами.
И тело мое,
Кровожадна, слепа,
Трехпалыми топчет ногами.
На пять километров
И дальше кругом,
Шипя, освещает зарница
Насильственной смерти
Щербатым клыком
Разбитые вдребезги лица.
Убийства с безумьем кромешного смесь,
Ужасную бестолочь боя
И тяжкую злобу, которая здесь
Летит, задыхаясь и воя,
И кровь на линючие травы лия
Свою золотую, густую.
Жена моя!
Песня плохая моя,
Последняя,
Я протестую!

<1930>

«До земли опуская длани…»

До земли опуская длани,
сам опухший, как бы со сна,
он шагает — управделами, —
и встречает его жена.

Голубые звенят тарелки,

половик шелестит под ногой,
на стене часовые стрелки
скучно ходят одна за другой.

И тускнеют цветы на обоях
от клопиной ночной беды —
вы спокойны,
для вас обоих
время отдыха и еды.

Сам поест
и уйдет за полог,
сон приходит, сопя и гремя,
этот вечер недорог и долог,
этот сумрак
стоит стоймя.

Что за черт…
За стеной фортепьяно,
звезды ползают,
сон в саду,
за твоею тоской, Татьяна,
неожиданно я приду.

Намекну, что хорошее лето,
замечательно при луне,
только знаю, что ты на это
ничего не ответишь мне.

Что же ты?
Отвечай со зла хоть,
стынут руки твои, как медь, —
научилась ли за год плакать,
разучилась ли за год петь?

Скажешь:
— Надо совсем проститься,
я теперь не одна живу…
Все же с кофты твоей из ситца
лепестки упадут в траву.

И завянут они, измяты,
и запахнут они сейчас —
этот запах любви и мяты

на минуту задушит нас.

И уйду я, шатаясь пьяно,
а дорога моя тесна:
не до сна мне теперь, Татьяна,
года на три мне не до сна.

1930

Дед

Что же в нем такого —
в рваном и нищем?
На подбородке — волос кусты,
от подбородка разит винищем,
кислыми щами
на полверсты.

В животе раздолье —
холодно и пусто,
как большая осень
яровых полей…
Нынче — капуста,
завтра — капуста,
послезавтра — тех же щей
да пожиже влей.

В результате липнет тоска, как зараза,
плачем детей
и мольбою жены,
на прикрытье бедности
деда Тараса
господом богом
посланы штаны.
У людей, как у людей, —
летом тянет жилы
русский, несуразный, дикий труд,
чтобы зимою со спокоем жили —
с печки на полати, обычный маршрут.

Только дед от бедности
ходит — руки за спину,
смотрит на соседей:

чай да сахар,
хлеб да квас… —
морду синеватую, тяжелую, заспанную
морду выставляя напоказ.

Он идет по первому порядку деревни —
на дорогу ссыпано золото осин.
— Где мои соседи?
— В поле, на дворе они,
Якова Корнилова разнесчастный сын.

И тебе навстречу,
жирами распарена,
по первому порядку своих деревень
выплывает туша розовая барина —
цепка золотая по жилету, как ремень.

Он глядит зелеными зернышками мака,
он бормочет — барин — раздувая нос:
— Здравствуй, нерадивая собака,
пес…

Это злобу внука,
ненависть волчью
дед поднимает в моей крови,
на пустом животе ползая за сволочью:
— Божескую милость собаке яви…

Я ее, густую, страшной песней вылью
на поля тяжелые,
в черный хлеб и квас,
чтобы встал с колен он,
весь покрытый пылью,
нерадивый дед мой —
Корнилов Тарас.

1930

Качка на Каспийском море

За кормою вода густая —
солона она, зелена,
неожиданно вырастая,

на дыбы поднялась она,
и, качаясь, идут валы
от Баку
до Махач-Калы.

Мы теперь не поем, не спорим —
мы водою увлечены;
ходят волны Каспийским морем
небывалой величины.

А потом —
затихают воды —
ночь каспийская,
мертвая зыбь;
знаменуя красу природы,
звезды высыпали, как сыпь;
от Махач-Калы
до Баку
луны плавают на боку.

Я стою себе, успокоясь,
я насмешливо щурю глаз —
мне Каспийское море по пояс,
нипочем…
Уверяю вас.

Нас не так на земле качало,
нас мотало кругом во мгле —
качка в море берет начало,
а бесчинствует на земле.
Нас качало в казачьих седлах,
только стыла по жилам кровь,
мы любили девчонок подлых —
нас укачивала любовь.

Водка, что ли, еще?
И водка —
спирт горячий,
  зеленый,
    злой;
нас качало в пирушках вот как —
с боку на бок
и с ног долой…

Только звезды летят картечью,
говорят мне…
— Иди, усни…
Дом, качаясь, идет навстречу,
сам качаешься, черт возьми…

Стынет соль
девятого пота
на протравленной коже спины,
и качает меня работа
лучше спирта
и лучше войны.

Что мне море?
Какое дело
мне до этой
зеленой беды?

Соль тяжелого, сбитого тела
солонее морской воды.

Что мне (спрашиваю я), если
наши зубы
как пена белы —
и качаются наши песни
от Баку
до Махач-Калы.

1930
Каспийское море — Волга

«Снова звезды пылают и кружатся…»

Снова звезды пылают и кружатся,
ходят сосны, сопя и трубя,
закрывая глаза от ужаса,
я обманываю себя.

Милый тесть мой,
Иван Иваныч,
берегите мою жену,
я опять пропадаю на ночь,
словно камень иду ко дну.

Прямо падаем все от хохота,
ничего не понять спьяна —
это домики,
это Охта,
это правая сторона.

Боком,
  гоголем,
    чертом старым —
наши песенки об одном, —
разумеется, по гитарам
ходят рученьки ходуном.

Сукин сын,
  молодой безобразник,
дует в бубен,
  а бубен — день…
Нынче праздник,
  и завтра праздник,
только будет и буден день.

Только вспомню, как пел, бывало,
под Самарою,
под Москвой —
чертов баловень,
запевало,
в доску парень, ребята, свой.

Задушевная песня-премия
легче ветра и ковыля,
день за днем золотое время
пролетает шаля-валя.

— Купите бублики,
гоните рублики[43], —
песня аховая течет,
и в конце концов от республики
мы получим особый счет.

А по счету тому огулом
по заслугам и по делам
нашу жизнь назовут прогулом
с безобразием пополам.

Скажет прямо республика:
— Слушай,
слушай дело, заткнись, не рычи, —
враг на нас повалился тушей,
вы же пьянствуете, трепачи.

Пота с кровью соленый привкус
липнет, тело мое грызя…
И отвесит потом по загривку
нам разá
и еще разá.

Все припомнит — растрату крови,
силы, молодости густой,
переплеты кабацкой кровли
и станков заржавелый простой.

Покачаемся и скажем:
— Что ж это
и к чему же такое все,
неужели исхожено, прожито
понапрасну, ни то ни се?

Ни ответа,
ни теплой варежки,
чтобы руку пожала нам,
отвернутся от нас товарищи
и посмотрят по сторонам.

Да жена постареет за ночь,
может, за две — не за одну.
Милый тесть мой,
Иван Иваныч,
не сберег ты
мою жену.

<1931>

Подруга

Я и вправо и влево кинусь,
я и так, я и сяк, но, любя,
отмечая и плюс и минус,
не могу обойти тебя.

Ты приходишь, моя забота
примечательная, ко мне,
с Металлического завода,
что на Выборгской стороне.

Ты влетаешь сплошною бурею,
песня вкатывает, звеня,
восемнадцатилетней дурью
пахнет в комнате у меня.

От напасти такой помилуй —
что за девочка: бровь дугой,
руки — крюки,
зовут Людмилой,
разумеется — дорогой[44].

Я от Волги свое до Волхова
по булыжникам на боку,
под налетами ветра колкого
сердце волоком волоку.

Я любую повадку девичью
к своему притяну суду,
если надо, поставлю с мелочью
и с дешевкой в одном ряду.

Если девочка скажет:
— Боренька,
обожаю тебя… (смешок)
и тебя умоляю — скоренько
сочини про меня стишок,
опиши молодую жизнь мою,
извиняюсь…
Тогда, гляди,
откачу, околпачу, высмею,
разыграю на все лады.

Отметайся с возможной силой,
поживей шевели ногой…
Но не тот разговор с Людмилой,
тут совсем разговор другой…

Если снова
   лиловый, ровный,
ядовитый нахлынет мрак —
по Москве,
   Ленинграду
      огромной,
тяжкой бомбой бабахнет враг…

Примет бедная Белоруссия
стратегические бои…
Выйду я,
   а со мною русая
и товарищи все мои.

Снова панскую спесь павлинью
потревожим, сомнем, согнем,
на смертельную первую линию
встанем первые под огнем.

Так как молоды,
   будем здорово
задаваться,
   давить фасон,
с нами наших товарищей прорва,
парабеллум
   и смит-вессон.

Может быть,
   погуляю мало с ним, —
всем товарищам и тебе
я предсмертным
   хрипеньем жалостным
заявлю о своей судьбе.

Рухну наземь —
   и роща липовая
закачается, как кольцо…
И в последний,

дрожа и всхлипывая,
погляжу на твое лицо.

<1931>

«Ты как рыба выплываешь с этого…»

Ты как рыба выплываешь с этого
прошлогоднего глухого дна,
за твоею кофтой маркизетовой
только скука затхлая одна.

Ты опять, моя супруга, кружишься, —
золотая белка,
колесо, —
и опять застыло, словно лужица,
неприятное твое лицо.

Этой ночью,
что упала замертво,
голубая — трупа голубей, —
ни лица, ни с алыми губами рта,
ничего не помню, хоть убей…

Я опять живу
и дело делаю —
наплевать, что по судьбе такой
просвистал
и проворонил белую,
мутный сон,
сомнительный покой…

Ты ушла,
тебя теперь не вижу я,
только песня плавает, пыля, —
для твоей ноги
да будет, рыжая,
легким пухом
рыхлая земля.

У меня не то —
за мной заметана
на земле побывка и гульба,

а по следу высыпала — вот она —
рота песен,
вылазка,
пальба…

Мы не те неловкие бездельники,
невысок чей сиплый голосок, —
снова четверги и понедельники
под ноги летят наискосок,
стынут пули,
пулемет, тиктикая,
задыхается — ему невмочь, —
на поля карабкается тихая,
притворяется, подлюга ночь.

Мне ли помнить эту, рыжеватую,
молодую, в розовом соку,
те года,
под стеганою ватою
залежавшиеся на боку?

Не моя печаль —
путями скорыми
я по жизни козырем летел…

И когда меня,
играя шпорами,
поведет поручик на расстрел, —
я припомню детство, одиночество,
погляжу на ободок луны
и забуду вовсе имя, отчество
той белесой, как луна, жены.

<1931>

Открытое письмо моим приятелям

Все те же мы: нам целый мир — чужбина;
Отечество нам Царское Село.

А. С. Пушкин[45]

Мне дорожка в молодость
издавна знакома:
тут смешок,
  тут выпивка,
    но в конце концов —
все мои приятели —
все бюро райкома —
Лешка Егоров,
Мишка Кузнецов[46],
комсомольцы Сормова, —
  ребята —
    иже с ними.
Я — такой же аховый —
парень-вырви-гвоздь…

Точка —
= снова вижу вас
глазами косыми
через пятилетье, большое насквозь.
Ох, давно не виделись, чертовы куклы, мы,
посидеть бы вместе,
покурить махры,
вспомнить, между прочим,
что были мы пухлыми
мальчиками-с-пальчиками —
не хухры-мухры.

В голос песни пели,
  каблуками стукали,
только от мороза на щеке слеза.
Васька Молчанов[47] —
ты ли мне не друг ли?
Хоть бы написал товарищу разá.

Как писали раньше:
  так-то вот и так-то…
живу, поживаю —
как на небеси…
Повстречал хорошенькую —
  полюбил де-факто,
только не де-юре — боже упаси.

Утренняя изморозь —
плохая погода,
через пень-колоду, в опорках живем,
снова дует ветер двадцатого года —
батальоны ЧОНа[48]
стоят под ружьем.
А в лесу берлоги,
мохнатые ели,
чертовы болота,
на дыре — дыра,
и лесные до смерти бандиты надоели,
потому бандитам помирать пора.

Осенью поляны
все зарею вышиты,
ЧОНовский разведчик
выполз, глядит…
Ишь ты,
поди ж ты,
что же говоришь ты —
ты ль меня,
я ль тебя,
молодой бандит.
Это наша молодость —
школа комсомола,
где не разучивают слова: «боюсь»,
и зовут чужбиною
Царские Села,
и зовут отечеством
Советский Союз[49].

Точка —
ночью звезды
тлеют, как угли,
с ЧОНа отечество
идет, как с туза…
Васька Молчанов —
ты ли мне не друг ли?
Хоть бы написал товарищу раза́.

3

Вы на партработе —
тяжелое дело
брать за манишку бредущих наугад,
как щенков натаскивать,
чтобы завертело
в грохоте ударных и сквозных бригад.
Я сижу и думаю —
мальчики что надо,
каждый знает дело,
не прет на авось, —
«Молодость и дружба» — сквозная бригада
через пятилетье, большое насквозь.

4

Предположим вызов.
Военное времечко —
встанут на границах особые полки.
Офицеру в темечко
влипнет, словно семечко,
разрывная пуля из нашей руки.

Все возьмем нахрапом —
разорвись и тресни,
генерал задрипанный, замри на скаку…
Может, так и будет,
как поется в песне:
«Были два товарища
в одном они полку…»[50]

5

Слова-ребятишки
падают, как шишки, —
все мы дело делаем,
как и до сих пор;
думку о разлуке вытрави и выжги,
дело — наша встреча,

веселый разговор.

Мы повсюду вместе —
мальчики что надо,
будьте покойнички,
каждый — вырви-гвоздь…
«Молодость и дружба» — сквозная бригада
через пятилетье, большое насквозь.

Все на плечи подняли
и в работу взяли,
с дружбы и молодости
ходим, как с туза…

Милые приятели —
вы ли не друзья ли?
Хоть бы написали товарищу раза́.

<1931>

Продолжение жизни

Я нюхал казарму, я знаю устав,
я жизнь проживу по уставу:
учусь ли, стою ль на посту у застав —
везде подчинен комсоставу.

Горит надо мною штыка острие,
военная дует погода, —
тогда непосредственное мое
начальство — товарищ комвзвода.

И я, поднимаясь над уймой забот,
я — взятый в работу крутую —
к тебе заявляюсь, товарищ комвзвод,
тебе обо всем рапортую.

И, помня наказ обстоятельный твой,
я верен, как пули комочек,
я снова в работе, боец рядовой,
товарищ, поэт, пулеметчик.

Я знаю себя и походку свою,

я молод, настойчив, не робок,
и если погибну, погибну в бою
с тобою, комвзвода, бок о бок.

Восходит сияние летнего дня,
хорошую красит погоду,
и только не видно тебя и меня,
товарищей наших по взводу.

Мы в мягкую землю ушли головой,
нас тьма окружает глухая,
мы тонкой во тьме прорастаем травой,
качаясь и благоухая.

Зеленое, скучное небытие,
хотя бы кровинкою брызни,
достоинство наше — твое и мое —
в другом продолжении жизни.

Все так же качаются струи огня,
военная дует погода,
и вывел на битву другого меня
другой осторожный комвзвода.

За ними встревожена наша страна,
где наши поля и заводы:
затронута черным и смрадным она
дыханьем военной погоды.

Что кровно и мне и тебе дорога,
сиреной приглушенно воя,
громадною силой идет на врага
по правилам тактики боя.

Врага окружая огнем и кольцом,
медлительны танки, как слизни,
идут коммунисты, немея лицом, —
мое продолжение жизни.

Я вижу такое уже наяву,
хотя моя участь иная, —
выходят бойцы, приминая траву,
меня сапогом приминая.

Но я поднимаюсь и снова расту,
темнею от моря до моря.
Я вижу земную мою красоту
без битвы, без крови, без горя.

Я вижу вдали горизонты земли —
комбайны, качаясь по краю,
ко мне, задыхаясь, идут…
Подошли.
Тогда я совсем умираю.

<1932>

«Большая весна наступает с полей…»

Большая весна наступает с полей,
с лугов, от восточного лога —
рыдая, летят косяки журавлей,
вонючая стынет берлога.

Мальчишки поют и не верят слезам,
девчонки не знают покоя,
а ты поднимаешь к раскосым глазам
двустволку центрального боя.

Весна наступает — погибель твоя,
идет за тобой по оврагу, —
ты носишь четырнадцать фунтов ружья,
табак, патронташ и баклагу.

Ты по лесу ходишь, и луны горят,
ты видишь на небе зарницу;
она вылетает — ружейный заряд, —
слепя перелетную птицу.

И, белый как туча, бросается дым
в болото прыжком торопливым,
что залито легким, родным, золотым
травы небывалым отливом.

И все для тебя — и восход голубой,
и мясо прекрасное хлеба, —
ты спишь одинок, и стоит над тобой,

простреленo звездами, небо.

Тоска по безлюдью темна и остра,
она пропадет увядая,
коль кружатся желтые перья костра
и песня вдали молодая.

Я песню такую сейчас украду
и гряну пронзительно, люто —
я славлю тебя, задыхаясь в бреду,
весна без любви и уюта!

<1932>

«Тосковать о прожитом излишне…»

Тосковать о прожитом излишне,
но печально вспоминаю сад, —
там теперь, наверное, на вишне
небольшие ягоды висят.

Медленно жирея и сгорая,
рыхлые качаются плоды,
молодые,
полные до края
сладковатой и сырой воды.

Их по мере надобности снимут
на варенье
и на пастилу.
Дальше — больше,
как диктует климат,
осень пронесется по селу.

Мертвенна,
облезла
и тягуча —
что такое осень для меня?
Это преимущественно — туча
без любви,
без грома,
без огня.

Вот она, —
подвешена на звездах,
гнет необходимое свое,
и набитый изморозью воздух
отравляет наше бытие.

Жители!
Спасайте ваши души,
заползайте в комнатный уют, —
скоро монотонно
прямо в уши
голубые стекла запоют.

Но, кичась непревзойденной силой,
я шагаю в тягостную тьму
попрощаться с яблоней, как с милой
молодому сердцу моему.

Встану рядом,
от тебя ошую[51],
ты, пустыми сучьями стуча,
чувствуя печаль мою большую,
моего касаешься плеча.

Дождевых очищенных миндалин
падает несметное число…

Я пока еще сентиментален,
оптимистам липовым назло.

<1932>

Сыновья своего отца

Три желтых, потертых собачьих клыка
ощерены дорого-мило —
три сына росли под крылом кулака,
два умных, а третий — Гаврила.

Его отмечает звезда Козерог[52].
Его появленьем на свете
всему населенью преподан урок,
что есть неразумные дети.

Зачем не погиб он, зачем не зачах
сей выродок в мыслящем мире
и вырос — мясистая сажень в плечах,
а лоб — миллиметра четыре.

Поганка на столь безответной земле,
грехи человека умножа,
растет он и пухнет — любимец в семье,
набитая ливером кожа.

Не резкая молния бьет о скалу,
не зарево знойное пышет —
гуляет Гаврила один по селу,
на улицу заполночь вышед.

Не грозный по тучам катается гром,
хрипя в отдалении слабо, —
Гаврилиной обуви матовый хром
скрипит, как сварливая баба.

Скрипит про Гаврилу, его похвальбу,
что служит Гавриле наградой, —
Гаврила идет.
Завитушка на лбу
Пропитана жирной помадой.

Глядите, какой молодчина, храбрец,
несчастной семьи оборона, —
в кармане его притаился обрез —
в обрезе четыре патрона.

А тучам по небу шататься невмочь,
лежат, как нашлепки навоза…
В такую ненастную, дряблую ночь
умрет председатель колхоза.

И только соседи увидят одно —
со злобы мыча по-коровьи —
разбитое вдребезги пулей окно
и черную ленточку крови.

Тяжелым и скорбным запахнет грехом,
пойдут, как быки, разъяренно,

дойдут… А наутро прискачет верхом,
сопя, человек из района.

Он в долгом пути растеряет слова
и сон. Припадая на гриву,
увидит — Гаврилы лежит голова,
похожа на мятую сливу.

Ободраны щеки, и кровь на висках,
как будто она побывала в тисках.
Глаза помутнели, как рыбьи грязны,
и тело затронуло тленье…

Что значит, что приговор нашей страны
уже приведен в исполненье.

<1932>

Песня о встречном

[53]

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

И радость поет, не скончая,
И песня навстречу идет,
И люди смеются, встречая,
И встречное солнце встает.

Горячее и бравое,
Бодрит меня.
Страна встает со славою
На встречу дня.

Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнешься друзьям,

С которыми труд и забота,
И встречный, и жизнь — пополам.

За Нарвскою заставою,
В громах, в огнях,
Страна встает со славою
На встречу дня.

И с ней до победного края
Ты, молодость наша, пройдешь,
Покуда не выйдет вторая
Навстречу тебе молодежь.

И в жизнь вбежит оравою,
Отцов сменя.
Страна встает со славою
На встречу дня.

…И радость никак не запрятать,
Когда барабанщики бьют:
За нами идут октябрята,
Картавые песни поют.

Отважные, картавые,
Идут, звеня.
Страна встает со славою
На встречу дня!

Такою прекрасною речью
О правде своей заяви.
Мы жизни выходим навстречу,
Навстречу труду и любви!

Любить грешно ль, кудрявая,
Когда, звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

1932

Вошь

Вошь ползет на потных лапах

по безбрежию рубах,
сукровицы сладкий запах
вошь разносит на зубах.

Вот лежит он, смерти вторя,
сокращая жизни срок,
этот серый, полный горя,
полный гноя пузырек.

Как дробинку, можно трогать,
видеть глазки, черный рот,
из подмышки взять под ноготь —
он взорвется и умрет.

Я плыву в сознанье рваном,
в тело налита жара,
а на ногте деревянном
засыхает кожура.

По моей мясистой туше
гибель верная идет,
и грызет меня, и тут же
гниду желтую кладет.

День осенний смотрит хмуро.
Тридцать девять.
Тридцать пять.
Скачет вверх температура
и срывается опять.

Дурнота, тоска и муки,
и звонки со всех сторон.
Я плыву, раскинув руки,
я — уже не я, а он.

Разве я сквозь дым и стужу
пролетаю в край огня?
Кости вылезли наружу
и царапают меня.

Из лиловой грязи мрака
лезет смерти торжество,
и заразного барака
стены стиснули его.

Вот опять сиделки-рохли
не несут ему питье,
губы сини, пересохли —
он впадает в забытье.

Да, дела непоправимы,
ждали кризиса вчера,
и блестят, как херувимы,
голубые доктора.

Неужели же, товарищ,
будешь ты лишен души,
от мельчайшей гибнешь твари,
от комочка, ото вши?

Лучше, желтая обойма,
гибель верную яви,
лучше пуля, лучше бойня —
луговина вся в крови.

Так иль сяк, в обоем разе
все равно, одно и то ж —
это враг ползет из грязи,
пуля, бомба или вошь.

Вот лежит он, смерти вторя,
сокращая жизни срок,
этот серый, полный горя,
полный гноя пузырек.

И летит, как дьявол грозный,
в кругосветный перегон,
мелом меченный, тифозный,
фиолетовый вагон.

Звезды острые, как бритвы,
небом ходят при луне.
Все в порядке.
Вошь и битвы —
мы, товарищ, на войне.

1932

«Ты шла ко мне пушистая, как вата…»

Ты шла ко мне пушистая, как вата,
тебя, казалось, тишина вела, —
последствиями малыми чревата
с тобою встреча, Аннушка, была.

Но все-таки
своим считаю долгом
я рассказать, ни крошки не тая,
о нашем и забавном и недолгом
знакомстве,
Анна Павловна моя.

И ты прочтешь.
Воздашь стихотворенью
ты должное…
Воспоминаний рой…
Ты помнишь?
Мы сидели под сиренью, —
конечно же, вечернею порой.

(Так вспоминать теперь никто не может:
у критики характер очень крут…
— Пошлятина, — мне скажут,
уничтожат
и в порошок немедленно сотрут.)

Но продолжаю.
Это было летом
(прекрасное оно со всех сторон),
я, будучи шпаной и пистолетом,
воображал, что в жизни умудрен.

И модные высвистывал я вальсы
с двенадцати примерно до шести:
«Где вы теперь?
Кто вам целует пальцы?»[54]
И разные:
«Прости меня, прости…»[55]

Действительно — где ты теперь, Анюта,
разгуливаешь, по ночам скорбя?
Вот у меня ни скорби, ни уюта,

я не жалею самого себя.

А может быть,
ты выскочила замуж,
спокойствие и счастье обрела,
и девять месяцев прошло,
а там уж
и первенец —
обычные дела.

Я скоро в гости, милая, приеду,
такой, как раньше, —
с гонором, плохой,
ты обязательно зови меня к обеду
и угости ватрушкой и ухой.

Я сына на колене покачаю
(ты только не забудь и позови)…
Потом, вкусив малины,
с медом чаю,
поговорю о «странностях любви»[56].

1932

Семейный совет

Ночь, покрытая ярким лаком,
смотрит в горницу сквозь окно.
Там сидят мужики по лавкам —
все наряженные в сукно.

Самый старый, как стерва зол он,
горем в красном углу прижат —
руки, вымытые бензолом,
на коленях его лежат.

Ноги высохшие, как бревна,
лик от ужаса полосат,
и скоромное масло ровно
застывает на волосах.

А иконы темны, как уголь,
как прекрасная плоть земли,

и, усаженный в красный угол,
как икона, глава семьи.

И безмолвие дышит: нешто
все пропало? Скажи, судья…
И глядят на тебя с надеждой
сыновья и твои зятья.

Но от шороха иль от стука
все семейство встает твое,
и трепещется у приступка
в струнку замершее бабье.

И лампады большая плошка
закачается на цепях —
о ли ветер стучит в окошко,
то ли страх на твоих зубах.

И заросший, косой как заяц, твой
неприятный летает глаз:
— Пропадает мое хозяйство,
будь ты проклят, рабочий класс!

Только выйдем — и мы противу —
бить под душу и под ребро,
не достанется коллективу
нажитое мое добро.

Чтобы видел поганый ворог,
что копейка моя дорога,
чтобы мозга протухший творог
вылезал из башки врага…

И лица голубая опухоль
опадает и мякнет вмиг,
и кулак тяжелее обуха
бьет без промаха напрямик.

Младший сын вопрошает: «Тятя!»
Остальные молчат — сычи.
Подловить бы, сыскать бы татя[57],
что крадется к тебе в ночи.

Половицы трещат и гнутся —

поднимается старший сын:
— Перебьем, передавим гнуса,
перед Богом заслужим сим.

Так проходят минуты эти,
виснут руки, полны свинца,
и навытяжку встали дети —
сыновья своего отца.

А отец налетает зверем,
через голову хлещет тьма:
— Все нарушим, сожжем, похерим —
скот, зерно и свои дома.

И навеки пойдем противу —
бить под душу и под ребро, —
не достанется коллективу
нажитое мое добро.

Не поверив ушам и глазу,
с печки бабка идет тоща,
в голос бабы завыли сразу,
задыхаясь и вереща.

Не закончена действом этим
повесть правильная моя,
самый старый отходит к детям —
дальше слово имею я.

Это наших ребят калеча,
труп завертывают в тряпье,
это рухнет на наши плечи
толщиною в кулак дубье.

И тогда, поджимая губы,
коренасты и широки,
поднимаются лесорубы,
землеробы и батраки.

Руки твердые, словно сучья,
камни, пламенная вода
обложили гнездо паучье,
и не вырваться никуда.

А ветра, грохоча и воя,
пролагают громаде след.
Скоро грянет начало боя.
Так идет на совет — Совет.

1932

Убийца

От ногтя до локтя длиною,
непорочна, чиста, свежа,
блещет синяя под луною
сталь отточенного ножа.

А потом одного порядка
и заход с одного конца —
как железная рукоятка
в как железной руке отца.

Он замучился, к черту, за день
у раздумий в тугом кольце,
наподобие свежих ссадин —
пятна синие на лице.

Что-то глотка его охрипла,
пота зернышки, как пшено,
но в ладонь рукоятка влипла —
все обдумано, решено.

Он в подполье надулся квасом,
часа ждет,
захватило дух…
Вот, встревоженный первым часом,
задохнулся во тьме петух.

Это знак.
Но тоска, однако,
жарит губы, печет лицо.
Потрясенный тоскою знака,
он шагнул на свое крыльцо.

Он шагнул далеко и прямо —
нож в ладони —

вперед, пора…
Перед ним голубая яма
пряно пахнущего двора.

От морозного, легкого взлома
желтовата, местами темна,
над хлевами трещит солома,
привезенная днем с гумна.

Жарко дышат родные кони,
куры сонные у плеча,
нож в ладони,
фонарь в ладони —
два сверкающие луча.

Нож в ладони.
В лепешку коровью,
в эту пакость, летит сперва,
обливаясь пунцовой кровью,
петушиная голова —
знак подавшая к бою…
Та ведь…
Рассыпаются куры кругом…
Стервенеет хозяин — давит
кур клокочущих сапогом.

Жадно скалит зубов огрызки,
нож горит,
керосиновый чад —
на ногах кровяные брызги,
кости маленькие трещат.

Птицы скоро порезаны.
Уж они
не трепещутся.
Пух до небес.
И на двор летит из конюшни
Серый. В яблоках. Жеребец.

Он себе не находит места,
сталь на желтых его зубах —
это слава всего уезда
ходит по двору на дыбах.

Попрощайся с красою с этою.
Вот он мечется, ищет лаз,
и кровавые змейки сетью,
как ловушка, накрыли глаз.

— Пропадай, жеребенок, к черту,
погибай от ножа… огня… —
И хозяин берет за челку
настороженного коня.

Кровь, застывшую словно патоку,
он стирает с ножа рукой,
стонет,
колет коня под лопатку —
на колени рушится конь,
слабнет,
роет навоз копытом —
смерть выходит со всех сторон,
только пух на коне убитом
мокнет, красен,
потом — черен.

А хозяин в багровых росах,
облит росами, как из ведра, —
он коров и свиней поросых
режет начисто до утра.

Бойня. Страшная вонь. Отрава.
Задыхаясь, уже на заре
он любимого волкодава
убивает в его конуре.

Он солому кладет на срубы
и на трупы коров, коня,
плачет,
лижет сухие губы
золотым языком огня.

Ноги, красные, как у аиста,
отмывает,
бросает нож:
— Получай, коллектив, хозяйство —
ты под пеплом его найдешь…

Он пойдет по дорогам нищим,
будет клянчить на хлеб и квас…
Мы, убийца, тебя разыщем —
не уйдешь далеко от нас.

Я скажу ему — этой жиле:
— Ты чужого убил коня,
ты амбары спалил чужие…
Только он не поймет меня.

1932

«Я замолчу, в любови разуверясь…»

Я замолчу, в любови разуверясь, —
она ушла по первому снежку,
она ушла —
какая чушь и ересь
в мою полезла смутную башку.

Хочу запеть,
но это словно прихоть,
я как не я, и все на стороне, —
дымящаяся папироса, ты хоть
пойми меня и посоветуй мне.

Чтобы опять от этих неполадок,
как раньше, не смущаясь ни на миг,
я понял бы, что воздух этот сладок,
что я во тьме шагаю напрямик.

Что не пятнал я письма слезной жижей
и наволочек не кусал со зла,
что все равно мне, смуглой или рыжей,
ты, в общем счете подлая, была.

И попрощаюсь я с тобой поклоном.
Как хорошо тебе теперь одной —
на память мне флакон с одеколоном
и тюбики с помадою губной.

Мой стол увенчан лампою горбатой,
моя кровать на третьем этаже.

Чего еще? —
Мне только двадцать пятый,
мне хорошо и весело уже.

<1933>

«Мы хлеб солили крупной солью…»

Мы хлеб солили крупной солью,
и на ходу, легко дыша,
мы с этим хлебом ели сою
и пили воду из ковша.

И тучи мягкие летели
над переполненной рекой,
и в неуютной, злой постели
мы обретали свой покой.

Чтобы, когда с утра природа
воспрянет, мирна и ясна,
греметь водой водопровода,
смывая недостатки сна.

По комнате шагая с маху,
в два счета убирать кровать,
искать потертую рубаху
и басом песню напевать.

Тоска, себе могилу вырой —
я песню легкую завью, —
над коммунальною квартирой
она подобна соловью.

Мне скажут черными словами,
отринув молодость мою,
что я с закрытыми глазами
шаманю и в ладоши бью.

Что научился только лгать
во имя оды и плаката, —
о том, что молодость богата,
без основанья полагать.

Но я вослед за песней ринусь,
могучей завистью влеком, —
со мной поет и дразнит примус
меня лиловым языком.

<1933>

Охота

Я, сказавший своими словами,
что ужасен синеющий лес,
что качается дрябло над нами
омертвелая кожа небес,
что, рыхлея, как манная каша,
мы забудем планиду свою,
что конечная станция наша —
это славная гибель в бою, —

я, мятущийся, потный и грязный
до предела, идя напролом,
замахнувшийся песней заразной,
как тупым суковатым колом, —
я иду под луною кривою,
что жестоко на землю косит,
над пропащей и желтой травою
светлой россыпью моросит.

И душа моя, скорбная видом,
постарела не по годам, —
я товарища в битве не выдам
и подругу свою не предам.
Пронесу отрицание тлена
по дороге, что мне дорога,
и уходит почти по колено
в золотистую глину нога.

И гляжу я направо и прямо,
и налево и прямо гляжу, —
по дороге случается яма,
я спокойно ее обхожу.
Солнце плавает над головами,
я еще не звоню в торжество,
и, сказавший своими словами,

я еще не сказал ничего.

Но я вынянчен не на готовом,
я ходил и лисой и ужом,
а теперь на охоту за словом
я иду, как на волка с ножом.
Только говор рассыплется птичий
над зеленою прелестью трав,
я приду на деревню с добычей,
слово жирное освежевав.

<1933>

«В Нижнем Новгороде с Откоса…»

В Нижнем Новгороде с Откоса[58]
чайки падают на Пески[59],
все девчонки гуляют без спроса
и совсем пропадают с тоски.
Пахнет липой, сиренью и мятой,
небывалый слепит колорит,
парни ходят —
картуз помятый, —
папироска во рту горит.

Вот повеяло песней далекой,
ненадолго почудилось всем,
что увидят глаза с поволокой,
позабытые всеми совсем.
Эти вовсе без края просторы,
где горит палисадник любой,
Нижний Новгород,
Дятловы горы,
ночью сумрак чуть-чуть голубой.

Влажным ветром пахнуло немного,
легким дымом,
травою сырой,
снова Волга идет, как дорога,
вся покачиваясь под горой.

Снова, тронутый радостью долгой,
я пою, что спокойствие — прах,

что высокие звезды над Волгой
тоже гаснут на первых порах.
Что напрасно, забытая рано,
хороша, молода, весела,
как в несбыточной песне, Татьяна
В Нижнем Новгороде жила.

Вот опять на Песках, на паромах
ночь огромная залегла,
дует запахом чахлых черемух,
налетающим из-за угла,
тянет дождиком,
рваною тучей
обволакивает зарю, —
я с тобою на всякий случай
ровным голосом говорю.

Наши разные разговоры,
наши песенки вперебой.
Нижний Новгород,
Дятловы горы,
ночью сумрак чуть-чуть голубой.

<1933>

Ящик моего письменного стола

В. Стеничу[60]

Я из ряда вон выходящих
сочинений не сочиню,
я запрячу в далекий ящик
то, чего не предам огню.

И, покрытые пыльным смрадом,
потемневшие до костей,
как покойники, лягут рядом
клочья мягкие повестей.

Вы заглянете в стол.
И вдруг вы
отшатнетесь —
тоска и страх:

как могильные черви, буквы
извиваются на листах.

Муха дохлая — кверху лапки,
слюдяные крылья в пыли.
А вот в этой багровой папке
стихотворные думы легли.

Слушай —
и дребезжанье лиры
донесется через года
про любовные сувениры,
про январские холода,
про звенящую сталь Турксиба
и «Путиловца» жирный дым,
о моем комсомоле — ибо
я когда-то был молодым.

Осторожно,
рукой не трогай —
расползется бумага. Тут
все о девушке босоногой —
я забыл, как ее зовут.

И качаюсь, большой, как тень, я,
удаляюсь в края тишины,
на халате моем сплетенья
и цветы изображены.

И какого дьявола ради,
одуревший от пустоты,
я разглядываю тетради
и раскладываю листы?

Но наполнено сердце спесью,
и в зрачках моих торжество,
потому что я слышу песню
сочинения моего.

Вот летит она, молодая,
а какое горло у ней!
Запевают ее, сидая
с маху конники на коней.

Я сижу над столом разрытым,
песня наземь идет с высот,
и подкованным бьет копытом,
и железо в зубах несет.

И дрожу от озноба весь я —
радость мне потому дана,
что из этого ящика песня
в люди выбилась хоть одна.

И сижу я — копаю ящик,
и ушла моя пустота.
Нет ли в нем каких завалящих,
но таких же хороших, как та?

1933

«Без тоски, без грусти, без оглядки…»

Без тоски, без грусти, без оглядки,
сокращая житие на треть,
я хотел бы на шестом десятке
от разрыва сердца умереть.

День бы синей изморозью капал,
небо бы тускнело вдалеке,
я бы, задыхаясь, падал на пол,
кровь еще бежала бы в руке.

Песни похоронные противны.
Саван из легчайшей кисеи.
Медные бы положили гривны
на глаза заплывшие мои.

И уснул я без галлюцинаций,
белый и холодный, как клинок.
От общественных организаций
поступает за венком венок.

Их положат вперемешку, вместе —
к телу собирается народ,
жалко — большинство венков из жести, —
дескать, ладно, прах не разберет.

Я с таким бы предложеньем вылез
заживо, покуда не угас,
чтобы на живые разорились —
умирают в жизни только раз.

Ну, да ладно. И на том спасибо.
Это так, для пущей красоты.
Вы правы, пожалуй, больше, ибо
мертвому и мертвые цветы.

Грянет музыка. И в этом разе,
чтобы каждый скорбь воспринимал,
все склоняются.
Однообразен
похоронный церемониал.

……
Впрочем, скучно говорить о смерти,
попрошу вас не склонять главу,
вы стихотворению не верьте, —
я еще, товарищи, живу.

Лучше мы о том сейчас напишем,
как по полированным снегам
мы летим на лыжах,
песней дышим
и работаем на страх врагам.

1933

«Под елью изнуренной и громоздкой…»

Под елью изнуренной и громоздкой,
что выросла, не плача ни о ком,
меня кормили мякишем и соской,
парным голубоватым молоком.

Она как раз качалась на пригорке,
природе изумрудная свеча.
От мякиша избавленные корки
собака поедала клокоча.

Не признавала горести и скуки
младенчества животная пора.
Но ель упала, простирая руки,
погибла от пилы и топора.

Пушистую траву примяла около,
и ветер иглы начал развевать.
Потом собака старая подохла,
а я остался жить да поживать.

Я землю рыл,
я тосковал в овине,
я голодал во сне и наяву,
но не уйду теперь на половине
и до конца как надо доживу.

И по чьему-то верному веленью —
такого никогда не утаю —
я своему большому поколенью
большое предпочтенье отдаю.

Прекрасные,
тяжелые ребята, —
кто не видал —
воочию взгляни, —
они на промыслах Биби-Эйбата,
и на пучине Каспия они.

Звенящие и чистые, как стекла,
над ними ветер дует боевой…

Вот жалко только,
что собака сдохла
и ель упала книзу головой.

1933

«Лес над нами огромным навесом…»

Лес над нами огромным навесом —
корабельные сосны,
казна, —
мы с тобою шатаемся лесом,

незабвенный товарищ Кузьма[61].

Только птицы лохматые, воя,
промелькнут, устрашая, грозя,
за плечами центрального боя
одноствольные наши друзья.

Наша молодость, песня и слава,
тошнотворный душок белены,
чернораменье до лесосплава,
занимает собой полстраны.

Так и мучимся, в лешего веря,
в этом логове, тяжком, густом;
нас порою пугает тетеря,
поднимая себя над кустом.

На болоте ни звона, ни стука,
все загублено злой беленой;
тут жила, по рассказам, гадюка
в половину болота длиной.

Но не верится все-таки — что бы
тишина означала сия?
Может, гадина сдохла со злобы,
и поблекла ее чешуя?

Знаю, слышу, куда ни сунусь,
что не вечна ни песня, ни тьма,
что осыплется осень, как юность,
словно лиственница, Кузьма.

Колет руку неловкая хвоя
подбородка и верхней губы.
На планете, что мчится воя,
мы поднимемся, как дубы.

Ночь ли,
осень ли,
легкий свет ли,
мы летим, как планета вся,
толстых рук золотые ветви
над собой к небесам занеся.

И, не тешась любовью и снами,
мы шагаем, навеки сильны;
в ногу вместе с тяжелыми, с нами,
ветер с левой идет стороны.

И деревьев огромные трубы
на песчаные лезут бугры,
и навстречу поют лесорубы
и камнями вострят топоры.

1933

Из летних стихов

Все цвело.
Деревья шли по краю
розовой, пылающей воды;
я, свою разыскивая кралю,
кинулся в глубокие сады.
Щеголяя шелковой обновой,
шла она.
Кругом росла трава.
А над ней — над кралею бубновой —
разного размера дерева.
Просто куст, осыпанный сиренью,
золотому дубу не под стать,
птичьему смешному населенью
все равно приказано свистать.
И на дубе темном, на огромном,
тоже на шиповнике густом,
в каждом малом уголке укромном
и под начинающим кустом,
в голубых болотах и долинах
знай свисти
и отдыха не жди,
но на тонких на ногах, на длинных
подошли,
рассыпались дожди.
Пролетели.
Осветило снова
золотом зеленые края —
как твоя хорошая обнова,
Лидия веселая моя?

Полиняла иль не полиняла,
как не полиняли зеленя, —
променяла иль не променяла,
не забыла, милая, меня?

Вечером мы ехали на дачу,
я запел, веселья не тая, —
может, не на дачу —
на удачу, —
где удача верная моя?
Нас обдуло ветром подогретым
и туманом с медленной воды,
над твоим торгсиновским беретом[62]
плавали две белые звезды.
Я промолвил пару слов резонных,
что тепла по Цельсию вода,
что цветут в тюльпанах и газонах
наши областные города,
что летит особенного вида —
вырезная — улицей листва,
что меня порадовала, Лида,
вся подряд зеленая Москва.
Хорошо — забавно — право слово,
этим летом красивее я.
Мне понравилась твоя обнова,
кофточка зеленая твоя.
Ты зашелестела, как осина,
глазом повела своим большим:
— Это самый лучший…
Из Торгсина…
Импортный…
Не правда ль?
Крепдешин…
Я смолчал.
Пахну́ло теплым летом
от листвы, от песен, от воды —
над твоим торгсиновским беретом
плавали две белые звезды.
Доплыли до дачи запыленной
и без уважительных причин
встали там, где над Москвой зеленой
звезды всех цветов и величин.

Я сегодня вечером — не скрою —

одинокой птицей просвищу.
Завтра эти звезды над Москвою
с видимой любовью разыщу.

<1934>

Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое

Про того Громобоя[63] напасти
происходит легенда сия
от лишения жизни и власти
государя России всея.

Как зазвякали звезды на шпорах,
Громобой вылетает, высок, —
возле-около пыхает порох
и пропитанный кровью песок.

Возгласите хвалу Громобою,
что прекрасен донельзя собой, —
сорок армий ведет за собою,
состоя во главе, Громобой.

И упала от края до края
эта сила, как ливень камней,
угнетатели, прочь удирая,
засекают кубанских коней.

И графья,
и князья,
и бароны,
и паны — до урядника вплоть,
и терзают орлы и вороны
их убитую мягкую плоть.

Поразбросаны всюду, как рюхи,
насекомые скачут по лбам,
и тогда победителю в руки
телеграммы идут по столбам.

Громобой по печатному дока,
содержанье имеет в мозгу —

что в течение
краткого срока
самолично явиться в Москву…

Приказание буквой любою
получается, в сердце звеня,
и подводят коня Громобою —
Громобой не желает коня.

А моторы, качаясь и воя,
поднимаются прямо до звезд —
самолет до Москвы Громобоя
во мгновение ока довез.

Облака проплывают, как сало,
он рукой ощущает звезду,
и в Москве Громобой у вокзала
вылезает на полном ходу.

Возгласите хвалу Громобою,
что прекрасен донельзя собой,
он и нас поведет за собою,
состоя во главе, Громобой.

<1934>

Эдуарду Багрицкому[64]

Так жили поэты.

А. Блок[65]

Охотник, поэт, рыбовод…[66]

А дым растекался по крышам,
И гнилью гусиных болот
С тобою мы сызнова дышим.

Ночного привала уют
И песня тебе не на диво…
В одесской пивной подают[67]
С горохом багровое пиво,

И пена кипит на губе,

И между своими делами
В пивную приходят к тебе
И Тиль Уленшпигель и Ламме[68].

В подвале сыром и глухом,
Где слушают скрипку дрянную,
Один закричал петухом,
Другой заказал отбивную,

А третий — большой и седой —
Сказал:
— Погодите с едой,
Не мясом единственным сыты
Мы с вами, друзья одесситы,
На вас напоследок взгляну.
Я завтра иду на войну
С бандитами, с батькой Махною…[69]

Я, может, уже не спою
Ах, Черному, злому, ах, морю[70]
Веселую песню мою…

Один огорчился простак
И вытер ненужные слезы…
Другой улыбнулся:
— Коль так,
Багрицкий, да здравствуют гёзы[71]! —
А третий, ремнями звеня,
Уходит, седея, как соболь,
И на ночь копыто коня
Он щепочкой чистит особой.

Ложись на тачанку.
И вся
Четверка коней вороная,

Тачанку по ветру неся,
Копытами пыль подминая,
Несет партизана во тьму,
Храпя и вздыхая сердито,
И чудится ночью ему
Расстрел Опанаса-бандита…[72]
Охотник, поэт, рыбовод…
А дым растекался по крышам,

И гнилью гусиных болот
С тобою мы сызнова дышим.

И молодость — горькой и злой
Кидается, бьется по жилам,
По Черному морю и в бой —
Чем радовался и жил он.

Ты песни такой не отдашь,
Товарищ прекрасной породы.
Приходят к нему на этаж
Механики и рыбоводы,

Поэты идут гуртом
К большому, седому, как замять,
Садятся кругом — потом
Приходят стихи на память.

Хозяин сидит у стены,
Вдыхая дымок от астмы[73],
Как некогда дым войны,
Тяжелый, густой, опасный.

Аквариумы во мглу[74]
Текут зеленым окружьем,
Двустволки стоят в углу —
Центрального боя ружья.

Серебряная ножна
Кавалерийской сабли,
И тут же начнет меж нас
Его подмосковный зяблик[75].

И осени дальней цвесть,
И рыбам плескаться дружно,
И все в этой комнате есть,
Что только поэтам нужно.

Охотник, поэт, рыбовод,
Венками себя украся,
В гробу по Москве плывет,
Как по морю на баркасе.

И зяблик летит у плеча

За мертвым поэтом в погоне.
И сзади идут фырча
Кавалерийские кони[76].

И Ламме — толстяк и простак —
Стирает последние слезы,
Свистит Уленшпигель: коль так,
Багрицкий, да здравствуют гёзы…
И снова, не помнящий зла,
Рассвет поднимается ярок,
У моего стола
Двустволка — его подарок[77].

Разрезали воду ужи
Озер полноводных и синих.

И я приготовил пыжи
И мелкую дробь — бекасинник, —
Вставай же скорее,
Вставай
И руку на жизнь подавай.

2 марта 1934

Соловьиха

У меня к тебе дела такого рода,
что уйдет на разговоры вечер весь, —
затвори свои тесовые ворота
и плотней холстиной окна занавесь.
Чтобы шли подруги мимо,
парни мимо
и гадали бы и пели бы скорбя:
— Что не вышла под окошко, Серафима?
Серафима, больно скучно без тебя…
Чтобы самый ни на есть раскучерявый,
рвя по вороту рубахи алый шелк,
по селу Ивано-Марьину с оравой
мимо окон под гармонику прошел.
Он все тенором,
все тенором,
со злобой
запевал — рука протянута к ножу:

— Ты забудь меня, красавица,
попробуй…
Я тебе тогда такое покажу…
Если любишь хоть всего наполовину,
подожду тебя у крайнего окна,
постелю тебе пиджак на луговину
довоенного и тонкого сукна.
А земля дышала, грузная от жиру,
и от омута Соминого левей
соловьи сидели молча по ранжиру,
так что справа самый старый соловей.
Перед ним вода — зеленая, живая,
мимо заводей несется напролом —
он качается на ветке, прикрывая
соловьиху годовалую крылом.
И трава грозой весеннею измята,
дышит грузная и теплая земля,
голубые ходят в омуте сомята,
пол-аршинными[78] усами шевеля.
А пиявки, раки ползают по илу,
много ужаса вода в себе таит —
щука — младшая сестрица крокодилу —
неживая возле берега стоит…
Соловьиха в тишине большой и душной…

Вдруг ударил золотистый вдалеке,
видно, злой и молодой и непослушный,
ей запел на соловьином языке:
— По лесам,
на пустырях
и на равнинах
не найти тебе прекраснее дружка —
принесу тебе яичек муравьиных,
нащиплю в постель я пуху из брюшка.
Мы постелем наше ложе над водою,
где шиповники все в ро́занах стоят,
мы помчимся над грозою, над бедою
и народим два десятка соловьят.
Не тебе прожить, без радости старея,
ты, залетная, ни разу не цвела,
вылетай же, молодая, поскорее
из-под старого и жесткого крыла.

И молчит она,

все в мире забывая, —
я за песней, как за гибелью, слежу…
Шаль накинута на плечи пуховая…
— Ты куда же, Серафима?
— Ухожу. —
Кисти шали, словно перышки, расправя,
влюблена она,
красива,
нехитра —
улетела.
Я держать ее не вправе —
просижу я возле дома до утра.
Подожду, когда заря сверкнет по стеклам,
золотая сгаснет песня соловья —
пусть придет она домой
с красивым,
с теплым —
меркнут глаз его татарских лезвия.
От нее и от него
пахнуло мятой,
он прощается
у крайнего окна,
и намок в росе
пиджак его измятый
довоенного и тонкого сукна.

5 апреля 1934

«Знакомят молодых и незнакомых…»

Знакомят молодых и незнакомых
в такую злую полночь соловьи,
и вот опять секретари в райкомах
поют переживания свои.
А под окном щебечут клен и ясень,
не понимающие директив,
и в легкий ветер, что проходит, ясен,
с гитарами кидается актив.
И девушку с косой тяжелой, русской
(а я за неразумную боюсь)
прельщают обстоятельной нагрузкой,
любовью, вовлечением в союз.
Она уходит с пионервожатым

на озеро — и песня перед ней…
Над озером склонясь, как над ушатом,
они глядят на пестрых окуней.
Как тесен мир.
Два с половиной метра
прекрасного прибрежного песка,
да птица серая,
да посвист ветра,
да гнусная козявка у виска.
О чем же думать в полночь?
О потомках?
О золоте?
О ломоте спинной?
И песня задыхается о том, как
забавно под серебряной луной…
Под серебряной луной,
в голубом садочке,
над серебряной волной,
на златом песочке
мы радуемся — мальчики — и плачем,
плывет любовь, воды не замутив,
но все-таки мы кое-что да значим,
секретари райкомов и актив.

Я буду жить до старости, до славы
и петь переживания свои,
как соловьи щебечут, многоглавы,
многоязыки, свищут соловьи.

9 апреля 1934

Открытие лета

Часу в седьмом утра, зевая,
спросонья подойду к окну —
сегодня середина мая,
я в лето окна распахну.
Особенно мне ветер дорог,
он раньше встал на полчаса
и хлопаньем оконных створок
и занавеской занялся.
Он от Елагина, от парка,
где весла гнутся от воды,

где лето надышало жарко
в деревья,
в песню
и пруды,
в песок, раскиданный по пляжу,
в гирлянд затейливую пряжу,
в желающие цвесть сады…

Оно приносит населенью
зеленые свои дары,
насквозь пропахшее сиренью,
сиреневое от жары,
и приглашает птичьим свистом
в огромные свои сады,
все в новом,
ситцевом
и чистом,
и голубое от воды,
все золотое,
расписное,
большое,
легкое,
лесное,
на гичке острой,
на траве,
на сквозняке,
на светлом зное
и в поднебесной синеве.

Я ошалел от гама, свиста
и песни, рвущейся к окну, —
рубаху тонкого батиста
сегодня я не застегну.

Весь в легком, словно в паутинах,
туда, где ветер над рекой, —
я парусиновый ботинок
шнурую быстрою рукой,
туда, где зеленеет заросль,
где полводы срезает парус,
где две беды,
как полбеды,
где лето кинулось в сады.
Я позвоню своей дивчине

4-20-22,
по вышесказанной причине
скорей
туда,
на Острова.

Вы понимаете? Природа,
уединенье в глубь аллей —
мои четыре бутерброда
ей слаще всяких шницелей.
Мне по-особенному дорог,
дороже всяческих наград
мой расписной,
зеленый город,
в газонах, в песнях
Ленинград.
Я в нем живу,
пою,
ликую,
люблю
и радуюсь цветам,
и я его ни за какую
не променяю,
не отдам.

19 мая 1934

Мечта

Набитый тьмою, притаился омут,
разлегся ямой на моем пути.
Деревья наряжаются и стонут,
и силятся куда-нибудь уйти.
Не вижу дня,
не слышу песен прежних.
Огромна полночь, как вода густа.
Поблизости ударит о валежник
как по льду проскользнувшая звезда.
Мне страшно в этом логове природы —
висит сосны тяжелая клешня.
Меня, как зверя, окружают воды —
там щуки ударяются плашмя,
подскакивая к небу.
Воздух черен,
а по небу, где бурю пронесло,
рассеяно горячих, легких зерен
уму непостижимое число.
Но мне покой в любую полночь дорог, —
он снизойдет, огромный и густой,
и, золотой облюбовав пригорок,
я топором ломаю сухостой.
Я подомну сыреющие травы,
я разведу сияние костра —
едучий дым махорочной отравы,
сырая дрожь — предчувствие утра —
и не заснуть.
Кукушка куковала
позавчера мне семьдесят годов,
чтобы мое веселье побывало
и погуляло в сотне городов,
чтобы прошел я, все запоминая,
чтоб чистил в кавалерии коня,
чтоб девушка, какая-то иная,
не русская,
любила бы меня.
Она, быть может, будет косоглаза,
и некрасива, может быть, она.
Пролезет в сердце гулкое, пролаза,
и там начнет хозяйничать одна.
Деревья ходят парами со стуком,

летит вода,
рождаются года, —
мы сына назовем гортанным звуком,
высоким именем: Карабада.
«Ты покачай Карабаду,
баюкай,
чтоб не озяб, подвинь его к огню».
С какой тоской
и с радостью
и мукой
Карабаде я песню сочиню!
Пройдут его мальчишеские годы,
а он ее запомнит, как одну,
про разные явления природы,
про лошадей,
про саблю,
про войну,
про заячью охоту,
про осину,
про девушку, не русскую лицом,
и никогда не будет стыдно сыну
за песню, сочиненную отцом…
Но мне — пора.
В болоте кряковая
свой выводок пушистый повела.
До вечера мечтанья забывая,
патроны в оба двигаю ствола.
Еще темно,
но лес уже звучащим
тяжелым телом движется вдали,
и птицы просыпаются по чащам,
и девушки по ягоды пошли.

21 августа 1934
Москва

Вечер

Гуси-лебеди пролетели,
чуть касаясь крылом воды,
плакать девушки захотели
от неясной еще беды.
Прочитай мне стихотворенье,

как у нас вечера свежи,
к чаю яблочного варенья
мне на блюдечко положи.
Отчаевничали, отгуляли,
не пора ли, родная, спать, —
спят ромашки на одеяле,
просыпаются ровно в пять.
Вечер тонкий и комариный,
погляди, какой расписной,
завтра надо бы за малиной,
за пахучею,
за лесной.
Погуляем еще немного,
как у вас вечера свежи!
Покажи мне за ради бога,
где же Керженская дорога,
обязательно покажи.
Постоим под синей звездою.
День ушел со своей маетой.
Я скажу, что тебя не стою,
что тебя называл не той.
Я свою называю куклой —
брови выщипаны у ней,
губы крашены спелой клюквой,
а глаза синевы синей.
А душа — я души не знаю.
Плечи теплые хороши.
Земляника моя лесная,
я не знаю ее души.
Вот уеду. Святое слово,
не волнуясь и не любя,
от Ростова до Бологого
буду я вспоминать тебя.
Золотое твое варенье,
кошку рыжую на печи,
птицу синего оперения,
запевающую в ночи.

30 сентября 1934
Н. Петергоф

Одиночество

Луны сиянье белое
сошло на лопухи,
ревут, как обалделые,
вторые петухи.
Река мерцает тихая
в тяжелом полусне,
одни часы, тиктикая,
шагают по стене.
А что до сна касаемо,
идет со всех сторон
угрюмый храп хозяина,
усталый сон хозяина,
ненарушимый сон.
Приснился сон хозяину:
идут за ним грозя,
и убежать нельзя ему,
и спрятаться нельзя.
И руки, словно олово,
и комната тесна,
нет, более тяжелого
он не увидит сна.
Идут за ним по клеверу,
не спрятаться ему,
ни к зятю,
и ни к деверю,
ни к сыну своему.
Заполонили поле,
идут со всех сторон,
скорее силой воли
он прерывает сон.
Иконы все, о господи,
по-прежнему висят,
бормочет он:
— Овес, поди,
уже за пятьдесят.
А рожь, поди, кормилица,
сама себе цена.
— Без хлеба истомилися,
скорей бы новина.
Скорей бы жатву сладили,
на мельницу мешок,
над первыми оладьями
бы легкий шел душок.
Не так бы жили грязненько,

закуски без числа,
хозяйка бы для праздника
бутылку припасла.
Знать, бога не разжалобить,
а жизнь невесела,
в колхозе, значит, стало быть,
пожалуй, полсела.
Вся жизнь теперь
у них она,
как с табаком кисет…
Встречал соседа Тихона:
— Бог помочь, мол, сосед…
А он легко и просто так
сказал, прищуря глаз:
— В колхозе нашем господа
не числятся у нас.
У нас поля — не небо,
земли большой комок,
заместо бога мне бы
ты лучше бы помог.
Вот понял в этом поле я
(пословица ясна),
что смерть,
а жизнь тем более
мне на миру красна.
Овес у нас — высот каких…
Картошка — ананас…
И весело же все-таки
сосед Иван, у нас.
Вон косят под гармонику,
да что тут говорить,
старуху Парамониху
послали щи варить.
А щи у нас наваристы,
с бараниной, с гусем.
До самой точки — старости —
мы при еде, при всем.

* * *

На воле полночь тихая,
часы идут, тиктикая,

я слушаю хозяина —
он шепчет, как река.
И что его касаемо,
мне жалко старика.
С лица тяжелый, глиняный,
и дожил до седин,
и днем один,
и в ночь один,
и к вечеру один.
Но, впрочем, есть компания,
друзья у старика,
хотя, скажу заранее, —
собой невелика.
Царица мать небесная,
отец небесный царь
да лошадь бессловесная,
бессмысленная тварь.

* * *

Ночь окна занавесила,
но я заснуть не мог,
мне хорошо,
мне весело,
что я не одинок.
Мне поле песню вызвени,
колосья-соловьи,
что в Новгороде,
Сызрани
товарищи мои.

15 ноября 1934

Как от меда у медведя зубы начали болеть

Вас когда-нибудь убаюкивали, мурлыкая?
Песня маленькая,
а забота у ней великая,
на звериных лапках песенка,
с рожками,
с угла на угол ходит вязаными дорожками.

И тепло мне с ней
и забавно до ужаса…
А на улице звезды каменные кружатся…
Петухи стоят,
шеи вытянуты,
пальцы скрючены,
в глаз клевать с малолетства они приучены.
И луна щучьим глазом плывет замороженным,
елка мелко дрожит от холода
телом скореженным,
а над елкою мечется
птица черная,
птица дикая,
только мне хорошо и уютно:
песня трется о щеку, мурлыкая.

* * *

Спи, мальчишка, не реветь —
по садам идет медведь,
меду жирного, густого,
хочет сладкого медведь.
А за банею подряд
ульи круглые стоят,

все на ножках на куриных,
все в соломенных платках,
а кругом, как на перинах,
пчелы спят на васильках.

Спят березы в легких платьях
спят собаки со двора,
пчеловоды на полатях,
и тебе заснуть пора.

Спи, мальчишка, не реветь,
заберет тебя медведь,

он идет на ульи боком,
разевая старый рот,
и в молчании глубоком

прямо горстью мед берет,
прямо лапой, прямо в пасть
он пропихивает сласть.

И, конечно, очень скоро
наедается, ворча.
Лапа толстая у вора
вся намокла до плеча.

Он сосет ее и гложет,
отдувается: капут, —
он полпуда съел, а может,
не полпуда съел, а пуд.

Полежать теперь в истоме
волосатому сластене.

Убежать, пока из Мишки
не наделали колбас,
захватив себе под мышку
толстый улей про запас.

Спит во тьме собака-лодырь,
спят в деревне мужики,
через тын, через колоды
до берлоги, напрямки
он заплюхал, глядя на ночь,
волосатая гора,
Михаил — медведь — Иваныч, —
и ему заснуть пора.

Спи, мальчишка — не реветь —
не ушел еще медведь,
а от меда у медведя
зубы начали болеть.

Боль проникла как проныра,
заходила ходуном,
сразу дернуло,
заныло
в зубе правом коренном.
Засвистело,
затрясло.
щеку набок разнесло.

Обмотал ее рогожей,
потерял медведь покой,
был медведь — медведь пригожий,
а теперь на что похожий —
с перевязанной щекой,
некрасивый, не такой.

Скачут елки хороводом,
ноет пухлая десна,
где-то бросил улей с медом —
не до меду,
не до сна,
не до сладостей медведю,
не до радостей медведю.

* * *

Спи, мальчишка, не реветь,
зубы могут заболеть.

Шел медведь,
стонал медведь,
дятла разыскал медведь.
Это щеголь в птичьем свете,
в красном бархатном берете,
в тонком черном пиджаке,
с червяком в одной руке.

Нос у дятла весь точеный,
лакированный,
кривой,
мыт водою кипяченой,
свежей высушен травой.

Дятел знает очень много,
он медведю сесть велит,
дятел спрашивает строго:
— Что у вас, медведь, болит?

Зубы?
Где? —
С таким вопросом

он глядит медведю в рот
и своим огромным носом
у медведя зуб берет.

Приналег
и сразу грубо,
с маху выдернул его…
Что медведь — медведь без зуба?
Он без зуба ничего.
Не дерись
и не кусайся,
бойся каждого зверька,
бойся волка,
бойся зайца,
бойся хмурого хорька.

Скучно —
в пасти пустота,
разыскал медведь крота.

Подошел к медведю крот,
поглядел медведю в рот,
а во рту медвежьем душно,
зуб не вырос молодой —
крот сказал медведю: нужно
зуб поставить золотой.

Спи, мальчишка, надо спать,
в темноте медведь опасен,
он на все теперь согласен,
только б золото достать.

Крот сказал ему: покуда
подождите, милый мой,
я вам золота полпуда
накопаю под землей.
И уходит крот горбатый,
и в полях до темноты
роют землю, как лопатой,
ищут золото кроты.

Ночью где-то в огородах
откопали самородок.

Спи, мальчишка, не реветь,
ходит радостный медведь,
щеголяет зубом свежим,
пляшет Мишка молодой,
и горит во рту медвежьем
зуб веселый золотой.

Все синее, все темнее
над землей ночная тень.
Стал медведь теперь умнее,
чистит зубы каждый день,
много меду не ворует,
ходит пухлый и не злой
и сосновой пломбирует
зубы белые смолой.

Спи, мальчишка, не реветь,
засыпает наш медведь,
спят березы,
толстый крот
спать приходит в огород.
Рыба сонная плеснула,
дятлы вымыли носы
и заснули.
Все заснуло —
только тикают часы…

1934
[79]

Елка

Рябины пламенные грозди,
и ветра голубого вой,
и небо в золотой коросте
над неприкрытой головой.
И ничего —
ни зла, ни грусти.
Я в мире темном и пустом,
лишь хрустнут под ногою грузди,
чуть-чуть прикрытые листом.
Здесь все рассудку незнакомо,
здесь делай все — хоть не дыши,

здесь ни завета,
ни закона,
ни заповеди,
ни души.
Сюда как бы всего к истоку,
здесь пухлым елкам нет числа.
Как много их…
Но тут же сбоку
еще одна произросла,
еще младенец двухнедельный,
он по колено в землю врыт,
уже с иголочки,
нательной
зеленой шубкою покрыт.
Так и течет, шумя плечами,
пошатываясь,
ну, живи,
расти, не думая ночами
о гибели и о любви,
что где-то смерть,
кого-то гонят,
что слезы льются в тишине
и кто-то на воде не тонет
и не сгорает на огне.
Живи —
и не горюй,
не сетуй,
а я подумаю в пути:
быть может, легче жизни этой
мне, дорогая, не найти.
А я пророс огнем и злобой,
посыпан пеплом и золой, —
широколобый,
низколобый,
набитый песней и хулой.
Ходил на праздник я престольный,
гармонь надев через плечо,
с такою песней непристойной,
что Богу было горячо.
Меня ни разу не встречали
заботой друга и жены —
так без тоски и без печали
уйду из этой тишины.
Уйду из этой жизни прошлой,

веселой злобы не тая, —
и в землю втоптана подошвой —
как елка — молодость моя.

1934

Прадед

Сосны падают с бухты-барахты,
расшибая мохнатые лбы,
из лесов выбегая на тракты,
телеграфные воют столбы.
Над неслышной тропою свисая,
разрастаются дерева,
дует ветра струя косая,
и токуют тетерева.
Дым развеян тяжелым полетом
одряхлевшего глухаря,
над прогалиной, над болотом
стынет маленькая заря.
В этом логове нечисти много —
лешаки да кликуши одни,
ночью люди не нашего бога
золотые разводят огни.
Бородами покрытые сроду,
на высокие звезды глядят,
молча греют вонючую воду
и картофель печеный едят.
Молча слушают: ходит дубрава —
даже оторопь сразу берет,
и налево идет, и направо
и ревет, наступая вперед.
Самый старый, огромного роста,
до бровей бородат и усат,
под усами, шипя, как береста,
ядовитый горит самосад.
Это черные трупы растений
разлагаются на огне,
и мохнатые, душные тени
подступают вплотную ко мне.
Самый старый — огромный и рыжий,
прадед Яков идет на меня
по сугробу, осиновой лыжей

по лиловому насту звеня.
Он идет на меня, как на муки,
и глаза прогорают дотла,
горячи его черные руки,
как багровая жижа котла.
— Прадед Яков… Под утро сегодня
здесь, над озером, Керженца близ,
непорочная сила Господня
и нечистая сила сошлись.
Потому и ударила вьюга,
черти лысые выли со зла,
и — предвестница злого недуга —
лихоманка тебя затрясла.
Старый коршун — заела невзгода,
как медведь, подступила, сопя.
Я — последний из вашего рода —
по ночам проклинаю себя.
Я такой же — с надежной ухваткой,
с мутным глазом и с песней большой,
с вашим говором, с вашей повадкой,
с вашей тягостною душой.
Старый черт, безобразник и бабник,
дни, по-твоему, наши узки,
мало свиста и песен похабных,
мало горя, не больше тоски.
Вы, хлебавшие зелья вдосталь,
били даже того, кто не слаб,
на веку заимели до ста
щекотливых и рыжих баб.
Много тайного кануло в Каму,
в черный Керженец, в забытье,
но не имет душа твоя сраму,
прадед Яков — несчастье мое.
Старый коршун — заела невзгода,
как медведь, подступила, сопя.
Я — последний из вашего рода —
по ночам проклинаю себя.
Я себя разрываю на части
за родство вековое с тобой,
прадед Яков — мое несчастье, —
снова вышедший на разбой.
Бей же, взявший купца на мушку,
деньги в кучу, в конце концов
сотню сунешь в церковную кружку:

— На помин убиенных купцов, —
а потом
у своей Парани —
гармонисты,
истошный крик —
снова гирями, топорами
разговоры ведет старик.
Хлещет за полночь воплем и воем,
вы гуляете — звери — ловки,
вас потом поведут под конвоем
через несколько лет в Соловки.
Вы глаза повернете косые,
под конец подводя бытие,
где огромная дышит Россия,
где рождение будет мое.

1934

Ленинградские стихи

1

Снова сговором ветра и стужи
по садам засушило траву,
из тяжелой Маркизовой лужи
гнало воду обратно в Неву.

До Елагина,
до Голодая
шла вода, соразмерна беде,
и деревья, дрожа, холодая,
по колена стояли в воде.

Над Васильевским,
над Петроградской,
несмывающейся, дорогой,
небо крашено странною краской —
то ли черною,
то ли другой.

Что такое?
Зима, что ли, близко?

И туман по ночам моросит,
и по городу сыро и склизко,
и над городом темень висит.

Снова ветер —
по-сучьи завыл он,
задрожали во тьме Острова,
между Ладогою и заливом
вся пятниста от злобы Нева.

2

Мы с тобою в кино «Аврора»[80],
гаснут лампочки,
бьет звонок, —
ни улыбки,
ни разговора —
сабля,
гром лошадиных ног.
Песня вьется — залетный сокол,
тихо слушаю, не дыша:
запевает начдив высоко
про безмолвие Иртыша[81].
И казалось — не на экране —
пули бьют над живой рекой,
он платок прижимает к ране,
ощутимый моей рукой.
То взрываясь,
то потухая,
барабанная дробь вдали,
а кругом тишина глухая —
это каппелевцы пошли[82].
Сразу видно —
отчаянья ради
под огнем их ряды ровны,
и винтовки, как на параде,
и венгерки, и галуны.
Партизаны, глядите в оба!..
Да стреляйте же,
цельте в лоб.
Офицерская хлынет злоба,
захлестнет

и зальет окоп.
И стрельба,
и резня,
и рубка —
умирая, дернется бровь,
под штыком маслянистым хрупко
хрустнет горло,
и свистнет кровь.
Но Чапаева сила злая,
вся сверкающая бедой,
проливною саблей гуляя,
на кобыле своей гнедой.
А за ним его бурка струится,
он запомнится мне навек —
то не лошадь,
и то не птица,
и, пожалуй, не человек.
И атака уже отбита,
саблей срезаны галуны.
Тихо.
Только из-под копыта
камни брызгают до луны.

3

Хлынул свет, темноту пугая.
Этот вечер неповторим.
А теперь, моя дорогая,
погуляем,
поговорим
о Чапаеве,
о печали
и о вечере золотом,
о любви расскажу вначале,
о разлуке скажу потом.
Щеки яблочного налива,
хороша у тебя судьба,
оттопырена
и смешлива
чуть подкрашенная губа.
Ты веселая,
дай мне руки,

три часа говори подряд,
на «Светлане» твои подруги
— Ты хорошая, — говорят.
И печаль тебе незнакома,
и глаза зеленым горят,
парни Выборгского райкома
— Ты красивая, — говорят.
Расскажи мне про все про это,
чуть прищуря кошачий глаз,
как на выборах Ленсовета
выбираешь ты
в первый раз.

4

Ночью с первого на второе
со стихами,
влюблен и рад,
я по Мурманке до Свирьстроя
ехал в поезде в Ленинград.
Я в стихах сочинял о Свири,
о воде ее цвета травы
и о том, что в огромном мире
только мы, как всегда, правы.
Переносим, что всем известно,
нам и силы на то даны,
реки злые с места на место
в два километра ширины.
Я писал, как с боков седая,
вся смятение и беда,
сквозь гребенку
летит, рыдая,
перекошенная вода.
И раскинулся город новый
и к реке подошел в упор,
где когда-то стоял сосновый
и качался
и плакал
бор.

5

Это горести изобилие
с песнью хлынуло,
сбило с ног:
— В Ленинграде вчера убили…
Я поверить никак не мог.
Так же в городе моросило,
фонари мерцали стройны…
Киров.
Это же наша сила
и улыбка нашей страны.
Не сказать хорошо на бумаге,
как алели в туманной пыли
все знамена сегодня и флаги,
что деревья багряные шли,
шелестели.
Кусали губы
комсомольцы и слесаря.
Пели трубы,
гремели трубы,
о любви своей говоря.
О печали, что всем знакома,
и о ненависти своей.
Где-то пел, вылетая из грома,
скрипки яростной соловей.
И когда вся страна сказала
про любовь свою, про тоску, —
поезд с Кировым от вокзала,
задыхаясь, пошел в Москву, —
всех заводов сирены, воя,
звука тонкое острие
в небо бросили
про роковое,
про несчастное,
про свое…

1934

Мама

Ну, одену я — одежу —
новую, парадную…
Ну, приеду…
Что скажу?

Чем тебя порадую?
Золотыми ли часами?
Молодыми ли усами?
Встреча добрая такая —
по часам и по усам,
ты узнаешь, дорогая, —
зарабатываю сам.
Помнишь, ты меня родила,
на руках меня носила
и счастливою была.
Ты всегда меня просила —
будь моя утеха-сила, —
и Борисом назвала.
Помнишь, ты меня кормила
и слезою хлеб солила
и картошки напекла —
полагаю, не забыла,
сколько горя в жизни было,
как печальная была.
Ты, наверно, постарела.
(Постареем, мама, все.)
Красота твоя сгорела
на июльской полосе.
Скоро я к тебе приеду —
рослый, шляпа на боку,
прямо к жирному обеду,
к золотому молоку.
Я пройду красивым лугом,
как и раньше — молодцом,
вместе с мамой,
вместе с другом,
вместе с ласковым отцом.
Я скажу,
а вы поверьте,
плача,
радуясь,
любя,
никогда —
до самой смерти
не забуду я тебя.

<1935>

Из автобиографии

Мне не выдумать вот такого,
и слова у меня просты —
я крестьянил в деревне Дьяково[83],
от Семенова — полверсты.
Я в губернии Нижегородской
в житие молодое попал,
земляной покрытый коростой,
золотую картошку копал.
Я вот этими вот руками
землю рыл
и навоз носил,
и по Керженцу
и по Каме
я осоку-траву косил.
На твое, земля,
на здоровье,
теплым жиром, земля, дыши,
получай лепешки коровьи,
лошадиные голяши.
Чтобы труд не пропал впустую,
чтобы радость была жива —
надо вырастить рожь густую,
поле выполоть раза два.
Черноземное поле на озимь
все засеять,
заборонить,
сеять — лишнего зернышка наземь
понапрасну не заронить.
Так на этом огромном свете
прорастала моя судьба,
вся зеленая,
словно эти
подрастающие хлеба.
Я уехал.
Мне письма слали
о картофеле,
об овсе,
о свином золотистом сале, —
как одно эти письма все.
Под одним существуя небом,
я читал, что овсу капут…
Как у вас в Ленинграде с хлебом

и по скольку рублей за пуд?
Год за годом
мне письма слали
о картофеле, об овсе,
о свином золотистом сале, —
как одно эти письма все.
Под одним существуя небом,
я читал, что в краю таком
мы до нового хлеба
с хлебом,
со свининою,
с молоком,
что битком набито в чулане…
Как у вас в Ленинграде живут?
Нас, конечно, односельчане
все зажиточными зовут.
Наше дело теперь простое —
ожидается урожай,
в гости пить молоко густое
обязательно приезжай…
И порадовался я с ними,
оглядел золотой простор,
и одно громадное имя
повторяю я с этих пор.
Упрекните меня в изъяне,
год от году
мы все смелей,
все мы гордые,
мы, крестьяне,
дети сельских учителей.
До тебя, моя молодая,
называя тебя родной,
мы дошли,
любя,
голодая,
слезы выплакав все до одной.

<1935>

«Яхта шла молодая, косая…»

Яхта шла молодая, косая,
серебристая вся от света —

гнутым парусом срезая
тонкий слой голубого ветра.
В ноздри дунул соленый запах —
пахло островом, морем, Лахтой…
На шести своих тонких лапах
шли шестерки вровень с яхтой.
Не хватало весел и лодок —
с вышек прыгали прямо в воду,
острой ласточкой пролетая
над зелеными островами,
и дрожала вода золотая,
вся исколотая прыгунами.
Задыхаясь и завывая,
к стадиону летели трамваи,
все от фабрик и от заводов
к стадиону, где легкий отдых.
К стадиону, где каждый стайер.
Каждый спринтер — литейщик, слесарь.
Пролетает, как в птичьей стае,
своего не чувствуя веса.
И трамваи у стадиона
встанут враз.
Их трясет лихорадка.
Их маршруты: Труд — Оборона, —
наверху обозначены кратко.
Мы маршрут и без этого знали,
мы сдаем нашей силы пробу,
и прибывшие парни сняли
заводскую, черную робу.
Вот вам классовый ветра анализ,
наша легкая сила живая,
снова девушки засмеялись,
рыбьей стайкою проплывая.
Солнце пышет веселым жаром,
покрывая плечи загаром,
похваляясь плеч желтизною
(то ли будет через неделю),
я почувствую, что весною
года на три я молодею.
Пойте песню.
Она простая.
Пойте хором и под гитару.
Пусть идет она, вырастая,
к стадиону,

к реке,
к загару.
Пусть поет ее, проплывая
мимо берега,
мимо парка,
вся скользящая,
вся живая,
вся оранжевая байдарка.

<1935>

«Спичка отгорела и погасла…»

Спичка отгорела и погасла —
Мы не прикурили от нее,
А луна — сияющее масло —
Уходила тихо в бытие.
И тогда, протягивая руку,
Думая о бедном, о своем,
Полюбил я горькую разлуку,
Без которой мы не проживем.
Будем помнить грохот на вокзале,
Беспокойный,
Тягостный вокзал,
Что сказали,
Что не досказали,
Потому что поезд побежал.
Все уедем в пропасть голубую,
Скажут будущие: молод был,
Девушку веселую, любую,
Как реку весеннюю любил…
Унесет она
И укачает,
И у ней ни ярости, ни зла,
А впадая в океан, не чает,
Что меня с собою унесла.
Вот и все.
Когда вы уезжали,
Я подумал,
Только не сказал,
О реке подумал,
О вокзале,
О земле, похожей на вокзал.

<1935>

У меня была невеста

У меня была невеста,
Белокрылая жена.
К сожаленью, неизвестно,
Где скитается она:
То ли в море,
То ли в поле,
То ли в боевом дыму, —
Ничего не знаю боле
И тоскую потому.
Ты кого нашла, невеста,
Песней чистою звеня,
Задушевная, заместо
Невеселого меня?
Ты кого поцеловала
У Дуная,
У Оки,
У причала,
У обвала,
У обрыва,
У реки?
Он какого будет роста,
Сколько лет ему весной,
Подойдет ли прямо, просто
Поздороваться со мной!
Подойдет —
Тогда, конечно,
Получай, дружок, зарок:
Я скажу чистосердечно,
Чтобы он тебя берег,
Чтобы ты не знала горя,
Альпинистка — на горе,
Комсомолка — где-то в море
Или, может, в Бухаре.

<1935>

Сын

Только голос вечером услышал,
молодой, веселый, золотой,
ошалелый, выбежал — не вышел —
побежал за песенкой за той.
Тосковать, любимая, не стану —
до чего кокетливая ты,
босоногая,
по сарафану
красным нарисованы цветы.
Я и сам одетый был фасонно:
галифе парадные,
ремни,
я начистил сапоги до звона,
новые,
шевровые они.
Ну, гуляли…
Ну, поговорили, —
по реке темнее и темней, —
и уху на первое варили
мы из красноперых окуней.
Я от вас, товарищей, не скрою:
нет вкусней по родине по всей
жаренных в сметане —
на второе —
неуклюжих, пышных карасей.
Я тогда у этого привала
подарил на платье кумачу.
И на третье так поцеловала —
никаких компотов не хочу.
Остальное молодым известно,
это было ночью, на реке,
птицы говорили интересно
на своем забавном языке.
Скоро он заплачет, милый, звонко,
падая в пушистую траву.
Будет он похожий на соменка,
я его Семеном назову.
Попрошу чужим не прикасаться,
побраню его и похвалю,
выращу здорового красавца,
в летчики его определю.
Постарею, может, поседею,
упаду в тяжелый, вечный сон,
но надежду все-таки имею,

что меня не позабудет он.

<1935>
[84]

Скала «Пронеси, Господи»

[85]

С печалью глубокой,
с одышкой,
с трудом
историю эту начну я,
как в камне отвесном,
от горя седом,
дорогу рубили вручную[86].
Висели на люльках,
вгрызаясь в гранит[87],
ступеньку ноге вырубая.
Под ними могила
ревет и гремит,
и манит,
и тьма голубая.
Срывались и падали —
смерть горяча,
секундою жизнь пролетела.
И долго ворчала вода, волоча
о камни разбитое тело…
Никто не поможет,
ничто не спасет,
и страшно и холодно им там,
и пляшет
и к Черному морю несет
река сумасшедшая — Мзымта[88].
На место убитого
встанет другой —
их много, голодных, на свете,
за хлеба кусок,
за короткий покой —
за то, чтоб не плакали дети.
Судьба — до чего же нехороша…
Откуда они? — спроси их, —
ответят вполголоса, тяжко дыша:
с Украины,

из России…
Армяне и турки[89],
и все, как один —
различья искать не стану, —
что этот старик с украинских равнин,
что этот из Дагестана.
А кто-то из них,
невеселый и злой,
придумал, как песню, такое:
высоко два лома
под самой скалой
вонзил разъяренной рукою[90].
Казалось, какая от этого стать?
Но сердце сдавила тоска мне,
что их никому никогда не достать,
не вырвать, не вынуть из камня.
Навеки застрявшие в белой скале, —
сегодня их доля иная:
о счастье, о ненависти, о зле,
о славе напоминая.
Орудие только бессмертных людей,
о нем наша песня любая,
которому верь
и которым владей,
дорогу себе прорубая.

<1935>

«Мы, маленькие, все-таки сумели…»

…люблю свою бедную землю,
Потому что иной не видал.

О. М.[91]

Мы, маленькие, все-таки сумели,
перешагнули злобную черту
и вышли из тяжелых подземелий
вот в эту голубую красоту.
И ласточки и голуби поют там,
а песня непонятна и легка —
хозяюшка,
наверно, для уюта
нам небольшие стелет облака.

Мы разбираемся в ее законе —
она для нас планеты нашей треть,
где девушки
и дерево
и кони,
предоставляет сразу осмотреть.
И бережно спускает на равнину,
которую я все же не покину,
не изменю ни лесу, ни траве,
хотя земля по-прежнему сурова,
хотя красиво облака сырого
еще роса горит на голове.
Знать, потому, что весело доныне,
привык я просыпаться поутру.
На этой мягкой, ласковой равнине
я облако, не мешкая, сотру.
Знать, потому, что я хочу учиться,
как на траве пушистые лежат
ворчливые медведи и волчицы.
А я люблю волчат и медвежат.
Я радуюсь —
мне весело и любо,
что навсегда я все-таки земной,
и что моя
зазноба и голуба
опять гуляет вечером со мной.

10 августа 1935

Собака

Я крадусь,
мне б до конца прокрасться,
сняв подкованные сапоги,
и собака черного окраса
у моей сопутствует ноги.
Мы идем с тобой, собака, прямо
в этом мире, полном тишины, —
только пасть, раскрытая как яма,
зубы, как ножи, обнажены.
Мне товарищ этот без обмана —
он застыл,
и я тогда стою:

злая осторожность добермана[92]
до конца похожа на мою.
Он врага почуял.
Тихой сапой
враг идет,
длинна его рука,
и когда товарищ двинет лапой,
я его спускаю с поводка.
Не уйти тогда тому,
не скрыться
и нигде не спрятаться,
поверь, —
упадет
и пискнет, словно крыса:
побеждает зверя
умный зверь.
Пес умен,
силен,
огромен,
жарок…
Вот они —
под пули побегут.
Сколько доберманов и овчарок
нам границу нашу берегут?
Сколько их,
прекрасных и отличных?
Это верный боевой отряд.
Вам о псе
расскажет пограничник,
как о человеке говорят.
Вдруг война,
с погибелью,
с тоскою,
посылает пулю нам свою, —
и, хватаясь за ветер рукою,
я от пули упаду в бою.
И кавалерийские фанфары
вдруг запели около меня…
Знаю я — собаки-санитары
вызволят меня из-под огня.
Добрый доктор рану перевяжет,
впрыснута для сердца камфара.
«Поправляйтесь, мой милейший», —
скажет,

и другого вносят фельдшера.
Через месяц я пройдусь, хромая,
полюбуюсь на сиянье дня,
и собака, словно понимая,
поглядит с любовью на меня.
Погуляю,
силы все потрачу
и устану —
сяду на траве,
улыбнусь,
а может быть, заплачу
и поглажу пса по голове.

<1936>

Память

По улице Перовской[93]
иду я с папироской,
пальто надел внакидку,
несу домой халву;
стоит погода — прелесть,
стоит погода — роскошь,
и свой весенний город
я вижу наяву.

Тесна моя рубаха,
и расстегнул я ворот,
и знаю, безусловно,
что жизнь не тяжела —
тебя я позабуду,
но не забуду город,
огромный и зеленый,
в котором ты жила.

Испытанная память,
она моя по праву, —
я долго буду помнить
речные катера,
сады,
Елагин остров
и Невскую заставу,
и белыми ночами

прогулки до утра.

Мне жить еще полвека, —
ведь песня не допета,
я многое увижу,
но помню с давних пор
профессоров любимых
и университета
холодный и веселый,
уютный коридор.

Проснулся город, гулок,
летят трамваи с треском…
И мне, — не лгу, поверьте, —
как родственник, знаком
и каждый переулок,
и каждый дом на Невском,
Московский,
Володарский
и Выборгский райком.

А девушки…
Законы
для парня молодого
написаны любовью,
особенно весной, —
гулять в саду Нардома,
знакомиться —
готово…
Ношу их телефоны
я в книжке записной.

Мы, может, постареем
и будем стариками,
на смену нам — другие,
и мир другой звенит,
но будем помнить город,
в котором каждый камень,
любой кусок железа
навеки знаменит.

<1936>

Путь корабля

Хорошо запеть, влюбиться —
все печали далеки.
Рвутся с наших плеч, как птицы,
синие воротники.
Ты про то запой, гитара,
как от нашей от земли
на моря земного шара
отплывают корабли.
Нас мотает и бросает
зыбью грозной и рябой,
и летит волна косая,
дует ветер голубой.
Впереди морские дали,
кренит набок на бегу,
и остались наши крали
на далеком берегу.
Как у девушек бывает —
не всегда им быть одним,
к ним другие подплывают
и причаливают к ним.
Только, помнится, отчаен
при разлуке наш наказ —
мы вернемся, и отчалят
очень многие от вас.

<1936>

Чиж

За садовой глухой оградой
ты запрятался —
серый чиж…
Ты хоть песней меня порадуй.
Почему, дорогой, молчишь?

Вот пришел я с тобой проститься,
и приветливый
и земной,
в легком платье своем из ситца
как живая передо мной.

Неужели же все насмарку?..
Даже в памяти не сбережем?..
Эту девушку
и товарку
называли всегда чижом.

За веселье, что удалось ей…
Ради молодости земли
кос ее золотые колосья
мы от старости берегли.

Чтобы вроде льняной кудели
раньше времени не седели,
вместе с лентою заплелись,
небывалые, не секлись.

Помню волос этот покорный,
мановенье твоей руки,
как смородины дикой, черной
наедались мы у реки.

Только радостная, тускнея,
в замиранье,
в морозы,
в снег
наша осень ушла, а с нею
ты куда-то ушла навек.

Где ты —
в Киеве?
Иль в Ростове?
Ходишь плача или любя?
Платье ситцевое, простое
износилось ли у тебя?

Слезы темные
в горле комом,
вижу горести злой оскал…
Я по нашим местам знакомым,
как иголку, тебя искал.

От усталости вяли ноги,
безразличны кусты, цветы…
Может быть,

по другой дороге
проходила случайно ты?

Сколько песен от сердца отнял,
как тебя на свиданье звал!
Только всю про тебя сегодня
подноготную разузнал.

Мне тяжелые, злые были
рассказали в этом саду,
как учительницу убили
в девятьсот тридцатом году.

Мы нашли их,
убийц знаменитых,
то — смутители бедных умов
и владельцы железом крытых,
пятистенных
и в землю врытых
и обшитых тесом домов.
Кто до хрипи кричал на сходах:
— Это только наше, ничье…
Их теперь называют вот как,
злобно,
с яростью…
— Кулачье…

И теперь я наверно знаю —
ты лежала в гробу, бела, —
комсомольская,
волостная
вся ячейка за гробом шла.

Путь до кладбища был недолог,
но зато до безумья лют —
из берданок
и из двустволок
отдавали тебе салют.

Я стою на твоей могиле,
вспоминаю, во тьме дрожа,
как чижей мы с тобой любили,
как любили тебя, чижа.

Беспримерного счастья ради
всех девчат твоего села,
наших девушек в Ленинграде,
гибель тяжкую приняла.

Молодая,
простая,
знаешь?
Я скажу тебе, не тая,
что улыбка у них такая ж,
как когда-то была твоя.

<1936>

Зоосад

Я его не из-за того ли
не забуду, что у него
оперение хвостовое,
как нарядное хвастовство.
Сколько их,
золотых и длинных,
перегнувшихся дугой…
Он у нас
изо всех павлинов
самый первый и дорогой.
И проходим мы мимо клеток,
где угрюмые звери лежат,
мимо старых
и однолеток,
и медведей,
и медвежат.
Мы повсюду идем упрямо
и показываем друзьям:
льва,
пантеру,
гиппопотама,
надоедливых обезьян.
Мы проходим мимо бассейна,
мимо тихих,
унылых вод, —
в нем гусями вода усеяна
и утятами всех пород.

Хорошо нам по зоосаду
не спеша вчетвером пройти,
накопившуюся досаду
растерять на своем пути.
Позабыть обо всем —
о сплетнях,
презираемых меж людей,
встретить ловких,
десятилетних,
белобрысых наших детей.
Только с ними
давно друзья мы,
и понятно мне: почему…
Очень нравятся обезьяны
кучерявому,
вот тому.
А того называют Федей —
это буйная голова…
Он глядит на белых медведей,
может, час
или, может, два.
Подрастут
и накопят силы —
до свиданья —
ищи-свищи…
Сапоги наденут,
бахилы,
прорезиненные плащи.
Через десять годов,
не боле,
этих некуда сил девать…
Будет Федя на ледоколе
младшим штурманом зимовать.
Наша молодость —
наши дети
(с каждым годом разлука скорей)
разойдутся по всей планете
поискать знакомых зверей.
Над просторами зоопарка,
где деревья растут подряд,
разливается солнце жарко,
птицы всякое говорят.
Уходить понемногу надо
от мечтаний

и от зверей —
мы уходим из Зоосада,
как из молодости своей.

<1936>

Ночные рассуждения

Ветер ходит по соломе.
За окном темным-темно,
К сожаленью, в этом доме
Перестали пить вино.

Гаснет лампа с керосином,
Дремлют гуси у пруда…
Почему пером гусиным
Не писал я никогда?

О подруге и о друге,
Сочинял бы про людей,
Про охоту на Ветлуге,
Про казацких лошадей.

О поступках,
О проступках
Ты, перо, само пиши,
Сам себя везде простукав,
Стал бы доктором души.

Ну, так нет…
Ночною тенью
Возвышаясь над столом,
Сочиняю сочиненья
Самопишущим пером.

Ветер ползает по стенам.
Может, спать давно пора?
Иностранная система
(«Паркер», что ли?)
У пера.

Тишина…
Сижу теперь я,

Неприятен и жесток.
Улетают гуси-перья
Косяками на восток.

И о чем они толкуют?
Удивительный народ…
Непонятную такую
Речь никто не разберет.

Может быть, про дом и лес мой,
Про собак — моих друзей?..
Все же было б интересно
Понимать язык гусей…

Тишина идет немая
По моей округе всей.
Я сижу, не понимая
Разговорчивых гусей.

<1936>

Разговор

Верно, пять часов утра,
не боле.
Я иду —
знакомые места…
Корабли и яхты на приколе,
и на набережной пустота.
Изумительный властитель трона
и властитель молодой судьбы —
Медный всадник
поднял першерона,
яростного, злого,
на дыбы.
Он, через реку коня бросая,
города любуется красой,
и висит нога его босая, —
холодно, наверное, босой!
Ветры дуют с оста или с веста,
всадник топчет медную змею…
Вот и вы пришли
на это место —

я вас моментально узнаю.
Коротко приветствие сказали,
замолчали,
сели покурить…
Александр Сергеевич,
нельзя ли
с вами по душам поговорить?
Теснотой и скукой не обижу:
набережная — огромный зал.
Вас таким, тридцатилетним, вижу,
как тогда Кипренский написал.
И прекрасен
и разнообразен,
мужество,
любовь
и торжество…
Вы простите —
может, я развязен?
Это — от смущенья моего!
Потому что по местам окрестным
от пяти утра и до шести
вы со мной —
с таким неинтересным —
соблаговолили провести.
Вы переживете бронзы тленье
и перемещение светил, —
первое свое стихотворенье
я планиде вашей посвятил.
И не только я,
а сотни, может,
в будущие грозы и бои
вам до бесконечия умножат
люди посвящения свои.
Звали вы от горя и обманов
в легкое и мудрое житье,
и Сергей Уваров и Романов
получили все-таки свое.
Вы гуляли в царскосельских соснах —
молодые, светлые года, —

гибель всех потомков венценосных
вы предвидели еще тогда.
Пулями народ не переспоря,
им в Аничковом не поплясать!

Как они до Черного до моря
удирали —
трудно описать!
А за ними прочих вереница,
золотая рухлядь,
ерунда —
их теперь питает заграница,
вы не захотели бы туда!
Бьют часы уныло…
Посветало.
Просыпаются…
Поют гудки…
Вот и собеседника не стало —
чувствую пожатие руки.
Провожаю взглядом…
Виден слабо…
Милый мой,
неповторимый мой…
Я иду по Невскому от Штаба,
на Конюшенной сверну домой.

<1936>

Последняя дорога

[94]

Два с половиной пополудни…
Вздохнул и молвил: «Тяжело…»
И все —
И праздники и будни —
Отговорило,
Отошло,
Отгоревало,
Отлюбило,
Что дорого любому было,
И радовалось
И жило.

Прощание.
Молебен краткий,
Теперь ничем нельзя помочь —
Увозят Пушкина украдкой[95]
Из Петербурга в эту ночь.

И скачет поезд погребальный
Через ухабы и сугроб;
В гробу лежит мертвец опальный,
Рогожами укутан гроб.
Но многим кажется —
Всесильный
Теперь уже навеки ссыльный.
И он летит
К своей могиле,
Как будто гордый и живой —
Четыре факела чадили,
Три вороные зверя в мыле,
Кругом охрана и конвой.
Его боятся.

Из-за гроба,
Из государства тишины
И возмущение и злоба
Его, огромные, страшны.
И вот, пока на полустанках
Меняют лошадей спеша,
Стоят жандармы при останках,

Не опуская палаша.

А дальше — может, на столетье —
Лишь тишина монастыря,
Да отделенье это Третье[96] —
По повелению царя.

Но по России ходят слухи
Все злей,
Звончее и смелей,
Что не забыть такой разлуки
С потерей совести своей,
Что кровью не залить пожаров.

Пой, Революция!
Пылай![97]
Об этом не забудь, Уваров[98],
И знай, Романов Николай…

Какой мороз!
И сколько новых
Теней на землю полегли,
И в розвальни коней почтовых
Другую тройку запрягли[99].

И мчит от подлого людского
Лихая, свежая она…
Могила тихая у Пскова
К шести часам обнажена[100].

Все кончено.
Устали кони.
Похоронили.
Врыли крест.
А бог мерцает на иконе,
Как повелитель здешних мест,
Унылый, сморщенный,
Не зная,
Что эта злая старина,
Что эта робкая лесная
Прекрасной будет сторона.

В селе Михайловском

[101]

Зима огромна,
Вечер долог,
И лень пошевелить рукой.
Содружество лохматых елок
Оберегает твой покой.
Порой метели заваруха,
Сугробы встали у реки,
Но вяжет нянюшка-старуха[102]
На спицах мягкие чулки.
На поле ветер ходит вором,
Не греет слабое вино,
И одиночество, в котором
Тебе и тесно и темно.
Опять виденья встали в ряд.
Закрой глаза.
И вот румяный
Онегин с Лариной Татьяной[103]
Идут,
О чем-то говорят.
Прислушивайся к их беседе,
Они — сознайся, не таи —
Твои хорошие соседи
И собеседники твои.
Ты знаешь ихнюю дорогу,
Ты их придумал,
Вывел в свет.
И пишешь, затая тревогу:
«Роняет молча пистолет»[104].
И сердце полыхает жаром,
Ты ясно чувствуешь: беда!
И скачешь на коне поджаром,
Не разбирая где, куда.
И конь храпит, с ветрами споря,
Темно,
И думы тяжелы,
Не ускакать тебе от горя,
От одиночества и мглы.
Ты вспоминаешь:
Песни были,
Ты позабыт в своей беде,
Одни товарищи в могиле,

Другие — неизвестно где[105].
Ты окружен зимой суровой,
Она страшна, невесела,
Изгнанник волею царевой,
Отшельник русского села.
Наступит вечер.
Няня вяжет.
И сумрак по углам встает.
Быть может, няня сказку скажет,
А может, песню запоет.
Но это что?
Он встал и слышит
Язык веселый бубенца,
Все ближе,
Перезвоном вышит,
И кони встали у крыльца.
Лихие кони прискакали
С далеким,
Дорогим,
Родным…
Кипит шампанское в бокале,
Сидит товарищ перед ним[106].
Светло от края и до края
И хорошо.
Погибла тьма,
И Пушкин, руку простирая,
Читает «Горе от ума»[107].
Через пространство тьмы и света,
Через простор,
Через уют
Два Александра,
Два поэта,
Друг другу руки подают.
А ночи занавес опущен,
Воспоминанья встали в ряд,
Сидят два друга,
Пушкин, Пущин,
И свечи полымем горят.
Пугает страхами лесными
Страна, ушедшая во тьму,
Незримый Грибоедов с ними,
И очень хорошо ему.
Но вот шампанское допито…
Какая страшная зима,

Бьет бубенец,
Гремят копыта…
И одиночество…
И тьма.

<1936>

Триполье

Памяти комсомольцев,
павших смертью храбрых
в селе Триполье[108]

Часть первая
Восстание

Тимофеевы

Пятый час.
Под навесом
снятся травы коровам,
пахнет степью и лесом,
холодком приднепровым.

Ветер, тучи развеяв,
с маху хлопает дверью:
— Встань, старик Тимофеев,
сполосни морду зверью.

Рукавицами стукни,
выпей чашку на кухне,
стань веселым-веселым,
закуси малосолом.

Что теперь ты намерен?
Глыбой двинулся мерин,
морду заревом облил —
не запятишь в оглобли.

За плечами туманы,
за туманами страны, —
там живут богатеи,

многих наших лютее.

Что у нас?
Голодуха.
Подчистую все чисто,
в бога, в господа, в духа,
да еще коммунисты.

На громадные версты
хлеборобы не рады, —
всюду хлеборазверстки,
всюду продотряды.

Так ли, этак ли битым,
супротиву затеяв,
сын уходит к бандитам,
звать — Иван Тимофеев.
А старик Тимофеев —
сам он из богатеев.
Он стоит, озирая
приделы, сараи.
Все налажено, сбито
для богатого быта.

День богатого начат,
утя жирная крячет,
два огромные парня
в навозе батрачат.
Словно туша сомовья,
искушенье прямое,
тащит баба сыновья
в свинарник помои.

На хозяйстве великом
ни щели, ни пятен.
Сам хозяин, владыка,
наряден,
опрятен.
Сам он оспою вышит.
Поклонился иконам,
в морду мерину дышит
табаком, самогоном;
он хрипит, запрягая,
коммунистов ругая.

А хозяйка за старым
пышет гневом и жаром:
— Заскучал за базаром?
— Заскучал за базаром…
— Дурень! —
лается баба,
корчит рожу овечью…
— Постыдился хотя ба…
— Отойди! Изувечу!
— Старый пьяница, боров…
— Дура!
— …дерево, камень!
И всего разговоров,
что махать кулаками!
Что ты купишь?
Куренок
нынче тыщарублевый…
Горсть орехов каленых,
да нажрешься до блева,
до безумья!..

И баба,
большая, седая,
закудахтала слабо,
до земли приседая.

В окнах звякнули стекла,
вышел парень.
Спросонья
молодою и теплой
красотою фасоня
и пыхтя папиросой,
свистнул:
— Видывал шалых…
Привезем бабе роскошь —
пуховой полушалок…

Хватит вам барабанить —
запрягайте, папаня!
Сдвинул на ухо шапку,
осторожен и ловок,
снес в телегу охапку
маслянистых винтовок.

Мерин выкинул ногу —
крикнул мерину: «Балуй!..»
Выпил, крякая, малый
посошок на дорогу.

Тимофеев берет на бога

Дым.
Навозное тесто,
вонь жирна и густа.
Огорожено место
для продажи скота.

И над этой квашней,
золотой и сырой,
встало солнце сплошной
неприкрытой дырой.

Брызжут гривами кони,
рев стоит до небес;
бык идет в миллионе,
полтора — жеребец.

Рубль скользит небосклоном
к маленьким миллионам.

Рвется денежка злая,
в эту кашу, звонка,
с головой покрывая
жеребца и быка.

Но бычачья, густая
шкура дыбится злей,
конь хрипит, вырастая
из-под кучи рублей.

Костью дикой и острой
в пыль по горло забит,
блекнет некогда пестрый
миллион у копыт.

И на всю Украину,
словно горе густое,
била ругань в кровину
и во все пресвятое.

В чайной чайники стыли,
голубые, пустые.

Рыбой черной и жареной
несло от буфета…
Покрывались испариной
шеи синего цвета.
Терли шеи воловьи,
пили мутную радость —
подходящий сословью
крестьянскому градус.
Приступая к беседе,
говорили с оглядкой:
— Что же.
  Это.
    Соседи?
Жить.
  Сословью.
    Не сладко.

Парень, крытый мерлушкой,
стукнул толстою кружкой,
вырос:
— Слово дозвольте! —
Глаз косил весело́,
кольт на стол.
И на кольте
пальцы судорогой свело.

— Я — Иван Тимофеев
из деревни Халупы.
Мой папаня присутствует
вместе со мной.
Что вы стонете?
Глупо.
Нужен выход иной.
Я, Иван Тимофеев,
попрошу позволенья
под зеленое знамя

собирать населенье.
К атаману Зеленому
вывести строем
хлеборобов на битву
и — дуй до горы!
Получай по винтовке!
Будь, зараза, героем!
Не желаем коммуний
и прочей муры.
Мы ходили до бога.
Бог до нашего брата
снизойдет нынче ночью
за нашим столом.
Каждый хутор до бога
посылай делегата —
все послухаем бога —
нельзя без того.
Он нам скажет решительно,
надо ль, не надо ль
гнусно гибнуть под игом
и тухнуть, как падаль.
Либо скажет, что, горло и сердце
калеча,
под гремящими пулями
вырасти… выстой…
Отряхни, Украина,
отягченные плечи
красной вошью
и мерзостью красной…
нечистой…
Я закончил!

И парень
поперхнулся, как злостью,
золотым самогоном
и щучьего костью.

Вечер шел лиловатый.
Встали все за столом
и сказали:
— Ну что же?
— Пожалуй…
— Сосватай…
— Мы послухаем бога…

— Нельзя без того…

Бог

Бог сидел на скамейке,
чинно с блюдечка чай пил…
Брови бога сияли
злыми крыльями чайки.

Двигал в сторону хмурой
бородою из пакли,
руки бога пропахли
рыбьей скользкою шкурой.

Хрупал сахар вприкуску,
и в поту
и в жару,
ел гусиную гузку
золотую,
в жиру.

Он сидел непреклонно —
все застыли по краю,
а насчет самогона
молвил:
— Не потребляю…

Возведя к небу очи,
все шепнули:
— Нельзя им!
И поднялся хозяин
и сказал богу:
— Отче!
Отче, праведный боже,
поучи, посоветуй,
как прожить в жизни этой,
не вылазя из кожи?
На земле с нами пробыв,
укажи беспорядок…
Жи́ды в продотрядах
извели хлеборобов.
Жи́ды ходят с наганом,

дышат духом поганым,
ищут чистые зерна!
Ой, прижали как туго!
Про Исуса позорно
говорят без испуга.
Нам покой смертный вырыт,
путь к могиле короче.
Посоветуй нам, отче,
пожалей сирых сúрот!..

Бог поднялся с иконой
в озлобленье великом,
он в рубахе посконной,
подпоясанной лыком.
Все упали:
— Отец мой! —
Ужас тихий и древний…
Бог мужицкий, известный,
из соседней деревни.

Там у бога в молельнях
все иконы да ладан,
много девушек дельных
там работают ладом.

И в молельнях у бога
пышут ризы пожаром, —
богу девушек много
там работают даром.

Он стоял рыжей тучей,
бог сектантский, могучий.
Вечер двигался цвета
самоварного чада…
Бог сказал:
— Это, чадо,
преставление света.
Тяжко мне от обиды:
поругание, чадо, —
ведь явились из ада
коммунисты и жúды.
Запирай на засовы
хаты, уши и веки!
Схватят,

клеймы бесовы
выжгут на человеке.
И тогда все пропало:
не простит тебе боже
сатаны пятипалую
лапу на коже…

Бог завыл.
Над народом,
как над рухлядью серой,
встал он, рыжебородый,
темной силой и верой.

Слезы, кашель и насморк —
все прошло.
Зол, как прежде,
бог ревел:
— Бейте насмерть,
рушьте гадов и режьте!
Заряжайте обрезы,
отточите железы
вперед непреклонно
с бомбой черной и круглой,
с атамана Зеленого[109]
божьей хоругвой…

Гонец

Били в колокол,
песни выли…
Небо знойное пропоров,
сто кулацких взяли вилы,
середняцких сто дворов.

И зеленый лоскут, насажен
на рогатину, цвел, звеня,
и плясал от земли на сажень
золотистый кусок огня.

Вел Иван Тимофеев
страшную банду —
сто кулацких

и сто середняцких дворов,
увозили муку,
самогон
и дуранду,
уводили баранов, коней и коров.
Бедняки — те молчали,
царапая щеки,
тяжело поворачивая глаза,
и глядели, как дуло огнем на востоке,
занимались вовсю хутора и леса,

как шагали, ломая дорогу, быки
и огромные кони,
покидая село.
Но один оседлал коня
и на Киев
повернул его морду,
взлетая в седло.

Он качался в седле
и достигнул до света
убегающий город,
и в городе том
двухэтажный, партийного комитета,
широкоплечий,
приземистый дом.

Секретарь приподнялся, шумя листами,
и навстречу ему,
седоватый, как лен,
прохрипел:
— Тимофеевы… гады… восстанье…
Поводите коня —
потому запален!..

И слова сквозь дыхание
в мокром клекоте
прибивались
и, сослепу рушась на локти,
подползали дрожа,
тычась носиком мокрым,
к ножкам стульев,
столов,
к подоконникам,

к окнам.

Все забыть,
и, бескостно сползая книзу,
в темноте, огоньком синеватым горя,
разглядеть —
высоко идет по карнизу
и срывается слово секретаря:
— …мобилизация коммунистов…
…по исполнении оповестите меня…
…комсомол…
…караулы, пожалуйста, выставь…
…накормите гонца…
…поводите коня…

Он ушел, секретарь.
Только будто на ладан,
тяжко дышит гонец,
позабыв про беду,
ходят песни поротно,
бьют о камень прикладом,
свищет ветер,
и водят коня в поводу.

Описание банды Зеленого

Табор тысячу оглобель
поднял к небу
в синий день.
За Зеленым ходит свита,
о каменья — гром копыта…
И, нарочно ли,
по злобе ль,
крыши сбиты набекрень.

Все к Зеленому с поклоном —
почесть робкая низка…
Адъютанты за Зеленым
ходят в шелковых носках.
Сам Зеленый пышен, ярок,
выпивает не спеша
до обеда десять чарок,

за обедом два ковша.

На телегу ставят кресло,
жбан ведерный у локтя —
атаманья туша влезла
на сидение, пыхтя.

Он горит зеленой формой,
как хоругвой боевой…
На груди его отличья,
под ногами шкура бычья,
по бокам его отборный
охранение-конвой.

Он на шкуру ставит ногу,
и псаломщик на низу
похвалу ему, как богу,
произносит наизусть.

Атаман глядит сурово,
он к войскам имеет слово:
Вы, бойцы мои лихие,
необъятны и смелы,
потому что вы — стихия,
словно море и орлы.

На Москву пойдем, паскуду
победим —
приказ таков…
Губернаторами всюду
мы посадим мужиков.

От Москвы и до Ростова
водки некуда девать, —
наша армия Христова
будет петь и воевать.

Это не Великий пост вам,
не узилище,
не гроб,
и под нашим руководством
не погибнет хлебороб.
Я закончил.

И ревом
он увенчан, как славой.
Жалит глазом суровым
и дергает бровью…
На телегу влезает
некто робкий, плюгавый,
приседает, как заяц,
атаману, сословью.

Он одернул зеленый
вице-полупердончик,
показал запыленный
языка легкий кончик,
взвизгнул, к шуму приладясь:
— Вы — живительный кладезь,
переполненный гневом
священным, от Бога…
В предстоящей борьбе вам
мы, эсеры, — помога…
И от края до края
табор пьяный и пестрый.
Воют кони, пылая
кровью чистой и острой…

Анархист покрыт поповой
шляпою широкополой.
Анархисты пьянее
пьяного Ноя…

Вышла песня.
За нею
ходят стеною.

— Оплот всея России,
анархия идет.
Ребята, не надо властей!
И черепа на знамени
облупленный рот
над белым крестом из костей.

Погибла тоска,
Россия в дыму,
гуляет Москва,
Ростов-на-Дону.

Я скоро погибну
в развале ночей.
И рухну, темнея от злости,
и белый, слюнявый
объест меня червь, —
оставит лишь череп да кости.

Я под ноги милой моей попаду
омытою костью нагою, —
она не узнает меня на ходу
и череп отбросит ногою.

Я песни певал,
молодой, холостой,
до жизни особенно жаден…
Теперь же я в землю
гляжу пустотой
глазных, отшлифованных впадин.

Зачем же рубился я,
сталью звеня,
зачем полюбил тебя, банда?
Одна мне утеха,
что после меня
останется череп…
И — амба!

Часть вторая
Гибель Второго Киевского полка

Второй Киевский

Ни пристанища, ни крова —
пыль стоит до потолка,
и темны пути Второго
Киевского полка.

Комиссар сидит на чалом
жеребце, зимы лютей,
под его крутым началом
больше тысячи людей.

Комиссар сидит свирепо
на подтянутом коне,
бомба круглая, как репа,
повисает на ремне.

А за ним идут поротно
люди, сбитые в кусок,
виснут алые полотна,
бьют копыта о песок.

Люди разные по росту,
по характеру
и просто
люди разные на глаз, —
им тоска сдавила плечи…
Хорошо, что скоро вечер,
пыль немного улеглась.

Люди темные, как колья…
И одна из этих рот —
все из вольницы Григорьева[110]
подобранный народ.

Им ли пойманных бандитов
из наганов ночью кокать?
И не лучше ли, как раньше,
сабли выкинув со свистом,
конницей по коммунистам?
Кто поднимется на локоть
ломаным,
но недобитым —
бей в лицо его копытом!..

Вот она, душа лесная,
неразмыканное горе,
чаща черная,
туман.
Кто ведет их?
Я не знаю:
комиссар или Григорьев —
пьяный в доску атаман?

Шли они, мобилизованные

губвоенкоматом, —
из окрестностей —
из Киевщины, —
молоды,
темны…
Может, где завоют битвы, —
ихние отцы,
дома́ там,
новотельные коровы,
кабаны и табуны?

Пчелы легкие над вишней,
что цветет красою пышной?
Парни в кованых тулупах,
от овчины горький дух,
прижимают девок глупых,
о любви мечтая вслух…

А в полку —
без бабы… вдовый…
Нет любовей, окромя
горя,
устали пудовой,
да колеса рвут, гремя,
злую землю,
да седая
пыль легла на целый свет.
Воронье летит, гадая:
будет ужин или нет?

Комиссар сидит державой,
темный,
каменный с лица,
шпорой тонкою и ржавой
погоняя жеребца.

А в полку за ним, нарядная,
трехрядная,
легка,
шла гармоника.
За ней
сто четырнадцать парней.

Сто парней, свободы полных,

с песней,
с кровью боевой,
каждый парень, как подсолнух,
гордо блещет головой.

Что им банда,
гайдамаки,
горе черное в пыли?
Вот и девушки, как маки,
беспокойно зацвели.

Комсомольские районы
вышли все почти подряд —
это в маузер патроны,
полный считанный заряд.
Это цвет организации,
одно большое имя,
поднимали в поднебесье
песню легкую одну.
Шли Аронова,
Ратманский[111]
и гармоника за ними
на гражданскую войну.
А война глядит из каждой
темной хаты —
вся в боях…
Бьет на выбор,
мучит жаждой
и в колодцы сыплет яд.
Погляди ее, брюхату,
что для пули и ножа
хату каждую на хату
поднимает,
зло
визжа.

И не только на богатых
бедняки идут, строги,
и не только в разных хатах —
и в одной сидят враги.

Прилетела кособока.
Тут была
и тут была,

корневищами глубоко
в землю черную ушла
и орет:

— Назад вались-ка…
А вдогонку свищет: стой!
Шляпою синдикалиста
черепок покрыла свой.
Поздно ночью, по-за гумнам,
чтобы больше петь не мог,
обернет тебя безумным,
расстреляет под шумок.

Всколыхнется туча света
и уйдет совсем ко дну —
ваша песня не допета
про гражданскую войну.

«Ночи темны,
небо хмуро,
ни звезды на нем…
Кони двинули аллюром,
ходит гоголем Петлюра,
жито мнет конем.

Молодая, грозовая,
тонкою трубой
между Харьков — Лозовая
ходит песня, созывая
конников на бой.

Впереди помято жито,
боевой огонь,
сабля свистнула сердито,
на передние копыта
перекован конь.

Впереди степные дали
и ковыль седа…
А коней мы оседлали.
Девки пели: не сюда ли?
Жалко, не сюда…

Больше милую не чаю

вызвать под окно.
Может, ночью по случаю
по дороге повстречаю
Нестора Махно.

Черной кровью изукрашу,
жеребцом сомну,
за порубанную в кашу,
за поруганную нашу
верную страну.

Будет кровью многогрешной
кончена война,
чтобы пела бы скворешней,
пахла ягодой черешней
наша сторона».

Первое известие

Красное знамя ветром набухло —
ветер тяжелый,
ветер густой…
Недалеко от местечка Обухова
он разносит команду: «Стой!»

Синим ветром земля налитая —
из-за ветра,
издалека,
восемь всадников, подлетая,
командира зовут полка.

Восемь всадников, избитых
ветром, падают с коней,
кони качаются на копытах, —
ветер дует еще сильней.

Командир с чахоточным свистом,
воздух глотая мокрым ртом,
шел навстречу кавалеристам,
ординарцы за ним гуртом.

И тишина.

И на целый на мир она.
Кавалеристы застыли в ряд…
Самый высокий рванулся:
— Смирно!
Так что в Обухове кавотряд…
И замолчал.
Тишина чужая,
но, совладав с тоской и бедой,
каменно вытянулся, продолжая:
— …вырезан бандою.
И молодой
саблей ветер рубя над собою,
падая,
воя:
— Сабли к бою!..
Конница лавою!..
— Пленных не брать!.. —
бился в пыли,
вставал на колени,
и клокотало в черной пене
страшное,
бешеное:
— Ать! Ать!

Ночь в Обухове

Хата стоит на реке; на Кубани,
тонкая пыль, тенето на стене,
черными мать пошевелит губами,
сына вспомянет, а сын на войне.

Небо бездонное, синее звездно,
облако — козий платок на луне,
выйдет жена и поплачет бесслезно,
мужа вспомянет, а муж на войне.

Много их бедных, от горя горбатых,
край и туманом и кровью пропах,
их сыновья полегли
на Карпатах,
сгинули без вести,
в Польше пропав.

А на Кубани разбитая хата,
бревна повыпали,
ветер в пазы;
мимо казачка прокрячет, брюхата:
— Горько живут, уж никак не тузы?
Мимо казак, чем хмурей, тем дородней:
— Жил тут чужой нам, иногородний,
был беспокоен, от гордости беден,
ждали, когда попадет на беду,
Бога не чтил, не ходил до обеден,
взяли в четырнадцатом году
к чертовой матери.
Верно, убили!
Душная тлеет земля на глазах.
Может быть, скачет в раю на кобыле,
хвастает Богу, что я-де казак.
В хате же этой на два окна
только старуха его да жена, —
так проворчит и уходит дородный,
черною спесью надут благородной.

Только ошибся: сперва по Карпатам
иногородний под пули ходил,
после сыпного он стал
хриповатым,
сел на коня
и летел без удил.
Звали его Припадочным Ваней,
был он высок,
перекошен,
зобат,
был он известен злобой кабаньей,
страшною рубкой
и трубкой в зубах.
В мягком седле,
по-татарски свисая
набок, —
и эта посадка косая
и на кубанке — витой позумент…
Выше затылка мерцает подкова:
конь —
за такого коня дорогого
даже бы девушку не взял взамен, —
все приглянулось Ратманскому.

Тут же и подружились.
Войдя в тишину,
песнею дружбу стянули потуже, —
горькая песня была,
про жену.
Ваня сказал:
— Начиная с германца,
я не певал распрекрасней романса.
Как запою,
так припомню свою…
Будто бы в бархате вся и в батисте,
шелковый пояс,
парчовые кисти, —
я перед ней на коленях стою.

Ой, постарела, наверно, солдатка,
легкая девичья сгибла повадка…
Я же, конечно, военный, неверный —
чуть потемнело —
к другой на постой…
Этак и ты, полагаю, наверно?
Миша смеялся:
— А я холостой…

Ночью в Обухове, на сеновале,
Миша рассказывал все о себе —
как горевали
и как воевали,
как о своей не радели судьбе.

Киев наряжен в пунцовые маки,
в розовых вишнях столица была, —
Киевом с визгом летят гайдамаки,
кони гремят
и свистят шомпола.

В этом разгуле, разбое, размахе
пуля тяжелая из-за угла, —
душною шкурой бараньей папахи
полночь растерзанная легла.

Миша не ищет оружья простого,
жители страхом зажаты в домах,

клейстера банка
и связка листовок…
Утром по улицам рвет гайдамак
слово — оружие наше…
Но рук вам
ваших не хватит,
отъявленный враг…
Бьет гайдамак
шомполами по буквам,
слово опять загоняя в мрак.

Эта война — велика, многоглава:
партия,
Киев
и конная лава,
ночь,
типография,
созыв на бой,
Миши Ратманского школа и слава —
голос тяжелый
и ноги трубой.

Ваня молчал.
А внизу на постое
кони ведро громыхали пустое,
кони жевали ромашку во сне,
теплый навоз поднимался на воздух,
и облачка на украинских звездах
напоминали о легкой весне.

Подступы к Триполью

Бой катился к Триполью
со всей перестрелкой
от Обухова — все
перебежкою мелкой.
Плутая, —
тупая —
от горки к лощине
банда шла, отступая,
крестясь, матерщиня.

Сам Зеленый с телеги
командовал ими:
— Наступайте, родимые,
водкою вымою…
А один засмеялся
и плюнул со злобой:
— Наступайте…
Поди, попытайся, попробуй…

А один повалился,
руки раскинув,
у пылающих,
дымом дышащих овинов.
Он хрипел:
— Одолела
сила красная, бесья,
отступай в чернолесье,
отступай в чернолесье…

И уже начинались пожары в Триполье.
Огневые вставали, пыхтя, петухи, —
старики уползали червями в подполье,
в сено,
часто чихая от едкой трухи.

А погода-красавица,
вся золотая,
лисьей легкою шубой
покрыла поля…

Птаха, камнем из потной травы
вылетая,
встала около солнца,
крылом шевеля.
Ей казались клинки
серебристой травою,
колыхаемой ветром,
а пуля — жуком,
трупы в черных жупанах —
землей неживою,
и не стоило ей тосковать ни о ком.

А внизу клокотали безумные кони,
задыхались,

взрывались
и гасли костры…
И Ратманский с Припадочным
из-под ладони
на пустое Триполье
глядели с горы.

Воронье гнездо — Триполье

Сверху видно — собрание
крыш невеселых, —
это черные гнезда,
вороний поселок.

Улетели хозяева
небом белесым,
хрипло каркая в зарево,
пали за лесом.

Там при лагере встали
у них часовые
на чешуйками крытые
лапы кривые.

И стоит с разговором,
с печалью,
со злобой
при оружии ворон —
часовой гололобый.

Он стоит — изваянье —
и думает с болью,
что родное Триполье
расположено в яме.

В яму с гор каменистых
бьет волна коммунистов.
И в Триполье с музыкой,
седые от пыли,
с песней многоязыкой
комиссары вступили.

При ремнях, при наганах…
Бесовские клички…
Мухи черные в рамах
отложили яички.

И со злости, от боли,
от мух ядовитых
запалили Триполье —
и надо давить их.

И у ворона сердце —
горя полная гиря…
Он закаркал, огромные
перья топыря.

Он к вороньим своим
обращается стаям:
— Что на месте стоим, выжидаем?
Вертаем!..
И они повернули к Триполью.

Смерть Миши Ратманского

Льется банда в прорыв непрерывно.
На правом
фланге красноармейцев
смятение, вой…
Пуля острая в морду
летящим оравам
не удержит.
Приходится лечь головой.

Это черная гибель
приходит расплатой,
и на зло отвечает
огромное зло…
И уже с панихидою
дьякон кудлатый
на телеге Зеленого
скачет в село.

А в селе из щелей,

из гнилого подполья
лезут вилы,
скрипит острие топора.
Вот оно —
озверелое вышло Триполье —
старики, и старухи, и дети:
— Ура!

Наступает и давит семьею единой,
борода из коневьего волоса зла,
так и кажется —
липкою паутиной
все лицо затуманила и оплела.

А бандиты стоят палачами на плахе,
с топорами —
система убоя проста:
рвут рубахи с плеча,
и спадают рубахи.
— Гибни, кто без нательного
ходит креста!

И Припадочный рвет:
— Кровь по капельке выдой,
мне не страшны погибель
и вострый топор…
И кричит Михаилу:
— Михайло, не выдай…
Миша пулю за пулей
с колена в упор.

Он высок и красив,
отнесен подбородок
со злобою влево,
а волос у лба
весь намок;
и огромный, клокочущий продых,
и опять по бандиту
с колена стрельба.
Но уже надвигается
тысяча хриплых:
— Ничего, попадешься…
— Сурьезный сынок…
Изумрудное солнце, из облака выплыв,

круглой бомбой над Мишею занесено.

Не хватает патронов.
Последние восемь,
восемь душ волосатых и черных губя.
И встает полусонный,
винтовкою оземь:
— Я не сдамся бандиту… —
стреляет в себя.

И Припадочный саблей врубается с маху
в тучу синих жупанов,
густых шаровар —
на усатого зверя похож росомаху,
черной булькая кровью:
— За Мишу, товар… —
и упал.

Затрубила погибель трубою,
сабля тонкой звездою
мелькнула вдали,
голова его с поднятою губою
все катилась пинками
в грязи и в пыли.

Ночью пленных вели по Триполью,
играя
на гармониках «Яблочко».
А впереди
шел плясун,
от веселья и тьмы помирая,
и висели часы у него на груди,
как медали.
Гуляло Триполье до света,
все рвало и метало,
гудело струной…
И разгулье тяжелое, мутное это,
водка с бабой,
тогда называлось войной.

Часть третья. Пять шагов вперед

Утро.
Смазано небо
зарею, как жиром…
И на улице пленных
равняют ранжиром.

Вдоль по фронту, не сыто
оружьем играя,
ходит батько и свита
от края до края.

Ходит молча, ни слова,
не ругаясь, не спорясь, —
глаза черного, злого
прищурена прорезь.

Атаман опоясан
изумрудною лентой.
Перед ним секретарь
изогнулся паяцем.

Изогнулся и скалит
кариозные зубы, —
из кармана его
выливается шкалик.

Атаман, замечая,
читает рацею:
— Это льется с какою,
спрошу тебя, целью?
Водка — это не чай,
заткни ее пробкой…

Секретарь затыкает,
смущенный и робкий.
На ходу поминая
и бога и маму,
молодой Тимофеев
идет к атаману,
полфунтовой подковой
траву приминая;
шита ниткой шелкóвой

рубаха льняная.

Сапоги его смазаны
салом и дегтем,
петушиным украшены
выгнутым когтем.

Коготь бьет словно в бубен,
сыплет звон за спиною:
— Долго чикаться будем
с такою шпаною?
И тяжелые руки,
перстнями расшиты,
разорвали молчанье,
и выбросил рот:
— Пять шагов,
коммунисты,
кацапы
и жúды!..
Коммунисты,
вперед —
выходите вперед!..
Ой, немного осталось,
ребята,
до смерти…
Пять шагов до могилы,
ребята,
отмерьте!

Вот она перед вами,
с воем гиеньим,
с окончанием жизни,
с распадом,
с гниеньем.

Что за нею?
Не видно…
Ни сердцу, ни глазу…
Так прощайте ж,
весна, и леса, и снегú!..

И шагнули сто двадцать…
Товарищи…
Сразу…

Начиная — товарищи —
с левой ноги.

Так выходят на бой.
За плечами — знамена,
сабель чистое, синее
полукольцо.
Так выходят,
кто знает врагов
поименно…
Поименно —
не то чтобы только в лицо.
Так выходят на битву —
не ради трофеев,
сладкой жизни, любви
и густого вина…

И назад отступает
молодой Тимофеев, —
руки налиты страхом,
нога сведена.
У Зеленого в ухе завяли монисты,
штаб попятился вместе,
багров и усат…
Пять шагов, коммунисты.
Вперед, коммунисты…
И назад отступают бандиты…
Назад.

Измена

И последнее солнце
стоит над базаром,
и выходят вперед
командир с комиссаром.

Щеки, крытые прахом,
лиловые
в страхе,
ноги, гнутые страхом,
худые папахи.

Бело тело скукожено,
с разумом — худо,
в галифе поналожено
сраму с полпуда.

Русый волос ладонью
пригладивши гладкой,
командир поперхнулся
и молвил с оглядкой:
— Подведите к начальнику,
добрые люди,
я скажу, где зарыты
замки от орудий…

И стояла над ними
с душой захолонувшей
Революция,
матерью нашей скорбя,
что таких прокормила
с любовью
гаденышей,
отрывая последний кусок от себя.

И ее утешая —
родную, больную, —
Шейнин злобой в один задыхается дых:
— Трусы,
сволочь,
такого позора миную,
честной смерти учитесь
у нас, молодых.

Даже банде — и той
стало весело дядям,
целой тысяче хриплых
горластых дворов:
— Что же?
Этих вояк
в сарафаны нарядим,
будут с бабой доить
новотельных коров…

— Так что нюхает нос-от,
а воздух несвежий:

комиссаров проносит
болезнью медвежьей…
— Разве это начальники?
Гадово семя…

И прекрасное солнце
цвело надо всеми.
Над морями.
Над пахотой,
и надо рвами,
над лесами
сказанья шумели ветра,
что бесславным — ползти
дальше срока червями,
а бессмертным —
осталось прожить до утра.

Допрос

В перекошенной хатке
на столе беспорядки.
Пиво пенное в кадке,
огуречные грядки
и пузатой редиски
хвосты и огрызки.

Выпьют водки.
На закусь —
бок ощипанный рыбий…
Снова потчуют:
— Накось,
без дыхания выпей!

Так сидят под иконой
штаб
и батько Зеленый.

Пьет штабная квартира,
вся косая, хромая…
Входят два конвоира,
папахи ломая.

— Так что, батька, зацапав
штук десяток за космы,
привели на допрос мы
поганых кацапов…
Атаман поднимается:
— Очень приятно!

По лицу его ползают мокрые пятна.
Поднимается дьякон
ободранным лешим:
— Потолкуем
и душеньку нашу потешим…

Комсомольцы идут
стопудовой стеною,
руки схвачены проволокой
за спиною.

— Говорите, гадюки,
последнее слово,
все как есть
говорить представляем самим…
Здесь и поп и приход,
и могила готова;
похороним,
поплачем
и справим помин…

Но молчат комсомольцы,
локоть об локоть стоя
и тяжелые черные губы жуя…
Тишина.
Только злое дыханье густое
и шуршащая
рваных рубах чешуя.

И о чем они думают?
Нет, не о мокрой
безымянной могиле,
что с разных сторон
вся укрыта
осеннею лиственной охрой
и окаркана горькою скорбью ворон.

Восемнадцатилетние парни —
могли ли
биться, падая наземь,
меняясь в лице?
Коммунисты не думают о могиле
как о все завершающем
страшном конце.

Может, их понесут
с фонарем и лопатой,
закидают землею,
подошвой примнут, —
славно дело закончено
в десять минут,
но не с ними,
а только с могилой горбатой.

Коммунисты живут,
чтобы с боем,
с баяном
чернолесьем,
болотами,
балкой,
бурьяном
уводить революцию дальше свою
на тачанках,
на седлах, обшитых сафьяном,
погибая во имя победы в бою.

— Онемели?
Но только молчанье — не выход…
Ну, которые слева —
еврейские…
вы хоть…
Вы — идейные!
Вас не равняем со всеми;
Украину сосали,
поганое семя.
Все равно вас потопим
с клеймом на сусалах:
«Это христопродавец» —
так будет занятней…
Агитируйте там
водяных и русалок —

преходящее ваше, собаки, занятье.

И выходит один —
ни молений, ни крика…
Только парню такому
могила тесна;
говорит он,
и страшно, когда не укрыта
оголенная
черной губою
десна.

— Не развяжете рук
перебитых,
опухших,
не скажу, как подмога
несется в дыму…
Сколько войска и сабель,
тачанок и пушек…
И Зеленый хрипит:
— Развяжите ему!

Парень встал, не теряя
прекрасного шика,
рукавом утирая
изломанный рот…
Перед ним — Украина
цветами расшита,
золоченые дыни,
тяжелое жито;
он прощается с нею,
выходит вперед.

— Перед смертью
ответ окончательный вот наш:
получи…
И, огромною кошкой присев,
бьет Зеленого диким ударом наотмашь
и бросается к горлу
и душит при всех.
Заскорузлые пальцы
все туже и туже…
Но уже на него
адъютантов гора, —

арестованных в угол загнали
и тут же
в кучу пулю за пулей
часа полтора.

Конец Триполья

У деревни Халупы
обрывист, возвышен,
камнем ломаным выложен
берег до дна.
Небо крашено соком
растоптанных вишен,
может, час, или два,
или три до темна.

Машет облака сивая
старая грива
над водой, над горой,
над прибрежным песком,
и ведут комсомольцев
к Днепру до обрыва,
и идут комсомольцы
к обрыву гуськом.
Подошли, умирая —
слюнявой дырой
дышит черная, злая
вода под горой.
Как не хочется смерть
принимать от бандита…

Вяжут по двое проволокой ребят.

Раз последний взглянуть и услышать:
сердито
мускулистые
длинные сучья скрипят.
Эти руки достанут еще атамана,
занося кулаков отлитые пуды,
чтобы бросить туда же,
в дыханье тумана,
во гниющую жирную пропасть воды.

Это вся Украина
в печали великой
приподнимется, встанет
и дубом и липой,
чтобы мстить
за свою молодежь,
за породу
золотую, свою,
что погибли смелы,
у деревни Халупы,
покиданы в воду
с этой страшной,
тяжелой
и дикой скалы.

Тяжело умирать,
а особенно смолоду,
додышать бы,
дожить бы
минуту одну,
но вдогонку летят
пули, шмякая о воду,
добивая,
навеки пуская ко дну.
И глотает вода комсомольцев.
И Киев
сиротеет.
В садах постареет седых.
И какие нам песни придумать…
Какие
о погибели наших
друзей молодых?

Чтобы каждому парню,
до боли знакома,
про победу бы пела,
про смерть,
про бои —
от райкома бы легкая шла
до райкома,
и райкомы снимали бы
шапки свои.
Чтобы видели все —
как разгулья лесного,

чернолесья тяжелого свищет беда,
как расстрелянный Дымерец тонет
и снова,
задыхаясь, Фастовского
сносит вода.
Он спасется.
Но сколько лежит по могилам
молодых!
Не сочтешь, не узнаешь вовек.
И скольких затянуло
расплавленным илом
наших старых, неверных
с притоками рек.

А над ними — туман
и гулянье сомовье,
плачут липы горячею
чистой росой,
и на месте Триполья
село Комсомолье
молодою и новой
бушует красой.
И опять Украина
цветами расшита,
молодое лелеет
любимое жито.
Парень — ласковый друг —
обнимает товарку,
золотую антоновку
с песней трясут.
И колхозы к свиному
густому приварку
караваи пшеничного хлеба несут.

Но гуляют, покрытые волчьею шкурой,
за республику нашу
бои впереди.
Молодой Тимофеев
обернется Петлюрой,
атаманом Зеленым,
того и гляди.
Он опять зашумел,
загулял,
заелозил —

атаман…
Украина,
уйди от беды…
И тогда комсомольцы,
винтовки из козел
вынимая,
тяжелые сдвоят ряды.

Мы еще не забыли
пороха запах,
мы еще разбираемся
в наших врагах,
чтобы снова Триполье
не встало на лапах,
на звериных,
лохматых,
медвежьих ногах.

Конец атамана Зеленого

Вот и кончена песня,
нет дороги обману —
на Украине тесно,
и конец атаману.

И от Киева сила,
и от Харькова сила —
погуляли красиво,
атаману — могила.

По лесам да в тумане
ходит, прячется банда,
ходят при атамане
два его адъютанта.

У Максима Подковы
руки, ноги толковы,
сабля звякает бойко,
газыри костяные,
сапоги из опойка,
галифе шерстяные,
на черкеске багровой

серебро — украшенье…
Молодой,
чернобровый;
для девиц — утешенье.
У Максима Удода,
видно, та же порода.
Водки злой на изюме
(чтобы сладко и пьяно)
в общей выпито сумме,
может, пол-океана.
Ходит черною тучей
в коже мягкой, скрипучей.
Улыбнется щербатый
улыбкой кривою,
покачает чубатой
смоляной головою…

По нагану в кармане,
шелк зеленого банта —
ходят при атамане
два его адъютанта.

Атаман пьет неделю,
плачет голосом сучьим —
на спасенье надею
носит в сердце скрипучем.

Но от Харькова — сила,
Травиенко с отрядом,
что совсем некрасиво,
полагаю, что рядом
говорят хлеборобы:
— Будя, отвоевали…
Нет на гадов хворобы,
да и будет едва ли.
Атаман пьет вторую,
говорит: «Я горюю»,
черной щелкает плетью.

Неприятность какая, —
переходит на третью,
адъютантов скликая.

— Вот, Удод и Подкова,

не найду я покоя.
Что придумать такого,
что бы было такое.

Вместе водку глушили,
воевали раз двести,
вместе, голуби, жили,
умирать надо вместе.

Холод смерти почуя,
заявляет Подкова:
— Атаман…
не хочу я
умирать бестолково.

Трое нас настоящих
кровь прольют, а не воду…
Схватим денежный ящик
на тачанку —
и ходу.

Если золота много,
у коней быстры ноги, —
нам открыта дорога,
все четыре дороги…
Слышен голос второго,
молодого Максима:
— Все равно нам хреново:
пуля,
петля,
осина…
Я за то, что Подкова,
лучше нету такого.

Тройка, вся вороная,
гонит, пену роняя.
Пристяжные — как крылья,
кровью грудь налитая,
свищет ярость кобылья,
из ноздрей вылетая.

Коренник запыленный.
Рвется тройка хрипящих, —
убегает Зеленый,

держит денежный ящик.

Где-то ходит в тумане
безголовая банда…
Только при атамане
два его адъютанта.

Тихо шепчет Подкова
Максиму Удоду:
— Что же в этом такого?
Кокнем тихо — и ходу.
Мы проделаем чисто
операцию эту —
на две равные части
мы поделим монету.
А в Париже закутим,
дом из мрамора купим,
дым идет из кармана,
порешим атамана.

И догнала смешная
смерть атамана —
на затылке сплошная
алая рана.
Рухнул, землю царапая,
темной дергая бровью.
Куртка синяя, драповая
грязной крашена кровью.

Умер смертью поганою —
вот погибель плохая!
Пляшут мухи над раною,
веселясь и порхая.

На губах его черных
сохнет белая пенка.
И рабочих из Киева
в бой повел Травиенко[112].

Вот и кончена песня, —
нет дороги обману, —
и тепло,
и не тесно,
и конец атаману.

1933–1934

Из неоконченного

Воззвание

Ты пришла ко мне, как мама,
волос тонкий, золотой,
на тебя взглянул упрямо
и решил, что я не твой.

Мы на Волге
и в Сибири,
мы на Каме,
на Оке
целовались,
говорили
любовались на реке.

Нам казалось — это лето,
нам казалось — это сад.
Только лето, но не это,
гусь не высидит гусят.

Утка в полночь не прокрячет,
петухи не запоют,
дорогая — это значит,
не назначен нам уют.

Но случилось все не в меру,
получилось все не то,
и ушла ты к инженеру
под названием «Авто».

Он откуда-то из Форда
и доволен сам собой.
Поглядел немного гордо
и в спецовке голубой.

Молодой, голубоглазый,
а рука белым-бела.
Ты же все-таки заразой,

нехорошею
была.

Сарафан ли твой не гладен,
он в замасленной пыли,
да и сам я парень ладен —
ноги прямо до земли.

Хороша была погода,
за весной была зима,
не видались мы полгода,
подошла ко мне сама.

И услышал я угрюмый:
— Милой,
я беременна,
ты, пожалуйста, не думай —
это только временно.
Я сказал:
— Не дорогого
ждал я счастья впереди,
от кого-нибудь другого,
только все-таки роди.

Начало 30-х годов

«Я приличий не нарушу…»

Я приличий не нарушу,
не накликаю беду —
погляжу в чужую душу,
погляжу и отойду.

1934(?)

«У моей, у милой, у прелестной…»

У моей, у милой, у прелестной
на меня управа найдена.
Красотой душевной и телесной
издавна прославилась она.
Говорит, ругается:

— Ты шалый,
я с тобою попаду в беду,
если будешь водку пить — пожалуй,
не прощу,
пожалуй, и уйду.
Навсегда тебя я позабуду…
Я встаю.
В глазах моих темно…
— Я не буду водку пить,
не буду,
перейду на красное вино.

1935(?)

«Вы меня теперь не трогте…»

Вы меня теперь не трогте —
мне ни петь,
ни плясать —
мне осталось только локти
кусать.
Было весело и пьяно,
а теперь я не такой,
за четыре океана
улетел мой покой.
Шепчут листья на березах:
— Нехороший ты,
хмельной…
Я иду домой —
тверезых
обхожу стороной.
Пиво горькое на солоде —
затопило мой покой…
Все хорошие, веселые, —
один я плохой.

1935(?)

Люся
(Отрывки из поэмы)

Отходит поезд
с грохотом и гулом —
известный ненавистник тишины,
уже на полках
чемодан с баулом
удобно, хорошо размещены.

И ничего на легком сердце, кроме
спокойствия.
Глаза печаль таят.
А на дощатом,
узеньком перроне
шеренгой провожатые стоят.

Жена беречь здоровье наказала,
дала фуфайку шерстяную,
плед…
Еще, наверно, не ушла с вокзала,
рукою машет полною вослед.

О, сборы и заботы о супруге —
я до сих пор, убейте, не пойму —
зачем фуфайки теплые на юге
и плед
в июле месяце
в Крыму?

Вот так всегда.
Терпите понемногу,
семейную цените дребедень —
пекут вам подорожники в дорогу,
которые засохнут через день.

И в результате просьбы, и указа,
и требований любящей жены —
набиты чемоданы до отказа,
вы чемоданами окружены.

Проклятье,
нетерпение,
истома…
Вы молча наблюдаете, дрожа,

перед отъездом забывая дома
любую половину багажа,
как поступил
герой поэмы этой,
ворчливо резюмируя: «Каюк!»
В защитное, военное одетый,
обычный путешественник на юг.

2

Он гимнастерку снял.
Тяжелой, сочной
была его суровая рука…
Он с проседью серебряной, височной,
но, видимо, не старше сорока.

Он успокоился.
Вагон качало.
Он расстегнул сорочку на груди,
и все увидели, что грудь курчава,
с боков побольше,
меньше посреди.

И в комнатке,
в купе четырехместном,
в табачном,
серо-крашеном дыму
он был, пожалуй,
самым интересным,
но это неизвестно почему.

Обыкновенны были все соседи,
включая всех —
и даму
и юнца,
в неторопливой длительной беседе,
которой ни начала, ни конца.

Юнец краснел.
Ему мешали руки.

Другой сосед раскладывал кровать.

А дама что ж?
Она уже со скуки
была с любым готова флиртовать.

Она и не умела быть иною,
все было так с девичества у ней:
и волосы, подкрашенные хною,
темнее у корней,
багровый рот.

……
Как часто я
в вагонном коридоре,
порой ночами не смыкая глаз,
позабывал о радости и горе,
раскуривая трубку сотый раз.

Кто завтра мне — поэту и бродяге —
постель постелет,
приготовит чай?
В какой смешной
и новой передряге
придется очутиться невзначай?
В любом селенье,
на любом привале
каких мы только…
(легки дороги…..)
любили,
ревновали,
горевали,
лезгинку танцевали,
пировали,
араку пили,
ели шашлыки.

Вот полустанок.
Пролетая мимо,
я на секунду вижу вдалеке
бревенчатые избы,
клочья дыма
и девушку в малиновом платке.
Она рукою робкою махнула.
Быть может, мне…

……
Погасла сразу лампочка ночная
и разбудила медленно одних,
другие спали, ничего не зная,
им снилась жизнь
далекая, иная…
Прошел по коридору проводник.

Военный, всполошенный шумом этим,
вскочил и вспомнил:
…поезд…
…еду в Крым…
Был у уборной в очереди третьим,
а потерпев немного, и вторым.

Тяжелым телом хвастаясь холеным,
он вымылся до пояса.
Потом
он вытерся везде одеколоном
и отполировал себя жгутом
из простыни сухой-сухой,
махровой,
минуты три,
а может, больше —
шесть…
И вышел замечательный,
здоровый,
блестели зубы,
захотелось есть.

О, ветчина, слезящаяся жирно,
уже тобой позавтракать пора,
на столике разложена обширно
телятина,
зернистая икра.

……
……

1936

Парашютист

(Отрывок из поэмы «Люся»)

Ворча, машина вышла из ангара.
Чудовище, не торопясь, плыло.
Чуть красноватым,
словно от загара,
блестело занесенное крыло.
Гуляли ветры злобно и привольно,
и летчики нахмурились слегка.
Один сказал другому недовольно:
— Того гляди, надуют облака…
Другой сказал:
— Пожалуй, но едва ли…
Хотя и он уверен был в душе…
А на парашютиста надевали
два ранца с парашютами уже.
Два ранца, выверенных,
заряженных,
пригодных в положении любом…
Парашютист —
мохнатый медвежонок
в комбинезоне зимнем, голубом —
стоял, неловко растопыря руки,
казался незаметным,
небольшим,
позевывал и ежился от скуки,
спокоен,
равнодушен,
недвижим.
Взял карабин —
и по аэродрому
пошел к машине
прямо, не спеша.
Один из летчиков сказал другому
смешно и непонятно:
— Хороша…
Они молчали.
Редко, редко — слово.
Казалось, это — темная стена.
В ней — на груди комбрига Бережного,
переливаясь, рдели ордена.
Все разговоры ветром относило…
— Прыжок парашютиста…
— Затяжной…

— Семь тысяч метров, кажется…
— Красиво… —
услышал, улыбаясь, Бережной.
Но вдруг,
подобна яростной лавине,
пошла машина,
воя и гремя,
огромными моторами тремя,
по бетонированной луговине.
И не заметил устремленный глаз,
как от земли она оторвалась —
и выше, выше,
видно еле-еле,
как уходила птица напрямик —
на крыльях звезды алые горели,
легко,
не потухая ни на миг.
И ждали люди,
локтем чуя локоть —
соседа локоть…
Тишина была.
И ничего не видно,
только клекот
стального
разъяренного орла.
Проходит час,
а может быть, минута,
а может быть,
тяжелый долгий век,
и вот — момент
до бесконечья жуток —
летит, не раскрывая парашюта,
из облака на землю человек.
И смотрят все в смятенье и истоме,
смешав понятья слов и скоростей.
Еще секунда —
на аэродроме…
Сейчас, сейчас…
Но вдруг, переливая
цветами и заката и утра,
мелькнула в небе звездочка живая
и расцвела…
И крикнули — ура!
И страх ушел,

как будто вовсе не был,
и человек качался над тобой,
его берег
огромный купол неба,
оранжевый,
лиловый,
голубой.
И я повествованью не перечу,
когда скажу, что, задыхаясь, все
бежали с криком
храбрецу навстречу,
спеша через канавы и шоссе.

А он стоял смущенно и неловко
уже теперь совсем невдалеке.
Поблескивала матово винтовка
в его еще мальчишеской руке.
Он шлем снимал,
увидели —
девичья
кудрявая сверкнула голова…
И замолчали все до неприличья,
пропали песни,
светлые слова.
А волосы витые, золотые,
и нос горбинкой, чуточку смешной…
И только: «Люся, Люся, это ты ли?» —
сказал, себе не веря, Бережной.
Но все теперь опомнились.
Кричали,
другие радостно еще вдали.
А эти, прибежавшие вначале,
уже к ангарам Люсю повели.

1936

Н. А. Прозорова
Новонайденные тексты Бориса Корнилова из архива Г. М. Козинцева

[114]

Творческое наследие поэтов и писателей, погибших во время сталинских репрессий, как правило, не сохранилось в виде личных архивов. Безвозвратно утрачен и архив Бориса Петровича Корнилова, который был расстрелян как «участник троцкистско-зиновьевской террористической организации» 20 февраля 1938 года. В связи с этим значение документов и автографов поэта, уцелевших в российских архивохранилищах в составе фондов других лиц, неизменно возрастает, а поиск их является одной из архивно-исследовательских задач. О новонайденных автографах поэта и пойдет речь в настоящей публикации.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб.), в фонде известного режиссера и теоретика кино Г. М. Козинцева, нами были обнаружены новые стихотворения Бориса Корнилова: четыре неизвестных поэтических текста и ранняя редакция «Сказания о герое гражданской войны товарище Громобое».

Обратимся сначала к истории текста стихотворения «Сказание…». Произведение было впервые напечатано в 1934 году в газете «Известия» под названием «Шуточное сказание о герое гражданской войны товарище Громобое» («Про того Громобоя напасти…»)[115], а затем без указания даты, с измененным названием и сокращенным текстом включено автором и книгу «Новое»[116].

После трагической гибели поэта его творчество было обречено на забвение почти на два десятилетия, и в первый посмертный сборник «Стихотворения и поэмы» (Л, 1957), подготовленный О. Ф. Берггольц и М. П. Берновичем, «Сказание» не вошло. Позднее, при отборе стихотворений и поэм Корнилова для «Библиотеки поэта», Бернович включил «Сказание…» в издание с условной датой: <1934>[117]. В 1972 году, публикуя стихотворения в сборнике поэта «Продолжение жизни», К. И. Поздняев опустил угловые скобки, и, таким образом, в печатных источниках надолго[118] закрепилась датировка «Сказания»: 1934[119]. Еще дважды стихотворение было напечатано в сборниках, вышедших и пермском и петербургском издательствах в 1986 и 2011 годах, где дата «Сказания» была вновь заключена в угловые скобки[120].

В перечисленных изданиях Бернович и Поздняев публиковали стихотворение без комментария, очевидно не располагая в это время необходимым для этого материалом. Автор первого исследования о творчестве поэта — Г. М. Цурикова лишь вскользь упоминает о «Сказании», относя его к былинным сценам, и замечает, что «здесь Корнилов как бы соревнуется с А. Прокофьевым, писавшим на ту же тему»[121]. Действительно, шуточный герой-крестьянин корниловского стихотворения подан в том же лубочном тоне, что и в «Трех песнях о Громобое» А. А. Прокофьева[122]. «Шуточность, несерьезность, пародийность „Громобоя“ ощущаются еще более, — писал критик и исследователь творчества А. Прокофьева А. П. Селивановский, — если сравнить с прокофьевским аналогичное стихотворение Б. Корнилова о том же „Громобое“, с теми же исходными ситуациями и той же концовкой: „Украшают его орденами и сажают его в сельсовет“»[123]. Но почему два поэта «соревновались», сочиняя стихи на одну и ту тему «с исходными ситуациями» и похожей концовкой? Первым эту загадку попытался разгадать Дм. Молдавский, занимавшийся творчеством Прокофьева и обративший внимание на примечание к первой публикации прокофьевских стихов о Громобое в журнале «Залп» в 1932 году: «Песни для звуковой кинокомедии „Путешествие в СССР“»[124]. Затем, обратившись к вдове режиссера Козинцева, В. Г. Козинцевой, подтвердил свои предположения о том, что оба поэта, Корнилов и Прокофьев, писали стихи о Громобое для новой картины[125].

В литературно-художественной коллекции известного библиофила и музыканта М. С. Лесмана также имеется рукопись интересующего нас стихотворения Корнилова. Этот автограф был впервые описан в аннотированном каталоге «Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана» под названием «О герое гражданской войны товарище Громобое — сказание» («Как зазвякали звезды на шпорах…»)[126]. С 1994 года коллекция Лесмана начала поступать в Пушкинский Дом, благодаря чему нам удалось познакомиться с рукописью произведения de visu, хотя научно-техническая обработка фонда еще не завершена. После сличения недатированного и неавторизованного автографа с текстом первой публикации выявились разночтения: измененное название, отсутствие в автографе первой строфы текста газетной публикации и незначительные лексические замены[127].

В 1996 году в домашнем архиве поэта Г. А. Некрасова был обнаружен еще один автограф «Сказания…» Корнилова. Атрибуцией этого автографа занимался Поздняев, сопоставивший рукопись стихотворения с опубликованными текстами.

Исследователь определил, что текст автографа из архива Некрасова и текст, опубликованный в газете «Известия», имеет незначительные расхождения и отличается от книжных изданий[128]. Однако в статье о находке, опубликованной в «Нижегородской правде», Поздняев не указал, был ли датирован Корниловым автограф «Сказания…».

Мы продолжили разыскания в архиве Г. М. Козинцева в ЦГАЛИ СПб., благодаря которым удалось выяснить следующее. Обнаруженный нами автограф «Сказания о герое гражданской войны товарище Громобое» является первой редакцией стихотворения и имеет авторскую датировку: 27 июня 1932[129]. Очевидно и то, что «Сказание…» было написано Корниловым как текст песни к незаконченному фильму «Путешествие в СССР», который Козинцев и Л. З. Трауберг снимали в 1932 году. Остановимся на этом подробнее.

В 1931 году режиссеры побывали на Магнитострое и, вернувшись в Ленинград, под впечатлением от поездки приступили к написанию сценария эксцентрической комедии о современной стройке для Ленинградской фабрики «Севзап-кино» (ныне это киностудия «Ленфильм»)[130]. Но работа не пошла. Позднее, в 1974 году, участники фильма рассказали о подготовке сценария и актерских работах в интервью журналу «Советский экран». «Тогда мы обратились к молодому Николаю Погодину, — вспоминал Л. Трауберг, — в то время начинавшему увлекаться кинематографом. В начале 1932 года он вручил нам готовый сценарий „Последняя артель“, который после некоторой переделки стал называться „Путешествие по СССР“[131].

Вот его содержание. Сельская артель, состоящая из ядреных мужиков, отправляется на стройку — мир поглядеть и себя показать. Это очень знаменитая артель. Она существует много лет, у нее свои „легенды“, которые мужики охотно рассказывают при случае, и все они уверены, что их артель — самая лучшая в мире. Но когда они приезжают на стройку, выясняется, что слава их дутая и что они всего-навсего обыкновенные кустари. Артель быстро распадается, и вместо нее возникает новая бригада…

Все это было написано в очень смешных эпизодах. <…> Был в сценарии крестьянский парень, мечтательный юноша, зачитывающийся „Детьми капитана Гранта“, — его играл Б. Чирков. Был веселый хвастун, наивный, простодушный силач Митроша — Зуда — С. Каюков. Была девушка Маша, овладевавшая сложным механизмом, экскаватором „Марион“, — М. Бабанова. Патриархального старосту артели должен был играть М. Тарханов. И был еще кулацкий сын Васюта Барашкин, продавший артельную корову без ведома артели, хвастун и

лентяй. В этой роли снимался Э. Гарин»[132].

Однако замысел о «психологическом путешествии российских мужицких характеров» на большую стройку страны так и не получил кинематографического воплощения: фильм приостановили, а затем закрыли. «Мы начали снимать картину в Мариуполе, — рассказывал Трауберг, — наш постоянный оператор А. Москвин с удовольствием работал на натуре. А потом мы решили перебраться на Днепрострой, ведь действие фильма происходило на одной из больших строек первой пятилетки. Картина задумывалась как звуковая, но в самый разгар работы на Днепрострое выяснилось, что у нас до сих пор нет звукооператора, а того, кто с нами должен был работать, перебросили на другую картину»[133]. Когда работа над фильмом остановилась, съемочная группа вернулась в Ленинград.

Вопрос о реальной причине, по которой была закрыта картина, неясен. Публикаторы переписки Г. Козинцева, В. Г. Козинцева и Я. Л. Бутовский, отмечают, что немаловажную роль в этом деле сыграл чиновник Главного управления кинофотопромышленности при Совнаркоме СССР — Б. З. Шумяцкий[134]. Нас же в данном случае интересует не столько история несостоявшейся кинокартины, сколько относящиеся к ней архивные материалы, сохранившиеся в фонде Козинцева: заявка на сценарий, его режиссерская разработка и собственно литературный сценарий Н. Ф. Погодина, а главное — корниловские автографы. Среди которых, во-первых, была обнаружена новонайденная авторизованная ранняя редакция «Сказания», отличающаяся от первой газетной публикации названием, отсутствием первой строфы, лексическими и смысловыми разночтениями, датировкой автора, и также разбивкой текста на «хор» и «голос»[135]. Во-вторых, стихотворение «Он побольше этих домен…» с подписью Корнилова[136] и, в-третьих, два неавторизованных рукописных текста с названиями «Песенка, с которой артель тянет пароход на берег» и «Песня о председательсовета товарище Громобое»[137]. И наконец, еще один, пятый текст, без общего названия, состоящий из трех частей с самостоятельными заголовками: «Артельщик лежит и поет»; «Голос»; «Артель работая». После сличения почерка поэта в черновых тетрадях 1930-х годов, хранящихся в Рукописном отделе Пушкинского Дома в фонде Берновича[138], с этими рукописями стало очевидно, что перед нами новонайденные произведения Бориса Корнилова. Стихотворения написаны в свойственной поэту манере: с напевным ритмом, песенной компотной, насмешливо-озорной интонацией, «корниловской» инверсией («дирижабли / смертоносные вполне»)

и установкой на использование в лексике парня-артельщика «неправильных» и непоэтических слов («текёт», «баба», «ребяты»).

В этом же деле о незавершенной комедии «Путешествие в СССР» были обнаружены и тексты песен А. А. Прокофьева[139]. При заказе текстов песен Корнилову и Прокофьеву было задано лексико-семантическое поле с ключевыми словами: Громобой, красивый, сельсовет, председатель, дирижабль, артель и др., что видно при сравнении произведений двух поэтов.

Ср.:
Прокофьев

Громовой стоял красивый,
Сплюнул в чистую бадью[140].

Светит солнышко рябое
Птички звонкие поют,
Дорогому Громобою
Дирижаблик подают[141].

Корнилов

Возгласите хвалу Громобою,
Что прекрасен донельзя собой[142].

Обнажал он остры сабли
на гражданской на войне,
над главою дирижабли
смертоносные вполне[143].

Тема героя-Громобоя в дальнейшем не оставляла Корнилова, предполагавшего, видимо, подготовить книгу о Громобоях[144]. Найденные тексты песен Корнилова дополняют корпус стихотворений наиболее «песенного» для поэта 1932 года, в течение которого были написаны знаменитая «Песня о встреч ном» («Нас утро встречает прохладой…») для кинофильма «Встречный» (музыка Д. Д. Шостаковича), а также «Октябрьская», «Интернациональная», «Комсомольская краснофлотская» и «Пограничная». Песня в это время излюбленный жанр не только в творчестве Бориса Корнилова, 1930-е годы — период расцвета массовой песни, уникального явления советской культуры,

подъему которого в немалой степени способствовал кинематограф. Не случайно сценарий фильма «Путешествие в СССР» переполнен песнями. Обращает на себя внимание и режиссерская помета, сделанная карандашом к эпизоду «Крановая бригада идет»: «*ПЕСНЯ* обязательно»[145]. Приведем небольшой сценарный фрагмент, иллюстрирующий широкое включение песни в кинематографическую ткань первых звуковых советских картин: «Наверху, на палубе, сидел человек, читал газету. Прислушался и стал подпевать. В салоне два шахматиста, думают и беззвучно подпевают, в ритм песне передвигают шахматы и хватаются за голову.

Капитан на мостике облокотился и поет в трубку. Машинист слушает приказ и поет то же, что и капитан. Кочегар, покачиваясь, мрачным голосом, — подал уголь, — и поет.

Река. Вечер. Песня. И вальсирующий ритмически пароход»[146].

Песня как бы «организует» сценарий, в котором действия персонажей, работа, отдых и их эмоции сопровождаются песней, в том числе шуточной. «Мы насчет пения, — говорит артельщик, — знаменитейшая артель»[147]. На что ему бригадир отвечает: «Здорово поете. <…> А работаете как сукины дети»[148]. Композитором в заявке на фильм «Путешествие в СССР» был указан В. Я. Шебалин, дирижером Н. С. Рабинович, художником Е. Е. Еней, звукооператором И. Ф. Волк.

Сотрудничество самого Корнилова в кино в дальнейшем продолжалось. Им были написаны тексты песен к картинам «Лунный камень» (1935; режиссеры А. Минкин, И. Сорохтин; композитор Б. Арапов), «Путь корабля» (1935; режиссер Ю. Тарич; композитор И. Дунаевский) и «Большие крылья» (1937; режиссеры М. Дубсон, К. Гаккель; композитор В. Желобинский, последняя была снята с проката почти сразу после выхода на экран).

Продолжая тему песен Корнилова для кино, следует упомянуть еще об одном, правда несостоявшемся, сотрудничестве поэта с советским кинематографом, которое касается картины «Шахтеры» (первоначальное название «Садовник»), Фильм был анонсирован в первомайском номере газеты «Кино» за 1936 год, в статье режиссера С. Юткевича[149]. Здесь же было опубликовано стихотворение Корнилова «Песнь о шахтерской слободе» с пометой «Для фильма „Садовник“»[150].

Картина, посвященная возникновению стахановского движения в шахтерской среде и борьбе с противниками этого движения («вредителями») благополучно вышла в прокат в августе 1937 года под названием «Шахтеры», но песня Корнилова в ней не звучала. Предполагаем, что причиной этого стал арест в

марте того же года, приближение которого предчувствовали и сам поэт, и его окружение. В этой связи вспоминаются строки Корнилова из поэмы «Триполье» (1932–1934):

Ой, немного осталось,
ребята,
до смерти…
Пять шагов до могилы,
ребята,
отмерьте!

Имя поэта вернулось в русскую литературу в 1957 году, после его посмертной реабилитации. Популярная «Песня о встречном», слова которой были у всех на слуху, но считались народными, вновь обрела автора. И наконец, в 1960 году еще одно стихотворение Корнилова «Вечер» («Гуси-лебеди пролетели…») с небольшими сокращениями было положено на музыку композитором В. И. Рубиным и прозвучало в фильме С. И. Туманова и Г. Б. Щукина «Алешкина любовь».

Тексты публикуются по автографам, находящимся в ЦГАЛИ СПб. (Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247), с сохранением их порядка в архивном деле: л. 6–6 об. — «Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое»; л. 7–7 об. — «Он побольше этих домен…»; л. 8—10 — «Артельщик лежит и поет», «Голос», «Артель работая»; л. 11 — «Песенка, с которой артель тянет пароход на берег»; л. 12–14 — «Песня о председательсовета товарище Громобое». Стихотворения написаны фиолетовыми и синими чернилами. Подчеркнутые в тексте слова выделены при публикации курсивом, сокращения раскрыты в ломаных скобках; орфография и пунктуация приближены к современным правилам.

Публикатор выражает признательность памяти В. Г. Козинцевой, сохранившей для истории отечественного кинематографа и русской литературы архив Г. М. Козинцева, а также благодарит А. Г. Козинцева за любезное разрешение опубликовать тексты песен Б. П. Корнилова к незавершенному фильму «Путешествие в СССР».

Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое

Голос

Как звякали звезды на шпорах — Громовой вылетает высок,
возле около пыхает порох и пропитанный кровью песок…

Хор

возле около пыхает порох и пропитанный кровью песок.

Голос

Возгласите хвалу Громобою, что суразен доне́льзя собой,
сорок армий ведет за собою, состоя во главе, Громобой. (2 раза)

И упала от края до края эта сила, как ливень камней,
угнетатели, прочь удирая, засекают кубанских коней. (2 раза)

И графья, и князья, и бароны, и паны до урядника вплоть,
и терзают орлы и вороны их убитую мягкую плоть. (2 раза)

Поразбросаны всюду, как рюхи — насекомые скачут по лбам,
и тогда победителю в руки телеграммы идут по столбам. (2 раза)

Громобой по печатному дока, содержанье имеет в мозгу,
что в течение краткого срока самолично явиться в Москву. (2 раза)

Приказание буквой любою получается, в сердце звеня,
и подводят коня Громобою — Громобой не желает коня. (2 р<аза>)

А моторы от шума и воя поднимаются прямо до звезд,
самолет до Москвы Громовой во мгновение ока довез. (2 р<аза>)

Облака проплывают как сало, он рукой ощущает звезду,

и в Москве Громовой у вокзала вылезает на полном ходу. (2 р<аза>)

Пушки рвут холостою пальбою, всем приказано в ноги упасть,
преподносит цветы Громобою на вокзале советская власть.

За лихую расправу с панами, за спасенье от горя и бед
украшают его орденами и сажают его в сельсовет. (2 раза)

Громобой заседает в совете, он теперича незаменим,
мы его — Громобоевы дети — чепуха по сравнению с ним. (2 раза)

Возгласите хвалу Громобою, что суразен донельзя собой,
он и нас поведет за собою, состоя во главе, Громобой.

Хор

Он и нас поведет за собою, состоя во главе, Громобой.

27 шюня 1932 г<ода>
Борис Корнилов

* * *

Он побольше этих домен,
личность светлая в пыли,
он стоит, стоит огромен
посередь всея земли.

<Припев>

и-и-эх…
Слава Громобою,
завсегда с тобою

мы превыше всех.
Обнажал он остры сабли
на гражданской на войне,
над главою дирижабли
смертоносные вполне.

Припев

Столкновения лихие —
на врага летел горой,
и за подвиги такие
Громобой теперь герой.

Припев

Он из огненного боя
вышел крепкий, словно сталь,
на грудях у Громобоя
Красно — знаменье — медаль.

Припев

Новой власти созидатель —
пойте славу веселей,
он теперя председатель
сельсовета на селе.

Припев

Он у нас хозяин старший,
обстоятельный кругом,
голова артели нашей,
и директор, и завком.

Припев

Не вдаваясь больше в пренью,
мы заявим вперебой,
что ничтожны по сравненью
мы с тобою, Громобой.

Припев

Возгласи сие трубою,
как архангельской трубой,
слава, слава Громобою,
всех превыше Громобой.

Борис Корнилов

Артельщик лежит и поет

Ой, какая жара —
покупаться пора…
Квасу бы, ягод бы,
бабу бы на год бы
и лежать на печи —
хохочи, щекочи…
Сладкой браги поток
прямо в рот бы потек,
закусить бы ее —
красота — не житье.
Квасу бы, ягод бы,
бабу бы на год бы…

Голос

Только если бы не бы,
так во рту росли грибы,
а не рапорты,

что лежите, как гробы,
как на паперти.
Поднимай телеса,
разводи чудеса —
чудо первое…

Артель работая

Лопаты вниз,
ребяты — гнись,
как вервие.
Трещит земля
самодельная —
валяй семья —
артель моя.
Эх, кабы да кабы —
только вот не зли —
мы ребяты — дубы
в нашей отрасли.
Хоть в какую жару —
только вот не зли —
прокопаем дыру
насквозь земли.
Копай до дна
пропасть оную,
подойдет она
под Японию.
Копай весело́
обоими,
придем на село
Громобоями.
Грянь, грянь — гром…
бей, бей — бой…
гей, гей, бом —
Громобой…

пока все

Песенка, с которой артель тянет пароход на берег

Текёт вода, горяч песок,
тяни, дружок,
а ну, разок,
еще разок —
на бережок.
Давай его, тяни сюда,
текёт вода —
раскинешь ноги, будешь наш
……
(вытянув пароход, сплевывая и утираясь)
Готов. Шабаш.

Песня о председательсовета товарище Громобое

На ниве божья света —
красивый сам собой
живет председательсовета —
товарищ Громобой.
За красные советы,
как туча шел на бой,
произносил заветы —
товарищ Громобой.
Грянь, грянь — гром…
бей, бей — бой…
гей, гей, бом —
Громобой…
И дни его летели,
сверкая вперебой —
он голова артели —
директор Громобой.
Гласи, законодатель,
архангельской трубой,
он с нами — председатель
товарищ Громобой.
Грянь, грянь — гром…
бей, бей — бой…
гей, гей, бом —
Громобой…
И, не вдаваясь в прению,
заявим вперебой:
— Мы птички по сравнению
с тобою, Громобой… —

С канатными усами,
с отпяченной губой,
ты проходил лесами,
как леший, — Громобой.
Грянь, грянь — гром…
бей, бей — бой…
гей, гей, бом —
Громобой…
И песня наша искоркою
над тобой сверкай,
и песню вроде изверга —
ребята, извергай.
Грянь, грянь — гром…
бей, бей — бой…
гей, гей, бом —
Громобой…

Часть вторая. «НАС УКАЧИВАЛА ЛЮБОВЬ»

«Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годов

Публикация Н. А. Прозоровой[151]

Публикуемый дневник Ольги Федоровны Берггольц (1910–1975) посвящен началу ее поэтического пути, литературной жизни Ленинграда конца 1920-х годов, личным и творческим отношениям поэтессы с первым мужем, Борисом Петровичем Корниловым, а также бытовым обстоятельствам их недолгого брака.

Дневниковые тетради Берггольц — ценнейшая составляющая ее литературного наследия. Небольшая часть их была выборочно опубликована Марией Федоровной Берггольц в журнальной периодике и в юбилейном издании «Встреча», и затем была включена в книгу «Ольга. Запретный дневник», вышедшую к столетию поэтессы[152]. В книгу Д. Т. Хренкова «От сердца к сердцу» вошли выписки из дневников разных лет, с которыми автора знакомила (хотя и неохотно) сама Ольга Федоровна[153]. Она отказывалась даже от небольшой публикации своих «тетрадей» и, по воспоминаниям Хренкова, говорила: «Напечатают после моей смерти»[154].

В Российском государственном архиве литературы и искусства (ф. 2888) хранятся семьдесят две дневниковых тетради за 1923–1971 годы[155]. Нельзя не согласиться с замечанием Д. Хренкова: «Всех нас еще ждет большое литературное открытие, когда будет разобран архив писательницы и опубликованы ее дневники»[156].

Публикуемая тетрадь 1928–1930 годов сохранилась в составе другого ее фонда, который находится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (ф. 870). Фонд поступил в Рукописный отдел в 2004 году, и в последнее время началась его предварительная научно-техническая обработка[157]. Дневник, написанный совсем юной, только вступающей в жизнь Ольгой Берггольц, представляет собой рукописную тетрадь и охватывает период с 3 декабря 1928-го по 11 апреля 1930 года, с припиской в конце текста, датированной 17 октября 1931 года.

В первой же записи эскизно обозначены те жизненные обстоятельства, при которых начинающая поэтесса, молодая жена и уже мать, возобновила ведение дневниковой тетради, приостановленное рождением дочери. «Мне так тяжело и

тоскливо, — пишет Берггольц 3 декабря 1928 года. — Но не могу не вести дневника… Пусть глупо и смешно. Буду. Но сегодня — сейчас — надо покороче, — столько дела, и, кажется, просыпается Ирка».

В восемнадцать лет Ольга Берггольц живет в доме родителей с мужем поэтом Борисом Корниловым, маленькой дочерью Ириной и учится на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. В эти годы она слушает лекции прославленных профессоров и педагогов Б. В. Томашевского, Б. М. Энгельгардта, Б. В. Казанского, В. Б. Шкловского, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, занимается в семинарии С. Д. Балухатого[158]. В институте проходят поэтические вечера, где Берггольц слушает выступления Э. Багрицкого, В. Маяковского. Возможно, именно здесь она впервые встречается с Николаем Тихоновым, который при Комитете современной литературы отдела истории словесных искусств вел семинар по поэзии. Учеба Берггольц в институте совпала с периодом его реорганизации, напрямую связанным с разгромом формальной школы (институт считался «гнездом формализма») и ликвидацией Высших государственных курсов искусствоведения. Курсы закрыли по Постановлению коллегии Наркомпроса от 16 сентября 1929 года, а студентов — «пролетарскую часть» — перевели на соответствующие отделения ЛГУ. В их числе оказалась и Ольга Берггольц, записавшая в дневнике: «Жаль профессуру». В «Попытке автобиографии» Берггольц небезосновательно назвала ВГКИ при институте «странным учебным заведением». Л. Я. Гинзбург, окончившая курсы несколькими годами раньше, вспоминала: «Учебное заведение получилось, конечно, необычайное. В сущности, оно не имело регулярной программы. Большие ученые говорили на лекциях о том, над чем они в данное время думали, над чем работали. Шутники уверяли, что можно было окончить словесный факультет ГИИИ и так и не узнать о том, что существовал, например, Тургенев, — если как раз никто из мэтров в этот момент Тургеневым не занимался. Это, конечно, гиперболическая шутка, но в ней как-то отразился институтский дух. Уже первокурсник оказывался лицом к лицу с высокой наукой, а это воспитывало лучше, чем любые программы»[159].

Поэтическое ученичество Ольги Федоровны продолжается и в литературной группе «Смена»: она мучительно ищет свой поэтический голос. Уже в ранних дневниковых записях проявляется доминанта личности Берггольц, жаждущей жить «во все стороны» (она и мать, и жена, и поэт), и ее непрерывный поиск в жизни, в любви, в творчестве. «Я хочу жизни — много,

много…» — пишет она, и в этом ключ к пониманию «души» ее дневника. Однако житейских трудностей в этот период у нее в избытке. Ей не хватает времени для полноценной учебы, скудны литературные гонорары, не складываются семейные отношения. Все эти проблемы находят выражение в публикуемом дневнике, но в основном в нем перемежаются две главные темы: первая — литературное ученичество Берггольц, вторая — отношения с Борисом Корниловым.

Обратимся к первой из них. Литературная группа «Смена» была организована в 1924 году. Занятия проходили сначала в редакции журнала «Юный пролетарий», в доме № 1 по Невскому проспекту, затем группа перебралась в Домпросвет на Мойке (Юсуповский дворец), а позже базировалась в Доме печати на Фонтанке. Юная Ольга Берггольц пришла в «Смену» в 1925 году, будучи школьницей. Первый год существования, по выражению В. Друзина, группа «имела *состав случайный*, в дальнейшем в литературе не закрепившийся»[160]. «Каждый вторник в 7 ½ часов вечера устраиваются в редакции „Юного пролетария“ устные альманахи, — сообщал журнал, — где ребята со своими произведениями обсуждают их сообща и занимаются литературной учебой»[161]. С конца 1925 года состав группы обновился. Ее членами стали в основном студенты, а наиболее активной частью читательской аудитории — комсомольцы, юнкоры и рабфаковцы, причем на чтениях и обсуждениях присутствовало до 70–80 человек. Возглавлял группу сначала В. Саянов, а затем В. Друзин[162]. «Смена», наряду с другими литературными группами («Резец», «Стройка», «Красная звезда», а также рабочими низовыми кружками «Звенья», «Рабочий и крестьянка», «Рабочая окраина», «Выборгская сторона»), вошла в Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей (ЛАПП), которая, в свою очередь, была составной частью РАПП. «Литературная группа. „Смена“, хотя и входила в РАПП, — вспоминал Г. Гор, — жила подлинной, не обуженной и не препарированной литературной жизнью. Ее члены писали, спорили, мало интересуясь рапповской и налитпостовской схоластикой, а из большинства их вышли настоящие прозаики и поэты»[163]. Членами группы в разные годы были: В. Саянов, Б. Корнилов, Д. Левоневский, Б. Лихарев, Ю. Берзин, В. Друзин, Л. Рахманов, О. Берггольц, М. Глухов, М. Чумандрин, Г. Гор, Н. Петров, И. Авраменко, М. Останин и др.

Первые упоминания в печати о группе «Смена» и о молодой Ольге Берггольц были в целом благожелательны. «До сих пор „Смена“ была обижена критикой, — отмечалось в статье „„Фабзайчата“ литературы“, — о ней почти не писали. Между тем

эта группа за последний год заняла видное место среди литературных организаций Ленинграда»[164]. Ольга Берггольц была признана в статье «не совсем еще литературно оформившейся» молодой поэтессой со случайным выбором тем[165]. Стихи ее, впервые появившиеся в «Ленинских искрах»[166], принимали к печати редакции пролетарских и комсомольских периодических изданий — «Юный пролетарий», «Смена» и «Резец».

Юбилею группы был посвящен декабрьский номер «Резца» за 1927 год, который открывался статьей В. Друзина «Трехлетие „Смены“» с фотографией ее участников, среди которых были Корнилов и Берггольц[167]. Произведения сменовцев перемежались в журнале с поздравлениями и дружескими шаржами на Б. Лихарева, Д. Левоневского, Б. Корнилова, Г. Гора, В. Друзина, О. Берггольц. В обзоре альманаха «Кадры», который готовился в то время к печати в издательстве «Прибой», Раиса Мессер, выделив стихи Саянова, подчеркнула, что молодые авторы «Смены» находятся еще в стадии «первоначального накопления» творческих сил. Берггольц и Корнилов были упомянуты рядом: «Свежие интонации даны в стихах Берггольц и еще явственнее у Корнилова — „Лесной домик“ дает интересный ритмический рисунок»[168].

В январской статье 1928 года «Три года (О литгруппе „Смена“)» журнал «Резец» вновь уделил внимание «самой молодой и больше других „мятущейся“ поэтессе», отметил ее «специфическую наивность (в лучшем смысле этого слова)» и умение работать с «бытовым материалом»[169]. Статья кончалась оптимистическим прогнозом: «Наступающий четвертый год несомненно будет годом творческого расцвета „сменовцев“»[170].

Идеологические нападки на «Смену» начались на собрании ЛАПП, прошедшем 28 октября 1928 года. Поводом послужил вышедший сборник «Кадры» (Л., 1928), ставший итогом трехлетней работы группы[171]. В особенности доставалось сменовцам (а впоследствии и лично Берггольц) от «неистового» рапповца Михаила Чумандрина, который заявлял: «Теперь настало время, когда нужно говорить о „Кадрах“. Между прочим, я один из тех, кто в свое время сделал глупость и дал согласие напечатать этот сборник. Товарищи из „Смены“ должны сказать, что мое согласие сыграло в этом деле значительную роль и поэтому мое извинение теперь имеет тем большее значение»[172]. Пытаясь защитить группу, в дискуссию вступил молодой поэт из группы «Резец» А. Е. Решетов. «Надо разобрать вопрос о группе, — сказал он — „Смена“ — не что иное, как молодежная, в большинстве своем комсомольская, группа. Большинство из этих

комсомольцев работает не на производстве, а ушли из производства в университет. Что же тут страшного? <…> То обстоятельство, что „Смена“ больше всего обращает внимания на форму, больше всего внимания обращает на литературное достояние, которое нам осталось от прошлых лет, это только нужно приветствовать. <…> Сейчас на заводе приходится рекомендовать книги Чумандрина, потому что они расхвалены рапповским органом, [таким] как „На посту“. И что же оказывается? Прочитают рабочие первые страницы и отказываются, потому что это нехудожественное произведение. Нужно приветствовать формализм как учебу…»[173] Против «Смены» выступил и член группы «Стройка» критик З. Штейнман (позднее исключенный из ЛАПП): «…я говорил об этом полтора года тому назад, когда писал о „Кадрах“. Я говорил там, что перед нами группа, которая перерождается. Теперь я имею удовольствие видеть, что я был тогда прав»[174].

В 1929 году внимание к «Смене» становится еще более пристальным, и именно она вызывает наибольшее число разногласий и споров, на нее сыплются обвинения в «формализме» и «акмеизме». В одном из апрельских номеров «Резца» Раиса Мессер пишет: «Линия „Смены“ — установка на культуру слова, на овладение достижениями „поэтического“ прошлого и настоящего. „Смена“ увлекалась и сейчас увлекается акмеизмом не как экзотикой, не как самоцелью. <…> Правда, нужно признать, что временами некоторые поэты „Смены“ не достигали поставленной цели. <…> Так, написанное в 26-м году стихотворение Дм. Левоневского „Флорентийский мастер“ или „Академик“ О. Берггольц — выглядят, как типичные акмеистические стихи в широком смысле слова, как увлечение экзотикой далеких времен и мест без того философского осознания этих тем, какое свойственно пролетарскому поэту»[175]. Критик требует от сменовцев более четкой пролетарской установки, а среди «отсталых элементов» называет имена Б. Корнилова и Ю. Берзина, которые в то время уже перешли из «Смены» в литературную группу «Стройка».

По-прежнему против «Смены» продолжает грубо выступать убежденный рапповец Чумандрин. Между ним и Берггольц возникает устойчивая взаимная антипатия. «Опять, как призрак, встает Миша Чумандрин, — пишет она в дневнике 5 февраля 1929 года. — Он говорит, что мне надо уходить из комсомола, потому что я либералка, органически чуждый элемент и пр. и пр., потому что меня мучат проклятые вопросы о цензуре. Ребята говорят, что Миша туп (как пуп). Миша говорит, что „Смена“ — гнойник и сволочи. Я думаю, что „Смена“ не гнойник, но скучное

сборище. Беспринципное? Пожалуй. Миша туп. Я не приемлю Мишу, хорошего парня».

Весной 1929 года, в соответствии с «пролетарским осознанием» программы творчества, в Ленинградской ассоциации начинается процесс «оздоровления» ее рядов и чистка от «социально-чужеродных элементов» и «творческого балласта». Комиссию по проверке литературных групп и секций Ассоциации возглавляет приехавший из Москвы «неистовый ревнитель» рапповского движения Юрий Николаевич Либединский. Проверку «Смены» поручают критику Е. Я. Мустанговой. На заключительном заседании 13 апреля 1929 года был заслушан ее доклад, на основании которого Гитовича, Левоневского и Лихарева предупредили о возможном исключении из ЛАПП. Но действительной «жертвой» пролетарской чистки оказалась именно Берггольц (единственная из «сменовцев», не считая членов группы из рабочих, исключенных как «творческий балласт»). Комиссия вынесла постановление об исключении ее из ЛАПП, заявляя, что ее творчество «ни в какой мере не является творчеством пролетарского писателя»[176].

Итоги «смотра» затем обсуждались (а скорее, утверждались) на второй Областной конференции ленинградских писателей, которая открылась 20 апреля 1929 года. Доклад об «Итогах творческого смотра ЛАПП» В. Саянова вызвал бурные выступления в прениях. «Смена» обвинялась в «формализме», «отрыве от политических задач», отсутствии «классового мировоззрения», «любовании техникой стиха, прозы» и в конечном счете в «отходе от пролетарской литературы». «Вместе с тем эта группа, — говорил Саянов, — выдвинула ряд талантливых массовых писателей. <…> Мы, когда надо, их жестоко бьем за их недостатки, и будем бить впредь — это нужно для того, чтобы помочь им понять свои недостатки. В нашей организации не может быть психологии кисейных барышень…»[177] В числе тех, кого было решено «бить», оказалась Ольга Берггольц. Ее имя появилось в резолюции среди имен писателей, предложенных к исключению из ЛАПП. «…Несмотря на страстный характер прений, — писал Ю. Либединский в „Ленинградской правде“, — резолюция по докладу Саянова была принята единогласно, хотя в ней, помимо суровой критики всех уклонов и шатаний, свойственных как целым группам, так и отдельным тт., предлагалось также исключить Штейнмана, Грабаря и Берггольц, с правом возвращения в ЛАПП через низовой кружок»[178].

Краткая запись об исключении появилась в дневнике Берггольц 7 апреля 1929 года. Она сделана как бы мимоходом, без комментария, и удивляет безразличной интонацией: «Да,

исключили из ЛАППа. Ну, что ж? Пусть». Дневниковые записи Берггольц, касающиеся оценки Ленинградской ассоциации пролетарских писателей, несмотря на их непоследовательный характер, все же помогают понять позицию молодой поэтессы, которая трудно поддавалась воспитанию в «лапповской клети»: ей было там и тесно, и душно. Осуждение партийной цензуры, «тематических» ограничений, отрицание «*пролетарской* детской литературы» перемежаются в ее записях с сомнениями, неуверенностью и страхом собственной безыдейности. В ее окружении люди разных художественных идеалов: Анна Ахматова, Николай Тихонов, Владимир Лебедев, Михаил Чумандрин, Юрий Либединский. И Ольгу Берггольц раздирают противоречия. «Вчера была у Ахматовой, — пишет она в дневнике. — Ее собрание сочинений „допустили к печати“, выкинув колоссальное количество стихов. Слова — бог, богородица и пр. — запрещены. Подчеркнуты и вычеркнуты. Сколько хороших стихов погибло! Допустим, они не советские, и может быть, антисоветские — но что ж из этого? Контрреволюционного характера они не носят, зачем же запрещать их? Боже мой, какая тупость, какая реакция. Да, реакция». Но, с другой стороны, «мятущаяся» Берггольц попадает, хотя и ненадолго, под обаяние одного из руководителей РАПП Юрия Либединского, несмотря на то что он «о, ужас — напостовец». И тогда в дневнике появляются другие установки: «Надо читать газеты. Надо не поддаваться стонам Ахматовой и пр. Надо работать и писать о работе, трудностях и радостях нашей стройки. Нет, это и раньше во мне было…» Именно Либединский советует Берггольц возвращаться в ЛАПП, и, заглушая обиды и сомнения, она подает 12 февраля 1930 года заявление о восстановлении, после чего ее прикрепляют к рабочему кружку «Красный путиловец»[179]. Проходит время, и уже в апреле 1930 года в письме к сестре Марии, ставшей женой Либединского, она возвращается к мысли, что искусство «шире каких бы то ни было теорий и мировоззрений», как бы продолжая когда-то начатый с Либединским спор о соотношении мировоззрения и таланта. «А Борькину (Бориса Корнилова. — Н. П.) книгу твой Юрочка зарезал зря, — пишет Ольга сестре. — По глупости своей природной… Режут такой талантище, как Борис, а на страницах „Октября“ печатают архибездарнейшую поэму Уткина, прикрывая ее именем подлинно пролетарской лит<ерату>ры. Как люди не понимают, что это вредней и опаснее всех Борисовых книг, хотя бы лишь потому, что бездарь выдается за подлинное, что фальшивка — за настоящее искусство»[180]. Так, критерием подлинности искусства Берггольц

провозглашает талант, фактически повторяя дневниковую запись годичной давности: «Правда, принцип в литературе есть — принцип мастерства».

Если о таланте Корнилова Берггольц изначально отзывалась очень высоко, то свое собственное положение в «Смене» она определяла в дневнике как «только предисловие» к творческому пути. «С каждым новым стихотворением мне кажется, что предисловие кончится, — пишет Берггольц, — но нет». В другой записи аналогичного рода она замечает: «Стихи хочу писать и боюсь. Где же, где же мой голос?»

Борис Корнилов появился в «Смене» позже Берггольц и почти сразу же завоевал лидирующее положение. Он был, по воспоминаниям Г. Гора, «эмоциональным началом, романтической душой, стихией группы», а Берггольц в то время воспринималась в литературном кругу скорее как жена популярного поэта[181]. Их личные и творческие отношения переплелись таким образом, что хотя Ольга и принимала во внимание оценку Корниловым своих стихов, но стремление к обретению «своего» голоса было сильнее. В связи с этим интересен следующий ее комментарий: «Рахтанов передал мне отзыв Тихонова обо мне, — пишет Берггольц в дневнике, — Тихонов хвалил (противные слова) меня и как поэта, и как человека. Рахтанов, передавший мне это, никогда не узнает, как много он мне передал. Тих<онов> сказал, что из меня выйдет большой поэт, если я освобожусь от поэтической тени Корнилова».

Не раз в дневнике встречаются краткие записи Берггольц о творческих планах, и в частности о подготовке к изданию осенью 1929 года первой книжки стихов. С одной стороны, «подбирать» книжку ей советует Ахматова, с другой — не рекомендует торопиться Либединский. И хотя книга так и не вышла, показательно, какое символичное название было выбрано для нее Ольгой Берггольц. В письме к сестре от 23 сентября 1929 года она пишет: «Я придумала, наконец, название для книги — „Тропинка бедствий“. А эпиграф к книге такой:

Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.

Вас. Тредьяковский

Как тебе нравится? А книжка будет ведь оригинальной, хотя очень неровной. Ну, для первой книги это простительно. Но вот в чем дело. Борька свою книжку подает в ГИЗ, и я. Придется по очереди — сначала пусть он подаст, если примут — потом я подам. Надеюсь, что примут…»[182] Похоже, что на выбор названия книги повлияли неустойчивые настроения текущего года, полного для Берггольц разнообразных тревог, как творческих, так и личных. «Зима у меня, Мусенька, прошла бесстишная, — писала Ольга сестре весной 1930 года, — полная какого-то скорее, вернее, более тягостного, чем радостного, *недоумения*. Нет, жизнь сгоряча не схватишь, нужно ждать, пока в самых недрах всего организма она отольется в слово. Нет, литература и поэзия — не плакат. Она не может целиком поспевать за темпами, потому что она — самая верная и глубокая сущность происходящего»[183].

Вторая, не менее важная тема публикуемого дневника касается последнего года недолгой семейной жизни с Корниловым. История их взаимоотношений биографами Берггольц обычно очерчена скупо (и, как правило, быстро сменяется описанием более счастливого замужества с литературоведом Николаем Молчановым[184]). Недостаточность сведений о «ярком» и «недолгом» браке (как его обычно определяют) двух поэтов таит в себе опасность привнесения в историю их взаимоотношений вымысла и желание «улучшить» его. Вот почему публикуемый дневник, охватывающий полностью 1929-й, решающий для семьи год, как бы заново «открывает» тему отношений поэтов в хронологически прерывистых дневниковых записях.

С первым мужем Ольга встретилась в феврале 1926 года на литературном собрании «Смены», где Корнилов, недавно приехавший из провинциального города Семенова Нижегородской губернии, читал стихи. «Глаза у него были узкого разреза, — вспоминала Берггольц, — он был слегка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что читает, что я сразу подумала: „Это ОН“. Это был Борис Корнилов — мой первый муж, отец моей первой дочери»[185]. Они поженились в 1928 году, и первая вышедшая книга стихов Корнилова «Молодость» (Л., 1928) была посвящена жене.

Две яркие личности трудно уживались в браке. По словам Гора, «женитьба не остепенила» поэта: «Он по-прежнему шел по Земле, как по палубе во время сильной качки»[186]. Публикуемые дневниковые записи относятся к той поре семейных отношений, когда Берггольц нуждается в фиксации своих переживаний, пользуясь дневником как психотерапевтическим инструментом:

записи «выдают» эмоционально неустойчивый характер автора, в них много недовольства собой. По существу, рефлексия Берггольц по поводу отношений с мужем — самая больная тема дневника. Любовь к Корнилову в это время «разъедена» взаимной и обоснованной ревностью, являющейся постоянным источником противоречивых эмоций. Встречи Корнилова с его школьной подругой и юношеской любовью Татьяной Степениной летом 1927 года и переписка с нею, продолжающаяся и после рождения Ирины, превращаются для Ольги Берггольц в навязчивую идею. Это приводит ее к отчаянному желанию «познакомиться с кем-нибудь новым, сильным», и тогда в дневнике появляются имена друзей и поклонников — художника В. В. Лебедева и писателя Ю. Н. Либединского.

Письма к сестре Марии, отправленные Ольгой летом 1929 года из Семенова, где семья находилась на летнем отдыхе, восполняют пропуск летних записей — в это время Берггольц не вела дневника. В них Ольга часто делилась переживаниями с сестрой и невозможностью «вытравить» из себя ревность. Там, в Семенове, состоялась встреча Берггольц с Т. Степениной, к тому времени переехавшей жить в Нижний Новгород. «А у меня такие дела; познакомилась с Таней, — пишет Ольга 4 августа сестре, — Т<о> е<сть> просто подали друг другу руки, и она враждебно сказала: „Шишогина“. И все. В те 3 минуты, пока она говорила с Борьбой о том, чтобы он отдал ее кольцо, а она ему — его письма, я всеми силами смотрела на нее — и молчала. Знаешь, она хороша; я мучительно забываю ее лицо, бывает так — ни за что не восстановить лица в памяти. Она превращалась в мою манию. Я была точно влюблена в нее. Увы, ничего не вышло, она уехала на другой день утром; одевается она хорошо; по-моему, она обаятельна. Очень может быть, что я преувеличиваю ее достоинства и мои недостатки. Неужели, Муська, *все*, все это у меня только… от *ревности*? <…> Но странный я человек. Я не то что „прощаю“, но как-то примиряюсь. Стараюсь уверить себя, что все это — прошлое, что вообще не стоит мучить себя из-за „всяких сволочей“… И конечно, я этого НИКОГДА не прощу. Понимаешь, есть такие болезни, которые залечиваются, но не вылечиваются. В данном случае — лишь залечивание. Я хочу его любить, ведь я его очень много любила, насколько помнится… А в общем… стараюсь залечить пока…»[187] «Залечить раны» Берггольц не удалось. В июне 1930 года Ольга и Борис Корнилов расстались, дочь Ирина осталась с матерью; официальный развод был оформлен позже, в марте 1932 года[188].

Дневник заканчивается «горестным удивлением» Берггольц, перечитавший его год спустя: «Ужасно! И это была я?» Однако

критическое отношение к дневнику не мешает ей бережно сохранять его, как, впрочем, и все предыдущие и последующие свои дневники. Склонность Берггольц к ведению дневниковых записей усиливается и дополнительными внешними импульсами. Во-первых, необычайной популярностью психоанализа в середине 1920-х годов как среди партийной, так и беспартийной интеллигенции. Психоанализ пропагандируется и рассматривается на официальном уровне «как метод изучения и воспитания человека в его социальной среде»[189]. Во-вторых, в студенческой среде бурно обсуждаются только что вышедшие книги Н. Огнёва[190], в которых затронуты вопросы пола. Молодая Берггольц оказывается погруженной в атмосферу литературных и психологических дискуссий, многочасовых диспутов о «половом вопросе», чем отчасти и объясняются ее записи «из области подсознательного», пронизывающие весь дневник. Параллельно с дневником Калерии Липской, героини повести «Три измерения», Берггольц знакомится и со знаменитым «Дневником» Марии Башкирцевой[191]. Собственный дневник становится для нее предметом рассмотрения, сопоставления и особого пристрастия[192]. Уезжая на летний отдых, Ольга прощается с ним как со старым другом, а по возвращении записывает: «Встреча с этой тетрадью взволновала меня более всего». Обращает на себя внимание то, что приписка к дневнику, сделанная Ольгой Берггольц, перекликается с постскриптумом Липской. Калерия Липская, перечитавшая свой дневник, записывает: «Какая я тогда была дура!.. Не все ли равно? Правда, иногда на этих страницах я обнажалась до полного неприличия, но теперь-то для меня уже не существует таких понятий, как „приличие“ и „неприличие“ — не в смысле внешних форм, а в смысле излияний на страницах дневника. И если бы теперь кто-нибудь попросил у меня все (эти вещи для чтения, я, не задумавшись, дала бы… Может быть, впрочем, вырвала бы одну-две страницы…»[193]

* * *

Дневник публикуется по рукописной тетради, хранящейся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в фонде 870 (О. Ф. Берггольц). Рукопись находится в неудовлетворительном состоянии: несколько листов дневника оборваны по правому краю и часть текста утрачена. Утраченный текст отмечен квадратными скобками, восстановленный текст дан в ломаных скобках. Записи, сделанные в дневнике Б. П. Корниловым, пояснены в сносках. Подчеркнутые в тексте

слова выделены курсивом. Завершают дневник три стихотворения О. Берггольц: «И я осталася одна…», «От тебя, мой друг единственный…», «Что мне сделать, скажи, скажи…», которые были опубликованы под заголовком «<Стихи из дневника>» с датировкой, не совпадающей с автографом. Для воспроизведения дат подлинника и сохранения целостности дневниковой тетради стихотворения включены в настоящую публикацию. На последнем листе дневника рукой Ольги Федоровны сделана запись заключительной строфы стихотворения С. Есенина «Край любимый! Сердцу снятся…».

3/XII — 28. Декабрь 1928 г<ода> [194]

Мне так тяжело и тоскливо. Но не могу не вести дневника… Пусть глупо и смешно. Буду. Но сегодня — сейчас — надо покороче, — столько дела, и, кажется, просыпается Ирка[195].

Была в «Смене»[196] 2 раза. Прошлый раз читала. Ругали. Да, знаю, что много плохого. Но не хуже Лихарева[197], Гитовича[198] и Левоневского[199]. Почему же они так самодовольны? Какая духота, можно ли так дольше? Как они сами не понимают этого, что таким образом ничего не создашь, что это теплица, что нельзя никого вести на узде. Вот мне говорили о «тематической опасности»… Какая ерунда? Что такое «тематическая опасность»? «Сапожник», «Кузнец»? Почему так ограничивают? «Случай в истории небывалый». Эти ссорки, речи, эта вода в ступе. Нет, мне душно, я не могу больше. Надо уходить из ЛАПП'а скорее, и не [текст утрачен] <лич>ности своей… Пусть я чуждый элемент [текст утрачен] <не>вмоготу.

[текст утрачен] <ст>ранно, чувствую себя в стихах смутно [текст утрачен] <с>трочки неорганизованы. Наверно [текст утрачен] илась с Данько[200]. Женщины, умные [текст утрачен] говорили о той же небывалой [текст утрачен] ливой жизни. Если я чувствую с ними тоже, это значит (ли), что я чуждый человек строительству. Леса мне лезут в глаза… Здания не вижу. Ною. Нет, надо в гущу жизни, мы просто оторвавшиеся. Но Ефремов? [201] Но зарезанный рассказ Бориса?[202] И много.

Теперь о моем плене, о доме. Сторож мой, Ирка, растет, улыбается и гукает. Как, как люблю ее… Какая радость — улыбка ее…

Борис прочитал мои дневники. Сказал — уйду. Я поверила и почувствовала житейское горе и жизнь. Я плакала. Конечно, он не ушел. Но получил 2 письма от Татьяны[203]. Он переписывается с ней. Второе ее письмо заканчивалось — «целую. Твоя Танюрка». Я

повторяю сотни раз это и страдаю. Она спрашивала, любит ли он ее… И всякое. Насчет того, что она ждет его приезда. Что мечты о совместной жизни, очевидно, не сбудутся. Каждая фраза мучит [текст утрачен] из-за них письмо Бориса, исполненное любв<и> [текст утрачен] Расстояние делает свое дело… А мне х [текст утрачен] перечитывать это взволнованное, нежно<е> [текст утрачен] Чтобы убедиться, как он обманыв [текст утрачен] отчаянно. Чтобы не любить его с [текст утрачен] глухое, тяжелое раздраж<ение> [текст утрачен] порывы нежности и жалости. Я верю тому, что он любит меня и никуда не денется. Мне хочется мучить его, говорить колкости. Наверно, это ревность, хотя мне кажется, что не люблю его. Зачем, зачем он так? Когда он в тот день бился и плакал около меня, и уверял, что много, единственно любит, — у меня было одно тоскливое желание: никого, никого не любить, ни его, ни дочь, никого. Ну вот, Ирка проснулась…

6/XII

Все еще тянется тоскливость, точно вода подо льдом и иногда прорывается. Она ни к чему и не нужна. Ведь мне хорошо жить. Но как хочется заниматься. О, зеленые лампы Публички! О, бюсты в пыли, запах книг, преходящие мысли — свои и чужие.

13/XII

Юлька[204] вчера была. Она говорит — надо жить легко и весело. И я хочу жить легко и весело. Она говорит, что мы слишком серьезно ко всему относимся. Это верно… Надо легче ко всему относиться, хотя бы к этому несчастному письму, тяжелый осадок которого до сих пор бродит во мне. Почему мне не дает жить эта провинциалка, даже само имя облеклось в какую-то смутную тяжесть? Мне жаль ее до отчаяния, до тоски. Хочется даже дружбы с ней. Господи! Представляю ее — и сердце становится маленьким. Хотела написать ей тепло и много. Нет, ей будет еще больнее. Какая скотина Борис… Сволочь. Не люблю! Безденежье. На мать[205] прямо смотреть не могу. Борис бегает, «устраивается». Сапоги у него рваные. Много пишет. Не учится. Кажется, исключили. А родители его[206] спят и видят, как он кончает «высшее образование». Надо бы написать им, но боюсь лицемерия и фальши.

Юлька и Нолька дурят, пишут чужим людям — Ульриху —

глупые письма. Я придумала разыграть их. Написать ответ «от Ульриха». Ха-ха-ха! Обязательно. Ю<лька> и Н<олька> говорят: «Скучно», — и развлекаются таким образом. Еще много врут «ухажерам». Мне кажется это диким, — и я чувствую себя старомодной. Мне кажется, что если б я была свободной, я сумела бы израсходовать свое время, «скучно» было бы исключено… Но чувствую, как накопляется во мне электричество: хочется дурить, бузить, флиртовать, хочется авантюры, много веселости. Борис однообразен и порою нуден: он больше всего боится моих измен, поэтому исключает веселые минуты с другими. Но видеть только друг друга… Нет, я люблю его, но одно и то же в течение N'ого срока?

Боря сказал бы грустно: «Какая ты гадкая, Лялька…»

Милый, глупый Борька…

Надо, наконец, посещать лекции. Буду — Томашевского[207], Энгельгардта[208]. Надо нынче поработать над стихами, столько хороших замыслов, так нужно их оформить, но чувствую, что именно нужно упорство, и радостно станет, и как-то скучно, и страшно, что испорчу, — хочется торопиться, но боюсь торопиться. Да, «Цирк» и «Радио»[209] надо исправить. Ведь много хороших строк.

Юля говорит, в дневнике надо записывать события, но не мысли, — да, пора прекратить духовный онанизм. Но мне хочется быть циничной здесь, до того откровенной, записывая самые скрытные мысли.

Сознание «временности» моей жизни — не покидает меня. Это временно, это не то, говорю я…

Пойду укачивать Ируню.

7/XII[210]

Лежу, прихворнула. Денег нет, матери должны 150 или больше. Это прямо угнетает меня. Надо работать. В среду пристану к Горелову[211], да в «Ю<ный> П<ролетарий>»[212] можно то, новое стихотворение. В «Л<енинские> И<скры>»[213] надо писать рассказец и очерки. Но ребенок поглощает все мое время. Я связана по рукам и ногам. Если б еще была хорошая нянька! Так она очень спокойная…

Да, связана… Но ведь не на век же!? Терпение, терпение. За что боролась. А Ирка такая прелесть, да и Борис так любит меня. Все впереди. Впереди целая жизнь.

Борису не понравились «Сосны»[214]. Разумеется, это не плохо, но отдает версификацией… «Куница»[215] — хорошо. По-

настоящему. Но сменовцы скажут, что это «ахматовщина» точно женщина не имеет право говорить о себе, о своей любви. Конечно, в мире 2 начала — мужское и женское. Оба они есть и будут. Они не враждебны и не всегда параллельны.

Отчего же так презрительно относятся к «ахматовским» стихам? Благодаря тупости своей? Ну, тема — женщина-строительница. Но ведь, кроме того, она и «просто женщина».

Ольга Волкова[216]. В ближайшее же время посещу ее косой, как будто готовый свалиться, дом; ее комната с сомнительной постелью, с массой дешевых открыток и картинок, развешанных симметрично и безвкусно. Когда-то я «любила» ее. Я читала «Жизнь Тарханова»[217], места о «страсти», о том, как «мы забылись», о «жене-девушке» перечитывала много раз со странным волнением, стараясь проникнуть в не совсем понятный смысл, и страдания Ольги возбуждали во мне трепет и уважение, так они были похожи на книгу, на жизнь Тарханова. Ей было, кажется, 18 лет, мне 14.

Потом говорили, что Ольга «гуляет» и мажется. На унылой свадьбе Поли Власовой мне тоже казалось, что Ольга «гуляет», тем более, что она говорила: «Моя цель — иметь ребенка». Она казалась мне еще несчастнее, чем раньше. В то время ко мне ходил январскими вечерами Борис, я уже знала, что такое «любовь», или мне казалось, что знаю, потому что Борис ревновал меня, целовал и наваливался, и мне было очень страшно и стыдно от его большого, тяжелого и горячею тела. Я была маленькая еще, но уже испытывала тяжесть любви.

Да, завтра-послезавтра отыщу Ольгу.

Был Яшка Шведов. У него плохие стихи и омерзительная проза[218]. Он живет хорошо.

Литература здесь фигурирует как служба. Во мне старая интеллигентщина, мне этого стыдно. Это глупо. Обо мне «говорят» в Москве. Ив<ан> Молчанов (боже!)[219] цитирует, Алтаузен[220] хвалит… Мне же это неприятно. Мои стихи не нравятся мне. Но я буду расти. Борис не пишет ничего, и я беспокоюсь. Какой нудный, гадкий отец, как нужны деньги, как мамку жаль[221].

Иринка «говорит». Милый мой, радость моя…

21/XII

Да, конечно, я хочу наряжаться, и не хочу думать <хорошо> это или плохо, мещанство или нет.

22/XII—28

Правда, я занята, но я и обленилась изрядно. Дов [текст утрачен] Правда, в инст<итут>[222] нынче ехать не могу — денег нет [текст утрачен] <глаз> болит, Ирку не с кем оставить. Неужели глаз [текст утрачен] <не> пройдет ко вторнику? Это будет прост<о> [текст утрачен] мы хотим идти с Борисом на [текст утрачен] меня премиленькое, я хочу вес (текст утрачен] жить более «бездумно». Я хочу [текст утрачен] плохо? Хочу веселиться. Хочу [текст утрачен] свое сильное тело. Хочу [текст утрачен] 18 лет и 19 будет через [текст утрачен] III к<урс> не перешла, а чере<з> [текст утрачен] позвоню Оське… Напишу [текст утрачен] Денег много надо. Сейча<с> [текст утрачен] Все-таки, купив на дня<х> [текст трачен] книгу. Надо А. А.[223] позвони<ть> [текст утрачен] читать. Борис пишет [текст утрачен] Мой факир ничег<о> [текст утрачен]

/XII

<Ир>а привыкла к рукам. Но я люблю ее убаюкивать. [текст утрачен] <песн>и что пели мне. Одну я люблю и сейчас.

Баю-баюшки-баю,
<Не> ложися на краю,
<Прид>ет серенький волчок,
<Тебя схва>тит за бочок
<И утащит во> лесок
<Под ракитовый куст>ок
<Там птички пою>т,
<Тебе спать не дадут.>[224]

[текст утрачен] а меня страхом и трепетом. [текст утрачен] на своей кровати, подклады [текст утрачен] хшую коровами и темным [текст утрачен] из-за шкапа медленно [текст утрачен] <с>начала огненно-красный, [текст утрачен] верила, что они живут [текст утрачен] грустью и жалостью [текст утрачен] волчок, схватит меня [текст утрачен] о волчок притащит меня [текст утрачен] ок, и зайчики отгрызут сначала ноги, потом руки, и мне хочется этого.

29/XII—28

Мне очень мать жалко. Человек прожил жизнь тускло, зная о других радостях и не изведав их. Я хотела бы доставить их ей, о, как хотела бы. Она отдала жизнь отцу и нам. Теперь отец опустился, он пьет и хулиганит в «обществе». «Общество» собирается, закусывает и пьет, говорят о [текст утрачен] том, что ничего нет, о хвостах, о сволочах к [текст утрачен] случаи из практики. Потом чаевничают [текст утрачен] начинает блаженствовать, кричать [текст утрачен] <…> «…могу делать аборты», потом [текст утрачен] придираться. Иногда все ж<е> [текст утрачен] песни. Славное море, св<ященный Байкал> [текст утрачен] печально под пьяными [текст утрачен] ратурная лирика. Мне [текст утрачен] Я мечтаю о сберегате [текст утрачен] данной матери «на Кр… <…>» [текст утрачен] мамы, о заграничной [текст утрачен] нее — «везде поездить…<…>» [текст утрачен] ее «повозить всюду», [текст утрачен] на себя. Я люб [текст утрачен] тесный дружеский контакт. А я не могу не презирать и не жалеть моего жалкого, опустившегося, грубого и глупого отца, я жалею его до любви, и люблю его традиционно, по-обывательски, твердо зная, что общее между нами найти невозможно[225].

Я не пишу пока. Мне нравится Браун[226]. Он хотел поговорить [текст утрачен] <по> поводу моих стихов. Мне совестно. Мне надо быть [текст утрачен] ельной. Сегодня поеду к Ахматовой. Я держу [текст утрачен] а. Иногда нечего говорить, а мне хочется [текст утрачен] ой, а сказать так много.

[текст утрачен] <н>о любить ее, какая она — радость. [текст утрачен] <отн>осительно ИИИ, запишусь в [текст утрачен]

[текст утрачен] ьку?! Он пишет роман [текст утрачен] умственного и культур [текст утрачен] примитив, в Тверяков [текст утрачен] <сейч>ас нужна проблематич [текст утрачен] не органическая, но [текст утрачен] я снова зарыться в [текст утрачен] а, Фейербаха[227], фран [текст утрачен] <б>ыли деньги, я бы стала брать частные уроки. Мне надо умнеть и умнеть. К тому же я отстала от курса…

Буду читать Белинского. А надо убираться. После, после.

4 января 1929 года

Была вчера у Ахматовой. Ее собрание сочинений «допустили к печати», выкинув колоссальное количество стихов.

Слова — бог, богородица и пр. — запрещены. Подчеркнуты и вычеркнуты. Сколько хороших стихов погибло! Допустим, они не советские, и может быть, антисоветские — но что ж из этого? Контрреволюционного характера они не носят, зачем же запрещать их?[228] Боже мой, какая тупость, какая реакция. Да, реакция. Мне стыдно, что я вместе с (пусть умными и талантливыми людьми, но все же) с бывшими людьми произношу это слово, но все же, мне кажется, что можно произнести его…

Уж одна эта цензура чего стоит… Третье отделение какое-то. А репрессии над троцкистами?

Но вот мой «лирический герой» Ермолов[229] прислал письмо, где пишет о большой работе избы-читальни, о культурно-просветительной борьбе за новую жизнь деревни. Значит, реакции нет? Но в <190>6, <190>7 и т. д. годах была Дума и «конституция»…

14/I—28[230]

Тяжело, тяжело, как камень на груди. Надо писать халтуру в «Л<енинские> И<скры»> к ленинским дням[231] и переделывать «Турмана»[232], и читать много, и хочется писать хорошие стихи. Денег нет, должаем. А мне так хочется лыжи. Чтоб кататься с П. Т.[233] и со всей этой компанией. Они милые. Картина у Мити[234] очень хороша, и он будет рисовать меня.

Ночи с Борисом не приносят мне радости. Мать полубольна. За окном пурга, а Борька в осеннем пальтишке, и сердце у меня обмирает… Из-за него, из-за мамы, из-за долга. О, да, мы поторопились. Мы поторопились. А если я опять беременна?

Хотелось бы уснуть. От окна дует. Господи! Как тяжело. Хочу людей. Меня «мечет». Хочу писать Шкловскому[235] — он умный человек. Хочу познакомиться с Тихоновым[236]. Очень! Хочу поговорить, подружиться с Брауном. Жалею и люблю Борьку. Милый. Но он должен работать.

Боже мой! Какой адский холод, а Борька в осеннем пальтишке… Скорее бы он приезжал… Скорее бы… Скорее бы…

21/I—29

Отчаянная тоска. Все, чего так много, просто валится из рук. Опять болит глаз. Это от малокровия. У меня малокровие. И тоска. Безденежье. Упреки. А я раздражительна стала до крайности.

Вот опять пищит Ирка, и ничего нельзя делать. И так идут дни. Но Ирка такая прелесть. Уже знает меня. К черту нуду. Буду сейчас заниматься. Потом писать. Все буду делать. И лыжи, и Митя меня нарисует. Пусть Борька визжит. Эх, если б я была на его месте, то моя жена не переживала бы попреков.

23/I—29

Я изнемогаю от тоски.

Неужели же любовь кончилась… А Бассейная?[237] А эта комнатка, где оставлено столько радости и горя? Неужели Борис идет? Он ушел, нехорошо обругав меня. За мелочь. Мы стали такие раздражительные и злые. А как же Бассейная? А до нее — Детское? А 27–28 г<оды>? Сухие слезы душат меня. Ирочка, солнце мое… Буду качать и петь тебе… Неужели прошла любовь? О нет же, нет…

27/I

Какая-то тревога, тоскливое беспокойство, сознание, что что-то не сделано. Что? Завтра надо свезти Маршаку[238] «Турманов», а я и не принималась. Прямо не могу.

Ой, как плохо. Лечь спать, что ли… О-о-й…

Эта зима будет не сиротской. Она будет суровой. Она будет такая же, как зима 1919 года, та зима, когда мне было 9 лет, когда мы — я, мать и сестра жили в Угличе[239]. Углич, уже 10 лет, как отцвели твои купола. Волга, не широкая и не глубокая там, улицы городка широкие и зеленые, в конце которых был непременно или монастырь, или лес и поле, или голубые куски Волги, — я вспоминаю все это, как пейзаж, прочитанный в книге очень давно, как пейзаж, увиденный во сне, в детстве.

Улицы были широкие и зеленые, они назывались божественно: Крестовоздвиженская, Благовещенская, Крестопоклонская, Троицкая. В Угличе много монастырей. Монастыри древние. Уже задолго до наших дней князья подменили червонного золота звезды на синем куполе Девичьего монастыря[240] просто позолоченными. Мы жили в Девичьем монастыре.

5/II—29

Чувствую себя плохо. Писать надо о многом, но некогда.

Что случилось «главного»? То, что Борис в воскресенье прибил меня, выход моей книжки[241], прием другой, — пожалуй, это не главное.

Правда, у меня что-то «оборвалось» по отношению к Боре с того дня; я его жалею. Его родители прислали мне очень хорошее письмо. Они славные люди, моя новая родня. Вот наша любовь и стала бытом. Теперь… что теперь? Чего мне надо?

Мне кажется, главное в том, что у меня настойчивая потребность общения с людьми, стоящими выше меня по уму и таланту, напр<имер>, с Тихоновым, с Фединым, с Ольгой Форш[242].

Опять, как призрак, встает Миша Чумандрин[243]. Он говорит, что мне надо уходить из комсомола, потому что я либералка, органически чуждый элемент и пр. и пр., потому что меня мучат проклятые вопросы о цензуре. Ребята говорят, что Миша туп (как пуп). Миша говорит, что «Смена» — гнойник и сволочи. Я думаю, что «Смена» не гнойник, но скучное сборище. Беспринципное? Пожалуй. Миша туп. Я не приемлю Мишу, хорошего парня. В четверг пойду к Тихонову. Всякие разговоры. Дам мои стихи. Не хочу носить в его глазах клейма «поэтесса». Мне немного неловко. Но Т<ихонов> интереснейший человек. Я буду с ним откровенна и объясню ему, что привело меня к нему. Это главное.

Теперь из области подсознательного. Конечно, у меня нет никакого намерения «пленить» Т<ихонова> («обжиг бога»), *но в то же время как бы и есть*. И я представляю себе то и другое. Ясно, это то, что называется женской психологией и «сложной женской душой». Теперь, забыв «страдания юности», я не задумываюсь над тем, хорошо это или плохо. Но меня интересует, бывает ли исключен сексуальный момент в близости мужчины и женщины — совершенно или нет. Уверяю вас, что Тихонов привлекает меня исключительно как мастер. Но эти думы? Впрочем, глупо. Копание собственного пупа. Надо много писать и подготовлять максимум.

Я хотела бы быть «душой общества» в лучшем смысле этого слова. Очень. Я хотела бы быть окруженной особенным каким-то вниманием и, пожалуй, обожанием…

Борька говорит, что очень любит меня. Его родня — тоже. А *мне этого мало. Ма-ло*.

7/II

Чувствую себя отвратительно. Глаз болит, насморк, голова.

Ох. К Тих<онову> не поехала. Звонила — говорит, приезжайте. О, конечно, я и не хочу никаких намеков на что-либо. Дура я. Ничего и быть не может. Иринка отнимает все время. Муська такая шваль, такая дрянь. Неужели бы я не помогала ей, будь она на моем месте? Конечно бы, да. А тут что — помощь? Просто бы по-человечески вела себя. Денег все нет и нет. Как неохота писать халтуру в «Кр<асную> Пан<ораму>»[244]. Да и не выходит ни хрена. Не могу, с души вон. Стихи хочу писать и боюсь. Где же, где же мой голос?

Тихонов все скажет. Я уверена, что он не будет стесняться. Только бы найти тот тон, простой и хороший. Конечно, я хочу его заинтересовать, как человек, как поэт (шепотом… а… как женщина? Ну что́ это!?) нет, только как первое, второе — глупость. Глупое мое самолюбьице. Есть ли у меня самомнение? Да.

20/II—29

Езжу в ИИИ. Меня охватила дружеская, напряженная, хорошая атмосфера. Хочется работать, учиться — не хуже других. Опять захотелось живой общественной работы, посещения лекций, конспектирования книг и т. д. Насколько сил хватит, буду стараться. Ирка занимает все больше времени, хотя она спокойный ребенок. Она — мое солнышко, мое счастье. Много-много люблю ее. Домашняя жизнь; ненависть к отцу. Он ругает меня, не пропускает случая уколоть «шеей матери», орет о битье морды, о том, что я проститутка (по поводу накрашенных бровей). Из-за того что я должна, я чувствую себя все время виноватой, должной заискивать. С отчаяньем я пью молоко, боюсь взять яйцо, масла. Роковые слова «на шее» горят передо мною, жгут и мучат меня. Господи! Я все, все отдам. Но только бы освободиться от этого чувства виноватости и приниженности. Я знаю, что этого не должно быть, ведь они мне родители, я страдаю от деликатных и неделикатных намеков и попреков, сознание «на шее» не дает мне спокойно учиться и жить. Я так давно ничего не писала. О! Когда я буду помогать Иринке — она не будет так чувствовать себя. Скорее бы деньги, деньги, деньги.

Да, я давно не писала. Все думаю. Это ничего, перерыв необходим. Неужели я бездарь, что так сомневаюсь в себе?

В субботу пойду к Н<иколаю> Т<ихонову>. Как он нравится мне, какой он — по стихам — интересный, большой.

Но я не хочу увлечься. *Нет, не хочу*.

Из «Мол<одой> Гвард<ии»>[245] мне стихи вернули. Это

меня обескураживает все-таки.

Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца[246].

Я тут как-то написала откровенное письмо Ахматовой. О том, как мне хочется говорить с ней о ней, как хочется новых людей, как боюсь их снисходительности и т. п. Она ждет меня к себе, хочет поговорить со мной. Родная! Ну и пусть ты «сволочь», как определяет Миша[247], но ты чуткая и хорошая. (Либерализм. Ну, а что ж мне делать?)

Но это же глупо, если я боюсь, что я глупа и наивна?! Нет, я не глупа.

Милые девочки у нас на курсе! Люблю их. Хочется собрать их у себя, устроить весело. А отец глупит — «каждый рубль должны экономить, если должны». Господи, что ж за жизнь тогда?

Борьки долго нет. У Тих<онова>, наверно, или у Фромана[248]. Счастливый. Лодырь только. Наш ВГКИ делают специальным фак<ультет>ом в ЛГУ. С одной стороны — правовой — это хорошо, с другой — страшновато. Ну, в пятницу узнаем все.

Ай, надо учиться! Надо работать много.

24/II

Была у Тихонова. После, когда уже лежала с Борисом в постели и воспроизводила в памяти день, было отчего-то больно от воспоминаний.

27/II

Устрою себе праздник, попишу до Бориса, отложив рассказ, который мог бы быть интересным, если бы вдумчивость и не спешка, боюсь, что Горелов не примет. Думаю, что д<е>л<а> Барта[249] проконспектирую завтра, послезавтра сдам книгу. Жизнь мне сегодня положительно нравится. (Проснулась Ирка.)

Нет, жизнь уже не нравится мне. Отец пришел, «не допивши», ругается, хамствует, я ненавижу отца… Да, ненавижу. Отца. К черту эти семейные традиции. Вот он играет с Иркой, а я бы выгнала его. Разгулял ее, наорал, и все зря. Мне теперь возись с

ней часов до 3… Нет, как же любить человека, попрекающего тебя ежедневно, оскорбляющего ни за что, плюющего в лицо, ударяющего тебя, обещающего «дать в морду». Нет, уйду, уйду, хоть на гибель уйду, да что, не погибну, уж пусть хоть что, да не это унижение.

Маму только жаль, маму мою.

Не могу ничего писать. Как много хотелось записать нового, хорошего, значительного.

28/II

Жить хорошо. Но я боюсь смерти. А вдруг я умру. Была у Т<ихонова>. Какой он славный, простой, душевный. Он сказал: «Я рад всякому свежему человеку». Он приглашает бывать у него. Его жена[250] — прелестная женщина, умная, культурная. (Уже немолодая… слегка пришепетывает, как и Тихонов). Они, мне кажется, очень дружны. У них совместная жизнь, интересы, много прожитого. Она мне очень нравится. Я хотела бы, чтоб и я ей нравилась… (Как наивно звучит.) Конечно, я увлечена Тих<оновым>, но так, как, например, Ахматовой (Анн<а> Горенко). Хорошо, что всякие «задние мысли» отходят действительно на задний план.

Я хочу бывать у него, интересовать его, как всякий по-настоящему *свежий* человек, но Борька напрасно стал бы кричать на меня. Я не увиливаю сама от себя, нет. Я люблю Борьку. Я хочу долгой дружбы с ним, настоящей, какой-то особенной, вживчивой… Душа в душу.

Я хочу тягостно-сладких ночей с ним, пусть порою бесстыдных, сладострастных и мучительных.

Я хочу, чтоб он был культурней. Он, в сущности, очень некультурен. Диапазон его не широк. Какие мы дубины по сравнению с женою Тихонова. Она говорит о своей молодости, о небывалом культурном подъеме 1905–1917 г<одов>. Т<ихонов> показывает мне журналы 1921—<19>23 г<одов>. Тогда кипела культурная жизнь, вернее, литературная. Дрались, отстаивали, боролись. Мне очень хочется теперь принимать такое же участие. Попрошусь в редакцию журнала, кот<орый> должен выходить при нашем ИИИ[251]. Переведусь из типографии в кол<лекти>в ИИИ. М<ежду> п<рочим>, нас разгоняют, т<о> е<сть> переводят в ЛГУ[252]. Жаль профессуру. Не знаю, что будет.

Боюсь, не исключили бы из КСМ[253]. Борьку-то, наверно, исключили… Ох, только бы остался он в ИИИ. А то его предки

будут обвинять меня, что он вылетел.

Мечтаю о лете. О провинциальном городе, пораженном мною. (Мещанство-то сказывается!)[254] О большой академической работе. Люблю Бориса.

Но сегодня чувствую себя плохо. Надо кончать рассказ и кое-что переписать. Пора приниматься за вымогательство денег. Волосы мои падают, как жаль их, надо лечить.

Ируню, радость, солнышко — обожаю…

Хочу много и хорошо писать.

Хотя бы Борька с «Мол<одой> Гвард<ией>» устроился. Вздохнули бы.

Милый Тихонов! Любимый Борюня…

2 марта 1929 г<ода>

Как тягостно, смутно, нехорошо. Чувствую себя плохо, какая канитель с почками. Борис не придет ночевать, наверно. Я хочу отплатить ему тем же, и не прийти ночевать.

8/III. Пусть помучается. Мне кажется, что я не люблю его. Тягостно. Да скучно.

Читала опять Татьянины письма. Надо забраться к нему в чемодан. Завтра же сделаю это, когда встану кормить Ирку. Гнусность какая. Ну и наплевать. На все наплевать.

3/III

Борька где-то пропадал всю ночь. Пришел пьяный, противный, прямо отвращение. Ирок — скучный, Бубик, не от моего ли молока. Мне кажется, что она похудела. Надо в консультацию ее снести. Я боюсь, что беременна. Мать впадает в амбицию, Борис ходит рвать в уборную. Вот оно, семейное счастье…

Какая, какая тоска… Что-то мутное, тяжелое, точно тошнотный комок, сосет и тянет в груди. Как я ненавижу Борьку! Как я хотела бы быть свободной. О-ох… Ничего в голову не лезет…

4/III

Да, конечно, все кончено. Я не буду много писать. Во мне все

мертво, все мертво. Что слова? Пусть они будут пошлы и банальны, мне и на слова наплевать. Нет… как же это? Да, что бы я не говорила Борису, — все кончено. По гнусной моей безвольности, или, вернее, потому, что нет средств, некуда идти, оставаться в этом гнезде пошлости — одной выносить на себе все попреки, — нет, я не могу.

А ведь один исход — уйти. Самый правильный. Эх, бабья душа. «Жаль, да то, да се». Неужели я еще люблю его? Мне его только жаль. И очень мертво на душе. Мне даже жить неинтересно стало. Эх… что он со мной сделал. Вот и любовь, которой я была так горда. Я холодно удивляюсь, за что он это? Ведь не сама же я на него лезла? Ненавидит он меня, что ли? Нет же, я верю, что любит. Впрочем, я ему ни в чем не верю. Господи, как мертво. Впрочем, дело вот в чем.

Нашла письма Татьяны от августа, сент<ября> и октяб<ря>. Из них ясно, что Борис уверял Т<атьяну> в том, что он любит ее и не любит меня, что они «будут вместе», для чего он бросит меня и Ирку, что живет он с нами «из бедности» и пр. и пр.

5/III

Письма Т<атьяны> пересыпаны всяческими провинциальными колкостями по моему адресу. Какая она дура и сволочь. Я никогда не позволяла себе по ее адресу ничего подобного. Эх, да что писать. В общем, вчера ночью состоялось «примирение». Борька очень «убивался», грозил самоубийством. Конечно, на самоубийство он не решился бы, по своей тряпичности. А может быть… Ну, ладно, брось это, это все зря. Было мне вчера очень не по себе. И хотя горячо просила о любви (он говорит — я, говорит, твоей любви не замечал, а она ласковые письма писала. М<ежду> п<рочим>, письма — верх пустоты, кроме объяснений в любви и стенаний, ничего нет. Запомнить о Борисе — личности — потом). Да, в общем что? И писать-то мне неохота.

Иду стричься.

Господи, косынька моя золотая, прощай.

Но ведь отрастет же, отрастет?

Прощай, косынька, прощай, с тобой уходит многое, лучшее, молодое, любовное. Прощай… господи, как тяжело. А не резать нельзя. Потеряю волосы.

9/III

Когда остаюсь одна, не знаю, что делать от тоски. До одиночества еще держусь, и все как будто бы ничего, а когда одна, то ничего уже не кажется, и только пусто-пусто и тоскливо. Как сон наяву, как-то смутно думаю обо всем, и о Семенове[255] (запомнить). Ничего не пишу, да и не пишется.

тоске и удушью
Отравительнице любви[256]

10/III

Что мне делать? Тоска и тоска. Неужели я действительно не люблю Бориса? Тоска, физически ощутимая. Под ложечкой что-то холодно обмирает, как от страха. И нежелание разобраться во всем отчетливо. Ну, не люблю и не люблю, в чем дело? Господи. Какое-то безразличие, абсолютное безразличие и усталость. Но что же делать? Что делать?

Я ему не верю. Смешно и говорить об этом.

В феврале мы с Юлькой захотели подурить и послали ему невинную анонимку. Анонимка была пошла и глупа.

Некая Галина В. хотела с ним познакомиться. Я хотела устроить пробу на Борькином уме. И что же? В тот же день Галина В. получила приглашение Бори на свиданье. Два письма его к Галине (неужели не нарочито?) глупы и самодовольны. Нет, до того не ценить себя, чтобы бежать за каждой встречной?! Это уже… сверхглупость…

И главное, когда я спрашивала у него, уже после того, отвечал ли он, он упорно отказывается. И это после клятв, после таких уверений. Как же ему верить? Как верить, что он не встречается с Дашей Крупкиной? Все перемешалось во мне: зачем мы с Юлькой отправили ему еще анонимку, по пошлости превосходящую первую? И он получил ее, и опять ничего не сказал мне. Как я запуталась во всем этом. Как это нездорово, нехорошо. И мне хочется сказать ему: Боря. Мне тяжело. Я точно не живу сейчас, до того мне все безразлично. Боря, неужели ты не можешь понять, что я пережила с 3 марта. Боря, ведь я тебя любила, ты только пойми это. Мне теперь даже как-то странно говорить — любила, т<ак> к<ак> я не люблю сейчас, и мне даже трудно восстановить представление, что это такое — любить. Ведь подумай, это же ужасно, ты только представь, да нет, тебе не представить даже, ты… я не знаю, что ты за человек,

ты какой-то неглубокий, нечуткий, ты эгоист, Боря, да. Мне стыдно сказать, что ко мне надо относиться, как к выздоравливающей. Я не преувеличиваю своего горя… Наоборот, я глушу его. Господи, может, я в чем была неправа? «Я, говоришь, — твоей любви не замечал… а она ласковые письма писала»… Эх, горько, горько. Ей богу, не аффектация.

18/III—29 г<ода>

Надо бы переменить тему в семинарии Балухатого[257]. Скучная. И надо бы написать сегодня что-нибудь для Маршака. По-моему, я тупа и ограничена в фантазии. У меня как-то никогда не было полосы сознания в том, что я — сила. Союз писателей прислал мне приглашение в Детск<ую> секцию[258].

Я вступила, обойдя лапповскую секцию. Я сказала, что не может существовать детской *пролетарской* литературы. Пожалуй, это неправда. Ребенок — воск. Литература должна быть педагогичной[259].

Я не имею никаких традиций, никаких убеждений. Я против какого бы <то> ни было быта. Но это красивая лазейка. Я просто «беспринципна и легкомысленна», как сказал Берман[260]. Это скучно. Я огорчена этим. Более, нежели предупреждением в ЛАПП'е. И тут вот… Если я признаю, что культура надстройка, след<овательно>, литература классова, след<овательно>, пролетарская литература — факт непреложный.

Но «Фабрика Рабле»?[261] Но Тверяк?[262] Но Грабарь?[263]

Оказывается, и здесь у меня нет никакого критерия, никакого принципа. А ведь пора бы, и так жить нельзя, и в жизни надо иметь принципы. Правда, принцип в литературе есть — принцип мастерства. Ох, трудно во всем этом разобраться. Жизнь сама подскажет. Ужо?! Эх… Пишу мало, и по-моему, вот именно — необязательно.

Хочу Маршаку сейчас приняться писать. Собрать в памяти детские фантазии. Билибинская манера письма[264].

Только, пожалуй, не пойдет.

Бориса, кажется, люблю. Приехала золовка — Шура[265].

Ничего девочка, несколько неразвита. Мне, по моей страшной мнительности, думается, что она втайне враждебна ко мне и была бы более довольна иметь невесткой Т<атьяну> С<тепенину>. (Борис еще не отослал кольца и не написал ничего.) Заметила за собой плохую черту: слова Шуры о Т<атьяне С<тепениной>, что она «очень умная девочка» — глубоко уязвили меня…

Надо работать. Ведь, конечно, Т<атьяна> С<тепенина> не

глупа и при других условиях была бы еще развитее. Что тоже уязвляет меня. Брр… какая я дура…

19/III—29

Генн<адий> Фиш[266] нахваливал сегодня Борьку. «Талантище так и прет». Я хотя, кажется, и завидую, но мне это льстит: вот какой он у меня. Я знаю, что помогаю ему много, он хочет посвятить мне вторую книгу[267]. Я и хочу и не хочу этого. Боюсь, что не искренно… Т<о> е<сть> что он делает это скрепя сердце… Однако, конечно, приятно.

К осени подготовлю хорошую книгу[268].

25/III

Мне кажется, что многие страницы моего дневника можно озаглавить «Страдания молодой Вертерши», хотя Вертера[269] еще не читала. Пора бы ехать в город, да Ируня еще спит, надо все-таки накормить и т. п. Ируня — прелесть и радость.

Да, «страдания». Я мечтаю о жизни, здоровой, жадной и хищной до солнца, до радости, до знаний. О людях веселых, умных и здоровых. А получаю все обратное. Люди, окружающие меня (дома) либо нервны, больны, злы, либо тупы, ограниченны и затхлы. Они убиты нудной, спешной, безрадостной жизнью, очередями, профобрами, «жидами». Они унылы, и не умеют веселиться, или не знают, как… Скучно на этом свете, граждане![270] Я уйду из этой жизни, я не хочу покрыться ее налетом, не хочу, чтоб меня «потратила моль», эта ядовитая канашка, по выражению одного автора-юмориста. И мне жаль маму.

Денег нет, с книгами дела обстоят куда как плохо, родня косится на Шурку, в общем, я только терплю и стараюсь не размышлять об этом до конца. Мечтаю о лете.

(Какая радость моя Ирочка! Вон она уже сидит, играет, улыбается, солнышко мое.)

Надо — денег.

— || — сдать во что бы то ни стало 2–3 зачета за II курс и начать подготовку по 3.

Борис еще ничего не отправил. Он и не подозревает, как много бы он сделал, если бы *тотчас же* исполнил мою просьбу. Больше просить я не буду. Я не хочу разбираться во всем досконально. Кажется наверняка, что люблю…

Вчера думала о Сашке[271], хорошо, печально и недолго. Смею ли требовать, чтобы он ни о ком не думал? Но он лжет, а я даже не знаю, где он живет. Писать больше не буду.

Поеду сначала к Тихонову, а потом в Пуб<личную> биб<лиотеку> и в «Смену». К Тихонову еду, скрепя сердце, только за тетрадкой, зачем он сказал: «Приходите пораньше, а то мне часов в 9 надо уйти». Брр. Меня злость берет. Хочу обязательно наговорить резкостей. Мне поэтому Галя И.[272] нравится.

2/IV—29

Завтра 3 апреля, т<о> е<сть> ровно месяц с того дня. Ни

письмо, ни кольцо не отправлено. Нет, я не знаю, каких еще доказательств мне надо в том, что со мной ничуть не считаются, что ни мое состояние, ничто — не важно. Бореньке, видите ли, «некогда». Небось, находилось время писать о том, что я ему безразлична и противна. Мне кажется, что это правда. Ну, и наплевать.

Или ему жаль Т<атьяну>, жаль окончить эту канитель? Господи! Неужели же это недомыслие, а не хамство, вполне сознательное, и подчеркиваемое порой? Каждую минуту он изъясняется мне в любви. Но каждую минуту он может грубо заорать на меня, причинить боль. Я говорю ему «Люблю, люблю», а сама не могу ни простить, ни забыть ему того, и, главное, не прощаю этого наплевательского отношения.

Мне ничуть не хочется в пику ему закрутить с кем-либо, или что. Это хорошо, это значит, что я выросла. Но что пользы. Нельзя же, чтоб молодость прошла в тоске, в тумане, без престольного праздника?

А у меня редко на сердце нет тягости или заботы, или тоски. Я не рисуюсь. Я хотела бы обратного. Я хотела бы, чтоб меня любили чутко и настороженно и берегли бы меня ото всего этого. Это ведь только в дневнике плохие слова, а в жизни это важно. Я… а я сама отношусь так? Да. Почти так. Но нельзя же, нельзя же со всем смиряться.

Ой… «Воровская, скучная жизнь».

7/IV—29

Такое чувство, что что-то надо сделать, а что — не знаю. Какое-то тревожное. Что же?

Занятий много. Борька еще ничего не сделал. Нет, не то. Хочется забраться к нему в чемодан. Зачем? Как все… ой.

Да, исключили из ЛАПП'а[273]. Ну, что ж? Пусть. Да, хотелось бы отдохнуть часик, два. Да надо заниматься. Скучно как-то.

12/IV

Нет, все-таки как-то надо решить…

«Одно меня мучит — Танька. Наверно скучает, косолапая. Давно ей не писал — запрещено…»

Это из письма Бориса к отцу…[274] И вот уже у меня дрожат руки и колени, обмирает внутри что-то и, какое-то чувство страха, опустошения и конченности. Как бы заглушить, как бы

заглушить, что бы сделать? Ну, что бы, что бы сделать? Ведь ясно же, что Борис не любит меня. Хоть что он говори ночью, — не верится. Я даже не знаю… у меня все изболелось. Неужели этот пустяк мешает мне жить, убивает меня. Или это не пустяк? Ведь гибнет все. Именно из-за этого он кажется мне чужим иногда, совсем чужим. Это грызет меня. Мне кажется, что у меня одна боль. Когда она пройдет, то ничего не останется. Все рассказала вчера Шурке и как бы увидала себя и все это со стороны. Не говорил обо мне до рождения Иринки (кроме, разумеется, Т<атьяны> С<тепениной>), а мне писал, что «все сказал». О, господи… Для чего же это все. Надо что-то сделать. Раз я не могу равнодушно относиться ко всему, ну, раз не могу, какие бы доводы я себе не предоставляла, новобытные ли, философские или иные. Надо вытравить из себя все: любовь, главное, боль и, если есть, ревность. Но что же тогда останется.

Как мать была права. Болеть будешь — болею, связана будешь — связана, материальные заботы задавят — еще бы нет. А я-то говорила, что всего этого не будет, и я припоминаю, и воспроизвожу — я любила Борьку как-то особенно, быть вместе казалось для меня лучшим счастьем — и все это для того, чтобы дать ему возможность потщеславиться этим. Ведь он рассказывал ей, как я плакала в 27 году, узнав о лете 27 г<ода>, теперь он пишет отцу — «я давно не писал» — значит, собирается писать, и, может быть, с издевкой напишет о том, как «жена устроила ему сцену». Боже мой, а что если это все так и будет. Но что значат его уверения, его ласки? Я не могу еще поверить, что все это только средство. Я — нет, я не считаю его «такой сволочью». Надо вытравить. Что сделать? Всецело уйти в науку? Познакомиться с кем-нибудь новым, сильным? Общественная работа? А! Ребенок!? Ребенок — мое счастье. Но нет, все-таки не преодолеть.

А я знаю одно: если Борис не хочет, а, м<ожет> б<ыть>, и не может кончить все там, значит, чтобы жить с ним, мне надо самой кончить все это в себе. И тогда увижу…

Рахтанов[275] передал мне отзыв Тихонова обо мне. Тихонов хвалил (противное слово) меня и как поэта, и как человека. Рахтанов, передавший мне это, никогда не узнает, как *много* он мне передал…

Тих<онов> сказал, что из меня выйдет большой поэт, если я освобожусь от поэтической тени Корнилова. Стихи Борькины я очень люблю, я люблю хор[276].

14/IV—29

Когда это? Да, позавчера ночью был один из тех особенно мучительных скандалов с Борисом, которые стали за последнее время просто регулярными в случае моего отказа… Я переутомляюсь. Дорываясь до постели, чувствую себя разбитой. А он просит. Но чувствовать себя машиной, механически исполняя роль жены — это очень тяжело, я знаю по опыту. В случае отказа Борис злится и (это у него вошло в привычку) рвет на себе волосы, дрожит, стонет и пр. т. п. Это действует на меня не устрашающе, но угнетающе. А тогда он бил меня. Брр. Как мне стыдно писать это. И ведь это не первый раз. Господи, до чего я дошла? Почему взрывы отчаяния и негодования так быстро сменяются тупым равнодушием и безразличием. Привычка? Атрофия. Но последний раз он мне клялся Иринкой (?), что всему этому пришел решительный конец. Гм… Нет, не гм[277].

Страннее всего то, что сквозь всю эту невозможную накипь я люблю его.

Все это, должно быть… ревность. Как гнусно. Ну зачем, зачем я так…

Была у Ахматовой. Опять тяжелые рассказы и недоумение — у меня. Сколько лжи и гадости. Говоря о стихах Борьки и хваля их, она сказала «но в них нет какого-то взлета, головокруженья, который я люблю в ваших стихах».

И еще — советуя подбирать книгу: «Изд<ательст>во писателей[278] очень хочет издавать настоящую, ценную литературу. Они в отчаянии, что им приходится издавать халтуру. Т<ак> ч<то>, если им сказать, то они с визгом вырвут ее (книгу) у вас». Господи, неужели же это правда? Нет. Не может быть. Дура[279].

Еду на «Смену».

Вечер.

Проводила Борьку в Новгород. Скучно… Господи! Как бы много, хорошо, нежно я любила его, если бы не это. А то мысль о том, что он врет, обманывает и т. д. — отравляет мне существование. И любовь, конечно.

Детскосельский вокзал. Как я его провожала в 26 году… А Троицкая улица. Господи, как я его любила. Ведь любовь — это было просто что-то реальное. Ехала к нему, маленькая… боялась. Детское Село все было в снегу.

Скучно. Ведь, наверно, люблю и сейчас. Ой, скучно.

Ну, перепишу кое-что и лягу спать.

Заниматься нынче не смогу. Как неохота завтра выступать в институте — ужас.

К тому же я подурнела, мне кажется, очень.

Надо хорошенько написать «Смерть астронома»[280]. Давно не

писала. С. <Г>.[281] сказал, что «Заставское»[282] — пародия на Борьку. Глупости. «Тень» не так уж велика.

Хочу к Тихоновым съездить. Увлекаюсь Энгельгардтом, хочу делать реферат, но время, время… Неужели Мокульский[283] не примет зачета? Хамство какое…

1 мая 1929 г<ода>

Первое мая. А я дома все время препираюсь то с матерью, то с Борисом. Как нудно… У Иринки идут зубки, и понос. Попка все не заживает окончательно. Надо лечить детку. Сердце за нее болит.

Чтобы написать обо всем, что думалось и чувствовалось, надо очень много времени — часа два. Я помню, что чувствовалось очень много, и думалось, кажется, интересно.

Из ЛАПП'а исключили. Возврат возможен через низовые кружки. Нет, не гордость (но что же) не позволяет мне идти туда. Нет, полно заноситься. Пойду при первом удобном случае. Буду читать. Может быть, я не права.

Столько зачетов, что боюсь, что не справлюсь. А не могу себя принудить к занятию истпартом[284]. Читаю Ходасевича. Хочу на днях подобрать книгу…

Друзья, друзья! Быть может, скоро…[285]

Люблю это стихотворение. Почему Борису не понравилось «На Памир»?[286]Мне оно пока нравится.

12 мая

Как редко могу я взяться теперь за перо, а так многое нужно бы, просто нужно записывать, так идут мысли, что только бы на бумагу. Но истпарт ждет меня, и, м<ожет > б<ыть>, — баня. Итак, главное.

Возрождением интереса к мальчишкам это, пожалуй, назвать нельзя, мне всегда нравилось и возбуждало ухаживание за мной, но мне нравится Поляков[287] в институте. Гнусные мыслишки об «ухаживании»!! Неужели нельзя отделаться от них. Стыдно, стыдно!

Знакомство с Николаем Дементьевым[288]. Симпатичный малец. Борька от ревности, как мне думается, уверяет, что он

влюблен. Ну что ж, я не против, но сама я — равнодушна.

Знакомство с Колбасьевым[289]. Интересный тип. Боря, для твоего успокоения, мысли «об чем-либо» исключены. Звал, подарит книг. Интересно.

Письмо от Русановой[290]. Ко мне прикасается чужая жизнь, и мне смутно и больно. Да, это «настоящая жизнь»…

Сегодня с детскими писателями выступала у Герцена[291]. Успех. Особенно восторгались «Зима — лето — попугаем»[292]. Чуковский[293] прислал восторженную записку. За последнее время меня все время хвалят, это начинает печалить меня. Ругал, верно, сегодня Горелов, но как-то несостоятельно, ведь он приверженец ЛАПП'а. Берман не очень доволен «Пасекой»[294], это меня печалит. А «Пасеку» принял в «Звезду» Тихонов. Неужели из жалости. Одна эта мысль заставляет меня выходить из себя и не особенно радоваться взятию «Звезды».

Кажется, все. Конечно, безденежье. Мечусь с договором. Борис меня убивает: не учится, теперь запутал дела с воинскими делами. Эх! Чует мое сердце, что не миновать ему принудительных. Для того чтобы мне его любить, мне необходимы препятствия: после того, как его изругает моя родня, я, несмотря на справедливость всего сказанного — чувствую к нему прилив нежности, вот, дескать, а я его все-таки люблю!

И сейчас очень жду его, очень, а он где-то болтается. Эх… А ведь письма-то он так и НЕ ОТПРАВИЛ. Не знает, что делает этим, не знает, а то бы тотчас же послал, т<ак> к<ак> почувствовал бы, что теряет меня, ну, да наверно, я ему «не дорогая», несмотря на все его уверения. Горько все же.

Ну, за работу[295].

18/V

Сегодня иду с Колькой Дем<ентьевым> в филармонию.

Боюсь, что его присутствие будет мешать мне слушать. Погода отвратительная, на душе тяжело, дома, как водится, все злы, больны, темны. Ведь так же нельзя жить, так нельзя жить!!

Матери обязательно надо уехать. Обязательно. Мне все надоело. Кропаю про себя стихи, записывать боюсь, кажется, — скверно.

Все равно, надо подбирать книгу.

СКУЧНО.

2 июня 1929 год

Не знаю уж, с чего и начать. Какая-то нудная, тяжелая тревога, даже руки плохо движутся.

Когда же запишу все, все?

Главное: иду на античную завтра, абсолютно не подготовленная, т<о> е<сть> прочла и проконспектировала 2 пособия, и ни больше, ни меньше. Если Казанский[296] издевнется, ничего большего я не заслужила.

А ведь какой предмет! Изучать его надо почти что с благоговением, надо проникнуться им, ведь это сокровищница и начало. Конечно, я в будущем все наверстаю, но, но… Господи, иначе же я не могла! Я работаю через силу. Я позорно клюю носом в трамваях, и кондуктора будят меня. Я клюю носом с открытыми глазами, мысль о том, что надо торопиться — не позволяет мне сосредоточиться и отдаться книге…

Тяжело, тяжело…

А как все надоело! Сдать бы, да и дело с концом. Погулять бы перед отплытием на остров Формозу…[297]

Чистка в комсомоле оставила осадок на душе и точно углубила раздвоение. Главные вопросы были о творчестве. Все-таки так нельзя было. Ну, что ж, я ясно вижу, что иначе ребята подойти и не могут, как только, что «из стихов не видно, что она комсомолка». Мне кажется, что здесь я и создаю свою собств<енную> теорию о творчестве, о поэте, о художнике и вообще. Т<о> е<сть> это не моя теория, но и не теория комсомольцев типа проверкома, которые есть правильные, классово выдержанные, те, которые будут хозяевами положения. Зачем же скрывать — в пункте творчества я им противопоставлена. Значит, чужая им, чужая современности, чужая революции? Нет! Да субъективно нет, а объективно… Да нет же, почему не права я, а правы они? Только потому, что их теория элементарнее?

Художник должен «отображать», т<о> е<сть> они требуют от меня отображения рабочего быта… да что тут расписывать! Вздор, и все! И ничуть я не считаю себя в чем-то виноватой (подумаешь, — «вина перед народом!»), и хныкать нечего.

Просто-напросто искусство шире каких бы то ни было теорией и мировоззрений. А ЛАПП ничего подлинного, рожденного не создаст, если только не окажется талантов сильнее лапповской клети. Прав Лебедев[298], права Ахматова… ну и пусть это «не наше», это должно стать «нашим».

Лебедев![299] Теперь имя Владимира Васильевича долго не будет сходить с этих страничек.

Он увидал меня в редакции «Ежа»[300] попросил какого-то сотрудника познакомить меня с ним для того, чтобы писать с

меня портрет. В пятницу я была у него… нет, в четверг, 30/V—29. *А теперь только и живу тем, что снова пойду к нему*. В<ладимир> В<асильевич> в восторге от моей особы. Это радует меня, конечно, и самолюбию, т<ак> сказать, льстит. Наверно, и осенью будет писать с меня. Я, конечно, увлечена им, как обыкновенно увлекаюсь талантом и художником; ведь это радость соприкасаться с художниками, подлинными и творцами. Я уже решаюсь не анализировать, не копаться, на чем основано это увлечение, да хорошо ли это и т. д. Нужна прежде всего цельность, а то это вечное копанье умертвит всякое увлечение. Конечно, я хочу, чтоб Лебедев ценил и меня, и мое творчество, и мою личность. Лебедев будет знакомить меня с миром, мимо которого я все время проходила. Как это хорошо, господи! Интересно, как бы отнесся он к моим стихам? Я так была бы счастлива, если б они понравились ему по-настоящему…

Завтра иду к своему второму увлечению — Тихонову. Подбираю книгу. Недавно мои стихи казались мне такими хорошими, а вчера и сегодня снова, снова[301] посерели и чудится, что ничего особенного, что просто обыкновенные девичьи стишки, которых нынче уйма, до черта… Скучно.

Эх, сдать бы все, да и забота одна с плеч долой. Сейчас прямо не могу ничего делать. Какое-то тревожное состояние.

Ирочка — радость, солнышко, счастье. У нее 4 зуба.

6 июня

Тогда Тихонова не было дома. Он оставил ласковую (вежливо-ласковую)! записку, которая…[302]

20/VI

Хотя очень некогда, но просто невозможно не записать главного, т<ак> к<ак> в субботу уезжаю в Семенов. Семенов! Город, который столько мучил и томил меня, город, который видела через стихи Бориса, город, где живет она, Татьяна, уже совершенно переставшая мучить меня. Отчего? Ведь я люблю Бориса?

Как он меня любит, неужели так любит, но как много немыслимо тяжелого вынесла я за последние дни, какие дикие, безобразные сцены, разве так можно?

Эта весна будет помниться по Лебедеву. Сколько хороших часов провела я в его мастерской, в желтой кухне. Лакрима-

Кристи[303]. Лебединое озеро. *Озерки*. Последние — как нереальность. Все это пища для дикого скандала, но, в сущности, безобиднейшие вещи, без тени, без малейшей тени пошлятины.

Все может быть, что Л<ебедев> увлекается мною, я слышала о нем — «юбочник» — я не особенно доверяю его словам и речам, ласковым, хорошим. Черт его знает. Но хочется думать, что все это подлинно.

Он столько наговорил мне обо мне (что иногда думалось о себе) хорошего, что стыдно записывать здесь — чуткость и т. д. Нет, неудобно. Но я не самодовольничаю. Завтра пойду проститься с ним.

Почему-то немного волнуюсь и уверяю себя, что «ничего нет». Да, да, пожалуй, и это лишнее, да, без фальши.

А как хороши его рисунки[304].

Портрет же остался не окончен. И он очень недоволен им…

Стоит запомнить день с Либединским[305], — солнце, залив, крышу, барзак[306]. Остальное все, как со стороны Чум<андрина>, так и его, — считаю просто трепотней. С ним можно дружить. Он — коммунист. Но — о, ужас — напостовец…[307]Борька похудел, милый, один ведь любимый, один, один. Болезный мой. Еще весна запомнится по твоему сумасшествию и горю от тебя…

В Семенове писать не придется[308].

Как-то доедем?

Что-то сосет сердце…

И хорошо, и тревожно, и смутно.

До осени… до осени… до осени…

20 октября 1929 г<ода>. Ленинград

А вот и осень…

Сюда я вкладываю несколько страничек, которые удалось записать в Семенове[309].

Встреча с этой тетрадью взволновала меня более всего. Нет, дневник вести я буду, и не хочу стыдиться этого.

Писать подробно? Хворала. Очень тяжело, вылежала 5 недель. Болезнь связала нас с Борисом. Теперь навсегда, наверно.

10 ноября 1929 года

Ну… прямо не знаю, с чего начать… Событий так много. Университет. Когда поступала, то думала: вот начинается та

самая самоотверженная работа, о которой все время думалось. Но надо сказать, что ничего еще такого не начиналось из-за всяких причин (кстати, надо сегодня расписание в порядок привести).

Завтра понедельник, с которого я хочу начать работу как следует. Расхлябанности надо положить конец. Комсомольская работа. Тоже ни фига пока не двинулось. Но в этом, конечно, стыдно сознаться, но я чувствую возрождение энтузиазма и желания плотно включиться в стройку. Обывательщина плотно обволокла меня. Всякие уверения и сведения, получаемые мною от Леб<едева>, Ахматовой и др. все-таки действовали на меня. А во мне много элементов чеховской «Душечки»…[310] да, да, я говорю это, ничуть не кокетничая. Это я тщательно скрываю…

Но это пакость, которой названья нет. И — довольно.

Но ведь есть же доля правоты в их словах? Да, есть. Но только доля. (Компромисс.)

Жизнь тяжела, тревожна и радостна.

Пятилетка — и почти голод. Коллективизация — и расправа с хлебозаготовителями. Но последнее объяснимо. Надо читать газеты. Надо не поддаваться стонам Ахматовой и пр. Надо работать и писать о работе, трудностях и радостях нашей стройки. Нет, это то, что и раньше во мне было и лишь заглохло под тиной обывательщины. Быть может, это был кризис… Теперь такого не будет… Но закрывать глаза на прорехи — нельзя. Надо ко всему прислушиваться.

Быть может, я вернусь в ЛАПП…

Вернусь не потому, чтобы писать в известных границах, нет, работать я буду по-старому, ведь я и не была враждебна ни тематике, рекомендуемой ЛАПП'ом, только этот зажим и узость, — они угнетали меня. Да, и примкну к «Раб<очей Окраине», меня пугают, что там дураки, неучи и т. д.[311] Ну, и что ж, все же они лучше Гитовичей, Левоневских, Фишей — людей беспочвенных и, по-моему, пустоватых.

Итак, с понедельника — новая жизнь, и *не ренегатствовать*. (Это — о, как я хочу, чтобы это не звучало иронией!)

А ехидное нашептывает мне: «Душечка! Да ведь все же это Юри-й!»[312] Нет, нет, нет!

Ну, что же, конечно, влияние Юрия несомненно, т<о>е<сть> то влияние, которого я давно желала. Быть может, я идеализирую Юрия, но он представляется мне, ну, что ли, идеалом коммуниста, хотя это «сильно сказано». Мерка и принципы моего подхода к людям невыяснены для меня самой. Вернее, я думаю, что нельзя подходить к людям с одинаковой меркой… А принципы? Тоже разные? (Господи! Познай самого себя.) От спокойных разъяснений Юрия («ведь реконструктивный

период»!?), даже от его присутствия я находила не находившиеся объяснения, чувствовала, в чем обывательщина. Юрий как-то сказал — «скептик!». А скепсис мой больше, чем он думает. Я даже к словам Юрия о себе, как о коммунисте, о человеке, о своих поступках и т. д., отношусь с крупицей скепсиса — похожего на фразу: «Рассказывай! Будто бы уж ты и вправду такой…» Это нехорошая черта. Надо верить людям, т<о> е<сть> надо уметь верить.

А к *другим* словам Юрия я отношусь… гм, гм, неужели *тоже* скептически? А между тем они заслуживают более недоверчивого отношения. Но почему же, почему, почему не поверить им просто и радостно? «Ага, — говорит ехидное, — тебе *хочется* верить словам, этим *другим* словам и поступкам Юрия, потому что они тебе *приятны, льстят* тебе. Здесь-то и вся разгадка, мисс! Те слова неприятны тебе, а эти приятны».

Лирическое отступление. (Зачем эта гримаса. И дура же я.) А ведь, что́, если бы поверить словам Юрия, поверить самой себе, — т<о> е<сть> тому, что ты предполагаешь за всем этим… Когда последний раз я была у него и мы говорили — он об Урале, а я о нижегородском просторе, и когда он сказал, что хочет со мной ездить всюду, и на Урале, и везде, и я представила себе это, и Россию, и меня с ним, и все, все, мне стало темно и страшно от могущего быть какого-то нового… счастья…

Но попробуем разобраться тезисно. 1. *Что есть в наличности?* Я Юрию нравлюсь, я «мила ему». Ему приятно и хорошо быть со мной. Он целует меня. Я обороняюсь от поцелуев и ласк его, т<ак> к<ак> хочу их и боюсь, и не хочу сойтись с ним. Мне хорошо с ним… Ему нравятся мои стихи, и те стихи, которые мне самой дороги.

2. *Чего я боюсь.* Боюсь сойтись с ним, т<ак> к<ак> это очень легко. Он — товарищ Либединский, известный писатель, человек, свободно распоряжающийся деньгами, он интересный, не глупый. Так что влюбиться в него, сойтись с ним — есть явление общее, и желающих найдется много. Это общее явление, и, может быть, он это ощущает и знает. Но именно вышеуказанное заставляет меня скептически относиться к его поведению, удерживать его и себя и — противиться возникающему чувству своему.

Да, любовь или влюбленность могут быть.

Чувствую, что закрутит, если полюблю, выбьет из колеи, скомкает работу, а я хочу работать и учиться.

И — главное: ребенок, и Борис, которого я обманываю, который меня любит, которого и я люблю…

Юрий приедет скоро. Наверное, в пятницу увижу его. Я рада,

что не скучаю, что нет тоски. Значит, и ничего нет.

Я хочу, чтобы он полюбил меня так, как говорит, как умеет любить. Эх, а все-таки все как-то смутно.

16/XI—29

А все-таки нынче тосковала, и очень. Звонила и вчера, и позавчера, и сегодня, и он еще не вернулся.

Эх! Нет, я не люблю его, а скучаю просто так. Я мечтаю о встрече, о словах, которые скажу ему. Кажется, большего писать не нужно… Приедет ли он завтра, в понедельник, наконец, к среде…

Это тщеславие, но в среду я хочу пойти в Капеллу, и чтобы он ухаживал за мной, и чтоб все это видели. Да, это так, и в этом надо сознаться. Тщеславие! Что если одно только тщеславие? Нет, не только…

Скорее бы, скорее бы приехал Юрий… И я не хочу, чтоб он уезжал в Германию. Даже в Детское. Да, я соскучилась. Я хочу, чтоб он целовал меня, я до конца откровенна.

Господи! Если б завтра он приехал…

А люблю я все-таки Борьку; правда, подчас он надоедает мне своими чрезмерными ласками и брюзжанием по поводу отсутствия у меня таковых, но вчера я целовала его, мне показалось, что я действительно чересчур суха с ним, что «отучу» его от себя, а другой такой хорошей любви — мне не сыскать уже…

Эгоистка я, сволочь, занимаюсь самолюбованием и филистерством, ах, сволочь, сволочь, самовлюбленная. Нет же, я люблю Борьку, а Л<ибединский> — только тщеславие… нет… не только… Эх! Я просто кисель какой-то, ничего до конца не выясняю, не решаю. А пожалуй, и все люди так… Человек — такое противоречивое существо. (Страшная банальность!) Читала дневник Башкирцевой[313].

Героиня повести Огнёва[314], сравнивая себя с Башкирцевой, восклицает: «Но я глубже ее!» Увы, я чувствую себя на ее положении, потому что при сравнении ее с собой, я чувствую зависть к ее уму, и невольно приходит аналогия моего дневника с дневником Калерии[315]. Такая поверхностность и, в сущности, пустота, заполненная вопросительными и восклицательными знаками… А ведь мог бы быть интересный документ. Только лень моя мешает мне. И отсталость. В сущности, разве я передовой человек? Разве я слежу за жизнью? Даже за газетами не слежу, а за такими органами, как «На лит<ературном> посту», «Печать и

революция»[316] — и подавно нет. Это стыдно, и я так многого не знаю…

В этом смысле студенчество дореволюционное было «передовей». Учиться, читать, заниматься, работать — вполне сознательно, а не к зачетам. Библиотека — мое любимое убежище. Завтра или в понедельник приведу в порядок свои дела. Писать <неохота?>.

20/XI—29

Послала Юрию письмо, по-моему, не очень удачное, и, конечно, не такое, как хотелось. Да почему-то и вообще «отлегло», и в частности постеснялась лирики, расторопности в объяснении и т. п. На дело смотрю проще и будничней. Ну уедет, ну не приедет, в конце концов, нельзя же так из-за каждого «обратившего на тебя внимание» — так разоряться. Я даже не буду звонить ему 29, вообще, до встречи не позвоню…

Одно место письма заслуживает одобрения, это там, где я пишу, что «я очень хорошо, и надо сознаться, много думаю о тебе, и мне хочется верить чему-то, исходящему от тебя, но я все время обуздываю свою фантазию и веру, и направляю мысли мои в более отвлеченное русло».

30/XI—29

Юрий — Лебедев. Люди, около которых вертится мысль моя. И я уже начинаю досадовать и никому из них не верить. Верю одному только Борьке, несмотря на его желание «вызвать у меня ревность». Увы, я не ревную! Совсем не ревную как раньше. Может быть, оттого, что уверена слишком, или же ОТТОГО, что разлюбила. Нет, я люблю его. Этим я доказываю свою слабость и свою беспринципность. Исключение Бориса из комсомола, его безыдейность — должны были бы оттолкнуть меня от него, не говоря уже о других свойствах его… Но последнее время он так мучит меня, что его присутствие становится для меня тягостным. Его чрезмерная нежность и потенция раздражают меня. Неужели же я не люблю его…

Мне нехорошо как-то сегодня, и физически и душевно. Волосы лезут у меня как во сне. Я бы все отдала за густые волосы. Очень скучно, и как-то опустошенно. Стихи хочется писать, а все не удается… Да и то, что написано раньше — кажется таким общим, серым, невесомым. Моя лапповская совесть опять

начинает заедать меня, я обнаруживаю у себя отсутствие идейности, созвучности и т. д. Юрий говорит, чтобы я подавала заявление в ЛАПП, но я не хочу делать этого. Опять ощущение вины своей, тогда как я совершенно не виновна. В чем можно упрекнуть меня с точки зрения «пролетарской»?

Юрию нравятся, даже очень, мои стихи. Он говорит, что в них нет ничего враждебного, но и своего нет ничего. Что ж, верно… Верно и то, что все это пока «предисловие». С каждым новым стихотворением мне кажется, что предисловие кончится, но нет.

14/XII—29

За окном страшная метелица. Как я мечтаю об отдельной комнате, где можно расставить свои книги, рукописи… Все еще Грустилины[317], адовище, клоака.

Мне кажется, что пора начинать книгу, т<ак> к<ак> накопилось сказать о многом. Но я не успеваю писать, т<ак> к<ак> идут все новые и новые ощущения, и надо их записывать. Получилась бы книга-дневник. Пожалуй, я и буду писать книгу так, пользуясь своими материалами. Но сначала надо выпустить книгу стихов, до выпуска книги я считаю какой-то изменой писать «взрослую прозу». Время летит. Я занимаюсь все-таки спрохвала[318]. Этот неграмотный… С января я брошу его. Надо войти в «Путиловец»[319]. Как я мечтаю об этом. А неграмотный — самый 100 % рабочий, Рабочий, член кооперации и союза. Что-то тут во мне неверно. Чего же мне надо — показа? Нет, я, пожалуй, наговариваю на себя. Может быть, я перешагнула представление «Рабочий»? Но жизнь я буду сличать с книгами, вероятно… Господи, как это томительно, не знать, чем же ты, в конце концов, будешь? Что дашь? Вот интеллигентщина-то. И силу в себе чувствуешь, и расслабленность какую-то? Или этого нет? Т<о> е<сть>, в чем расслабленность? В неорганизованном моем житье? А объективные обстоятельства, — тотчас же начинаю оправдывать я себя.

Нет, надо распределить день. (Нов<ая> жизнь с люб<ого> понед<ельника>.)

Борька у ребят, ночевать не приехал. Господи, если бы приехал! Скучно как-то, и метель такая…

Юрочке писала, а сейчас уже отлегло. Хотя нет… Хочу его видеть, такого большого и чужого. А В<ладимир> В<асильевич> — нет. А Борьку — да, да, ДА!

Сейчас надо начать работать. А спешка эта тоже должна быть ликвидирована. Делаешь одно, а в думах стоит другое, прямо

издергаешься.

Посижу сегодня подольше… Попишу.

Когда-нибудь целый вечер уделю только писанию, или, вернее, описанию, т<ак> к<ак>, мне кажется, что мое настоящее есть уже прошлое, и скоро начнется что-то очень новое и значительное. Смешновато, но мне кажется, что это будет связано с моим вхождением в «Кр<асный> Путиловец». Только бы Борис не разлюбил, не расхворались бы мама и Мусёна моя.

5/I—1930. Тридцатые годы

Буду как бы писать Юрию письмо, легче и охотнее как то пишется.

Юрий, я похожа на Пенелопу, то, что навяжу у тебя в комнате, распускаю по выходе. Два раза я почувствовала сильное отчуждение, и затем отрешение, отказ от тебя. Первый раз, когда ты сказал, что у тебя будет ребенок.

9/II—30

Больше месяца не садилась за тетрадь.

Сейчас чувствую невозможность записывать что-нибудь хоть немного логично.

I. Юрий ухаживает за Мусей. Она нравится ему, быть может, он любит ее…

Я — в отставке. Да, да, в отставке. Юрий не зовет меня больше к себе, не спрашивает, почему не звоню. Живу провалами. То, как третьего дня, решила — «сойдусь с ним», то холодно пожимаю плечами, и как сейчас, абсолютно равнодушна. «Ты умерла, ну что ж, ну что ж».

Эх, да на кляп!

Юрочкиной «влюбленности» хватило ровно настолько, пока не подвернулась девчушка красивей меня. Но иногда мне кажется, что все-таки «побежу» я. Как это глупо, мелко и гадко.

Что я теряю? Его общение? В конце концов — нет. Его поцелуи? С болью я отказалась от них еще «до Муси». Да что там судить. Неладно тут что-то со мной!

Увижу ль его сегодня?

А в общем, ни он, ни В<ладимир> В<асильевич> — не то, не то… Быть может, Борис? Или я уже окончательно не люблю его?

Как все запутано, как я много теряю времени и энергии на все

это. Учусь с трудом, пишу с натяжкой. Плохо. Бываю у В<ладимира> В<асильевича>, после чувствую отвращение к нему и к себе за то, что допускаю лапать себя. Недавно была тоска, словно воспоминание.

Сегодня все противны.

28 февраля 1930 года

Прошло. Юрий прошел. Любить некого. Не В<ладимира> В<асильевича> же любить. На любовь к Борьке смотрю как на дело прошедшее. Перечитываю его письма к Т<атьяне> С<тепениной>, боли как будто нет. Целую, живу с ним, иногда чувствую нежность и жалость, иногда верю. Ведь это нечестно, зачем я живу с ним? Что меня удерживает? Боязнь остаться одной, совсем одной, привычка, «бытовая инерция»? Да, пожалуй. Нудно мы с ним живем, безрадостно, гадко, — а живем! Жду, когда все придет и сделается само собой.

Раньше, в 29 г<оду>, весной и зимой каждый день ждала радости от любого явления, а теперь ведь радости-то прибавилось, — такая Ирочка прелестная, интересная учеба, работа… А просыпаюсь с сознанием тяготы, что-то сосет, чего-то не хватает. Не любви, пожалуй… Не пишу ничего, чувствую, что надо как-то перестроиться, как-то громко заговорить. И не могу пока.

Юрий не советует издавать книгу. Что ж, верно. Да, не стоит, не стоит, хотя и тяжело от нее отказаться.

Юрий мне безразличен. И не скучаю. И почему-то не хочу, чтоб Муся и он сходились. Не из-за себя! Марию я люблю ужасно, она красавица, она какая-то особенная, я «обожаю» ее. А сейчас такая усталость, и так много, так много дела…

Поссорилась с В<ладимиром> В<асильевичем>. Обойдется.

И думать об этом сейчас неохота почему-то.

Бориса нет.

7/III

Такое нервное состояние — схватишься за одно, над тобою висит другое, третье, — до бесконечности.

Сколько я дел нахватала. И вечно не распределить времени. И между тем, более чем когда-либо ощущаю необходимость дневника. Я чувствую, что поворот уже есть, что нужны еще

какие-то сложные, стремительные наступления на себя. Первым наступлением был бы развод с Борисом. Мне кажется, что та вакуоль, образовавшаяся в густой протоплазме внутреннего бытия, происходит именно из-за этого. Вот, работаю, думаю, охватывает то радость, то гордость за страну, думы о будущей работе, любви (!) и вдруг ощущаю какую-то ненужную, позорную, сосущую пустоту, ведущую неведомо куда. Переутомление, неврастения, должно быть — это неудовлетворение.

Хожу на Путиловский[320], как в страну чудес, с некоторым трепетом. Прихожу в мастерские, жмусь к стенам, все время боюсь приближения крана, боюсь, что мешаю, боюсь, что чуждая. И это неправильно. Ведь я тоже прихожу работать, и труд мой тяжел и сложен.

Я взялась за большую, за ответственнейшую задачу, я хочу выполнить ее, вооружившись всеми творческими возможностями и научными запасами.

Но если б это единственная работа! Увы! Сколько недоделанного, ждущего меня — и доклад «теория творческого метода», который хочу сделать очень значительным, и несчастный Лермонтов, и консультация, и <Пантя?> — инженер, которому надо уделить окончательно — день, и крейсер «Аврора» и т. д. и т. д.

А совхоз? А свои стихи? А поэма? А хвосты, волочащиеся позади меня?! Я…[321]

9/III

Муся и Юрий сидят, хохочут…

Я почти жалею, что не сошлась с ним, хотя бы один раз. Что это? Как скверно.

19/III

Муся ушла к Юрию. Она жена его.

Странные чувства бродят во мне.

Какая-то истерическая нежность, чуть ли не заискивание перед ними. Они кажутся мне счастливыми, а я себе — несчастной…

Когда я подумаю, что Муська может в любое время подойти, поцеловать его, что она ему дороже всего, я чувствую себя совершенно одинокой. На набережной, как тогда, когда мы шли одни, и — наступила зима. Мы шли все глубже и глубже в зиму…

Я ревную Юрия к Мусе, а Мусю к нему.

Но ведь все, все отрезано?! Господи, все отрезано… Ну, ну и пусть. Что мне, действительно, хочется «великих людей»?

Странное у меня состояние. Ласки Бориса воспринимаю тяжело и нехорошо. Не оттого, что *он* любимый, а из-за того, что хочется испытать «то». Я возбуждаю себя совершенно искусственно. Когда он трогает меня, я нарочно называю про себя все это самыми подлыми именами или представляю себе, что я — не я, и он — не он, в общем, это, конечно, если и не разврат, то уже глубоко искусственное, ложное, гадкое.

Отчего? Оттого, что приелось? Оттого, что не люблю я его уже? Тогда, какого же черта я живу с ним? Расчет? Привычка? *Крохи* чувства? Жалость? Да, все это заставляет меня жить с ним. Но с осени я перееду в Дом-коммуну, там будет Юрий, Муська… [322] Борька не хочет переезжать туда. Ну и пусть. Пусть это только совершится более или менее безболезненно.

Да, да, я человек компромиссный, я сволочь по натуришке.

Иногда мне кажется, что я просто приспособляюсь. К кому? К чему? Опять Бог и Мамона. Нет, нет, уже не Мамона и не Бог, а я сама. О, против меня прошлогодней — я теперешняя — большая разница. Но все же многое.

С В<ладимиром> В<асильевичем> «помирилась», но яснее ясного для меня теперь то, что мы чужие в основе. Смешно, когда он произносит «это против исторического материализма» или еще «не искажайте исторический материализм» — получается смешно, и немного жалко — за старческое.

Все страшно сбивчиво. Но боюсь я самоанализов.

Скоро, скоро хорошая, честная жизнь? Но когда же? Уже 20 мне. Или когда встречу «его»? Или никого сейчас не надо? А ведь пока останусь с Борькой, и может, даже и летом поеду с ним…

Эх, не дело все это, не дело. Они правы, не уважая меня за нерешительность.

Ну, надо поработать.

А — я забыла приписать — несмотря на холодность к Б<орису> я все время нахожусь во власти чувственных переживаний. Я вижу чувственные сны. Я видела недавно Кольку Молч<анова> [323]. Как мы поцеловались с ним, горячо, захватывающе. Я хочу так целоваться. Эх, что-то не так.

Я хочу жизни — много, много…

А вот не пишется и не пишется.

11 апреля 1930 г<ода>

Наконец-то могу писать много-много. Но все не то, не то я пишу. Все копаюсь в своих мелких переживаньицах, наверняка мещанских.

Отчего так часто чувствую подавленность? Чего же мне не хватает? Кажется, все прекрасно. Или мне надо похвал, надо тешить свое тщеславие? Или, черт знает чего…

Вот — В<ладимир> В<асильевич> — разлюбил меня. Я это чувствую. И мне так неприятно, так больно это… Ведь ясно, из-за тщеславия. Как же? Европейский художник бегал за мной!! Теперь, говорят, он влюбился в какую-то молоденькую художницу. Неужели же мне не вернуть его? Попробуем.

Я последнее время понемногу, но почти каждый день выпиваю. И вот сейчас. Как-то так выходит.

Ну, да эх, ладно. Почитаю лучше про сплавы… Чувственный прилив не проходит. Как-то чуть не к каждому — сексуальное отношение, нет, не в прямом смысле и, конечно, не со всеми. Вот хочу, чтоб меня целовали, быть может, взял В<ладимир> В<асильевич>, только: не по-стариковски, а по-настоящему, меня возбуждает его сила, ой…

11/IV—30 г<ода> [324]

Владимир Васильевич, если б Вы знали до чего мне нехорошо сейчас. Знаете, я живу-живу, работаю, читаю и все такое, да все выходит как-то ни шатко ни валко.

Чего-то не хватает. Сама удивляюсь, — то, что происходит у нас, меня — не как Вас — больше радует и поднимает, работой я увлечена, да черт ее знает, что!

Нет, это не то, как говорят, «личной жизни нет», у меня все, что кругом «личная жизнь», т<о> е<сть> моя, правда не пишу я ничего месяца 3, ну, это пройдет, только зима эта была ужасно быстрая и, как я теперь вижу, какая-то смутная, с самой осени…

Ведь Вы правы оказались, у меня действительно неврастения, и немаленькая. Может, все это оттого только и есть, просто так. Скорей бы лето… Скорей бы лето… Муж уезжает до августа в Баку[325], и я уеду куда-нибудь, где еще совсем не была…

Хоть бы сестра поскорей приехала. Я не так буду чувствовать себя одной, как сейчас. Ведь никому ж об этом не скажешь, ведь это стыдно сознаваться в этом, хоть и ненадолго такое состояние приходит, все равно стыдно…

Вот я не понимаю, зачем я *Вам* говорю это, особенно после того, как мы с Вами поругались. Ведь я отлично знаю, что до самым основным линиям мы расходимся, хотя Вы и «не против

Советской Власти», и может быть, любая из Ваших «тетенек» в 100 раз ближе Вам, чем я… А все-таки меня как-то тянет к Вам…[326]

Ну, да пусть. Раз Вам писалось, Вы и должны это знать. А мне — вот сейчас, сию минуту нехорошо, очень! Только не думайте, что это мое основное. Это какая-то боковая линия, *временная*, но болезненная…

А написала я к Вам по всему вышеизложенному и по многому другому.

[Подпись] Ольга Берггольц

Как пошло! Инженер Ларин из мартеновской нравится мне потому, что у него угловатое, некрасивое лицо, но неужели он — Иван Иваныч! Костырев[327] верно говорит, что теперь уж коммунист с балериной спокойно спать не может, как в 25 году, так далеко и глубоко все пошло! Вот-вот именно эта чуждость отталкивала меня от В<ладимира> В<асильевича>, и сейчас — просто спорт. Э, да все это гадость, блядство.

Работать. Распределить время. Мобилизовать себя. Завтра, т<о> е<сть> 12/IV

до 3 — практика

с 3–6 — Путил<овский>

6—…9 — собрание, распределение квартир, ура, ура, неужели мечта претворяется в жизнь?

с 9 — или занятия или вечер «Резца»[328]. Вернее, второе, а, м<ожет> б<ыть>, приедет Мусёша, как я рада, очень рада ей. Лягу спать.

1931 г<од> 17 октября

Ужасно!

И это была я?

Как еврей в анекдоте, я смотрю на себя и говорю — не может быть…

Но это была я.

Просматривая свои теперешние записи в каком-нибудь 35 году — опять, наверное, тяжело и горестно удивлюсь.

Нет, это не рост. Нужен скачок.

1.[329]

И я осталася одна.
Одна, как перст во лбу.
Я от рассвета до темна

Вершу свою судьбу.

И не жива, и не мертва
По городу брожу,
Одни разлучные слова
Я наизусть твержу.

Скупой, частушечный напев,
Нехитрая тоска —
Мне греет сердце нараспев
И холодит слегка…

Я душу темную твою,
Чтоб стала не мила,
Уж как-нибудь, да запою,
С разлуки и со зла.

И лишь не будет, — как не пой,
Как не гляди назад,
До встречи ласковой с тобой
Синь-пороху в глазах…

Осень <19>29. ноябрь

2.

От тебя, мой друг единственный,
Скоро-скоро убегу,
След мой легкий и таинственный
Не заметишь на снегу,

Не ходи и не выслеживай
Во сыром бору лисиц,
И дорогой прямоезжею
Не расспрашивай возниц,

Перед людом, перед зверем
От тебя я отрекусь,
Чтобы новый друг поверил
В мою горькую тоску…

ноябрь

3.

Что мне сделать, скажи, скажи,
Чтобы стать тебе дорогой?
Если хочешь, возьми мою жизнь,
Постепенно согни дугой…

Если надо, то я с тобой
От бесславья не отступлю,
Только — недруг, товарищ мой,
Только слышать твое — люблю.

Только знать бы, что ты — без сна,
Если рук не найдешь моих,
Только знать бы, что я — одна,
В самых лучших думах твоих…

«Моя девчонка верная…»: Письмо Б. Корнилова к Т. Степениной

[330]

Публикация Н. А. Прозоровой

Светлой памяти К. В. Ефимова

В настоящее время из переписки Бориса Корнилова известно всего несколько писем, судя по которым поэт не был ни любителем, ни мастером эпистолярного жанра[331]. Годы репрессий не способствовали сохранению писательских архивов, и случайно уцелевшие письма приобретают в связи с этим особое значение как важный литературно-биографический источник, добавляющий новые психологические черты к портрету поэта.

Именно таким документом является письмо Бориса Корнилова, адресованное Татьяне Степениной, вместе с которой он учился в школе г. Семенова. Оно сохранилось в архиве О. Ф. Берггольц (ф. 870) в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН[332].

Сведения о Татьяне Степениной (в замужестве — Шишогиной) очень скудны, и ее отношения с Корниловым реконструируются главным образом на основе немногих известных нам источников: дневника и писем О. Берггольц 1928—1930-х годов, а также данных, любезно сообщенных семеновским краеведом Карпом Васильевичем Ефимовым.

Известно, что Татьяна родилась в 1906 году и была приемной дочерью часовых дел мастера г. Семенова. До сих пор остается не проясненным вопрос о родном отце Татьяны. В описи документов, относящихся к Корнилову в Государственном архиве Нижегородской (Горьковской) области, указано ее отчество: Александровна[333]. Однако непонятно, по родному или по приемному отцу оно приводится, поскольку известно, что в зрелые годы она подписывалась как Татьяна Федоровна[334].

Семья, в которой воспитывалась девушка, считалась в городе зажиточной. К. В. Ефимов сообщает: «Дом Степениных находился и находится на ул. Тельмана в г. Семенове. Дом деревянный двухэтажный. В начале 30-х годов прошлого века был конфискован. Хозяева были выселены. В доме было образовано четыре квартиры, в которых жили работники милиции»[335].

В школьные годы приемные родители Татьяны, зная о влюбленности в нее Корнилова, препятствовали их сближению. По воспоминаниям школьной подруги Степениной — Анны

Васильевны Ефимовой, чтобы разлучить влюбленных во время летних каникул, Татьяну отправили в деревню Хахалы за 30 км от дома, и, чтобы увидеться с нею, Борис преодолевал это расстояние пешком[336]. Борис и Татьяна учились в школе с педагогическим уклоном, выпускники которой получали право преподавания в начальных классах.

В начале 1926 года Борис Корнилов уехал из Семенова по комсомольской путевке на учебу в Ленинград, быстро включился в литературную жизнь города и вступил в студенческую группу «Смена». На поэтических собраниях «Смены» юная золотоволосая Ольга Берггольц привлекла его внимание. «В литгруппе „Смена“, — вспоминала она в 1952 году, в меня влюбился один молодой поэт, Борис К. Он был некрасив, невысок ростом, малокультурен, но стихийно, органически талантлив. <…> Был очень настойчив, ревнив чудовищно, через год примерно после первого объяснения я стала его женой, ушла из дома»[337].

Однако семейная жизнь двух начинающих поэтов была неустроенной и недолгой. Корнилов не смог забыть свою первую любовь: встречи с Татьяной были редкими и происходили в основном во время летних «наездов» Корнилова к друзьям в Нижний Новгород и к родителям в Семенов. Об одной из таких встреч свидетельствует сохранившийся портрет Корнилова с дарительной надписью: «Татьяна, милая — я люблю тебя… 1927 год июль м<еся>ц. Борис»[338]. В том же 1927 году Корнилов написал стихотворение «Лирические строки» («Моя девчонка верная…») с посвящением Степениной[339] и перекликающееся с ним «Последнее письмо», также обращенное к нижегородской девушке. Ср.:

И ты заплачешь в три ручья,
Глаза свои слепя, —
Ведь ты совсем-совсем ничья,
И я забыл тебя.

(«Лирические строки…» (1927))

И снова девчонка
  сварила варенье.
И плачет девчонка,
  девчонка в бреду,
Опять перечитывая стихотворенье
О том, что я —

никогда не приду.

(«Последнее письмо» (1927))

Мятущееся настроение Бориса Корнилова этого периода передано и в стихотворении О. Берггольц «Осень 1927 г.»:

Я без горести и без испуга
Согласилась этою весной
Стать твоей румяною подругой,
Быть твоей веселою женой.
<…>
Но в густую яблочную осень,
В эту осень, отчего ты хмур?
Словно скука синебровых сосен
Привязалась к другу моему.

Словно хочет угадать разлуку,
Так он часто говорит о ней.
Как же мне сомкнуть сильнее руки,
Как же мне обнять его сильней?[340]

Продолжавшаяся переписка Корнилова с Татьяной вызывала у Ольги Берггольц сильную и обоснованную ревность; ее дневник 1928–1930 годов полон мучительных размышлений о неустойчивых отношениях с Корниловым[341]. Мысли о неизбежности разрыва перемежаются в дневниковой тетради со слабыми надеждами на то, что «лучшее, молодое, любовное» еще не совсем ушло. Огорчало Ольгу и то, что ее настойчивую просьбу об отсылке кольца, подаренного Татьяной, Борис оставил без внимания: «Ни письмо, ни кольцо не отправлено, — пишет она в дневнике 2-го апреля 1929 года. — Нет, я не знаю, каких еще доказательств мне надо в том, что со мной ничуть не считаются, что ни мое состояние, ничто — не важно. Бореньке, видите ли, „некогда“. <…> Или ему жаль Т<атьяну>, жаль окончить эту канитель?»[342]

Летом 1929 года семья отдыхала у родителей поэта в г. Семенове и селе Ильино-Заборское. Накануне отъезда из Ленинграда О. Берггольц записала в дневнике: «…в субботу уезжаю в Семенов. Семенов! Город, который столько мучил и томил меня, город, который видела через стихи Бориса, город,

где живет она, Татьяна, уже совершенно переставшая мучить меня. Отчего? Ведь я люблю Бориса?»[343] Красивая молодая пара — Борис с Ольгой, и их дочь Ирина вызывали интерес у земляков поэта и восхищение семеновской молодежи. «Зашли они на почту, — вспоминал Сергей Афоньшин. — Борис в косоворотке и яркой восточной тюбетейке, с годовалым ребенком на руках. Он только что получил письмо из Ленинграда, распечатал и читал его. Он загорелый, черноволосый. Жена и дочь белокурые, розовые. Со мной были Сережа Шляпников и Толя Шаронов, мои одноклассники по школе с педуклоном. Помню, с каким восхищением они глядели на Ольгу Берггольц. А когда приезжие вышли, Сережа сказал: „Она красивее его!“ А Толя Шаронов, скромный умница, высек свое: „Она умнее его!“»[344] На известной семейной фотографии лета 1929 года Ольга Федоровна снята с лучистой улыбкой на лице.

Сложные отношения любовного треугольника, болезненные для всех троих, были наконец разрешены, когда в Семенов ненадолго приехала Татьяна Степенина. В последнюю встречу, которая происходила в присутствии Ольги Берггольц, Корнилов вернул Татьяне кольцо, а она ему — его письма. Возвращенные письма были, видимо, осенью увезены в Ленинград, и одно из них случайно сохранилось в архиве Берггольц.

Больше личных встреч у Корнилова с Татьяной Степениной не было, но имя простой провинциальной девушки продолжало появляться в его стихах.

Скажешь:
— Надо совсем проститься,
я теперь не одна живу…
Все же с кофты твоей из ситца
лепестки упадут в траву.

И завянут они, измяты,
и запахнут они сейчас —
этот запах любви и мяты
на минуту задушит нас.

И уйду я, шатаясь пьяно,
а дорога моя тесна:
не до сна мне теперь, Татьяна,
года на три мне не до сна.

(«До земли опуская длани…» (1930))

Позднее образ нижегородской девушки вполне гармонично возникает в стихотворении о любимом волжском городе поэта — месте их встреч с Татьяной, — «В Нижнем Новгороде с откоса…» (<1933>):

Снова, тронутый радостью долгой,
я пою, что спокойствие — прах,
что высокие звезды над Волгой
тоже гаснут на первых порах.
Что напрасно забытая рано,
хороша, молода, весела,
как в несбыточной песне, Татьяна
В Нижнем Новгороде жила.

В дальнейшем судьба развела всех по разным дорогам: Ольга и Борис в июне 1930 года расстались. В 1937 году поэт был репрессирован и в 1938-м расстрелян, его произведения перестали публиковать. Лишь по заявлению Ольги Федоровны прокурору Ленинградского военного округа о пересмотре дела в январе 1957 года Корнилов был посмертно реабилитирован. Заявление Берггольц — весьма значимый и «говорящий» документ — было совсем недавно опубликовано А. Я. Разумовым в Ленинградском мартирологе[345].

Подробности дальнейшей жизни Татьяны Степениной-Шишогиной нам неизвестны. В письме от 18 ноября 1956 года к матери поэта, Таисии Михайловне Корниловой, Ольга Федоровна спрашивала: «Жива ли Таня Степенина? Если можно, сообщите мне ее адрес, я напишу ей о Борисе…»[346] После реабилитации Корнилова Татьяна Степенина-Шишогина, проживавшая в Краснодаре, возобновила связь с родным городом и переписывалась с Семеновским историко-художественным музеем. По ее просьбе каждый год в течение многих лет возлагались цветы к портрету Бориса Корнилова в музее в день его рождения — 29 июля. В ноябре 1985 года Татьяна Федоровна посетила Семенов и оставила в книге отзывов памятную запись, в которой, в частности, написала:

«Сегодня 27/XI—85 года я впервые посетила историко-литературный музей[348], т. к. я с 1926 г. по сей день не была у себя на родине в г. Семенове.

Мне особенно дорог музей Бориса Корнилова[348] — он

воскрешает нашу комсомольскую юность и пионерскую дружную семью. Походы под бодрый барабанный бой Володи Маркова, зажигательные песни, воодушевляемые Васей Молчановым и Борей Корниловым. <…>

Комната родителей Бориса обставлена так, как это было в жизни.

Я у них была в этой квартире на ул. Крестьянской и хорошо помню, что было все так. <…>

На меня музей произвел очень хорошее впечатление.

Большое спасибо вам, работники музея.

[Подпись]: Шишогина (Степенина)»[349].

Итак, впервые публикуемое письмо Б. Корнилова является не только литературно-биографическим источником, но и свидетельством того, что Татьяна Степенина сыграла в жизни поэта более значительную роль, чем было принято считать до сих пор.

Письмо публикуется по автографу, хранящемуся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, в ф. 870 О. Ф. Берггольц. Письмо не датировано, и время его написания может быть установлено по содержанию лишь приблизительно. Наиболее вероятной датой представляется осень, возможно, конец сентября или начало октября 1927 года. Обоснованием ее, прежде всего, служит приведенное в письме стихотворение Корнилова «Моя девчонка верная…», впервые опубликованное под названием «Лирические строки» 9 октября 1927 года[350]. Упоминаемая в письме работа с оттисками поэтического сборника также подтверждает предлагаемую датировку, так как во второй половине 1927 года готовилась к печати книга «Молодость», вышедшая в январе 1928 года[351]. Кроме того, Корнилов пишет о начавшихся лекциях в институте, что чрезвычайно важно, так как известно, что его поступление на Высшие государственные курсы искусствоведения при Российском институте истории искусств состоялось 10 сентября 1927 года[352].

Пунктуация при публикации приближена к современным правилам; стихотворение публикуется без разделения на строфы, как в подлиннике.

Письмо Бориса Корнилова к Татьяне Степениной

Татьянка, милая, — прости за молчанье. На письмо твое сердитое, полное всяких дурашливых предположений о том, что я

позабыл тебя, — я написал ответ, но мило сделал, что не послал, задержал. Мне не верилось, что ты просто так, с маху, огульно будешь бранить меня. И верно — я получил другое письмо, из которого увидал, что тебе скучно, моей милой, что у тебя неприятности с домом. И мне стало совестно, что я молчал.

А молчал я потому, что пришлось очень много заниматься и сдавать зачеты. Милая моя, — знаешь, — я все зачеты сдал и сейчас полноправный российский студент. Сегодня иду на лекции, 1-я психология, 2-я политэкономия. Завтра исторический материализм и еще что-то.

Татьянка — мне скучно очень… Несмотря на хорошие дела — скучно. Я не знаю почему. Я, наверное, сильно люблю тебя. Вчера выступал на вечере. Читали Жаров, Саянов. Луначарский делал доклад[353]. Ах, какой я злой был вчера. Если бы я был с тобой — ты рассердилась бы.

Ты знаешь, что я придумал? Я скоро, месяца через 1½ сдам несколько зачетов и приеду в Семенов. Напиши, к какому числу ты приедешь туда. Тебе хочется, чтобы я приехал? Напиши.

У меня сейчас все мысли вразброде. Одно только сознаю, что я очень, очень люблю тебя и променять на другую, может красивую, умную — все равно — не сумею… Любимая, фу-ты, ну-ты!!

А знаешь — мы с тобой еще ни разу не гуляли в коренную зиму, в декабре. Я мечтаю усиленно — в этом году гулять с тобой, кататься в санях. И я развеселюсь — ты будешь закалывать воротник моего пальто приколками.

Надо, чтобы было весело, моя милая. Скоро мы с тобой будем совсем вместе. Я думаю, хорошо будет.

Каждую неделю беру оттиск моей книги, выкидываю разные стихи, вставляю новые. Сегодня выкинул «Ольху»[354]. Завтра, наверно, «Лошадь»[355] выкину.

И писать ничего не могу. Так писать, запоем, без отдыха. Только недавно ночью мне приснились стихи. Ты знаешь — во сне можно писать стихи. Они получаются длинные и гладкие. Когда проснешься, все позабудешь — помнишь только отрывки. Я проснулся, стараясь припомнить. Получилось:

Хорошо с тобою — если
Над шальною головой
Только сосны, только песни,
Только вечер голубой…[356]

Потом мне приснилась ты. Я люблю тебя.

У меня нехорошие замашки. Мне нравится моя «знаменитость». Я часто бываю на вечерах и порой, почти всегда, нарываюсь на разговоры — «Сегодня Корнилов будет», — меня в лицо не знают, и я слушаю, как молва обо мне расползается жирным пятном. От одного к другому — как зараза.

Сейчас сижу без денег. Кажется, пятерка осталась. И не волнует. Хотя завтра пойду получу. А может, лень будет. Ты не знаешь, какой я ленивый бываю.

И пью много молока. Ребята хохочут и дарят мне свои размышления относительно молокососов. Следовательно, я узнаю о том, что я молокосос.

Теперь надо чаще писать друг другу. А то и у тебя порой лень бывает, Танюр. А помнишь уговор. Уговор дороже денег. На деньги можно сделать все. Сделать свою жизнь счастливой. На деньги. «Я не тоскую, нет, не плачу — он не вернется больше пусть, я понапрасну слез не трачу…» Это Мотька поет[357]. Мы с ним ходим к цыганам…

Не хорош, не пригож,
Разлюбила, ну так что ж…

Нет, ты любишь! Любишь. И я тебя люблю, милая, хорошая моя.

Хочешь стихотворение:

Моя девчонка верная,
Ты вновь невесела,
И вновь твоя губерния
В снега занесена, —
Опять заплакало в трубе
И стонет у окна, —
Метель, метель идет к тебе,
А ночь темным-темна.
В лесу часами этими
Неслышные шаги, —
С волчатами, с медведями
Играют лешаки,
Дерутся, бьют копытами,
Одежду положа,
И песнями забытыми

Всю волость полошат.
И ты заплачешь в три ручья,
Глаза свои слепя, —
Ведь ты совсем, совсем ничья,
И я забыл тебя.
Сижу на пятом этаже,
И все мое добро —
Табак, коробочки ТЭЖЭ
и мягкое перо.
Перо в кавказском серебре
И вечер за окном,
Кричит татарин на дворе:
«Шурум-бурум берем!»
Я не продам перо,
Но вот
Спасение мое —
Он эти строки заберет,
Как всякое старье.

Видишь, какие страшные стихи?

Затем, сколько стихов я тебе ни посылал, ты ни одного словечка о них. Милый критик, напиши что-нибудь. Помнишь, мы уговаривались с тобой?

Сейчас Володька звонил[358]. Хочет приехать. Привет от тебя передам. Хочешь? Ну, до скорого свиданья, моя милая!

Целую крепко, крепко… Твой Борис.

Письмо Бориса Корнилова к Ольге Берггольц

Семенов, 1933 год, лето

Ляля

Получили твое письмо, адресованное папе. Папа счел нужным (и надеемся, оказался правым) познакомить с его содержанием нас. Печальное письмо, Ляля. Жалко Майю[359]. И очень нехорошо ты написала, что, дескать, пускай Борис теперь не беспокоится, что его деньги пойдут на другого ребенка. Если тебе не стыдно за эту больше чем пощечину, то, как говорится, бог с тобой… Это на тебя похоже. Но об этом потом. Сейчас мы вместе с тобой… о Майке. Милая, хорошая была девочка.

Теперь о том, чем продиктовано все письмо к папе. Да, я знаю, что больше чем нехорошо относился… не к тебе, а к Иринке[360] (это самое страшное). Ляля — я уехал в полусознании (не потому, что я был пьян, — не ухмыляйся), а потому что я задохнулся от работы. Ты думаешь, те тыщи, о которых ты пишешь, мне даются за карие глаза? Ну ладно. Я старею, становлюсь немножечко умнее, но свою безалаберность все-таки никуда деть не могу. Поэтому, когда я тебе говорил о том, чтобы ты подала в суд, — я был прав. Потому что эта официальность привела к тому, что с меня по исполнительному листу *регулярно*[361] вычитали энную сумму, необходимую для лучшего жития Ирины. И мне бы было легче и лучше. Но опять-таки это все потом. Жалко, что мы с тобой *теперь* не можем договориться с глазу на глаз. А письмами меняемся редко. Но сейчас я тебя прошу, как и раньше, взять инициативу в свои ручки. Помнишь — ты *сама* развелась со мной. А ведь я до сих нор не удосужился исправить свой документ. Так до сих пор ты и числишься моей женой. Безалаберность, Ляля, — безалаберность.

Но заговаривать зубы я тебе не намерен. Практически — следующее. Я уехал сюда в надежде, что в Москве я получу деньги. Не получил. Приехал сюда — мрачный и безденежный. Поэтому прошу тебя по-товарищески — сходи к Еселеву[362] и от моего имени скажи ему, чтобы он перевел мне деньги телеграфом, он знает сколько, я ему писал. Сразу же я посылаю тебе любую половину. А по приезде моем в Ленинград я надеюсь, что мы поговорим и очень поговорим и договоримся. Пора уже, Ляля. Стареем.

У нас очень плохие с тобой отношения. Их надо переменить.

Ведь ты же партийка и понятия о семье у тебя самые умные. А ведь я, как ни верти, все же у тебя в семье (как и кавказский красавец твой, что проживает во Владикавказе[363]). Ну ладно…

В это письмо я вложу записку Еселеву. Надеюсь, что ты устроишь мне деньги. Ругайся и еще раз ругайся. Хотя, по-моему, и ругаться не придется.

В Семенове очень плохо. Пуд хлеба стоит 150 р. Пуд — это 40 фунтов — около 15 кило. Люся[364] подсказывает, что 16 кило.

Отец уехал в дом отдыха. У мамы гостят племянницы — Шуркина[365] дочка — изумительная девочка.

Ну пока. Я здесь буду до 8 июля — так что ты сразу же по получении сей эпистолии сходи в ГИХЛ[366]. И я клянусь, что, придя получить деньги на почту, отойду к другому окошечку для перевода тебе.

Привет Марье Тимофеевне[367]. Большой привет Коле[368]. Как он?

Не думай, что это письмо — так просто. Это честное письмо.

Я вообще письма редко пишу.

Борис Корнилов

P. S. Конечно, целуй Ирочку. Поправляется?

Стыдно мне, Ляля.

* * *

Подлинник хранится: РНБ, фонд 1397, Банк Н. Б., ед. хр. 23.

Написано на прозрачной (калька), линованной красными линейками бумаге, красными чернилами.

Публикация Наталии Соколовской

Часть третья. «Я — ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВАШЕГО РОДА…»

Материалы из личного архива Ирины Басовой

Ирина Басова. «Я — последний из вашего рода…»

[369]

К переписке Л. Г. Басовой с Т. М. Корниловой

В мае 2011 года работа над этой публикацией и над фильмом о Борисе Корнилове[370] привела меня в Ленинград, город, в котором я родилась. Я приехала свидетельствовать и не тешила себя надеждой, что смогу выйти за пределы того, что уже знаю о судьбе своих близких, да и о своей собственной. И однако этот приезд подарил мне не одну горькую встречу с новыми для меня реалиями прошлого.

Первая встреча произошла ранним майским утром на Левашовской пустоши[371]. Был ясный день, но от солнечного диска веяло холодом, как от поминального венка из жестяных цветов. Неожиданно пришли строчки из моего давнего стихотворения: «Там даже в ясный день / В безветрии гудит сосна / И бродит смерти тень. / Все время ловишь на себе / Неясный чей-то взгляд. / Кругом посмотришь — сосны, ель / Да пни во мху торчат…» И были слезы, выступившие на глазах.

Вторая встреча состоялась в квартире номер 123, в Писательском доме на канале Грибоедова, из которой в ночь на 20 марта 1937 года моего отца увели в Большой дом; и куда несколько месяцев спустя меня принесли из роддома. Здесь было уютней, чем на кладбище, здесь все-таки царил дух жилья, жизни, и изразцовая печь казалась теплой, и я все время дотрагивалась до нее ладонью, желая согреться. И хорошо, что квартира была пуста и полуразрушена, без следов чужого присутствия, без чужих кастрюль и занавесок. В ней царил дух мамы; и мне было легко представить себе ее, красивую и молодую, хлопочущую на кухне, и видеть из окна, как отец с папироской идет по улице Перовской и несет домой халву[372].

И наконец, уже перед самым отъездом, сидя в номере гостиницы, читала я безжалостные строки *Списка осужденных Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР по делам УНКВД ЛО* в феврале 1938 года (список датирован 25 марта 1938 года)[373], где нашла не только имя Корнилова Бориса Петровича, которого в марте 1938 года уже не было в живых, но и имя его жены, моей мамы — Борнштейн Ципы Григорьевны[374] (так в паспорте), чей «арест оформляется», и даже упоминание обо мне самой — «подписка о невыезде (грудн. реб.)[375]».

Зная по многочисленным свидетельствам, что ожидало семьи приговоренных, можно предполагать, какая нам была уготована

судьба. Но именно предполагать. Теперь же об этом я читала черным по белому; и могла только радоваться, что мама догадывалась, но не знала о том, что ожидает ее и ее новорожденную дочь.

И, однако, мы выжили. Я не знаю деталей нашего спасения — многие годы от меня, дочери врага народа, во имя моего же блага скрывали все, что только можно было скрыть.

Но вот отрывок из маминого письма к своей свекрови, Таисии Михайловне Корниловой[376]:

«Когда с Борей случилась беда, я была лишь на 3-м месяце <беременности>. Ну, пережили мы тогда все очень много. Я пережила еще и то, как вчерашние наши друзья боязливо оглядывались перед тем, как поздороваться со мной. Словом, было все ужасно. А когда кончилось следствие, то передо мной встала угроза с грудной девочкой ехать в ссылку. И некому было ни похлопотать за меня, ни вступиться. Т. ч. единственный благородный человек, который взялся за хлопоты сохранения жизни мне и ребенку, был мальчишка-студент, который впоследствии и стал моим мужем[377]. И Иринка, вместо сиротской доли, стала во всех отношениях счастливой девочкой, которую нежно любили. И вот эти их отношения я ни за что не захочу разрушить. Мне Ирушкино счастье слишком дорого, чтобы даже ради истины я смогла бы разрушить его, лишить ее второй раз отца».

Так у меня появился *второй отец*, который если и не дал мне жизнь, то определенно сохранил ее. И я была спасена не только физически: действительно, меня любили. И любовь эта была взаимной.

Когда я задаюсь вопросом, как «мальчишка-студент» в обстановке общего страха не раздумывая взял на себя ответственность за жизнь *Люси*, мне не надо далеко ходить за ответом: на протяжении всей жизни я была свидетелем его самоотверженной преданности маме. Отец обладал редким даром безраздельно отдавать себя другому, оставаясь при этом самим собой в главной своей сути. Благородство было не частью его характера, но было его характером, и проявлялось во всем.

* * *

Во французском языке есть емкое слово *miracule* — чудом спасшийся. Об этом чуде избежавший гибели свидетельствует простым фактом своего существования. С некоторых пор, как к чуду, отношусь я и к собственной жизни. Я пишу «с некоторых

пор», потому что ни детство, ни юность не располагают к такого рода размышлениям. «Юность ни во что не вдумывается», — могу я лишь повторить вслед за Н. Я. Мандельштам. Одно могу добавить: не вдумывается, но все видит, все слышит, все запоминает. И в какой-то момент человек начинает осмысливать — или переосмысливать — свою жизнь.

Для меня таким моментом ревизии послужило событие, положенное в основу этой публикации.

Вскоре после маминой смерти я получила по почте увесистый пакет с листиками, исписанными родным почерком, все с одним и тем же обращением — «Дорогая Таисия Михайловна».

А сверху лежало письмо Таисии Михайловны ко мне:

Семенов, 1960

Дорогая Ирочка, решилась, пока я жива, переслать тебе письма мамы, адресованные мне за время ее жизни. Посылаю и твое фото с тем, чтобы перефотографировала и мне прислала. Это тоже для тебя интересно. <…> Пиши, как прошла зачетная сессия. Желаю успеха и в дальнейшей учебе, как тебе, так и супругу [378] *. Если можно, то хотелось бы ваше семейное фото. Как Мариночка* [379] *, наверное, уже очень интересная девочка. Этот возраст очень интересен, дети все быстро перенимают и лепечут по-своему. Надеюсь, что летом навестите нас в Семенове. У нас тихий город с лесами севера, хвоя и береза, осина, встречаются липа, клен, дуб. Город благоустраивается, уже теперь есть автобусы, так что передвижение улучшилось. По железной дороге вполне удобно из Москвы прямым сообщением до станции Семенов, после Горького несколько небольших станций для пригородных поездов. Поезда дальнего следования на полустанках не останавливаются, но в Семенове останавливаются.*

Крепко целую. Твоя Т. Корнилова

Дорогая Ира! Из всего посланного тебе, я думаю, ты узнаешь о многом. Посылаю тебе первые <письма>, посланные из эвакуации, и фото. Что пережито мною и моими детьми, написал горьковский писатель Безруков, книга его выйдет в 1-м квартале 61 года. Попрошу его выслать и для тебя. Сказка о медведе тоже запланирована Горьковским издательством <на> 61 год. Будет прислана для Мариночки.

Вернулся ли Яков Александрович из поездки в Ленинград? Шлю ему горячий привет.

Крепко целую, Корнилова

Надо сказать, что я с детства знала, кто такая Таисия

Михайловна Корнилова. Это — мама первого маминого мужа. Я знала, что мама пишет ей письма: иногда мама просила и меня приписать несколько строчек. Я знала также, что Таисия Михайловна живет в городе Семенове, под Горьким. Вообще-то, я могла бы догадаться и о большем, если бы не это детское отсутствие любопытства к жизни взрослых. Но было и иное: я росла в дружной семье, у меня были любящие родители, и мне в голову не приходило *искать* другого отца.

Письма, пересланные мне, были написаны в период с 1941 по 1959 год и были аккуратно сложены в хронологическом порядке.

Получив их, я полетела знакомиться с бабушкой Таей.

Давно, по свежим следам, я так описала эту поездку:

«В медленном поезде, который вез меня в Семенов, почти не было людей, и это усилило ощущение, которое возникло в аэропорту перед посадкой в самолет: я отправлялась в путешествие, которое не имело четких очертаний. У меня был конкретный адрес, но не он был конечным пунктом назначения. У меня была дата приезда, но от нее надо было отнять по меньшей мере тридцать лет, с тем чтобы вернуться в Ленинград — в тот момент, когда юная Люся встретилась с молодым поэтом, родом из мест по которым катил поезд.

Ирреальность происходящего освобождала меня от всякого рода волнений. Городок спал, привокзальная площадь была освещена одной тусклой лампочкой, спросить, в какую сторону идти, было не у кого. Поэтому я двинулась в том единственном направлении, которое выбирала всегда, когда не знала дороги, — в направлении света.

Очень скоро я набрела на двух влюбленных, которым было все равно где бродить. Они-то и привели меня к большой пятистенной избе.

Я долго стучала кулачками в крепкие тесовые ворота — до окон я не доставала. Наконец в доме послышалось какое-то движение, замерцал свет, ворота заскрипели…

И вот уже невысокая плотная женщина в длинной холщевой рубахе прижимает меня к своему сердцу…»

С этого момента началась для меня жизнь, обогащенная новым знанием о моих родителях и обо мне самой. Стала ли я хуже относиться к своему второму отцу? Напротив, детская любовь к нему окрасилась чувством взрослой благодарности. Но должно было пройти немало лет, пока присутствие в ней двух отцов сделалось моей реальностью.

С этим я и возвращаюсь назад, к началу собственной жизни.

* * *

Думаю, что тот момент, когда пришли за Борисом Корниловым, мне запомнился через бешеные удары маминого сердца. И не с той ли ночи живет во мне этот страх, который философы называют экзистенциальным.

Но и самого обычного, «бытового» страха в нашей жизни было достаточно. Мои первые детские воспоминания относятся к Ленинграду, к началу войны. Я помню вой сирен, оповещающих о воздушной тревоге, крутые ступени, ведущие в бомбоубежище, — мама держит меня за руку. Но помню и мой личный страх — потерять в толпе своего целлулоидного пупса Ваню.

Вторая четкая картина: летний день, мама с Саней[380] на руках в толпе детей, таких же маленьких, как и я. Все плачут и кричат «мама-мама» и, отталкивая друг друга, пытаются уцепиться за юбку «нашей» мамы. (Узнаю спустя много лет: в самом начале осады города было принято решение об эвакуации детей из Ленинграда. Мама устроилась нянечкой в один из таких составов. За городом началась бомбежка, путь был отрезан, все возвращались в город пешком.)

В первые дни войны Яков Басов ушел на фронт, мы же с мамой были эвакуированы в Новосибирск, где к тому времени уже находились ее родители и сестры[381]. В Новосибирске родился и полуторагодовалым умер от туберкулезного менингита мой маленький брат, Давид Басов. Таким страшным образом мама узнала, что больна туберкулезом. Я помню его сидящим в подушках, я делаю ему «козу», и он хохочет. И вдруг он исчез.

Следующая сцена: Саня и я прыгаем с крыши сарая в снежные сугробы. Видимо, сарай очень низкий — или сугробы очень высокие? Сане — 3 года, мне — 5 лет. Это отсюда, из Новосибирска, идут письма, которыми открывается настоящая публикация.

Мамины письма подтверждают и мою собственную память. В 1943 году, после контузии на фронте, Якова Басова перевели на службу в Кострому, в эвакуированное туда Ленинградское военно-инженерное училище, и куда он вызвал нас, свою семью. С этого времени я помню уже не отдельные моменты, а то, что можно назвать течением жизни. В Костроме я пошла в первый класс (на уроках я засыпала; учительница, окая и акая, жаловалась маме: м***а*****л*****а***, уж б***о***льн***о*** м***а*****л*****а***). И действительно, Кострома осталась в моей памяти не школой, а теплым домом, печкой с открытой дверцей (и песней «Вьется в тесной печурке огонь»), елкой с позолоченными орехами и балеринками в пачках, которые искусно мастерила мама. А также пожарами (город был в основном деревянный, в его центре возвышалась пожарная каланча). Часть службы отца проходила в летних и зимних

военных лагерях. На это время и мы переезжали в деревню, поближе к нему. Летом, замирая от страха от одного вида быка, вместе с деревенскими ребятами мы бегали встречать стадо. Вместе с ними ели из общей миски (и получали ложкой по лбу от деда — хозяина избы, если шумно вели себя за столом. Надо сказать, что наказание было чисто символическим). В те редкие дни, когда отец бывал свободен, — походы в лес и на рыбалку, а зимой — катание с гор на огромных настоящих санях, в которые набивалась вся деревенская детвора. Отец был душой нашего детского сообщества. Мы гордились им: красивый, стройный в своей офицерской форме, а по природе — веселый, светлый человек. Со стариком отец дружил, беседовал с ним на завалинке о чем-то взрослом, помогал по хозяйству — подправить изгородь, подшить валенки. Сын столяра, он был мастером на все руки. И нас привлекал к работе, хотя какой от нас был толк, только путались под ногами.

Это там родилась моя любовь к среднерусской природе — к ее прозрачным лесам, к ручейкам с песчаным светлым дном; но и детский страх перед ее темными реками, перед страшным словом «омут».

И та же детская память хранит слова «пневмоторакс», «поддувание», на которое мама отлучалась из деревни в город, зимой становясь на лыжи (когда ее лечащий врач профессор Богуш узнал об этом виде «транспорта», то ужаснулся и запретил…).

В Костроме мы встретили долгожданный День Победы; только я никак не могла понять — и все приставала к маме — почему же так горько плачет наша соседка?

В Ленинград мы возвращались вместе с Инженерным училищем, поездом, в теплушках, в «телячьих вагонах». Путь был долгий; и прямо с вокзала мама повела нас в парикмахерскую, из которой мы вышли обритыми наголо.

В Ленинграде я пошла во второй класс.

А летом 1946 года, после демобилизации отца, наша семья переехала жить в Крым. С этого времени Крым стал для меня домом, самым дорогим местом на земле.

* * *

Для нас, детей, ничего не могло быть прекрасней нашего первого симферопольского жилища — а попросту брезентового навеса, сооруженного отцом в заброшенном саду. В саду уже поспевали абрикосы.

Но под навесом с семьей долго не проживешь. И родители начали предпринимать вылазки в поисках постоянного жилья. Одна из первых поездок — в Севастополь, на поезде, сквозь поле цветущих маков. В Севастополе я впервые увидела Черное море.

Тогда я еще не знала, что в одну ночь 1944 года по указу Сталина из Крыма был выселен целый народ[382]. Свободное пространство заполняли переселенцы. Но мы все-таки не были переселенцами: отец родился и вырос в Симферополе. Там в 1922 году восьмилетним мальчиком он пришел со своими рисунками в студию академика Самокиша и оттуда спустя 10 лет по рекомендации своего учителя отправился в Ленинград поступать в Академию художеств.

Отец знал и любил Крым своего детства, своей юности — каким он был до войны, до выселения крымских татар. Ему нравилась спокойная красота этого народа и восточный колорит их поселков; их названия остались для него навсегда звучащими по-татарски.

В конце концов наша семья поселилась в Алупке. Дом наш находился метрах в пятидесяти от моря. Это соседство, несомненно, сыграло важную роль в моем восприятии жизни.

Мы приехали в послевоенный Крым, разоренный, прекрасный и нищий, и мои родители делились последним куском хлеба с нашими соседями, такими же голодными, как и мы. С тех пор я всегда хочу накормить всякого, кто переступил порог моего дома.

Из самых острых юношеских впечатлений — «дело врачей», 1953 год. Это было сильное личное переживание: в свои неполные 15 лет я отчетливо понимала всю фальшь, всю сфабрикованность этого дела, и даже могла бы назвать имя автора этого сценария. Понимая, однако, что этого делать нельзя. Родители никогда не говорили с нами на «политические темы», но их отношение к жизни и к миру наполняло воздух, которым мы, дети, дышали. Видимо, не только слова, но и жесты, выражение глаз, лица имеют свое воспитательное значение.

И еще одно важное обстоятельство формировало и воспитывало нас: сколько я себя помню, наша мама была больна. Надо ли говорить, что вся тяжесть ежедневных забот лежала на плечах отца. Однако и мы не были сторонними наблюдателями, но бойцами одной армии против общего врага. И это тоже солидаризировало наше маленькое сообщество.

Туберкулез — болезнь коварная, которая то прячется, то делает вид, что вовсе ушла. И от того, как она проявлялась, зависела каждодневная жизнь нашего дома. Мама всеми силами старалась оберегать нас от своей болезни, от ее угнетающего присутствия. И когда ей становилось лучше, наш дом наполнялся

светлой радостью… А также становился этаким социальным и культурным центром, к которому тянулись за помощью, за поддержкой, за советом. Я помню маму, которая о ком-то хлопотала, кому-то помогала писать письма и заявления — вокруг нас было много горя. Многие годы мама была председателем родительского комитета нашей школы. Это ей пришла в голову идея организации платных концертов, благо по соседству находился Дом отдыха ВТО — Всероссийского театрального общества. С некоторыми из отдыхающих там актеров мама была знакома по «прошлой жизни»[383]. Зрителями были местные жители и отдыхающие близлежащих санаториев. Сбор был, вероятно, не таким уж большим, но помню, что на вырученные деньги покупалась одежда для детей, чьи отцы погибли на войне.

Среди нового крымского населения, и среди моих учителей, вспоминаю людей талантливых и интересных. Думаю, что на этой ничейной земле многие находили убежище и от всевидящего ока КГБ. Во всяком случае, наша школа была совсем не провинциальной, и ее атмосфера не входила в сильное противоречие с той, в которой мы жили в семье.

Дома нас окружали книги (первая «мебель» — это книжные полки, сколоченные отцом), альбомы с репродукциями картин из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, холсты отца (и запах краски из его мастерской).

И всегда и по всякому поводу — иногда шуточному, чаще всего — серьезному, в нашем доме звучали стихи.

Мама не рассказывала нам сказок и не пела песен — она читала стихи. Читала стихи, из-за осторожности не называя запрещенные имена. «…Ты позабыт в своей беде, / Одни товарищи в могиле, / Другие — неизвестно где»[384]. Цвела земля. Крым был неправдоподобно красив. Но мамин голос творил иную реальность. И, особенно, этот переход на другой регистр: сначала наверх, наверх — «Петербург! У меня еще есть адреса, / По которым найду мертвецов голоса» — и тут же вниз, на басы: «Я на лестнице черной живу, и в висок / Ударяет мне вырванный с кровью звонок…»[385]

Так с ранней юности, с маминого голоса, запомнила я на всю жизнь многие стихи Бориса Корнилова и любимых им и мамой поэтов: Мандельштама, Пастернака («Желоба коридоров иссякли. / Гул отхлынул, и сплыл, и заглох…»), Багрицкого («По рыбам, по звездам / Проносит шаланду: / Два грека в Одессу / Везут контрабанду…»), Гумилева («Пуля, им отлитая, просвищет / Над седою, вспененной Двиной, / Пуля, им отлитая, отыщет / Грудь мою, она пришла за мной…»), Тихонова («Мне якут за охотничий

нож / Рассказал, как ты пьешь с медногубым и какие подарки берешь…»), а также Киплинга («У острова Патерностер спит она в синей воде / На глубине сто футов — я отметил на карте где…») и многих, многих других…

Сегодня, когда я пишу «любимых им и мамой поэтов», я беру на себя смелость и ответственность говорить от их имени. Когда они встретились, она была совсем юной, а отец достаточно зрелым и зорким человеком. И безусловно, в большой степени его литературные предпочтения формировали и ее вкус[386]. Но она обладала и собственным талантом слушать, слышать и воспринимать стихи.

Читала мама стихи бесподобно, безо всяких театральных эффектов, а только следуя за интонацией, заявленной самим поэтом (надо отдать должное: многие стихи она слышала в «авторском исполнении»). И по сей день, открывая тот или иной сборник, я часто слышу ее голос. И меня мама «подталкивала» к писанию стихов. Вероятно, она полагала, что дар к слову передается по наследству. Может быть, она была и права, но это с ее голоса я училась гармонии русской речи.

* * *

Покидая в 1980 году Советский Союз, я не имела права взять с собой какие-либо письма. Позже стараниями близких друзей мамины письма мне были пересланы во Францию[387]. И листики, исписанные знакомым почерком, аккуратно уложенные в папку, нашли свое место среди моих бумаг. Они стали для меня реликвией, живым свидетельством маминой любви к нам, к нашей семье. А также свидетельством ее любви к Боре и ко всему, что было связано для нее с его именем.

По многочисленным свидетельствам в годы своего первого замужества часто письма в Семенов «от себя и от Бори» писала мама (одно из таких писем хранится в Семеновском краеведческом музее). И продолжала писать Таисии Михайловне до самых последних своих дней.

Мамины письма уже готовились мною к публикации, когда летом 2010 года в Ялте среди семейных бумаг мой брат обнаружил письма Таисии Михайловны к маме (11 писем), которые я считала утерянными навсегда. Помимо естественной радости для меня, публикатора, это была необычайная удача: в переписке двух женщин зазвучал на редкость гармоничный дуэт.

Из переписки явствует, что связь мамы и бабушки не прерывалась ни после ареста отца, ни во время войны, ни в

послевоенное время. В этом я вижу свидетельство не только искренней взаимной привязанности, но и акт гражданской солидарности. В 1938 году, почти вслед за сыном, был арестован и мой дед, Корнилов Петр Тарасович[388]. Бабушка на долгие годы была заклеймена как *жена и мать врагов народа*, от контактов с которой отказались многие близкие люди. Мамины письма к ней и ее письма к маме были той цепочкой, которая не только связывала двух женщин, но и служила моральной преградой темным силам, не давая им торжествовать свою полную победу.

Их письма говорят сами за себя. Если они местами и нуждаются в фактологических комментариях, то никаких дополнительных пояснений не требуют: оба адресата прекрасно владеют языком, одинаково оценивают ситуацию, обе уверены в невиновности своих близких. И обе по мере своих сил включаются в борьбу за восстановление их добрых имен. И, слава Богу, доживают до этих дней.

Для публикации я отобрала в основном те письма (мамины письма привожу в сокращении), которые связаны с биографией и с творчеством Бориса Корнилова, с периодом его посмертной реабилитации и последовавших за ней изданий. Некоторые письма я сопровождаю моими комментариями, которые, надеюсь, отвечают на часть возможных вопросов. (Многие письма не датированы, даты в угловых скобках я указываю по контексту, нумерация писем — условная.)

Но не менее важной темой и не менее важным персонажем в этой переписке оставалась я, девочка, соединившая кровно маму и бабушку. Маминым письмам можно доверять во всем, кроме одного: несмотря на настойчивые просьбы бабушки, несмотря на данные ей обещания, мама так и не открыла мне тайну моего появления на свет. Зная, что смертельно больна, она не хотела лишать меня — еще раз отцовской защиты, оставлять круглой сиротой. Теперь-то я знаю, что правда не послужила бы мне во вред. Но мама этого не знала.

Моя печаль еще и о том, что трудно было маме нести груз этой тайны. Ей необходимо было делиться со мной теми бесценными свидетельствами о времени, в котором прошла ее молодость, о тех ярких людях, с которыми свела ее судьба. А их было немало: Мейерхольд и Зинаида Райх, Шостакович, Балтрушайтис, Люба и Валя Стеничи, Зощенко, Ольга Форш, Багрицкий — да всех и не перечислишь. Я уже не говорю о друзьях-товарищах отца: Павел Васильев («самый ни на есть раскучерявый»), Ярослав Смеляков, Николай Заболоцкий, Николай Тихонов. Список этот можно длить и длить. Мама

поставила перед собой трудную задачу: она хотела, чтобы я знала *контекст*, в котором она жила, чтобы я знала и о своем отце — не зная только, что он мой отец. И заговор молчания вокруг моей истории в конце концов обернулся и заговором молчания о семи годах жизни Бориса Корнилова с Люсей. Это невосполнимая потеря: время ушло, умерли его свидетели, спросить о том, как это было, не у кого. И в этом тоже преступление власти: разорвать связи, убить память, исказить не только историю, но и саму суть жизни, суть каждого человека и суть самого понятия *человечность*. Будем же себя успокаивать тем, что имя Бориса Корнилова не кануло в небытие.

Однако в те годы, когда семья и близкие люди хранили память о нем, страна создавала о поэте свои собственные легенды. Увы, мифы легко поддаются мимикрии. Обилие вольных допущений, ошибок, а то и просто спекуляций исказили и образ Бориса Корнилова, и его биографию. Сегодня эти искажения щедро растиражированы Интернетом. На эту публикацию меня подвигло желание поделиться той долей правды, которая мне доступна. И понимание, что, кроме меня, никто этого сделать не сможет: *«я — последний из вашего рода…»*[389].

* * *

К бабушке в Семенов я приезжала многократно, один раз — с маленькой Маринкой; познакомиться с Таисией Михайловной приезжал и Борис, мой муж. Встречи с бабушкой, ее рассказы, ее замечательная образная речь в какой-то мере восполняли то, что было отнято у меня: живой образ отца, образ юной мамы.

В бабушкином доме я познакомилась с Ольгой Федоровной Берггольц[390].

С середины 70-х годов бабушка жила в деревне Беласовка, что под Семеновом, у своей дочери, у тети Шуры[391]. В один из моих последних приездов, уже в Беласовку, бабушка отдала мне часть своего «архива» — кое-какие фотографии, письма. На оборотной стороне чьего-то письма бабушкиной дрожащей рукой написан вот этот плач: «29 июля <день рождения сына. — И. Б.> вот теперь пройдут день за днем и до меня придет этот момент в жизни и меня отправят под бочок к дорогому Боре <…> ах какая тоска не знаю куда деться».

Последний раз к бабушке я приезжала в 1978 году, за год до ее смерти. В углу горницы, отгороженном занавеской, лежала бабушка, похудевшая до неузнаваемости. В полумраке обратила она ко мне свое лицо: «Люся?»

Люся… Вот ведь пронесла бабушка мамино имя через всю свою долгую и трудную жизнь. Я благодарна ей за эту память, за щедрость ее души, горда причастностью к ее роду.

И еще: этот ее тихий возглас — Люся! — навсегда соединил в моей душе два любимых образа.

Мама и бабушка. Эта публикация посвящается их светлой памяти.

Послесловие

Людмила Григорьевна Басова, урожденная Борнштейн. Родилась 30 апреля 1913 года в Санкт-Петербурге. Скончалась 7 января 1960 года в городе Алупка Крымской области.

Люся не успела состариться. И моя память хранит ее тонкое лицо, прекрасные глаза, мягкие каштановые волосы, в которых не было ни одной седой пряди. Но эта же память хранит образ мамы, измученной болезнью.

Ее светлая аура живет в нашей семье.

Мама познакомилась только со своей первой внучкой, с Маринкой. И никогда не узнала о том, что в память о ней Саня назвал Люсей свою дочь. И что своей первой дочке ее имя дала и Марина.

Сегодня у мамы восемь внуков и правнуков — ее продолжение жизни.

Таисия Михайловна Корнилова (6 июня 1884 — 11 сентября 1979), дочь семеновского купца Остроумова (что в советское время по понятным причинам утаивалось). Она и ее муж, мой дед, ***Корнилов Петр Тарасович***, были сельскими учителями; в 30-е годы Петр Тарасович был приглашен на работу в Семеновское РОНО. Петр Тарасович был арестован в Горьком во время очередной командировки, почти вслед за сыном. Умер в горьковской тюрьме в 1939 году.

Бабушка похоронена на деревенском кладбище близ Беласовки.

В Семенове живут бабушкины внучки Фаина и Галя — дочери тети Шуры, их дети и внуки. Этот старинный русский город живет благодарной памятью о моем отце. Приезжая в Семенов, я приезжаю к себе *домой*.

Корнилов Борис Петрович родился 29 (16) июля 1907 года в городе Семенове Семеновского уезда Нижегородской губернии. Эта дата подтверждена свидетельством о рождении и не вызывает

никаких сомнений. Дата смерти на протяжении многих лет или варьировалась, или умалчивалась.

Летом 2007 года после долгого перерыва я приехала в Семенов на празднование 100-летия со дня рождения отца. И в этот свой приезд я познакомилась с Карпом Васильевичем Ефимовым[392], с которым многие годы находилась в переписке. Педагог, краевед, он посвятил свою жизнь изучению истории родного края.

Но жизнь Бориса Корнилова стала не только предметом его исследования, но и его личной заботой. Он по крупицам собирал свидетельства, касающиеся его жизни; в своих поисках ему удалось дойти до архивов Большого дома. Частью документов он поделился со мной, среди них — протоколы допросов и свидетельство о смерти. Из них следует:

Корнилов Борис Петрович был арестован в ночь с 19 на 20 марта 1937 года. Умер 20 февраля 1938 года. «Причина смерти — расстрел».

Однажды отец приснился мне — немолодой уже человек, в осеннем пальто с поднятым воротником. И я тянулась к нему всей силой дочерней любви.

Басов Яков Александрович. Родился в Симферополе 2 февраля 1914 года, скончался в Ялте 16 марта 2004 года. Народный художник Украины. Его работы можно увидеть во многих музеях Украины, во всех музеях Крыма. В Алупкинском музее (Воронцовский дворец), в Ливадийском дворце, в Бахчисарайском музее (Бахчисарайский дворец) находятся залы с его постоянной экспозицией.

Яков Басов был художником таланта яркого, светлого, солнечного. И его мировосприятие давало семье тот тонус, который помогал маме справляться с болезнью. Папа, сколько я себя помню, был рядом с мамой — до самой последней минуты ее жизни.

Художник, несущий в мир красоту и гармонию, он и сам принадлежал к лучшей части этого мира.

Александр Яковлевич Басов. Родился 5 ноября 1938 года. После окончания службы в армии в 1968 году закончил Ленинградский институт водного транспорта, инженер-кораблестроитель. После института с 1968 по 1994 год работал конструктором и начальником конструкторского бюро Ленского пароходства (Якутск). С 1994 года живет в Ялте.

Я часто пишу мы. Разница в возрасте у нас невелика, и я не помню себя без Сани. В раннем детстве я вообще полагала, что

Ира-Саня — это одно имя. А потом я поняла, что Саня — мой младший брат.

Я рано вышла замуж, у меня рано появилась своя семья. Наша эмиграция на долгие годы, вплоть до перестройки, разлучила меня и с братом, и с отцом. В годы развала империи, которые в Крыму переживались особенно тяжело, вся забота о стареющем отце легла на Санины плечи. И мой младший брат нес этот груз самоотверженно и с любовью.

И сегодня стараниями Сани проходят выставки художника Басова, издаются его книги и книги о нем.

Париж. 2008–2011

Переписка Людмилы Григорьевны Басовой с Таисией Михайловной Корниловой. 1941—1959

1. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Новосибирск, осень 1941]

Дорогая Таисия Михайловна!

Пишу Вам из г. Новосибирска! Вот куда забралась я со своими крошками. Очень хотелось поехать к Вам, но у нас не было эвакуации в Вашу область. И вот я теперь так далеко от всех, но зато ближе к Боре.

Дорогая Таисия Михайловна, нет ли от него писем?

Если что-нибудь есть, обязательно напишите мне. Вообще, я надеюсь, что Вы напишете мне о себе, о Ваших всех. Пришлите мне адрес Кали[393], она так близко от меня. Может быть, сумею увидеть ее.

Как Лиза[394] и Шура[395]? Их мужья — где? Как детки? Целуйте их за меня.

Да, Таисия Михайловна, если можете достать валенки на Ирушку и на меня (для меня не обязательно, конечно), то я бы Вам выслала для этого денег. А то мы к зиме в Сибири не очень подготовлены, а здесь нет валенок или есть недоступно дорогие, 200–300 рублей пара.

[…]

Ирушке во время пути (21 августа) исполнилось 4 года. Чудная дочка, «помощница» моя, все понимает. Так бы хотелось, чтобы Вы увидели ее. Ну, думаю, что увидимся скоро!

[…] Итак, жду от Вас писем, пишите, как Вы, как у Вас там?

Целую Вас. Ваша Люся

Да, где Анна Михайловна[396]? Приехали ли к вам?

Привет от моих родных, которые частично со мной.

2. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Новосибирск, весна — лето 1942]

Дорогая Таисия Михайловна!

Что-то Вы, дорогая, такие мрачные письма пишете?

У Вас есть дети, есть внуки, которые любят Вас, которым Вы нужны.

Не стоит, родная, впадать в меланхолию.

И Борю увидите, наверное, скоро, я верю и очень жду.

Как Вы сейчас, одни или с ребятами, как Шурины дети? Как она сама и что слышно ли о Васе?

Лизутке я месяц как послала письмо, ответа нет от нее, как она? Есть ли что новое о Кале?

Как Ваш огород? Будете ли обеспечены на зиму? У меня с огородом не очень клеится, картошку посадили очень далеко от дома — где дали землю. Вот и полоть надо на поезде ездить, так что часто и не придется. Ну, во всяком случае месяца на два может и хватит. И то хорошо будет. Вот, ребята мои растут — Ирушке 21 августа — 5 лет исполнится, буду зимой учить читать. Она очень просит… […] Как Вам ее показать хочется! Ну, надеюсь, что встретимся же мы еще в этой жизни[397]. […]

Целую. Ваша Люся

З. Л. Г. Басова — Т. М. Корнилловой

Новосибирск, 21/8/42 (по почтовому штемпелю)

Дорогая Таисия Михайловна!

С большой радостью прочла Ваше письмо и немедленно сажусь за ответ.

Я очень рада, что мои письма хоть сколько-нибудь радуют Вас, рада и тому, что Вы пишете, что начинаете оживать, что поспевают Ваши овощи.

Все мы, наверное, проголодали прошлую зиму. Только старались детей поддержать, чего бы это ни стоило.

Мы тоже посадили, как я Вам, наверное, писала уже, картошку. Снять, наверное, придется мешков 6–8, т. к. мы огородники никудышные, новые…

[…]

О Боре думаю много, Ирушка так на него похожа, что ни на минуту не дает забыть о нем. И не только внешне, характер тоже его. Умная, способная девулька растет. Любят ее все наши, да и нельзя не любить ее. Жаль, что нельзя снять, здесь нет фотобумаги. Вот думаю, что скоро Боря будет с Вами. Очень многие возвращаются. Так что накапливайте силы еще на пару десятков лет хорошей и более радостной жизни. Я все хозяйничаю в домашнем масштабе. Очень хотелось бы Вас повидать. Клавдии писала, но ответа еще нет.

Целую Вас, очень Ваша Люся.

4. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Кострома, весна — лето 1943]

Дорогая Таисия Михайловна. Получила Ваше письмецо, за которое Вам очень благодарна. Жизнь у нас тоже стала легче, т. к. появилось больше овощей и рынок делается более доступным, и мясной, и молочный. Ребятки ходят в детсад, я понемногу работаю по своей старой специальности — рисую, но дома.

Очень тепло и хорошо вспоминаю Вас и Ваш дом и всю Вашу семью, с которой я неразрывно связана. Но все же я думаю, что наша встреча еще состоится, правда трудно предугадать когда и как. […] Но будет время полегче и посвободнее, и привезу, или Вы приедете взглянуть на ребят. Большой привет Вам от моего мужа. У него мать осталась у немцев в Крыму, и он сейчас с нетерпением ждет его освобождения[398].

[…]

Целую Вас, привет дочерям и внучатам.

Ваша Люся

5. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, лето 1956]

Дорогая Таисия Михайловна!

Пишет Вам Люся.

Я сейчас начинаю хлопотать о том, чтобы официально реабилитировать Бориса и издать двухтомник его стихов и поэм. Хоть бы это удалось сделать для его памяти!

Поэтому если у Вас сохранились его книги, то пришлите мне заказной бандеролью, все.

Дорогая Таисия Михайловна, Вам, наверное, будет небезинтересно узнать о Иринке.

Она в 1954 г. с медалью окончила школу и сейчас перешла на III курс института ихтиологии, будет гидробиологом. Учится она в Москве, где живет у моей сестры, ну а сейчас, разумеется, с нами. Девочка она очень хорошая. […]

Я все еще больна, и шансов на выздоровление мало.

Но держусь.

Желаю Вам всего наилучшего.

Искренне Ваша Люся

Мой адрес:

Крым, Алупка,

Приморская ул., 12

Басовой Людмиле Григорьевне.

[Семенов, 1956]

Дорогая Люся!

Несказанно рада, что получила Ваше письмо, которое я ждала все время от Костромы и Новосибирска, и вот мое желание наконец исполнилось. С Крестьянской улицы мне передали на Учительскую, где мы и живем в своем углу, О Боре я получила сообщение из Союза советских писателей из Ленинграда о том, что дело рассмотрено органами юстиции и Боря реабилитирован. Есть слухи достоверные, что выпускается книга его произведений. У меня его книги не сохранились, кроме одной «Как от меда у медведя зубы начали болеть». Потом мы нашли его произведения в журнале «Новый мир» за 35–36 год, это стихотворения, «Новый мир» книга 8 — август, «Начало жизни», «Самсон», «Краснополянское шоссе». 35 года поэмы, но о Боре ничего не слышно, жив ли он. Много раз я наводила справки и не могла добиться ответа, жив ли он?

Конечно, очень рада о том, что Ирочка так хорошо учится и живет в Москве, так мне хотелось узнать о вас и я все думала навести справки. Из Ленинграда мне писали, что вы выехали в Крым. Постараемся повидаться и наладить родственную связь. Хорошо бы узнать адрес Ирочки по квартире, а где у вас сын — Саша? Лиза живет в Горьком на той же квартире, две дочери уже замужем, она работает. Шура все там же, на Керженце, у ней одна дочь в Бурят-Монголии учительница, а две кончают техникум, все взрослые. Что с тобой, Люся, чем ты больна, и даже безнадежно. Каля живет со мной. Где у вас ваш муж и его мама. Жду более подробного письма. Крепко целую вас всех.

Дорогая Люся! Издательство соберет все произведения Бори, и отпечатают его книги. Постараемся приобрести их, а также и мы их получим. Хорошо бы, конечно, если он был жив, но никак не верится, ведь уже прошло столько времени, 18 лет, и не хочется верить, что он бы ничего не сообщил о себе.

Крепко, крепко целую и жду письма.

Бабушка Т.

Люся, сообщаю вам копию письма из Союза советских писателей СССР

Ленинградское отделение. 4 июля 1956 г.

Уваж. Т. М.! В связи с вашим письмом, сообщаем, что Ленинградск. отделением Союза писателей возбуждено ходатайство о пересмотре дела и реабилитации Бориса Петровича Корнилова.

Ленинградскими органами юстиции дело пересмотрено, и решение о реабилитации находится сейчас на рассмотрении в Москве.

По получении окончательного решения немедленно сообщим вам

Секретарь Правления Ленинг. Отделения Союза писателей Чивилихин [399]

О дальнейшем сообщу вам.

7. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1956]

Дорогая Таисия Михайловна!

Очень обрадовало Ваше письмо, т. к. когда писала Вам, то больше думала, что Вы уехали из Семенова к дочерям. Очень рада, что жива Каля, я ее очень люблю, и ей, так же как Вам, несправедливо выпало на долю много страданий. Но хорошо хоть, что Вы вместе.

Таисия Михайловна, я много писала насчет Бори и его бывшим друзьям, и официальным лицам. Ничего утешительного, т. е. того, из чего можно было бы заключить, что он жив, — они не сказали. Да, на это, к сожалению, надежд нет.

Ну а пока в Литературной газете, в хронике, не появится сообщение о том, что создана комиссия по литературному наследию Бориса Корнилова, до этого и издания не может быть. Поэтому после официальной реабилитации в Лит. газете появится такое сообщение, и тогда будем ждать книг.

Тут недавно у меня был один писатель, помнящий Бориса, и обещал поторопить.

Теперь, Таисия Михайловна, я хочу Вам откровенно сказать о своих мыслях.

Когда с Борей случилась беда, я была лишь на 3-м месяце [беременности]. Ну, пережили мы тогда все очень много. Я пережила еще и то, как вчерашние наши друзья боязливо оглядывались перед тем, как поздороваться со мной. Словом, было все ужасно. А когда кончилось следствие, то передо мной встала угроза с грудной девочкой ехать в ссылку. И некому было ни похлопотать за меня, ни вступиться. Т. ч. единственный благородный человек, который взялся за хлопоты сохранения жизни мне и ребенку, был мальчишка-студент, который впоследствии и стал моим мужем. И Иринка, вместо сиротской доли, стала во всех отношениях счастливой девочкой, которую

нежно любили. И вот эти их отношения я ни за что не захочу разрушить. Мне Ирушкино счастье слишком дорого, чтобы даже ради истины я смогла бы разрушить его, лишить ее второй раз отца. Понимаете ли Вы меня? Словом, я рассчитываю на Ваше отношение к ней. […] Мне очень бы хотелось, чтобы Вы приехали к нам погостить, тем более что живем мы в Крыму, у моря. […] И мы бы Вас повидали, и Вы бы на нас посмотрели! Хорошо, если бы с Калей.

Я больна туберкулезом легких, больна давно, а последний год почти непрерывно температурю. Ради этого и живем в Крыму. Дети здоровы, я часто их проверяю. Иринка, как я Вам писала, учится в Москве, а Саша перешел в 10-й класс, так что этот год еще будет дома. Сейчас они отдыхают, купаются, загорели как негритята. Очень хорошо плавают, первые по Крыму. В следующем письме пришлю их фото.

Напишите подробнее о себе. Что делаете? Как Каля? Искренне желаю Вам обеим всего самого лучшего.

Ваша Люся

Очень, очень хотелось бы Вас видеть! Поговорить с Вами.

8. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1956]

Дорогая Таисия Михайловна!

Почти одновременно получила два Ваших письма, одно с фотокарточками, а другое с описанием Ольгиного письма. Это, конечно, она ошибается, что Борис погиб в 1937 году. В 1939 г. вернулся писатель Дмитрий Остров[400] и Борис был жив. Как-то сердцем и сейчас не верится, чтобы его не было в живых.

В Ленинграде, на ул. Некрасова дом 10, есть какой-то театр, директор там Шалыт[401], он был вместе с Борисом и верней, чем кто другой, расскажет нам о его судьбе. Ради разговора с ним я хотела ехать сама в Ленинград, но здоровье мое крайне слабо, вот я опять пять дней как лежу с плевритом, т. ч. даже мечтать о поездке не приходится.

Может быть, Вы попросите Олю[402] (это близко от нее), и она зайдет все разузнает и сообщит нам. Попросите ее, Таисия Михайловна, т. к. я думаю, что письменно на такие вопросы он отвечать не будет.

Я очень счастлива, что Борис наконец-то реабилитирован и что его талантливые стихи увидят свет. Очень хочу дожить, увидеть его собрание стихов. Хочется только, чтобы они собрали все лучшее, что было им написано. Несколько последних

стихотворений у меня, в тетрадках.

Так что, Таисия Михайловна, крепитесь и Вы, берегите себя, это хоть и небольшая награда за все Ваши мучения, но все же это большая радость.

Простите за мой почерк, пишу лежа в постели[403] — больна.

Ваша Люся

9. Т. М. Корнилова — Л. Г. Басовой

[Семенов, 1956]

Здравствуй, дорогая Люся!

Шлю Вам горячий привет и пожелание всего наилучшего. Простите, что задержала ответ на Ваше письмо, полученное 4 декабря. Сначала послала Леле с просьбой найти этих лиц и узнать о Боре, ответа еще не получила и жду с нетерпением. Леля, наверное, теперь хлопочет о том, чтобы включили в план издательства на 1957 год произведения Бориса. Наверно, скоро будет и комиссия по лит-наследию. Кроме книги, его стихи будут напечатаны в Антологии Советской поэзии к 40-летию Революции, а еще один Московский журнал просит, чтобы дали подборку его стихов, и они напечатают, как только придет справка из Верховного Суда. Конечно, я очень рада, что выйдет его книга с произведениями. Это для меня большая радость. Сейчас теплится небольшая надежда, а может, где он не жив ли? Хотя мало верится, ведь с 1939 года до сего момента очень большое расстояние и мало ли что могло случиться за этот период. Очень жаль, Люся, что у тебя такое слабое здоровье, давно ли у тебя эта болезнь? Берегись и сохрани себя для детей, это будет большой радостью для них, хотя они уже и взрослые, но потеря любимого, близкого человека ужасно тяжела. Мы с Калей для своих лет чувствуем себя сносно. Теперь начинаем мечтать о работе летом на огороде. Ведь скоро опять будет прибывать день и солнце повернется на Лето. Зима нынче сносная, нет таких морозов, как прошлую зиму, да и дров заготовили побольше, думаем, что хватит. Наш привет вашему семейству. Желаю Саше успехов в учебе и поступления по окончании 10 летки. Наверно, Ирочка по окончании тоже уедет далеко. Пока малы, то подле мамы, а как подрастут, разлетятся в разные стороны, и хорошо, если не забудут, потому что у них будет самостоятельная жизнь и иные интересы. Наша племянница Лида, Беляева по мужу и девичья Антонова, учится в училище им. Калинина, Московское художественное промышленное училище, педагогическое отделение, а их квартира Москва, 4-я Кожуховская[404], дом 14,

кв. 1-я, для Беляевых.

Дорогая Люся, а я все-таки думаю, что органы юстиции все же должны не только реабилитировать человека, а и разыскать его живого или мертвого. Как думаешь ты?

Остаемся любящие вас, целуем,

Корнилова и Остроумова

10. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1956]

Дорогая Таисия Михайловна!

Только что получила Ваше письмо и отвечаю.

Да, вот уже пятый день, как Ирушку вновь отправила в Москву — 7 февраля у них начало занятий.

Опять очень скучаю без нее. Особенно эти первые дни после разлуки.

[…] Таисия Михайловна, пришлите мне Ольгин адрес, я хочу написать ей, где она может найти Борины стихи, которые он сам подготовил к печати, переслать им самим составленный список стихов, в таком порядке, как он сам мыслил, написать, какие стихи он хотел бы, если бы был жив, напечатать, и перешлю ей стихи, которые не были в печати. На Союз я не хочу ей писать, а домашний адрес помню только улицу.

Меня очень взволновало Ваше письмо, где Вы пишете, что в 1939 или 40 году от него лично имели весть. Как хорошо было бы, если бы Ляля повидала Шалыта. Она его знает и если сама больна, то может ему позвонить, и он сам зайдет к ней. Напомните ей об этом.

Ответ на это письмо не задерживайте и поскорее пришлите мне Ольгин адрес.

[…]

Пишите мне, будьте здоровы

Искренне Ваша Люся

11. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1956]

[…] Да, дорогая Т. М., я Ваше письмо получила в разгар болезни, но несмотря на это тут же написала Ольге, какие стихи у меня есть, где взять в Л-де ненапечатанные стихи, написала, как Боря мечтал о том, чтобы в его книгу стихов вошли бы стихотворения, которые перечислила. Но на это письмо ответа я

не получила. Не знаю, в чем дело. Каждый раз с нетерпением раскрываю Литературную газету — жду сообщения о назначении комиссии по его наследию, до этого, конечно, ни одно издательство не сможет опубликовать его вещи. Ну, будем надеяться, что скоро выйдет эта публикация. Крепитесь, Таисия Михайловна, вы столько вытерпели, так хоть теперь пусть порадует Вас общее признание Бориса. А когда его стихи выйдут — то его не смогут не признать как одного из лучших советских поэтов. […]

Ну, будьте здоровы, привет Кале, привет от всех наших.

Ваша Люся

Не ошиблись ли Вы с адресом Ляли, если не трудно, то проверьте.

12. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой[405]

[Крым, Алупка, 1956]

Дорогие Таисия Михайловна и Клавдия Михайловна.

Получила Ваше письмо, которое меня очень взволновало.

С одной стороны, это хорошо, что занялись поисками наследников, это значит, что Борис полностью реабилитирован уже и только в Союзе писателей медлят заняться его лит. наследством.

Но мне неприятно, если с этим обратятся ко мне.

Вы обе знаете, что, когда мы сходились с Борисом, мне было всего 16 лет, у меня и паспорта еще не было. Тем более знает Кл. Мих., что из-за этого я часто ночевала у нее, т. к. со своими родными я и не виделась в то время — они очень были против, что я так рано выхожу замуж, и прибежище «беглянка» находила у Кл. Мих., еще на ее старой квартире.

После долгих лет совместной жизни[406] с Борей регистрация брака казалась лишней, т. ч. даже я официально не носила его имени[407].

Т. ч. ни юридических, ни моральных прав у Иринки нет наследовать его имущество. […] Об этом я написала и Ольге […] пусть укажет Вас как единственную наследницу Бориса. […]

Привет от Саши и мужа.

Ваша Люся

13. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, конец 1956]

Дорогая Таисия Михайловна!

Я сгоряча отправила Вам ответ на Ваше письмо и все время мучаюсь, не обидела ли я Вас.

Если невольно обидела, Бога ради, простите меня. Мне хотелось Вам сказать, если я Ирушеньке не говорила о Борисе, то вовсе не потому, что считала это стыдным и т. д. У меня, больше чем у кого-либо, есть все основания быть уверенной в полной невиновности Бориса перед Родиной. Если он и был виноват в чем-либо, то только перед нами, его близкими, когда пил, да перед собой. Мне просто тяжело было бы обрушить всю эту тяжесть на ее плечи. Если может она быть спокойна и счастлива, то зачем лишать ее этого покоя? Сейчас Иринка со мною, уедет через неделю опять в Москву.

Я очень рада, что ей хорошо, и не думайте, что это эгоизм с моей стороны. Вы хорошая мать своим детям, подумайте, как бы Вы поступили? Иринка знает о Вас, что Вы близкий нам человек, и очень хороший человек, и, ничего не зная о родственных отношениях, она чувствует к Вам близость.

Ну, вот и все, на меня, повторяю, не сердитесь.

Получили ли от Ляли письмо?

Она здорова, на днях выступала на собрании, но у нее были неприятности. Думаю, что все позади у нее (плохое) и скоро она напишет Вам, зайдет к Шалыту.

Я написала о Борисе директору издательства, жду ответа.

Есть ли что новое у Вас?

Пишите мне. Очень хочу, чтобы к августу, к юбилею Бори[408], он был бы уже официально реабилитирован, чтобы могли провести юбилей, и если до этого не издадут его книги, то уже после юбилея в печати их издадут непременно.

Вы мне так и не ответили, через кого и от кого Вы имели известия о Боре в 1939 год.

Неужели он сам написал Вам? Что же? Напишите мне. Тетрадка Бориса, кроме того, что мне очень дорога, но и по другим причинам не может быть переслана.

Ну, жду Ваших писем.

Сердечно Ваша Люся.

Большой привет Кале.

Ваша Люся

14. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1956]

Дорогая Таисия Михайловна,

получила Ваше письмо и очень обрадовалась, что у Вас все хорошо, а то Вы долго не отвечали и я уже начинала беспокоиться. Прокофьеву[409], так же как и Ольге, я писала, но Прокофьев, кроме общих успокоительных фраз, что, мол, все скоро решится, что для антологии сдал некоторые стихи Бориса, ничего не написал, он очень занят, он председатель Союза Ленингр. писателей. Оля на мои письма молчит.

Дорогая Таисия Михайловна, Вы спрашиваете о тех тяжелых днях[410]. Было очень страшно. […] Даже те 60 рублей, что каждый месяц нужно было носить Борису (больше нельзя было), и то надо было доставать, продавая то одно, то другое. Первое время тратилось много, т. к. ко дню передачи готовила и мясо жареное, и варенья, и масло, но вот пойдешь в этот день, и приказ — кроме 60 рублей, ничего не принимают. Очутилась я совсем одна — все Борины друзья переходили на другую сторону, увидав меня, боялись со мной здороваться, перекинуться парой слов, а о том, чтобы зайти или помочь, не было и речи. Очень больно все это было — Каля, наверное, тоже на себе испытала изменение отношений т. н. друзей. Когда же уходил Боря, то денег у нас не было, и пришлось взять у домработницы в долг, чтобы ему дать с собой небольшую сумму. Потом Вы с Петром Тарасовичем прислали 500 рублей, я рассчиталась с долгами и еще имела на две передачи.

Конфисковали у нас немного, т. к. почти нечего было — самое ценное было — это ружье-двустволка, которое перед своей смертью ему подарил поэт Багрицкий[411]. Это мне было очень больно отдавать, кроме того что это была единственная ценность, было еще больно, что это память замечательного поэта, которого Боря больше всех любил. Его описали и взяли.

Из квартиры мне пришлось уехать самой, уехать, чтобы меня не постигла участь всех (как, например, Калю). Уехала я в Крым, потом приехала уже на новую квартиру.

О том, что дочь Ирина, знала Оля, т. к., когда я приехала в Ленинград, она встретилась со мной в магазине и, спросив, как я назвала дочь, — обиделась, что именно Ириной[412], а назвала я ее так, т. к. Борис, когда уходил, то просил, что если родится сын, то назови Сашей, а если дочь, то Ириной.

И в своем единственном письме, которое он мне написал оттуда через месяц, просил «береги Сашку». […]

Оля, наверное, и указала на Иринку как на наследницу, хотя я ей писала, чтобы она лишь Вас указывала как наследницу.

Меня очень удивляет, почему Оля не отвечает, она лучше, чем кто бы то ни было, знает о положении дел. Я каждый день с волнением открываю Литер. газету, надеясь, что там будет

сообщение о реабилитации Бори. […]

Мои шлют Вам привет. Привет Кале.

Иринке летом решила все рассказать.

Будьте здоровы,

Ваша Люся

15. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1956]

Здравствуйте, дорогие Таисия Михайловна и Клавдия Михайловна!

Ваше письмо застало меня больной, в постели, и поэтому я сразу Вам не ответила.

Мне очень тяжело было читать Ваше письмо, хотя я и раньше знала о всех Ваших переживаниях. Хорошо хоть, что вы обе вместе.

Дорогая Таисия Михайловна, я с нетерпением жду, когда назначат комиссию по наследию Бориса, с волнением открываю каждый номер Литературки (в ней печатают назначение комиссий), и еще все нет. Писала в Москву и в Ленинград, просила поторопиться, т. к. в августе 1957 г. исполнится 50 лет со дня рождения Бориса и 20 лет со дня катастрофы. Хотелось бы, чтобы к этой дате вышли его книги. Может быть, Вам самой написать в Москву (ул. Воровского, 52, Суркову А.[413]) и спросить, что слышно с литературным наследием Бориса? Это как-никак его бывший товарищ.

Мне из Ленинграда Прокофьев написал, что послал стихи Бориса для сборника.

Ирушка еще со мною. На занятия поедет к 1 октября. […]

Меня очень интересует, реабилитирован ли Сергей Егорович?[414] Что с Клавд. Мих.? Что, у нее сердце больное? Как Вы хозяйничаете? Есть ли у Вас хозяйство, огород?

Таисия Михайловна, я все хотела у Вас спросить, сохранились ли у Вас мои фотографии, которые мы из Ленинграда посылали Вам? Если они у Вас есть, мне очень хотелось бы получить, переснять и вернуть Вам.

У меня сохранились 4 фотографии Бориса и ни одной своей тех лет.

Пишите мне, мне очень приятно получать от Вас письма, и если Вам что-либо ответят, то ставьте меня в известность.

Привет от наших

искренне Ваша Люся

Клавдия Мих., напишите мне.

16. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1956]

[…] Таисия Михайловна, я задержала ответ на Ваше письмо, так как ждала из Ленинграда письма, а вчера пришел ответ Прокофьева Ал-дра, пишет, что в Ленинградский альманах поэзии он сдал пять стихотворений Бориса, но я ждала не это, я просила для Вас узнать адрес одного человека, который был с Борисом *там*. Обещают мне этот адрес прислать.

Я очень рада, что Ольга Берггольц занялась делом Бориса, она энергичная и знает, как надо действовать, я вот писала в Москву, в Союз, в Ленинград, говорила с кем могла, а не знала, что надо именно в Верховный суд. Молодец она. Хотелось бы, чтобы ее и назначили в комиссию по литературному наследию Бориса. Так, наверное, и будет.

Я запрашивала через ленинградских поэтов, сохранились ли гранки новой книги Бориса[415], которая должна была выйти перед его катастрофой, и нигде этой книги найти не могут, наверно, уничтожена. Но ничего, все, что он писал, найдем и восстановим.

Пишите мне, мне очень приятно получать Ваши письма, и жду, что Каля, которую я очень люблю, напишет мне.

Сердечно ваша Люся

17. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1956]

[…] Да, Т. М., я ваше письмо получила в разгаре болезни, но несмотря на это тут же написала Ольге, какие стихи у меня есть, где взять в Л-де ненапечатанные стихи, написала, как Боря мечтал о том, чтобы в его книгу стихов вошли бы стихотворения, которые перечислила. […]

18. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1957]

Дорогая Таисия Михайловна!

Получила только что Ваше письмо и тут же на него отвечаю.

Меня оно огорчило, огорчило во всех отношениях.

Во-первых, мне обидно, что вот уже 57 год, а до сих пор ничего конкретного в отношении Бори не сделано. У Ляли сейчас свои неприятности, и это, видимо, затормозило все.

Второе, что меня огорчило в Вашем письме, это то, что Вы не поняли и, может даже, в обиде на меня за то, что Ирушка не знает о Борисе. Я еще раз вам повторяю, что я всю жизнь свою оберегаю своих ребят от всяких неприятностей и счастлива тем хотя бы, что несмотря на все горе и беды, что вынесла и вымучилась сама, сумела их жизнь сделать правильной, без омрачающих душу переживаний. И до конца своей жизни буду оберегать от всего, что может быть горьким и тяжелым.

И не потому, что я боюсь, что она перестанет любить брата и отца, — у нас слишком крепкая и дружная семья, чтобы бояться этого, но зачем мне лишать ее покоя, счастья, уверенности, зачем подвергать ее такому горькому раздумью, да это просто глупо да и жестоко было бы с моей стороны.

И как бы слухами земля ни полнилась бы, я стараюсь, чтобы ничего не омрачало бы Ирушкиной жизни. А если со мной случится что-либо? Значит, Ирушка должна бы остаться совсем одна? Нет, я хочу, чтобы со мной, да и без меня, она была бы в своей, любящей и любимой семье, и отец и брат ее этого достойны. […]

Теперь в отношении тетради Бориса[416], я ее никуда не пошлю. Я с таким трудом сохранила ее, что, кроме нее, ничего не сохранила, что никуда не пошлю. Я и не думала ее посылать, так как там есть много такого, что и показывать нельзя, а перепишу и пошлю, что можно, в комиссию.

Насчет Шалыта, то Вы никого не просите зайти к нему, он принял бы Ольгу, меня, но ни с кем посторонним он не станет говорить, я же просила своих зайти, и он сказал, что только жене рассказал бы.

Подождем, может, Ольга напишет, может, уже была у него. Не сердитесь на меня, я вас очень люблю, сердечный привет Кале,

Ваша Люся

19. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, лето 1957]

Здравствуйте, дорогая Таисия Михайловна!

Правда, официального сообщения о Борисе, о реабилитации еще не было, но в двух заметках, в связи с празднованием юбилея Ленинграда, его имя было упомянуто. Это уже многое, 20 лет о нем даже не упоминали!

Одну, первую заметку написал Зелик Штейнман[417], наш друг, которого постигла та же страшная судьба, что и Борю, но он чудом выжил и вернулся в жизнь, в литературу. Надеюсь, что

Боря тоже вернется в литературу и займет достойное место. Жаль только, что мало надежд, что он вернется в жизнь.

Вторая заметка, в которой был упомянут Борис, была Ольги Берггольц. Почему она не пишет Вам, я не пойму. Вы ее ничем не могли обидеть, т. к. многого, вернее, ничего не знали о ней, о ее отношении к Боре.

Ну а доля вины за Борю есть и на ней, правда, своими хлопотами о его реабилитации и издании его стихов она ее искупила.

Я ей тоже написала хорошее письмо, т. к. искренне была тронута ее участием в восстановлении имени Бориса.

И она тоже мне не ответила, хотя я в этом же письме послала ей план его книги, как он сам готовил ее к изданию, перечислила стихи, которые особенно любил Борис, и еще то, что было его волей, но ответа нет.

Может, это злые языки говорят, а может, и правда, но мне некоторые ленинградские писатели говорили, что Оля стала много пить. Но мне как-то не верится, что это так. Она всегда была умная и требовательная к людям. Наверное, это не так, не верится, чтобы она пила. Думаю, что когда будут конкретные новости, то она Вам обязательно напишет.

Я сегодня отправила письмо Прокофьеву с вопросом, были ли в Ленинградском альманахе напечатаны Борины стихи (он мне сказал, что для этого альманаха отобрал Борины стихи, перечислил какие). Если были, то пусть вышлет по одному экземпляру Вам и мне.

Ну вот, дорогая Таисия Михайловна, крепитесь, следите за собой. Вам еще предстоит порадоваться на Борины книги.

Я, несмотря на тяжелое заболевание сердца, хочу дождаться.

Как Каля? Как ее здоровье?

Ириночка уже два дня как дома, радуется, купается, отдыхает.

Санек благополучно закончил школу и подает, вернее, уже отдал бумаги в мединститут. С 1 августа экзамены. Конкурс будет великий, т. ч. уверенности в том, что попадет, — нет. Но надежда все же есть.

Желаю Вам всего самого наилучшего.

Привет большой от Ирушки, Санька и мужа.

Ваша Люся

Привет и наилучшие пожелания Кале.

То, что я пишу Вам об Оле, надеюсь, что не будет никому и ни ей передано.

20. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1957]

Дорогая Таисия Михайловна!

Поздравляю Вас с полной реабилитацией Бори, вместе с Вами радуюсь этому и тому, что он вновь войдет в советскую поэзию и займет в ней положенное ему место.

Очень хорошо, что председателем комиссии назначили Олю, да и в комиссию вошли его близкие друзья — Лихарев, Решетов[418]. Так что скоро будем держать в руках его книги.

Как Вы сейчас одна живете, надолго ли Каля уехала в Ленинград? Ей обязаны возвратить ее квартиру, значит ли это, что она там останется жить? Вам одной будет скучно.

[…]

Вам все шлют приветы и наилучшие пожелания. Я днями напишу Вам еще, а пока слаба и быстро утомляюсь. Всего светлого желаю Вам.

Ваша Люся

21. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1957]

Дорогие Таисия и Клавдия Михайловны!

Получили ли Вы ответ от Ольги насчет Шалыта? Была ли она у него, говорила ли с ним и, главное — узнала ли что о нем! Таисия Михайловна! меня очень интересует, в 1939 г. Вы лично от него получили весточку? Как хотелось бы знать это. Да, существует закон, по которому Вам должны сказать, жив он или нет, где и когда погиб и т. д., должны выдать пособие, а Кале должны, кроме всего, вернуть квартиру. Закон этот от 8.IX.55 г. за № 1655, постановление Совета Министров СССР за подписью Первухина. Пенсию по этому закону Вы должны тоже получать, в размере оклада Петра Тарасовича в школе по ставкам сегодняшнего дня. Вот это я узнала. Дорогие мои, хлопоты эти печальные, но восстановить добрые имена родных — это долг перед ними.

От Ольги я письмо не получила, да и вряд ли получу. С одной стороны, я хотела бы связаться с ней, так как у меня есть несколько его тетрадок со стихами и среди них есть неопубликованные. В отношении же гонорара, то я по известной Вам причине не хочу, чтобы его пересылали бы Ирине, так пусть все это будет Ваше, а если Вы захотите, то от себя бы перевели бы на ее счет, на книжку[419].

[…]

Дорогая Таисия Михайловна!

Да, в этом году Саша весной уедет в Ленинград сдавать экзамены, и, несмотря на боль разлуки, все же будем рады, если он поступит куда-либо. Мечтает он об университете, фак. Океанографии. Почти и Иринка в таком. Плавают они очень хорошо, любят море и о своей будущей профессии мечтали также связанной с морем.

[…]

Ну, дорогие, желаю Вам всего лучшего, а в 1957 году желаю много счастья и здоровья.

Пишите мне, ставьте меня в известность обо всем!

Привет от моих, *Ваша Люся*

22. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, сентябрь 1957]

Дорогая Таисия Михайловна!

Вы, вероятно, получили ленинградский альманах, в котором напечатаны Борины стихи и портрет?

Поздравляю Вас, дорогая, с этой первой ласточкой.

Вчера получила я альманах и письмо от Лихарева[420], в котором он пишет, что в 1958 году выйдет Борина книга стихов. Большая.

Пишет, что рад, что Боря вернулся в литературу, и еще много теплого пишет о Борисе. Это был один из самых близких Бориных друзей, и я такого письма ждала от него все 20 лет! Ну хорошо, что дождалась.

Как Вы, приехала ли Каля или Вы еще одна?

Вот 21 августа отпраздновали Ирушкино двадцатилетие, а 29 проводила ее на учебу. […]

Пишите мне, Таисия Михайловна.

Будьте здоровы и счастливы.

Большой привет от мужа,

Ваша Люся

23. Письмо Т. М. Корниловой — Л. Г. Басовой

Здравствуй, дорогая Люся!

Сегодня получила твое письмо, которое давно ждала. Ленинградский альманах я еще не получила, думаю, что скоро пришлют и мне. Конечно, очень рада, что наконец Боря вернулся в литературу, и очень огорчаюсь, что так незаслуженно смерть вырвала его из рядов литераторов, ведь ему было 31 год. Погиб

он, по справке о смерти, 1938 года в декабре, числа не указано. Справка дана Ленинградом. Конечно, хотелось бы знать, где и при каких условиях это произошло, но, конечно, ничего не узнаешь, да и узнавать не стоит. Да этот 1938 год упал на мою голову как обух, ведь и Петр Тарасович помер в этот же год или 39 году. Буду ждать выхода книги и альманаха, и, конечно, материальная сторона много улучшилась, так что кое что необходимое, без которого пришлось обходится, я приобрела, как пальто, обувь и даже белье, все это плюс к пенсии, которая тоже увеличена. Каля все еще в Ленинграде, и ее дела тоже идут хорошо. Скоро все будет закончено. Вот и ей на долю выпало перенести такие страдания. Сейчас я одна, убираю овощи и готовлюсь к зиме. Дорогая Люся, как воспринята эта новость Ирочкой. Саша, конечно, не сильно тревожится, что не поступил в институт, даже если и в армию призовут, то опять будет учеба по специальности. Спасибо, что ты открыла детям истину, конечно, они учитывали положение того времени. Передай им мой горячий сердечный привет и пожелания всего наилучшего в их молодой жизни. Также и мужу. Как твое здоровье. Жду ваши фото. Будьте здоровы и счастливы. Любящая вас

Т. Корнилова

9 сентября 57 г.

24. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1957]

Милые, дорогие мои Таисия и Клавдия Михайловны! Во первых строках своего письма поздравляю Вас — сегодня купила у нас в магазине антологию[421] с Бориными стихами. Очень хотела купить два экземпляра — один для Вас, но, увы, в Алупку их пришло всего два — один взяла гор. Библиотека, а другом оставили для меня, так как давно снесена была заявка. Думаю, даже уверена, что Вам пришлют, но вот издавалась она в Москве, так что оттуда и должны прислать. Это большие красивые два тома (Борины вещи в первом) с очень краткой биографической справкой в конце книги, о том, что он родился в дер. Семенове, в семье сельского учителя. Год рождения и смерти проставлен — 1907–1939 г. И сегодня же получила письмо от Вас (легкие Вы на помине — все время думала о Вас, читая Борины стихи). Там — «Качка на Каспийском море», «Соловьиха», «Как от меду у медведя» и отрывок из «Триполья». Для меня это большая радость, представляю, что для Вас не меньше. Тираж антологии очень мал — всего 25 000, поэтому я не смогла достать второй.

Может, у Вас будет в магазине? Пока ждать, что пришлют!

Да, была у меня с месяц тому назад редактор Бориной книжки Довлатова[422], сказала, с какими трудностями встречаются на пути, взяла у меня неизданные стихи (я ей переписала) с тем, чтобы напечатать в журнале. Говорит, что хлопочут об издании нового сборника в Гослитиздате. Тот издается в «Советском писателе». Рассказала об Ольге, она с ней очень дружит, говорит, что бедная Оля очень несчастна, очень больна, очень пьет и все забывает. Очень жаль ее, беднягу, у нее действительно в личной жизни много горя было. Был у меня здесь Либединский Юрий (бывший муж Олиной сестры), тоже рассказал, как она пьет, как больна и т. д.

Дорогие мои, я очень рада, что Вы вместе, а вот моя сестра[423] только две недели побыла со мною и уехала в Л-д, она работает там. Я очень больна, Каля, дорогая, и лежу, так как у меня декомпенсация сердца. Это самое страшное, что можно придумать. Стало оно так от моего туберкулеза. Когда чуть лучше, то меня просто подымает с постели, мне не улежать. Но этого «лучше» все реже и реже. И, силы воли, и силы любви к моей семье хватило бы у меня побороть болезнь, если бы не такую, которая сильней меня.

[…]

25. Т. М. Корнилова — Л. Г. Басовой

[Семенов]

Здравствуй, дорогая Люся!

Наконец-то получила долгожданное письмо, и почему-то я предполагала, что ты нездорова. Вообще-то, осень тяжело отражается на легочных больных, но у вас, я думаю, не так еще плоха погода. Желаю тебе здоровья и пожить еще для детей. Я пока чувствую себя хорошо. К зиме подготовилась, дров заготовила две машины и так, что думаю, на зиму хватит. Овощей собрала. Имею подсобное хозяйство, кур и кроликов, так что и они дают доход, а отбросы использую для них.

Каля приехала 5 октября, т. ч. мы теперь опять вместе. Нынешнее лето нам пришлось жить поодиночке. Было очень скучно, но хозяйство и огород не заставляли скучать особенно. Дорогая Люся! Я все хочу спросить: у вас была мама, и она была в военное время в оккупированной местности у немцев[424]. Жива ли она? Альманах мне привезла Каля, купила его в Ленинграде, а из редакции я не получала.

Шлю горячий привет вашему мужу, Саше и Ирочке. Желаю

всем успехов в учебе и работе, а тебе, Люся быть здоровой. Сердечный привет всем.

Ваша Т. Корнилова

16. X.57. г.

Здравствуйте, Люся,

Хочется написать Вам все подробности моего путешествия по Ленинграду и Москве, но тогда я не отправлю сегодня письмо Таи. И чтоб не задержать отправление — решаю написать в ближайшие дни. Ограничусь сейчас пожеланием здоровья и приветом Вашей семье в полном составе.

Ваша [К. Остроумова, подпись]

16/X/57 г.

26. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, осень 1957]

Здравствуйте, дорогие Таисия Михайловна и Клавдия Михайловна!

Получила Ваше письмо, и как-то спокойней стало, что Вы опять вместе. Все-таки родные люди самые близкие. Приехала ко мне сейчас сестра из Ленинграда, и я особенно это почувствовала.

Только мне очень хотелось бы узнать, как у Кл. Мих. дела. Реабилитирован ли Сергей Егорович? У меня о нем сохранилась самая светлая память как о человеке кристальной честности… Напишите мне об этом.

Хоть мы и лишились близких людей, так жестоко оклеветованных[425], но как важна для нас хоть посмертная реабилитация их.

Кого застала в Л-де Кл. Мих.? С кем встретилась? Я вчера получила письмо от Бориса Лихарева[426], редактора альманаха «Ленинград», — я ему писала, чтобы он выслал экземпляр Т. Мих., и он мне отвечает, что выслал бы, если бы я в своем письме указала бы адрес Ваш. А я-то думала, что они его знают. Пишет мне, что Оля очень больна, лежала в больнице, что она очень много пьет, а поэтому ни на чем не может сосредоточиться, все забывает. Очень жалеет ее и просит, чтобы я на нее не обижалась за то, что она не ответила мне.

Но мне даже не верится, что она так пьет. Удалось ли Кл. Мих. увидеть ее? Так ли это? Если так, то очень, очень жаль ее.

Тут встретила я, т. е. была у меня моя старая приятельница, она сейчас редактирует Борину книгу, я переписала и дала ей часть неизданных Бориных вещей для привключения их в книгу.

Говорит, что в 1958 году, в первом квартале, книга должна выйти.

Дождаться бы!

Таисия Михайловна, вы спрашиваете о моей маме[427] — она жива, хотя болеет часто, у нее склероз сильный, живет она после смерти отца (в 1947 г.) вместе с сестрой младшей моей, в Ленинграде. Сейчас у другой сестры гостит в Москве. Во время войны она была в эвакуации, в Новосибирске. Она очень хорошая, мы с ней переписываемся. Жила несколько лет со мной, в Крыму, а когда заболела, то сестренка ее взяла в Л-д, а то мамочка больная за мной еще ухаживала.

Ну вот, через 3 дня отправляю сына в армию[428], куда — неизвестно пока. Очень тяжело. Непривычно будет оставаться одним. До сих пор не могу привыкнуть к разлуке с Ирушкой, хотя зимние и летние каникулы она проводит здесь. Пишет она мне часто. Учится хорошо. Просит передать Вам свой привет.

В конце января приедет на 2 недели. А потом еще 5 месяцев ждать!

Ну а Сашеньку я не знаю, когда увижу. В армию берут на 3 года. Для меня это очень большой срок.

Ну, дорогие, пишу лежа, устала.

Будьте здоровы, пишите.

Привет от мужа, Саши и сестры,

Ваша Люся

27. Т. М. Корнилова — Л. Г. Басовой

[Семенов, 1 ноября 1957 года]

Здравствуйте, дорогая Люся и Саша!

Шлю вам сердечный привет и поздравляю с праздником 40-летия Великой Октябрьской Революции. Желаю доброго здоровья. Сегодня 1/XI получила твое письмо и очень благодарна за Ваше отношение ко мне. Желаю Саше успехов в его новой жизни и думаю, что, служа в Красной Армии, он получит те знания, к которым стремился по окончании 10 классов, и выбрать специальность. Дорогая Люся! Я думаю, что в отделении Ленинградского Союза Писателей мой адрес имеется у секретаря Малыгиной, и прошу Вас напомнить им выслать мне Ленинградский альманах, и когда выйдет Советская Антология, тоже прислать, можно наложенным[429] платежом, бандеролью. Буду с нетерпением ждать выхода книги Бори, наверно, будет собрание всех его произведений, написанных за его короткую жизнь. Даже не верится, что он умер в 1938 году по данной справке о смерти. Желаю и вам здоровья и дождаться выпуска

книги и пожить еще долго-долго. Это будет такая радость, его бессмертия. Теперь почти каждый день по радио передают песню «Встречный», называют только музыка Шостаковича, не упоминая, что слова Бориса Корнилова, и нам захотелось добиться, чтобы радио объявляло, чьи слова песни. Восстанавливать, так восстанавливать везде! Шлю горячий привет Ирочке и поздравление с праздником Великого Октября и желаю успехов в учебе. Также привет вашему мужу и сестре. Простите, но я не знаю имени отчества его. С приветом, ваша Т. Корнилова.

Каля поздравляет всех с праздником 40-летия Великого октября и обещает написать Вам в скором времени.

28. Т. М. Корнилова — Л. Г. Басовой

[Семенов, осень 1957]

Здравствуй, дорогая Люся!

Сообщаю, что я получила телеграмму от Ольги, она сообщает:

Умоляю простить невольное, долгое молчание. Тяжело хворала умерла мама и много другого горя. Книгу Бориса с моим предисловием сдаем набор. Вопрос вашего наследия решается. О пособии поручила Союзу подробности письмом. Крепко целую пишите. Ваша Ольга

Не знаю, как и благодарить ее за все сделанное. Каля теперь в Ленинграде, хлопочет о квартире и пенсии, не знаем только, у кого временно прописаться. Я здорова, желаю вам всего хорошего. Целую всех.

Ваша Т. Корнилова

29. Письмо Т. М. Корниловой — Л. Г. Басовой

[Семенов, 1957]

Здравствуй, дорогая Люся!

Спасибо за твое душевное письмо, но меня сильно огорчает и беспокоит состояние твоего здоровья, хотя со своей стороны ни в чем не в силах помочь. Все же береги свои силы, чтобы пожить. Ольга собирается тебе писать и выслать какой-то нужный рецепт для твоего лечения. Она с осени находится на лечении в больнице Л-града, и состояние ее улучшается. Каля была по приезде в Ленинград у ней и находит, что ей много лучше. Лечение ее длительное. Дорогая Люся! Я уже писала, что введена в права наследования за книгу Бори и в конце декабря 1957 года на меня

переведут гонорар на Семеновскую сберкассу на мою сберкнижку. Я еще не знаю сколько и думаю сделать для Ирочки подарок от первого папы и от себя. Для этого необходимо знать, в какую сберкассу по месту вашего жительства, ее номер и по какому адресу переслать деньги на сберкнижку Ирочки. Если таковой нет, то приобретите и напишите ее номер. Также необходимо знать место и год рождения, какую фамилию и отечество она носит. В дальнейшем я выделю известную долю из полученной суммы. Каля в Ленинграде по делам восстановления прав Сергея Георгиевича, а также и своих. Она Лелю видела и довольна состоянием ее здоровья. Будем надеяться на его улучшение.

Шлю горячий привет вашему мужу и Саше с Ирочкой и желаю всего наилучшего в жизни, работе и учебе.

Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю всем здоровья. Крепко тебя целую.

Твоя Т. Корнилова

На зимние каникулы ко мне приедет племянница из Москвы, она нынче кончает Художественное педагогическое училище и будет назначена на работу. С 23/XII по 23/I у ней начинаются экзамены, потом практика и защита диплома.

Еще раз крепко целую.

Твоя Т.

Жду письма, поскорее.

30. Л. Г. Басова — К. М. Остроумовой

[Крым, Алупка, 1957]

[…] Дорогая Клавдия Михайловна, Вы меня, конечно, всегда называли на «ты», о чем Вас прошу и впредь. Познакомились мы с Вами, когда Вы жили еще на Выборгской, против Арсенала. Лет мне тогда было 16. Как же Вы иначе могли меня называть?

Сергей Егорович, о котором я всегда вспоминаю с неизменной теплотой и уважением, покорял меня своей простотой, искренностью, он тоже называл меня на ты, и я, в ту пору очень бесприютный «ребенок», в вашем доме чувствовала себя очень хорошо, порою лучше, чем дома. Я очень любила Вас, мне все в Вас нравилось. Красивое лицо, улыбка (помните, Борька Вас называл «золоторотец»). Он тоже очень Вас любил. Если он много пил, то очень боялся моих угроз пожаловаться Вам. И когда мы шли к Вам в гости, всегда «репетил» меня по дороге, чтобы я не говорила того, другого. А я, дура, вместо того чтобы действительно Вам все рассказать, покрывала его. А Вы бы могли помочь. Помните, как Вы взялись за Павла Михайловича, брата?

Но я тогда была молода и в меру глупа. Да, разум приходит тогда, когда мало что можно изменить.

Помню, как приехал в Ленинград Петр Тарасович, какие это были счастливые дни для меня. Мы вместе с ним и Борей ходили всюду, Боря это время был просто неузнаваем — не пил, не встречался со своими «друзьями», я просто расцвела. А с вокзала, когда мы проводили его, Боря сразу отправился выпить и, как я его ни просила не пить, говорил, что довольно он при отце постился. И опять все пошло по-старому. […]

Мне обещали прислать верстку его книги (боялась, что не доживу <до> выпуска ее, и попросила редактора, что была у меня, — она видела, как я больна), я датировала стихи и еще кой в чем помогла ей. Мне ведь очень дорога его память, все, что связано с ним.

[…]

31. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1958]

Дорогая Таисия Михайловна!

Вот и 1958 год наступил. Желаю Вам в нем счастья!

Из Ленинграда мне пишут, что скоро выйдет Борина книжка, я еще запросила Гослитиздат, библиотеку советской поэзии, чтобы там выпустили книгу его избранных (там большие тиражи, и больше народу узнают его). И еще Детиздат, чтобы опять выпустили его сказку — «Как от меда у медведя зубы начали болеть»…

Из Гослитиздата Твардовский ответил согласием. Так что надеюсь, что эта книжка ленинградская будет лишь первой ласточкой.

Приехала ли Каля? Как Вы одна остаетесь? И как решите на дальнейшее, если Каля решит вернуться в Ленинград? Может, Вам лучше не расставаться? Жива ли Анна Михайловна[430]? Где она?

Бывают ли у Вас дочери? Внуки?

От Оли я еще ни письма, ни рецепта не получила. Но мне пишут, что ей лучше стало.

[…]

Чувствую себя очень плохо. Жду лекарства, которое, по моим рассчетам, окажет чудесное действие. […]

Ваша Люся

32. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Ялта, санаторий «Долоссы», 8 апреля 1958]

Дорогая Таисия Михайловна!

Вот, сегодня 8 апреля, а я только что получила Ваше письмо от 2 апреля, значит, шло 6 дней. И всегда Ваши письма получаю на 6 день.

[…] Книга Бориса должна выйти днями в продажу — мне писала об этом приятельница из редакции. […] Олина книга[431] тоже выходит в этом издательстве. […] Жду с нетерпением появления Бориной книги, затем статьи о ней в Лит. Газете, а потом опять буду хлопотать о массовом издании в Госиздате.

Желаю Вам всего хорошего.

От наших большой привет.

Ваша Люся

33. Письмо Т. М. Корниловой — Л. Г. Басовой

7/I. 58 г.

Здравствуй, дорогая Люся!

Сегодня получила я твое письмо. 3/I 1958 года получила два экземпляра Бориной книги «Продолжение жизни». Наверно, и ты уже получила. Каля писала, что Бернович [Беркович — опечатка] хотел послать по 2 бесплатных экземпляра мне и для тебя тоже. Очень хорошее вступление Ольги Берггольц. Конечно, в этой книжке только лучшее написанное им в разные годы, даже из книги «Молодость» взято не все. Хорошо бы детскую книжку «Как от меда у медведя зубы начали болеть» издать, так как она с картинками, она очень интересна для детей. Не знаю, какие стихи ты давала редактору для напечатания, можешь написать мне хотя заглавия. Помещены ли они в 1-й книжке? Каля еще не приехала, она писала, что приедет не раньше половины января. О дальнейшей жизни у нас еще не решено, но думаю, что мы с ней не расстанемся. Очень уже мы привыкли друг другу, да ей одной с ее здоровьем жить нельзя. Анюта еще жива, такая крепкая, хотя и сухая старуха, ей 79 лет, но все делает сама, даже не пользуется очками и вяжет кружева, накидушки, и стирает, и моет, и штопает. Она теперь получает пенсию за Славочку — сына, погибшего во время блокады Ленинграда, — 321 руб. в месяц. Живет она в Семенове и с ней внучка — дочь Кати, учится в 6 классе. Катя работает в районе за 40–50 км. Скоро думает приехать и жить вместе, квартира у них коммунальная. Дочери мои бывают редко. Внучки пишут, они все далеко раскиданы по Советскому Союзу. Повыходили замуж и скоро наградят меня правнуками. Живу я теперь одна, занимаюсь небольшим

хозяйством и читаю книги. Здоровье сносное для моих лет. Дорогая Люся! Дети только когда маленькие им нужна мама, но как вырастут, встанут на свои ноги, как говорится, вылетят из гнезда, так уж у них будут свои интересы и своя жизнь, то маму будут и забывать, и это не только наши дети, а все дети, какие есть на свете. Пусть только найдут себе счастье и устроят свою семейную жизнь, радовать будут только своим потомством, которое бывает, как и они, также любимы бабушками и дедушками. От Кали вот уже несколько дней нет писем, начинаю волноваться, но думаю, что она у своих и если что случится, то ее не оставят без ухода и без внимания. Желаю здоровья и всего лучшего в жизни. Большой и горячий привет всему вашему семейству.

Целую, твоя Т. Корнилова.

Привет Ирочке.

34. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1958]

Дорогая Таисия Михайловна!

Поздравляю Вас с выходом Бориной книжки[432]. Мне Клавдия Мих. прислала два экземпляра. Очень понравилось предисловие Оли. Послала ей об этом телеграмму. Только где она сейчас — не знаю. Я говорила здесь с поэтом Твардовским о том, чтобы издать Борины «избранные» в массовой серии Библиотеки советской поэзии — он там член редколлегии. Он ответил, что решительно за и будет хлопотать. Также написала в Ленингр. отд. Детиздата, чтобы издали «Как от меда у медведя…». Сказали, что включат в план. Так что будем надеяться, что эта книга лишь первая ласточка. Несмотря на то что она небольшая по размеру, в нее вошло очень много стихов и поэм. Но конечно же, одна книжка не могла вместить всего, что он написал за 15 лет… […]

Таисия Михайловна, Борины стихи, которые я здесь отдала редактору, не вошли в эту книгу, т. к. книга уже была в наборе, но Вам я напишу одно из них[433]:

Мне не выдумать вот такого,
И слова у меня просты —
Я родился в деревне Дьяково,
От Семенова полверсты.

Я в губернии Нижегородской

В детстве счастье свое искал.
Земляной покрытый коростой,
Золотую картошку копал.

Я вот этими вот руками
Землю рыл и навоз носил,
И по Керженцу и по Каме
Я осоку траву косил.

На твое, земля, на здоровье
Теплым жиром, земля, дыши.
Получай лепешки коровьи,
Лошадиные говяши[434].

Черноземное поле на озимь
Все засеять, заборонить,
Чтобы лишнего зернышка наземь
Понапрасну не заронить.

Уличите меня в изъяне,
Год от года мы все смелей,
Все мы гордые, мы, крестьяне,
Дети сельских учителей.

Бор. Корнилов 1936—37 гг.

Это одно из его последних стихотворений, даже не окончено, но мысль в нем выражена хорошо и ясно. В следующем письме еще напишу… […]

Ваша Люся

35. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

29/IV/1958

Дорогая Таисия Михайловна!

[…]

У меня большая радость — Ирушкина практика будет в Севастополе — в 70 км от нас. Начнется она с конца мая, т. ч. я ее увижу уже скоро. Экзамены она собирается сдать до практики, т. ч. с практики сразу приедет домой. Сашенька пока с нами. […]

Очень хочется повидать Вас, Таисия Михайловна, поговорить обо всем, что на душе.

Поступила ли в продажу книга Бори? Мне редактор писала[435], что те книги, которые она отложила для меня (я просила ее купить мне еще 5 книг, пока нет их в продаже), забрала Ляля вместе со своими. Но обещала мне еще достать. Одну книгу я отдала Иринке, вторая у меня, очень нравится она Саше, он чуть ли не каждый вечер читает ее, хоть многие стихи знает наизусть. […]

В Москве, в университете, где преподает муж моей приятельницы[436], на кафедре его студент делал доклад о творчестве Бориса.

[…]

Большой привет от моих

Искренне Ваша Люся

36. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1958]

[…] Таисия Михайловна, Вашу просьбу я выполню и на днях перепишу Вам ненапечатанные стихи Бориса, только не следует их давать никому на руки, чтобы не переписали. Я Вам объясню почему: не взяли их в печать, т. к. якобы идеологически не выдержаны. И поэтому их нельзя распространять. […]

37. Т. М. Корнилова — Л. Г. Басовой

[Семенов] 21 апреля [1958]

Дорогая Люся!

получила твое письмо от 16 апреля 20/IV. Мне из Москвы прислали газету Литературную от 10/IV со статьей Зель. Штейнмана[437] «Старый друг», рецензия на его книгу. Да, я могу доставать Лит. газету у нас в интернате в б-ке, т. ч. посылать мне не надо. Статья очень хорошая. Каля еще не приехала, обещает к 1 мая приехать. Она писала мне, что получила твои 2 письма, не может быть, что она не отвечала, возможно, еще получите. Как улучшение твоего здоровья после лечения, если лучше, то надо продолжить еще на месяц, а к приезду Иры вернуться домой. Наверно, и без вас все устроится дома. Зато когда вы поправитесь, то будет легче и всем семейным. Каля мне пишет часто, на нездоровье не жалуется. Дела у ней подвигаются к концу. Пенсию ждет к 1 мая, а окончательные дела к 1 июня, придется ей снова поехать, чтобы вступить в права наследования.

Люся! Когда приедет Ирочка, то можно будет затребовать

перевод денег на вашу сберкассу, тогда сберкнижку я вышлю, а за перевод денег сберкасса ничего не возьмет, переведут бесплатно. Поздравляю тебя с международным праздником 1 мая и желаю здоровья и всего наилучшего. Передай мой привет вашей семье.

С приветом, ваша

Т. Корнилова.

38. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, апрель 1958]

Здравствуйте, дорогая Таисия Михайловна!

Не ожидая от Вас ответа на свое письмо, хочу Вас поздравить — на днях в Литературной газете появилась первая статья о книге Бориса, под названием «Встреча с другом» Зел. Штейнмана[438] — ленинградского критика, товарища Бори. Я думаю, что Каля прислала вам эту газету, если же нет, то срочно пишите, я Вам вышлю. […] Статья очень хорошая, но мне кажется, что Борина книга заслуживает более подробного анализа. […]

Искренне Ваша Люся.

39. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1958-9?]

Дорогая Таисия Михайловна!

Все мое настроение зависит от самочувствия, и когда мне лучше, то и мысли у меня не такие печальные. А последнее время участились случаи тяжелых сердечных приступов, и каждый такой приступ делает меня менее оптимистичной. Письмо к Вам, вероятно, было написано под впечатлением одного из таких приступов.

Получила на днях письмо от неизвестного мне т. Безрукова[439], который пишет, что знает Вашу семью, был у Вас и просит помочь ему в том, чтобы предоставить имеющийся у меня материал о Бориной жизни и работе для его книги о Борисе. Над которой он якобы работает.

Что Вы можете сказать о т. Безрукове? Знаете ли его, откуда, насколько хорошо? Вы понимаете, что писать о Борисе надо хорошо компетентному, грамотному человеку, чтобы не было ничего недостойного Бориной памяти. А что может знать этот товарищ о Борисе, кроме самой схематичной биографии с Ваших слов.

Писать о поэте — это писать о его стихах, о том, как они

задумывались, строились, а что он может знать об этом? И еще вопрос, может быть, этот человек думает, что, написав такую книгу о поэте, он станет писателем, и с этой целью берется за нее?

Напишите мне Ваше мнение о нем, кто он по профессии, откуда знает Вас, Лизу, кто его направил к Вам? Словом, я не могу неизвестному мне человеку доверять дорогие мне воспоминания о Бориной работе, о жизни. Может быть, это Лизин знакомый и она напишет о нем сама подробней.

Вы на меня не сердитесь за излишнюю подозрительность, но я знаю много людей, любящих погреть руки за счет чужой славы. И тень от этих рук падает и на тех, за чей счет они хотели поживиться.

Возможно, я ошибаюсь. Может быть, это очень хороший молодой человек и ему действительно стоит помочь. Но об этом только Вы можете мне сказать.

[…]

Мне писали, что Ляля поехала на Урал, в Сибирь, может, на обратном пути заедет к Вам. Что Вам известно? Желаю всего лучшего

Ваша Люся

40. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1959]

[…]

Я очень рада, что т. Безруков произвел на Вас хорошее впечатление и что Вы чем могли помогли ему. Не знаю, чем я могу ему помочь, т. к. рукописи Бори я сдала в Пушкинский дом[440], туда, где хранятся рукописи всех поэтов.

Берновичу я послала комментарии к некоторым стихам Бориса и воспоминания о том, как он работал. О личной жизни Бориса, думаю, писать не стоит. Ну а те материалы, что послала Берновичу, я не могу повторять. Поэтому я ему предложила за нужными материалами обратиться в комиссию по литер. насл. Бориса Корнилова, послала адрес комиссии и объяснила, что в настоящее время ничем ему помочь не могу. Я писала Вам, что для нового сборника послала Берновичу фотогр[афии] Бори, которые он переснял и выслал мне обратно. Прислал ли он Вам отпечатки с тех фотогр. или отдал их в Л-де Кл. Мих.?

Как Ваши дела? Все еще одна или кто из своих приехал к Вам? Очень тоскливо быть одной, наверное. […]

Пишите, как огородничаете.

У нас давно расцвели помидоры, но растут плохо. Много цветов. Весь дом заплела белая роза вьющаяся — очень красиво.

Цветет жасмин.

Если б здоровье, как хорошо жить бы!

Ну, Таисия Михайловна, желаем Вам всего лучшего. […]

Ваша Люся

Что знаете о Ляле, вернулась она с Алтая или заедет к Вам? […]

41. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, начало 1959]

Дорогая Таисия Михайловна!

Посылаю Вам журнал «Новый мир» со статьей Луконина[441] о Борисе, а «Молодой альманах» мне прислала Н. Банк[442], и я попросила ее еще один номер для Вас, как только пришлет, сразу же переправлю Вам.

[…] Жду тепла, может, и мне лучше станет от него. Хочется жить, хочу еще внучку увидеть. Иринка, как только здесь будет теплей, приедет с дочкой.

Луконин в своей статье подымает вопрос об издании сказки Бориса — «Как от меда у медведя…», возможно, что к тому времени, когда внучка Бориса сможет читать, — ее издадут.

Очень долго все это делается.

Не решен еще окончательно вопрос с его книгой в серии «Библиотека поэта»[443].

Таисия Михайловна, кто еще пишет из Бориных друзей, кроме Васи Молчанова. Его я хорошо помню, мы с Борей к нему всегда заезжали в Горький. Не пишет ли Борин друг Морозов, тоже из Горького, Быстрова Таня? Если да, то пришлите мне их адрес.

[…]

Большой привет от Якова и Саньки, он приезжает раза два в месяц на один день.

Обнимаю Вас.

Ваша Люся

42. Т. М. Корнилова — Л. Г. Басовой

[Семенов] 8 апреля [1959]

Здравствуйте, дорогие Люся, Ирочка и вся ваша семья!

Шлю свой сердечный привет и пожелание всего лучшего в

жизни, а главное, здоровья. Очень бы хотелось увидать правнучку, заочно поцелуйте от меня. Интересно, кто был художник из Москвы, может, Вьюев Павел Ильич, он проживает в Москве, но мне еще ничего не писал по этому свиданию. Так они часто проживали в летнее время у нас в Семенове и хорошие знакомые. О книге Бори Ляля говорит, что издательство «Советский писатель» должен по договору 1957 г. доиздать сначала полным тиражом «Продолжение жизни», а остальные произведения в 59 году не будут выходить […] по рецензиям все обращаются, чтобы еще выпустили эту книгу, потому что она вышла таким малым тиражом, что даже не могли приобрести библиотеки. Когда она будет издана массовым тиражом, не знаю, может быть, не придется при жизни мне испытать эту радость, что все его произведения будут напечатаны и будут радовать читателей. Наш Семенов и Семеновский район очень бы хотел иметь его книгу, но не достали ввиду того, что так мало было в продаже. Я хотела бы знать, почему Ирочка до осени свободна от занятий, может, она взяла административный отпуск, ведь еще учебный год не окончился? Конечно, все это в порядке вещей, с ребенком дела очень много, и возможно даже, что не закончишь начатого обучения и получения диплома. Жизнь студентов я немного знаю, потому что у нас училась племянница в Москве 8 лет и, поженившись, не могла жить вместе, а жили в разных общежитиях, встречаясь изредка ввиду материальных сторон, хорошо, что не было ребенка. В 1958 году она окончила, получила высшее худож. педагогическое, нынче получила назначение в г. Нальчик, и у них родилась дочь, теперь наслаждаются семейной, счастливой жизнью, но работать все же придется, а как это сделать, может, этот вопрос урегулируют. Конечно, у Иры совсем другие условия и можно устроится с комфортом, иметь дорогую квартиру и лучшие условия жизни. Пишу я это, и не примите в обиду. Желаю им успехов и в работе, и учебе, и жизни. Семейная жизнь много лишает женщину мать, как, например, и спорта, которым увлекается молодежь, когда свободны. Хотелось бы узнать, как и где встретилась Ирочка с московским художником и как его фамилия. Может, она и сама мне напишет несколько строк. Желаю бабушке и дедушке счастия и радости в своей внучке. Саше и всем мой сердечный привет. У нас начинается весна и прилетели скворцы, но еще снег и держатся морозы ночью до 4[град] — днем тепло. Тепло будет в мае, тогда начнут распускаться деревья и цвести, будем производить посадку овощей и кустарников. Каля шлет привет, вопрос с квартирой еще не разрешен. Что будет к 1 мая.

Ваша Т. Корнилова.

На полях:

Люся, проходит ли кино-картина Встречный? У нас почему-то не бывало.

43. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, весна 1959]

Дорогая Таисия Михайловна!

Получила Ваше письмо и сразу же отвечаю Вам.

Иринка с дочкой приехали домой, и дочка ее прелесть, на редкость спокойный, умный и здоровый ребенок. Глаз от нее не оторвешь, такая приветливая и улыбчивая девочка.

[…]

Каля прислала мне Лялин двухтомник, но там очень мало хороших Олиных стихов, стихов довоенных лет. Жаль.

[…] я такая никудышная бабка, на Маринку смотрю только издали или через окно с террасы или на улице. Иначе боюсь. Ей все Яков помогает, добрый он человек, очень любит Иринку да и детей вообще. А будь я здорова, так, кажется, горы бы свернула — ведь мне всего 45-ый год.

Ну, что сделаешь?

По-моему, Борину книжку должны доиздать, т. к. весь тираж был раскуплен в первые же дни. И надо хлопотать об издании в Гослитиздате массовым тиражом.

[…]

Искренне Ваша Люся

44. Т. М. Корнилова — Л. Г. Басовой

[Семенов, лето 1959]

Здравствуй, дорогая Люся.

Прости, что задержала ответ на твое письмо от 2 июня. Все карточки, взятые Безруковым, мне возвращены. 18–19 он собирался в Ленинград, чтобы получить сведения, нужные для выпуска книги. Писал что и теперь все еще получает письма от товарищей Бори. В каком духе будет эта книга, увидим. Каля еще не приехала, но все же собирается в скором времени. Теперь у меня гостит Лиза с правнуком, были и внучки, но теперь уехали. В последнее время с 14 июня у нас идут дожди, хочется бы жаркой погоды. Люся! почему ты думаешь, что Маринка не скоро пойдет, у меня все дети начинали ходить с 10 месячного возраста, хотя и были толстыми. Здоровый ребенок к году уже начинает

ходить, хотя с паданцами, а без этого они не научатся и ходить. Люся! я и муж мой не препятствовали в выборе своим детям, и у нас не было такого, чтобы относиться не как к своему, ни к зятьям, ни к снохам. Я думаю, что никто не может пожаловаться на такое отношение с нашей стороны, лишь бы жили в мире и любви между собой, и нам было только приятно. Как дела у мужа Иры, что он кончает или еще ему учиться год? Как думает Ира учиться на основном или заочном, почему она мне никогда ничего не напишет, видимо, еще мы не так близки. Прости, что я подняла этот вопрос, но он сам напрашивается. Огородничаю нынче одна, хотя картошку посадила путем найма. Помидоры цветут и завязывают плоды. Клубника тоже, и только бы тепло, и будут спеть ягоды. Овощи — морковь свекла лук чеснок, из ягодников черная смородина, крыжовник. Яблони. Пошли в количестве 6 штук, 3 не отродились, придется осенью посадить снова. Люся! Как твое здоровье, напиши. Действительно, жить хорошо и жить хочется. Не хочется уходить от жизни. А может, уж и недалеко это время. Хотя чувствую себя сносно, несмотря на свои 75 лет. Желаю успехов Саше и мои приветы вашей семье.

Целую правнучку, *ваша Т. Корнилова*.

На полях:

Ляля все еще не вернулась, и я думаю, что скоро не вернется. По радио сообщили, что они пробудут там месяца 3.

45. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, 1959]

Дорогая Таисия Михайловна!

Мне самой обидно, что болезнь мешает мне наслаждаться обществом внучки, которая действительно день ото дня делается все забавней и интересней.

Теперь уже видны 2 нижних зуба, и, когда она смеется, вид у нее презабавный.

Вчера с работы в колхозе вернулся Санька и теперь сделает хорошие снимки, которые вышлем. […]

Получила ли Каля комнату? Как Ваши дела? Кто же гостит у Вас из внучат? Я только помню Розу и Шурину Галю, а их много у Вас вместе с правнуками теперь. Мне прислал Безруков фотографию Вашей семьи в 1928 г.

Да, в Ленинграде ему мало помогли в сборе материала. В Пушкинском доме он просмотрел рукопись и корректуру Бориной книги. Кой в чем помогу ему, чтобы восстановить период работы в Ленинграде с 1931 по 1937 г., и над отдельными

произведениями.

Таисия Михайловна, Вы, наверное, меня не так поняли, если ставите вопрос о признании Ириной доли наследства. Пока мы с Вами живы, это меня не беспокоит, а это касается далекого будущего Ирины и Маринки, и Ирины метрики находятся в Ленинградском архиве, выданные Дзержинским загсом 21/VIII 1937 г. Но все это на дальнейшее.

Что Вам известно о Ольге, заедет она к Вам после командировки?

[…]

Привет от всех нас

Ваша Люся

46. Л. Г. Басова — Т. М. Корниловой

[Крым, Алупка, лето 1959]

Дорогая Таисия Михайловна!

Посылаю Вам Борино стихотворение, напечатанное на днях в Лит. газете. Это из той тетрадки, что была у меня. Я по просьбе Берновича послала ему ее для ознакомления.

В журнале «Звезда» № 7 есть о Боре статья Зел. Штейнмана. Читали ли Вы? Есть ли у Вас? У нас все по-старому, дети сейчас все с нами, — Санек и Ирин муж.

Маришка ходит по кроватке, держась за перильца.

[…]

Я очень плоха, особенно в этом году донимает сердце.

Ну, будьте здоровы.

Большой привет от всех наших.

Ваша Люся

Публикация Ирины Басовой

Письма Б. М. Лихарева к Л. Г. Басовой

[444]

1

22 августа 1957
Ленинград
Милая, славная Люсенька!

Как я рад, что могу подтвердить тебе то, в чем ты вроде как бы сомневаешься. Действительно, Борина репутация полностью восстановлена, и я имел счастье напечатать в «Ленинградском Альманахе» кусочек из «Триполья»[445]. Книжки его я сохранил, в одной из них нашелся и портрет. «Альманах» я тебе посылаю вместе с письмом. Перед памятью Бориной совесть у меня чиста, он всегда был моим другом. Люся, я еду в сентябре в Турцию и постараюсь достать там нужные тебе лекарства. Если только они есть, я их достану. Когда наши ребята, Решетов[446] и другие, ездили на теплоходе, я их просил об этом, но они засуетились по заграницам, ни черта не сделали. Книга Б. П. К<орнилова> будет большой, более 10 тысяч строк. Ее готовят, она должна быть издана в будущем 58-ом году[447]. Собирают ее Ольга Федоровна и ее помощники. Деятельно разыскали Борины публикации. Прямо не верится, что ты так больна, я тебя представляю только прежней Люсей. Ведь Крым все-таки хорош, и ты должна поправиться поскорее, Боря так любил тебя, его возвращение к жизни пусть тебя ободрит и вернет спокойствие.

Милая Люсенька, рассчитывай на меня во всем, все, что ты мне поручишь, я исполню с радостью.

Напиши мне в Ленинград. А может быть, я сумею и навестить тебя в твоем уединении. Это может случиться в сентябре, ведь я, видимо, буду в Одессе на обратном пути из Турции, куда еду, видимо, 1 сентября в туристскую поездку на 14 дней.

Не знаю, правда, состоится ли сие и увидит ли «неверный» красоты Стамбула.

Крепко тебя целую и желаю здоровья и счастья.

Твой Борис Лихарев.

Л<енингра>д, ул. Рылеева, 5, кв. 2
Телефон Ж. 2-65-26

2

«Комарово»

17 октября [19]57 г.

Дорогая Люсенька!

Получил твое письмо, а следом за ним и второе. Задержался с ответом потому, что был в отпуске, не бывал в городе, а торчал на даче, под Териоками, в Комарово.

Как ты и угадала, в Туретчину я не попал — экспедицию отменили. Спасибо тебе за приглашение погостить у тебя. Это осуществимо, но не сейчас. Много дел. Попозднее, может быть, и соберусь.

На Ольгу Федоровну Берггольц[448] ты не обижайся, наша Оля не совсем-то здорова, — она сильно пьет, почти как Боря К<орнилов>. Это мешает ей сосредотачиваться, единственное, что можно пожелать ей, это хоть крошку счастья, которого у нее нет, а ведь она умница. Некто Бернович[449], сохранивший многое из Корниловского, ведет книжку. Сейчас главный редактор издательства «Советский Писатель» в Ленинграде Илья Корнильевич Авраменко[451]. Помнишь ли ты этого «Сменовца»? [451] Я говорил с ним, книжка Бориса должна выйти в будущем году[452]. Предисловие все-таки Ольга написала. Если у тебя, как ты пишешь, есть не печатавшиеся Борины стихи, присылай их мне. Я их тут же напечатаю хотя бы в «Альманахе», который, как ты, вероятно, заметила, я и веду[453]. Кроме того я их передам в «Сов<етский> Писатель» для привключения в книжку. Распланировку стихов в книжке, я думаю, надо сделать соответственно. Лекарства поищу. Что касается Бориной мамы, посылки ей «Альманаха», то это пока трудно осуществить, так как ты, будучи верной дням своей юности, позабыла сообщить мне адрес Бориной матери. На деревню дедушке я послать «Альманах» не решаюсь. Исправь свою вину поскорее, и я тогда разорюсь на 11 рублей с копейками — вышлю «Альманах» этой, наверное, славной маме. Пиши, Люсенька, ты чудно пишешь. Не унывай. Шлю тебе привет с Финского залива, на берегу которого я поселился, так как выстроил в поселке Комарово (быв. Келомякки)[454] небольшой домик, в котором и пишу тебе это письмецо, сбежав от городской суеты. У нас вчера лупил снег, но моя мама (ей 83 годика), гостящая у меня, стойко перенесла ту напасть. Пусть ее пример будет нам наукой. Целую тебя крепко.

Твой Борис.

На полях слева:

Книжка Борина в *наборе*.

Подготовка текста И. Басовой, комментарии Н. Прозоровой

Людмила Басова. <Жена поэта> Воспоминания

[455]

I

С Корниловым я познакомилась в 1930 г. в Ленингр<адском> Доме печати во время 17 конференции ЛАППа[456], на которой он за свои кулацкие тенденции в поэзии был исключен.

Его жена, молодая поэтесса Ольга Берггольц, всеми силами способствовала этому решению. Она была убеждена, что для коммунизма Корнилов не созрел. И верно, он был поэт совсем особый — по-детски влюбленный в Блока, Есенина, Маяковского и Багрицкого.

Приходил в восторг от каждой строчки Киплинга[457].

Вообще надо сказать, что этот английский поэт пользовался необычайной любовью советских поэтов того времени, его постоянно читали, ему подражали, особенно ЛОКАФовцы[458] — и недаром в большинстве военных стихов того времени звучат его интонации.

В стихах Корнилова влияние Киплинга меньше сказывалось, чем, напр<имер>, в стихах Гитовича[459] и даже Прокофьева[460], но любил он его самозабвенно. В одно из своих стихотворений он вставил две строчки Киплинга, но я, будучи 16-летней девочкой и не знакомой в то время с Киплингом, слушая стихи Корнилова, не заметила в них никаких кавычек, и строчки — «Мне довольно продажных женщин, / Я хочу целовать одну»[461] были восприняты мною как корниловские, и жалость к поэту, обреченному на поцелуи «продажных женщин», и чувство, что такие строчки мог написать только хороший поэт, сыграли какую-то роль в наших отношениях. А тут еще семейная жизнь Корнилова лопнула от «политических разногласий»… и я стала его женой.

Каково же было мое разочарование, когда через год, читая Киплинга «Мери Глостер», я нашла в них эти строчки?[462] Жили мы в гостинице «Англетер» — в соседнем номере от того, в котором повесился Есенин[463]. Для Корнилова это имело какое-то значение. Жили вместе с его другом Дм. Левоневским, милым, но в большой мере ленивым поэтом[464]. Время было суровое. Стихи легче было написать, напечатать, чем получить за них

деньги. Помню бухгалтера Клааса из «Красной газеты»[465], который неделями мучил писателей, приходивших к нему за гонораром.

Жить в гостинице было дорого. И мы с Корниловым, проскитавшись целый год по знакомым, получили комнату на Карповке, в доме литераторов[466]. Не знаю, какой это сейчас дом, кто живет там[467].

Но тогда дом был ужасный. Из «классиков» жили там только Алексей Чапыгин[468], но он был «зверски богат» и мог на свой счет поставить печку, отремонтировать что…[469] Жили там тогда Либединский, Дм. Остров, Юлий Берзин, Берггольц[470]. Но наша комната была особой, маленькой, за кухней, без печки, не согревали десятки примусов, шипящие на кухне, и обильные сплетни писательских жен, которые были слышны в нашей комнате. Мерзли мы в ней стоически.

В 1932 г. Литфонд выделил нам комнату в Фонарном переулке[471]. Большая, неуютная, холодная, она все же была снабжена печкой. Мебели, конечно, не было.

Был стол, который заменял нам буфет, и была шуба, огромная касторовая шуба на хорьках, с бобровым воротником, служившая нам постелью.

Днем ее, большую, не перешитую, с чужого плеча, носил Корнилов, вызывая у своих друзей ассоциации со стихами Багрицкого — «шуба с мертвого раввина под Гомелем снята»[472].

История же ее такова. На родине Корнилова доживала свой век губернаторша гор. Семенова, которая как семейную реликвию хранила шубу мужа, и отец Корнилова, скромный сельский учитель, бывший воспитатель губернаторского семейства[473], купил ее для сына.

Как мебель шуба была превосходна.

Плохо было тогда с продуктами, да и от чрезмерной занятости поэзией не хотелось готовить[474]. Тогда сдавали свои продуктовые карточки в столовые и питались в «прикрепленной столовке».

Мы сдали свои карточки в пивную. И по утрам помню себя сонную, сидевшую за ледяным мраморным столиком пивной, жующую холодный бутерброд с яйцом и килькой и запивающей это холодным пивом. Корнилова же такой завтрак вполне устраивал. Особенно нравилось «прикрепление» к пивной.

Но жизнь в большой пустой комнате была очень неуютной, и мы вскоре обменяли ее на меньшую, но теплую, на Петроградской стороне. Там, угол Малого пр. и Гатчинской ул., Корнилов написал свое «Триполье», поэму «Нач<альник> Угрозыска»[475], так и не увидевшую света, и много хороших стихов. Этот период

вспоминается особенно часто.

Обедать ходили в Ленкублит на Невский, 106. Это было прекрасное «заведение», осн<ованное> Лен<инградской> Ком<иссией> улучш<ения> быта литер<аторов>, своеобразный клуб, где за столиками весь цвет ленинградской литературы ел борщ, жареных кроликов и еще много <нрзб.> того времени[476]. Ходили сюда все самые маститые, напр<имер> начиная от Толстого[477], когда он приезжал в Л<енингра>д из своего имения, и кончая вечно начин<ающими>, такими как Лози<н>[478]. Обедали композиторы. Часто обедал здесь Шостакович с Соллертинским, Ир. Андроников[479], всегда Дзержинский и Богословский[480], московские гости — Фадеев, Светлов, Уткин[481] тоже обедали всегда в Ленкублите. Было здесь шумно. Острящие писатели старались перекричать друг друга. Громче всех острил Стенич[482].

Киношники, не имея тогда еще своего дома, тоже паслись здесь. В общем, полное содружество муз. В курительной, где стоял стол с шахматами, задерживались часами. Сытые литераторы испытывали больше тяготенья друг к другу. Здесь впервые читались новые стихи. Обсуждение новых книг тоже проходило под сенью этого дома.

Словом, Ленкублит — это целая эпоха в жизни ленингр<адских> писателей. Потом, когда писатели открыли свой ресторан в Шуваловском особняке на Неве и там строго, во вкусе Жака Израилевича, известного антиквара, оформили этот дом, не хватало в нем той теплоты, тесности и дружбы, которая была в маленьких комнатках на Невском.

II. Жена поэта

Любимая, жуть…
Когда любит поэт,
влюбляется Бог неприкаянный… [483]

Мне выпало нелегкое счастие более 6 лет быть женой поэта.

Видимо, я очень рано вступила на этот сложный путь служению муз, куда увлекло меня детско-романтическое представление о поэтах и поэзии. Мне было только 16 лет, когда я познакомилась с одним ленингр<адским> поэтом.

То ли натиск его был так стремителен, то ли моему детскому воображению импонировало быть женой поэта, но события

развернулись молниеносно. Я сбежала из дома, где «старорежимные» и «ограниченные» родители мечтали о том, что их дочь, закончив школу, поступит в университет, и совсем не разделяли моего восторженного отношения к прозаически бедно одетому человеку, лет на десять старше меня. Мне пришлось бороться за свою независимость. Три года я не встречалась с ними.

Что и говорить, что жизнь с поэтом в такой непосредственной близости была сплошь из разочарований. Стихи не лились. Они делались, делались с трудом. Вдохновенность поэта подчас определялась степенью заинтересованности в заказе. В «социальном заказе», как после Маяковского любили называть поэты свой труд для газет.

Больше всего вспоминается мне то, как я хотела спать и как это всегда было некстати. Было ли это «средь шумного бала», т. е. за полночь, когда, после выпитого вина, собравшиеся в нашей комнате поэты читали свои стихи и я, усевшись в угол дивана, тщательно растирала слипавшиеся глаза. Было ли это, когда избранный мною поэт, больше всего по ночам, писал стихи.

Был он всегда трезвый при этом. Но как загнанный зверь ходил взад и вперед по комнате, рубя воздух правой рукой и бормоча одному ему ясные стихи.

Если я засыпала, он обрушивался на меня градом упреков, что я не ценю вдохновение поэта, что он переживает Болдинскую осень, что ему надо же на ком-нибудь проверять стихи. И я опять силилась не спать. Иногда я очень жалела себя, и разные литературные аналогии рождались в моем мозгу, но одна была неизменной — чаще всего мне казалось, что я та чеховская девочка, которой хозяйский ребенок не дает спать по ночам. О развитии этого образа я не думала[484].

III

Я вспоминаю работу поэта. Меня тоже всегда поражало в нем злые глаза, сжатые в злобе челюсти, узкие прищуренные глаза, непрерывная ходьба по комнате, напоминавшая движение тигра в клетке, движение правой руки, в ритм шагов как бы рубящей воздух, и то же ощущение неимоверно тяжелого труда при создании легких, как бы льющихся самих собой стихов.

Подготовка текста И. Басовой,
комментарии Н. Прозоровой

«Но о сохранении рукописей после меня пора подумать…» Переписка Л. Г. Басовой с М. П. Берновичем

Ключевая тема переписки Людмилы Григорьевны Басовой[485], второй жены Бориса Корнилова, с ленинградским исследователем и поэтом Михаилом Петровичем Берновичем — сохранение и публикация творческого наследия Бориса Петровича.

После выхода в 1957 году первого посмертного издания стихотворений и поэм Корнилова, подготовленного Берновичем и О. Ф. Берггольц[486], Михаил Петрович продолжал выявление текстов поэта, опубликованных в периодической печати. Он обращался к друзьям Корнилова, а также вел разыскания его творческих материалов среди родных поэту людей.

Весной 1959 года исследователь написал письмо Л. Г. Басовой, в котором обсуждал вопрос о возможной публикации неизвестных корниловских стихотворений из ее архива, а также обратился с предложением о передаче (продаже) имеющихся у нее рукописей в Пушкинский Дом. Тяжелобольная Людмила Григорьевна, проживавшая в то время в Крыму, сочувственно отнеслась к его предложению. «О продаже их (рукописей. — Н. П.) я, признаться, не думала, — писала она Берновичу. — Сохранила я их в очень тяжелых условиях эвакуации. И мне они очень дороги. <…> Но о сохранении рукописей после меня пора подумать, в этом плане Ваше предложение вполне своевременно».

Несмотря на годы террора и эвакуацию, Людмиле Григорьевне удалось сберечь две тетради («оранжевую» и «коричневую») с автографами стихотворений Корнилова и рукопись неоконченной поэмы «Люся». Дальнейшая переписка с Берновичем продолжалась на одной волне: оба корреспондента были обеспокоены тем, чтобы рукописи поэта «попали в чистые руки». Доброжелательный тон писем Людмилы Григорьевны дает основание предполагать, что она считала Берновича единственным исследователем, которому могла доверить публикацию неизвестных текстов из своего архива.

В публикуемых письмах отражены перипетии несостоявшейся в 1959 году передачи (продажи) «коричневой» тетради в Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Одна из причин столь

неудачного (для пушкинодомцев) оборота дела состояла в том, что первоначально экспертная комиссия института не «оценила» «коричневую» тетрадь по достоинству, объяснив это тем, что стихотворные тексты из нее уже были опубликованы. Но позже, благодаря настойчивости Михаила Петровича и поддержавшей его сотрудницы Рукописного отдела Марфы Ивановны Маловой, комиссия изменила свое решение, поставив тетрадь, по выражению Берновича, «в один ряд» с рукописями Есенина. Судя по письмам, именно эта досадная заминка задела Людмилу Григорьевну, которая была уверена в ценности тетради прежде всего как объекта для исследования и мало беспокоилась о материальной стороне дела.

Но имелась и другая причина, по которой рукопись не пополнила собрание Пушкинского Дома. Людмила Григорьевна, вероятно, была не готова расстаться с дорогой реликвией — вещественной памятью о прошлом. Да и Бернович, инициировавший переговоры с Пушкинским Домом и склонявшийся к передаче рукописи на государственное хранение, все же рекомендовал поступать Людмиле Басовой, «как подсказывает сердце». Вот почему в тот год эта история не получила своего завершения: рукопись («коричневая» тетрадь) была возвращена владелице по ее просьбе. Об этом свидетельствует запись, сделанная сотрудником Рукописного отдела: «Рукопись возвращена Л. Г. Басовой через М. П. Берновича. 17/VII. 59»[487]. «Одно я обещаю, — писала Людмила Григорьевна Михаилу Берновичу, — что после меня эти рукописи попадут в Пушкинский Дом, а пока я их решила оставить».

Действительно, обе рукописные тетради Корнилова, как и завещала Басова, в итоге поступили на постоянное хранение в Пушкинский Дом. Но поступили они от имени Берновича, в распоряжении которого оказались через некоторое время после кончины Людмилы Григорьевны.

Попробуем на основе учетных документов Рукописного отдела восстановить последовательность архивных поступлений корниловских материалов. В 1964 году Бернович стал передавать в Пушкинский Дом часть своего личного архива, в котором были автографы О. Форш, В. Каверина, В. Рождественского, В. Пановой, С. Орлова и других писателей. В заявлении от 2 ноября 1964 года, кроме перечисления подаренных автографов советских писателей, Бернович написал: «Рукописи Б. Корнилова, письма ко мне его матери и жены передам после окончания работы над однотомником Корнилова для большой серии „библиотеки поэта“. Рукописи Б. Корнилова могут быть доступны для

изучения»[488]. Таким образом, становится ясно, что во время подготовки произведений Корнилова для «Библиотеки поэта», Бернович работал с «оранжевой» и «коричневой» тетрадями[489].

Следующая запись в учетных документах, которая фиксирует передачу Берновичем в дар в Пушкинский Дом двух тетрадей с автографами Корнилова, датируется 12 июня 1965 года. И наконец, еще одна запись о передаче рукописи неоконченной поэмы «Люся» относится к июлю 1966 года. Так сохраненные Людмилой Григорьевной рукописи поэта были переданы Михаилом Берновичем в Рукописный отдел Пушкинского Дома и находятся в составе личного архива Берновича (ф. 600).

Но вернемся к переписке 1959 года. Весьма примечательно последнее письмо Людмилы Григорьевны, которая с воодушевлением откликнулась на предложение Берновича поучаствовать в составлении нового корниловского сборника. В этом письме Людмила Басова приводит *свой* список «избранных» произведений Корнилова, благодаря которому мы узнаем, какие именно стихотворения были ею и, вероятно, самим Борисом Корниловым особенно любимы. Остается лишь сожалеть о том, что тяжелая болезнь не оставила Людмиле Григорьевне возможности сделать свое участие в популяризации поэзии Корнилова еще более весомым. В конце письма Людмила Григорьевна вновь напоминает Берновичу о «коричневой» тетради и пишет: «Высылайте рукопись! *Очень соскучилась*».

Помимо насущных вопросов, касающихся собирания воедино наследия поэта, корреспонденты называют в письмах круг лиц, причастных к возрождению интереса к творчеству Бориса Корнилова. Неоднократно упоминаются в письмах женщины «страшной судьбы» — Таисия Михайловна Корнилова и Ольга Федоровна Берггольц, а также впервые возникает имя нижегородца Леонида Безрукова, «неистового ревнителя» поэзии Корнилова.

В публикацию включена вся сохранившаяся корреспонденция 1959 года: переписка составлена с использованием писем и телеграммы Берновича из личного архива Ирины Басовой (письма № 3, 6, 7, 9, 10), а также писем, хранящихся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в архиве Берновича: ф. 600, № 119 (письмо № 5) и № 154 (письма № 1, 2, 4, 8, 11, 12). Тексты публикуются по автографам, письма без датировок систематизированы по содержанию, сокращения раскрыты в ломаных скобках, подчеркнутые в текстах писем слова выделены при печати курсивом.

1. Л. Г. Басова — М. П. Берновичу

Уважаемый Михаил Петрович!

Я очень сожалею, что Берггольц[490] не передала Вам мои письма и что Вы давно, до сдачи книги в печать, не написали мне[491].

Я понимаю, что в старых книгах Б<ориса> П<етровича> были такие стихи, которые он не только не включил бы теперь, но и тогда многие стихи свои вызывали у него раздражение и недовольство, когда он видел их напечатанными[492].

Но те стихотворения, которые он любил (а это составляет очень маленький процент от всего им написанного), безусловно, выдержат испытание временем.

Вкус Б<ориса> П<етровича>, его поэтические симпатии и требовательность подтверждают это.

Очень прошу выслать мне оглавление книги.

Вы только подготовляли книгу к печати или редактируете ее?

Насчет наследства (т. е. гонорара) я тоже писала О<льге> Ф<едоровне>, чтобы она как единственную наследницу указала бы мать Б<ориса> П<етровича> — женщину очень страшной судьбы[493].

Теперь насчет рукописей.

О продаже их я, признаться, не думала.

Сохранила я их в очень тяжелых условиях эвакуации. И мне они очень дороги.

Единственно, что примиряет меня с Вашим предложением, — это мое состояние. Я очень больна, тяжело больна, и счет времени своего существования определяю месяцами, а не годами.

Конечно, я могу и ошибаться, но даже врачи не разубеждают меня в этом, ну а врачи, по идее, народ довольно оптимистический.

Верю я в силу одного лекарства, и если достану его, то мои мрачные прогнозы изменятся.

Но о сохранении рукописей после меня пора подумать, в этом плане Ваше предложение вполне своевременно.

Но вот так сразу мне расстаться с ними было бы очень тяжело. Я немного подумаю над этим, а пока ознакомлю Вас с содержанием тетрадок.

У меня одна целая тетрадка, в ней рукописные черновики следующих стихотв<орений> и поэм. 1934 г.

1. «Багрицкому» (не полностью)
2. «Ревность» («Соловьиха»)
3. «Мечта» («Готовый прыгнуть притаился омут…»)
4. «Знакомят молодых и незнакомых…»
6. Первый и второй варианты «Как от меда у медведя…»[494]
7. Первый вариант почти всей «Моей Африки»

8. «Открытие лета»
9. «Из летних стихов»
10. «Спасение»
11. «Со съезда писателей» (Но не «Разговор с татарским поэтом»)

Вторая тетрадка неполная.

На обложке автограф Зинаиды Райх с дарственной надписью[495].

На 1-ой странице:

Борис Корнилов.

Черновая тетрадь.

1934–1935 г.

Ленинград.

Над этим листом эпиграф — «В багрец и золото одетые леса»[496].

На второй странице перечислены стихи для книг 1935 года.

Черновики след<ующих> стихов и поэм:

1. «Вечер» («Гуси-лебеди пролетели…»)
2. Набросок «Пятьдесят поросят»
3. Несколько отрывков из стихотвор<ений>
4. «Елка» («Рябины пламенные грозди…»)
5. «Катя Ромашева» (так в рукописи. — Н. П.)
6. «Ни шороха и ни стука…» (На смерть Кирова)
7. «Из дневника» (1934 г.)
8. Отрывки из «Моей Африки», окончание поэмы
9. Четыре последних стихотворения (миниатюр), которые им *не предназначались* для печати
10.

> «Я вот этими вот руками
> землю рыл,
> и навоз носил» и т. д.

Есть в этой тетрадке его обращение в правление Л<енинградского> О<тделения> С<оюза> П<исателей> после статьи Горького «Литературные забавы»[497] и еще всякие наброски, вплоть до расписок коменданта за кварт<ирную> плату.

Может быть, Б<орису> П<етровичу> было бы неприятно (будь он жив), чтобы эта тетрадка была бы в чужих руках?

Ну, есть еще два черновика стихотв<орений> «Туес» и «Ночные рассуждения».

«Разговор с татарским поэтом» — нет у меня.

Вы, когда писали мне, неверно указали мой адрес: живу я в

Алупке, а не в Алуште.

Борису Михайловичу[498] передайте, что теперь я обижаюсь на него за то, что не отвечает.

Что с О<льгой> Ф<едоровной>, почему она в больнице?

Да, есть еще разрозненные листки начала новой поэмы — «Люся».

Есть фото разных лет.

Итак, всего наилучшего.

Уваж<ающая> Вас Людмила Григорьевна.

2. Л. Г. Басова — М. П. Берновичу

Уважаемый Михаил Петрович!

Сейчас отправила Вам рукописи.

Как получите, сразу сообщите.

Очень прошу Вас ставить меня в известность о ходе переговоров[499].

Какую из фотографий решили дать в сборник? Снимок 1925 г. сделан сразу по приезде в Л<енингра>д.

Что слышно с Гослитиздатовским изданием, когда оно намечается, каким?[500] Предполагается ли оно быть полным? Какие вещи Б<ориса> П<етровича> отсутствуют в Вашем архиве? Передала ли Вам Довлатова[501] его стихи? Есть у Вас «Чаепитие», «Лесной пожар», «Ты как рыба выплываешь…»?

За период моей жизни с Б<орисом> П<етровичем> — с 1931 по 1937 г. у меня сохранились записи и воспоминания о его работе, которые могут быть использованы как комментарии к некоторым стихотворениям и поэмам; история возникновения некоторых стихов.

Михаил Петрович, перечислите, пожалуйста, какие стихотворения Вам передала Марг<арита> Степ<ановна>? Если не все, то я дослала бы Вам, хотелось, чтобы хоть у Вас сосредоточилось все им написанное.

Желаю Вам всего доброго.

Искренне уважающая Вас

Людмила Григорьевна

3. М. П. Бернович — Л. Г. Басовой

Глубокоуважаемая

Людмила Григорьевна!

Сегодня получил рукопись и Ваше письмо. Все дошло в

полном порядке.

В понедельник 18 мая пойду в Пушкинский Дом. Буду сообщать о результатах переговоров. Без вашего окончательного решения не продам.

В тетради оказались три неизвестных мне стихотворения: «Знакомят молодых и незнакомых», из летних стихов «Все цвело» и «Спасение». Постараюсь их опубликовать, прежде всего, в периодической печати[502].

Маргарита Степановна[503] мне не передала ни одного стихотворения. Она говорила мне, что отдала их в ред<акцию> «Ленинградского альманаха», что я не знаю, но альманах не опубликовал[504].

Из неопубликованных вещей у меня есть «Елка» и «Сыну». Возможно, «Елка» где-либо печаталась. Если Вам известно что-либо, сообщите мне. В Пушкинском Доме хранится корректура сборника, который не вышел в Гослитиздате, там есть «Елка» и «Сыну»[505]. «Чаепитие» в свое время было опубликовано в «Звезде»[506], и этот текст я имею. «Ты как рыба выплываешь» у меня нет.

У Вас осталась еще одна тетрадь, очевидно, Вы решили ее сохранить у себя, но прошу Вас, если позволит здоровье, переписать все, что в ней есть, со всеми вычерками и вариантами, и прислать мне. Было бы чрезвычайно важно иметь ваши воспоминания о Борисе Петровиче. Я был бы Вам весьма признателен, если бы Вы их мне прислали.

Что касается издания Гослитиздата, то этот вопрос, вероятно, 1961 года, не раньше. Я буду представлять издательству «Полного» Корнилова, но думается мне, что слабые вещи, особенно из книги «Все мои приятели», нет надобности включать.

Фотографии я еще не получил, как только получу, сразу же вышлю Вам оригиналы и отпечатки. Я заказал их все увеличить. Сейчас у меня очень много работ, вероятно, в конце года выйдет моя первая книга стихов, которая пролежала в издательстве 3 года. В конце июня ее должны сдать в набор[507]. Если к сентябрю я буду свободен, то не исключена возможность, что я поеду отдыхать на юг и тогда, безусловно, заеду к Вам, хотя юг по состоянию моего здоровья мне противопоказан. Ведете ли Вы переписку с матерью Бориса Петровича?[508] И еще один весьма деликатный вопрос, не помогла ли она Вам из гонорара, который получила за однотомник? Сумма гонорара составляла около 86 тыс. рублей. Сейчас она получит почти такую же сумму. В свое время в Ленинград приезжала сестра Таисии Михайловны[509], я и Ольга Федоровна говорили с ней о необходимости оказать Вам помощь, были обещания. Но чем это кончилось? Ольга Федоровна

уехала на Алтай, одна[510]. Боюсь, как бы водка не погубила ее там. Пьет она совершенно безбожно, здоровье ее в ужасном состоянии. Жаль, что так гибнет очень умный и талантливый человек[511].

Пишите.

Желаю Вам здоровья и здоровья.

С сердечным приветом

14 мая

59 г. Л<енингра>д. Михаил Бернович

4. Л. Г. Басова — М. П. Берновичу

Уважаемый Михаил Петрович!

Мое внеочередное письмо вызвано тем, что на днях я получила письмо от некоего Леонида Безрукова[512] из г. Горького (который якобы пишет монографию, о Корнилове) с просьбой прислать ему воспоминания и письма поэта, т. к., несмотря на то что он уже год работает над книгой «Борис Корнилов», у него явно не хватает фактического материала. Ни письмо и ни сам автор не внушают ни малейшего доверия. Он связался с семьей Корниловых — был у матери, переснимал наши фотографии, вероятно, мать дала ему письма Б<ориса> П<етровича>, сейчас он в Горьком (там он и живет), встречается с сестрой Корнилова, учительствующей там же[513]. Если это и не авантюрист, то, во всяком случае, это такой человек, которого близко нельзя подпускать ни к литературе, ни к памяти литераторов[514].

А в г. Горьком к Корнилову относились как к земляку, и вполне возможно, что там, на его родине, может быть издана книга о нем.

Но как бы сделать, чтобы этим делом занялись люди сведущие и с чистыми руками?

Мать Корнилова — старая женщина, и ей трудно отличить проходимца от порядочного человека, тем более когда тот в очень лестных и сочувственных словах говорит о ее сыне.

И она позволила ему перебирать письма, фотографии, рассказывала о Б<орисе> П<етровиче> и т. д. Я этому гр<аждани>ну ответила, что в Л<енингра>де существует Комиссия по лит<ературному> наследству Корнилова[515] и что все имеющиеся материалы я направила туда и ничем ему помочь не могу.

Так что если Вас запросят, то знайте и постарайтесь выяснить, кто он и для кого пишет, и неужели издательство

поручило ему писать монографию о Корнилове?

Бога ради простите, что я взваливаю на Вас такие неприятные дела, но Вы лицо официальное — председатель Комиссии и Вам легче защитить память Корнилова от всяких «окололитературных» биографов.

Получили ли рукопись?

Когда думаете побывать в Крыму? Я бы в любое время предоставила Вам место, если бы Вы захотели быть нашим гостем.

Всего лучшего.

Искренне уважающая Вас

Людмила Григорьевна

Может быть, я очень строга и несправедлива к своему корреспонденту, посылаю для ознакомления письмо его Вам. Вы постарайтесь быть объективней и скажите Ваше мнение. Может быть, просто мальчишка?

Еще раз уваж<ающая> Вас

Людмила Григорьевна.

5. М. П. Бернович — Л. Г. Басовой

Глубокоуважаемая

Людмила Григорьевна!

Получил Ваше письмо с приложением письмеца Безрукова. Судя по его письму, этот человек книги о Корнилове не напишет. Вероятно, это какой-то местный литературовед слабенький или преподаватель, решивший написать о Корнилове. Но одного желания мало! Письмо, как оно написано, многое говорит. Фотографий я ему посылать не буду. В Ленинграде есть люди, которые действительно могут написать о Корнилове, в «Звезде» должна быть статья Зелика Яковлевича Штейнмана[516], но это только первая ласточка, вероятно, будут статьи отдельно и о «Моей Африке» и монография, но время и время на это потребуется. Может быть, этот Безруков и состряпает тощую брошюрку для местного издательства, только я сомневаюсь в этом. Я предлагал в прошлом году (в конце года) Горьковскому областному издательству выпустить «Избранное» Корнилова. Мне ответили отказом, причем я предлагал сделать всю работу бесплатно, только издавайте. Областное издательство от этого отмахнулось.

Я не помню, писал Вам или нет, но у меня есть мысль предложить «Избранное» Бориса Петровича в Москве, в «Молодой гвардии». Сейчас я начинаю зондировать почву.

Было бы замечательно, если бы Вы написали воспоминания о Корнилове, скажем, для «Нового мира», Твардовский очень высоко ставит творчество Бориса Петровича, в первом номере «Нового мира» за этот год напечатана хорошая рецензия Михаила Луконина об однотомнике Корнилова[517].

Извините, я, наверно, утомляю Вас письмами и рассуждениями. Ждите от меня сообщений и фотографии. Желаю Вам здоровья, держитесь крепче.

С сердечным приветом

[Подпись:] Мих Бернович.

P. S. Еще раз благодарю за приглашение, если будет возможность, приеду, но только я не умею долго быть на одном месте, я отдыхаю, все время двигаясь, сидеть на одном месте не могу, два-три дня и снова в путь, бродяга я.

М.Б.

17/V—59.

6. М. П. Бернович — Л. Г. Басовой

Глубокоуважаемая

Людмила Григорьевна!

Посылаю «Лесной пожар». Заседание в Пушкинском Доме состоится 15–16 июня. Сразу же сообщу Вам.

С приветом, пишите.

Мих. Бернович

12/VI—59

7. М. П. Бернович — Л. Г. Басовой

Телеграмма: Крым Алупка Приморская 12 Басовой

Из Ленинграда

На штемпеле: 18 06 59

рукопись пушкинском доме связи тем что стихи опубликованы оценена только двести рублей телеграфируйте окончательное решение = Бернович

8. Л. Г. Басова — М. П. Берновичу

Уважаемый Михаил Петрович!

Большое спасибо за «Лесной пожар», который я вчера получила.

Сегодня получила Вашу телеграмму и думаю, что рукопись сдавать не стоит.

Очевидно, для меня эта тетрадка представляет большую ценность, чем для Пушкинского Дома, вне зависимости, опубликованы ли стихи, написанные в ней, или нет.

Совершенно искренне пишу Вам, что если бы мне предложили купить тетрадки с рукописями Б<ориса> П<етровича>, то я бы приобрела их по значительно более высокой цене. Одно я обещаю, что после меня эти рукописи попадут в Пушкинский Дом, а пока я их решила оставить.

Не сердитесь на меня, милый Михаил Петрович, что столько волнений и труда доставила Вам эта затея.

Но даю Вам честное слово, что сдать в Пушкинский Дом я согласилась не ради денег, а только из уверенности, что они представляют ценность для Дома, нужны для работы и т. д. Судя же по телеграмме, большой ценности они не имеют, т. к. были опубликованы, следовательно, я с чистой совестью заберу их обратно к себе, без малейшего ущерба для кого-то бы ни было.

В другой тетрадке Б<ориса> П<етровича> имеются неопубликованные стихотвор<ения>, но там есть личные записи его, и поэтому ее я не предлагаю.

На днях перепишу «Ты как рыба выплываешь с этого…», что еще прислать Вам? Есть ли у Вас «Все мы гордые, мы, крестьяне, дети сельских учителей…»?[518] У меня это стихотв<орение> забрала в прошлом году Довлатова.

Пишите, искренне уважающая Вас

Людмила Григорьевна.

9. М. П. Бернович — Л. Г. Басовой

Глубокоуважаемая

Людмила Григорьевна!

Получил Ваше письмо, а Вы, вероятно, мое. Был в Пушкинском Доме, хотел взять обратно рукопись, показал ваше письмо. Марфа Ивановна[519], милая, добрая женщина, за это время снова собрала комиссию (не всю), и переоценили рукопись, дав самое высшее, поставив в один ряд с оценкой Есенина. Я там ругался задним числом, говорил обидные для них вещи, кричал: «Бойтесь пушкинистов». Оказывается, многие из них не знают, что это из стихотворения Маяковского, посвященного Пушкину[520], — но Марфа Ивановна не виновата, она только технический исполнитель, секретарь Рукописного отдела. Молодые сотрудники Пушкинского Дома, знающие и любящие поэзию

Корнилова, малочисленны по отношению к старшему поколению ученых, занимающихся 17–18—19 веками. Стихов Корнилова они не читали и не знают. Марфа Ивановна рукопись мне не вернула — она сегодня напишет Вам письмо. Я не собираюсь оказывать в данном вопросе на Вас какое-либо давление, окончательно решайте сами. Но как бы поступил я? Безусловно, оставил в Пушкинском Доме. Тем более что есть отдельные молодые, только начинающие свою научную деятельность люди, которые занимаются вопросами советской поэзии, более того, я думаю, что кого-нибудь из них я просто натолкну на большую монографического плана статью о Корнилове. Но еще раз повторяю, что этими строками я не хочу оказывать на Вас какого-либо давления. Но лично я в этом вопросе как-то оказался, образно выражаясь, — между молотом и наковальней. Но с Пушкинским Домом мне детей не крестить, решайте, как подсказывает сердце.

Вчера имел честь разговаривать с товарищем из Горького, тем самым, который собирается писать о Корнилове[521]. Он был у Прокофьева, у Решетова, у Левоневского[522]. Прокофьев послал его ко мне. Это, на мой взгляд, во многом наивный парень, не представляющий себе, насколько трудно написать то, что он задумал, но до фанатизма влюбленный в стихи Бориса Петровича.

К литературе он имеет весьма незначительное отношение, пишет рецензии на пьесы, поставленные в театрах Горького. У него командировка из Союза писателей, подписанная Кочиным, автором романов «Девки», «Парни», который недавно вернулся из ссылки[523]. Уже тот факт, что он честно мне сказал (а бывает иное!), что он не литератор, а электротехник, но сейчас переходит на постоянную работу в газету, — говорит о его честности. Мне нравится его невероятная активность и любознательность, однако не навязчивая любознательность. Держится он скромно, немного застенчив, порой робок. Семеновский период жизни Корнилова он написал, и это будут печатать в горьковском альманахе[524], но мне кажется, что поднять все творчество Корнилова он не сможет. Я постараюсь направить его усилия в том направлении, чтобы он просто написал обстоятельную статью или небольшую брошюру для местного издательства 2–3 листа, не больше, с тем, однако, чтобы до появления ее в печати эта работа была прислана в литературную Комиссию по наследию Корнилова. Все, что в моих силах, — я ему помогу. Он был у меня дома, ахал при виде большого количества книг, я ему показывал кое-что из своего личного собрания, визитные карточки Чехова и Короленко,

фотографию Федора Шаляпина с автографом, показал ему письма наших современников, Шишкова, Гладкова, Форш, Федина, Каверина[525], все это производило на него очень сильное впечатление. Но не знаю, еще раз повторяю, сможет ли он при всей его любви к стихам Корнилова написать, одного желания, как известно, мало.

Пришлите мне: «Все мы гордые…». И все, что есть, перепишите и пришлите, если Вам позволит здоровье, а я со своей стороны, когда освобожусь, и буду заниматься однотомником, и вести поиски по всем журналам и газетам, что мне в свое время не удалось полностью осуществить, — пришлю Вам. Помню, писал Вам относительно стихотворения «Зоосад», было такое или нет, Вы мне не ответили. Пришлите все, что не опубликовано, опубликуем с заметкой о том, что Вы любезно это предоставили. Ну, я заболтался и утомил Вас.

Желаю Вам доброго здоровья.

Прошу передать мои наилучшие пожелания Вашему мужу[526].

С приветом

[Подпись: Мих Бернович]

23. VI. 59.

У нас холодно, как осенью, хоть печку топи.

10. М. П. Бернович — Л. Г. Басовой

Глубокоуважаемая

Людмила Григорьевна!

Послал Вам два письма и не получил ответа. Как Ваше здоровье? Каково ваше последнее решение относительно рукописи. Сообщите мне взять ее обратно, тогда напишите об этом, чтобы я мог показать Ваше письмо и взять рукопись, или сообщите, что согласны передать в Пушкинский Дом, где она сейчас лежит и ждет Вашего ответа.

Три стихотворения Бориса Петровича «Знакомят молодых и незнакомых», «Спасение» и «Из летних стихов», которые не публиковались в сборниках и, по-моему, также не публиковались в периодике, я передал в «Литературную газету» с маленьким предисловием о том, что эти стихи Вы любезно предоставили «Лит<ературной> газете»[527].

Вы обещали мне прислать еще стихи. Или не можете это сделать по состоянию здоровья. Тогда не надо.

Пишите.

С приветом и пожеланием здоровья

[Подпись: М. Бернович]

9/VII.59 Л<енигра>д.

P. S.[528] Лен<инградское> отдел<ение> «Литгазеты» переслало стихи в Москву. Пока результатов не знаю, это должен решить С. С. Смирнов гл<авный> редактор «Лит<ературной> газеты»[529].

11. Л. Г. Басова — М. П. Берновичу

Уважаемый Михаил Петрович!

Получила Ваше письмо и, признаться, не обрадовалась, что Вы собираетесь печатать стихи Б<ориса> П<етровича> из тетради. По-моему, они все публиковались — какие в газете, какие в журнале — сейчас не вспомню, да они и не лучшие.

Не поняла я и то — что ленинградская литгазета является филиалом «Литературной»? Редактирует тот же Смирнов? Объясните, пожалуйста.

Если хотите, то для печати пришлю Вам действительно неопубликованные нигде «Все мы гордые, мы, крестьяне, дети сельских учителей…». Оно маленькое, могу полностью привести его здесь[530].

Б. Корнилов[531]

Мне не выдумать вот такого
И слова у меня просты —
Я крестьянил*[532] в деревне Дьяково
От Семенова пол версты
Я в губернии нижегородской
в детстве счастье свое искал —
земляной покрытый коростой
золотую картошку копал
Я вот этими вот руками
землю рыл и навоз носил
и по Керженцу и по Каме
я осоку траву косил
На твое, земля, на здоровье…
теплым жиром земля дыши
получай лепешки коровьи
лошадиные голяши[533]
Черноземное поле на озимь
все засеяно, заборонить,
чтобы лишнего зернышка наземь

понапрасну не заронить.
Уличите меня в изъяне
год от года мы все смелей
все мы гордые
мы крестьяне
дети сельских учителей[534]

Это стихотворение даже не переписано им начисто. Часть записано под диктовку моей рукой.

Да, стихотворение «Зоосад» или «Зоопарк» у Б<ориса> П<етровича> было. Не помню только, где было опубликовано. Кажется, писалось по заказу детского журнала.

Да, Михаил Петрович, сейчас я не в «форме» — замучила меня температура, от которой, кажется, начинаю избавляться, как только станет чуть лучше, пришлю Вам стихи. А пока переписываю из тетрадки вычеркнутые строчки из «Вечера» — «Гуси-лебеди пролетели…».

После строк: «земляника моя лесная
я не знаю ее души» — было:

«Может быть, она не любила,
но прощала мои грехи
и на цыпочках уходила
если я сочинял стихи».

По-моему, хорошие строчки.
Вышла ли Ваша книга?[535] Что нового в Л<енингра>де?
Приехала ли Ольга Федор<овна>?
У нас уже наступило крымское лето, в тени +29.
Желаю всего наилучшего.
Искренне
Людмила Григорьевна.
Насчет рукописи отправила письмо 3 дня назад[536].

12. Л. Г. Басова — М. П. Берновичу

Уважаемый Михаил Петрович!

Во-первых, я не знаю, получили ли Вы мое письмо со стихотвор<ением> «Все мы гордые…». По времени Вы давно

должны были его получить.

Во-вторых, интересно, кто изменил строчку в стихотв<орении> Б<ориса> П<етровича> — «не принимающие директив» на «живущие без директив»?[537] Этим очень нарушился ритм стихотв<орения>, и Б<орис> П<етрович>, обладавший хорошим поэтическим «слухом», никогда так не написал бы.

В-третьих, я очень тронута тем, что Вы хотите посоветоваться со мною, что включить в «Избранное», но не пишете, на какое кол<ичество> строк можно рассчитывать, и тут же пишете, что с рукописью выезжаете.

Т<ак> ч<то> если это мое письмо застанет Вас, то я могу посоветовать только одно — что необходимо включить в первую очередь, т. е. примерно так, хронологически я тоже неточна:

I

1. «Айда, голубарь…»
2. «Лошадь» и «Усталость тихая, вечерняя…»
3. «На Керженце»
4. «Русалка»
5. «Прадед»
6. «Чаепитие»
7. «Похваляясь любовью недолгой…»
8. «До земли опуская длани…»
9. «В Нижнем Новгороде с откоса…»
10. «Соловьиха»
11. «Вечер»
12. «Туес»

II

Песни:

1. О встречном
2. «Комсомольская-краснофлотская»
3. «Пограничная»

III

1. «Продолжение жизни»
2. «Качка на Каспийском море»
3. «Большая весна наступает с полей»
4. «Тосковать о прожитом излишне»
5. «Елка»
6. «Начало зимы»
7. «Под елью изнуренной и громоздкой»
8. «Мечта»
9. «Ночные рассуждения»*[538]
10. «Яхта»
11. «Ящик моего письменного стола»

12. «Охота»
IV
«Как от меда у медведя…»
V
«Эдуарду Багрицкому»
«Разговор с татарским поэтом»
«Пушкин»
VI
В зависимости от возможности отрывки или целиком:
«Триполье»
«Моя Африка»

Вот это основное, посмотрите еще в корректуре последнего сборника (того, что не увидел свет), есть ли «Я снова тебя беспокою, жена» и*[539] «Ночные рассуждения» («Ветер ходит по соломе…»). Если его нет, я пришлю — это очень хорошее стихотв<орение>. Можно еще включить «Знакомят молодых и незнакомых…».

В своем последнем письме я писала Вам о Твардовском, т. к. он просил меня прислать неопублик<ованные> вещи Корнилова. Вы мне на это ничего не отвечаете. После сборника «Елку» уже в журнал нельзя. Напечатает ли он ее? Может, лучше ткнуть в «Избранное», все же так увидит свет? Как Вы думаете об этом?

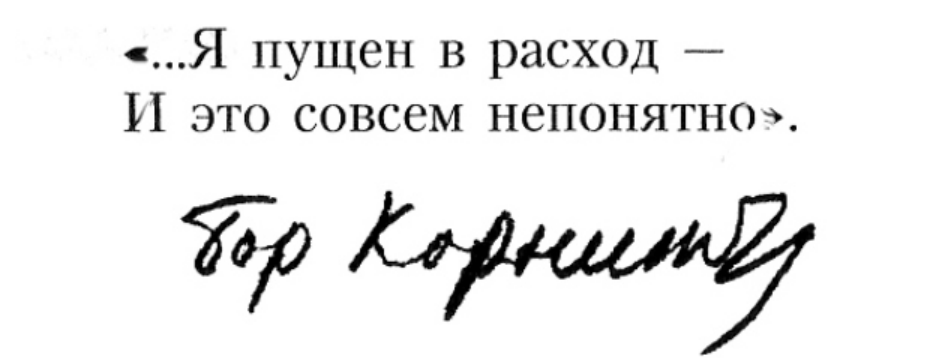
В «Избранное» еще можно включить «Все мы гордые, мы, крестьяне…».

Есть у меня еще начало поэмы «Люся», которую Б<орис> П<етрович> так и не дописал. Есть хорошие отрывки. Пишите. Высылайте рукопись! *Очень соскучилась*.

Желаю всего лучшего.

Людмила Григорьевна.

Публикация Н. А. Прозоровой



Часть четвертая. «ПРИЧИНА СМЕРТИ — РАССТРЕЛ»
Материалы из следственного дела Бориса Корнилова

Протокол первого допроса

[540]

1937 г. *марта мес. 20* дня. Я, *Опер. Уполном. 5 отд. IV отдела мл. лейтенант Гос. без. Лупандин* допросил в качестве обвиняемого

1. Фамилия *Корнилов*
2. Имя и отчество *Борис Петрович*
3. Дата рождения *1907*
4. Место рождения *г. Семенов, Горьковской обл.*
5. Местожительство *канал Грибоедова, 9, кв. 123*
6. Нац. и гражд. (подданство) *русский, грн. СССР*
7. Паспорт *отобран при обыске*
8. Род занятий *литератор, исключен из Союза совет. писателей за пьянство*
9. Социальное происхождение *сын сельского учителя*
10. а) до революции *жил с родителями*
б) после революции *литератор*
11. Состав семьи женат; *жена Борнштейн Ципа Григорьевна, дом. хоз.; сестра Шабарова Елизавета, учащаяся; сестра Александра — сельская учительница, отец Корнилов Петр и мать Корнилова Таисия Мих. — учительствуют в Семенове*
12. Образование (общее, специальное) *среднее*
13. Партийность *б/п С 1923 по 1928 г. состоял в ВЛКСМ — исключен за неуплату членских взносов*

……

17. Служба в Красной армии *проходил обучение вневойсковым порядком*

Показания обвиняемого *Корнилова Бориса Петровича 20 марта 1937 г.*

ВОПРОС: Следствие располагает данными о том, что вы до момента ареста вели контр-революционную работу. Дайте показания по данному вопросу?

ОТВЕТ: К Советской системе я относился отрицательно. В беседах с окружающими я высказывал свои контр-революционные[541] взгляды по различным вопросам политики партии и советской власти. Я подвергал контр-революционной критике мероприятия партии и правительства в области коллективизации сельского хозяйства, искусства и литературы и др. Кроме того, я являюсь автором ряда контр-революционных литературных произведений к числу которых относятся: «Елка»; «Чаепитие»; «Прадед». Во всех этих произведениях я выражал

сожаление о ликвидации кулачества, давал контр-революционную клеветническую характеристику советской действительности и восхвалял кулацкий быт.

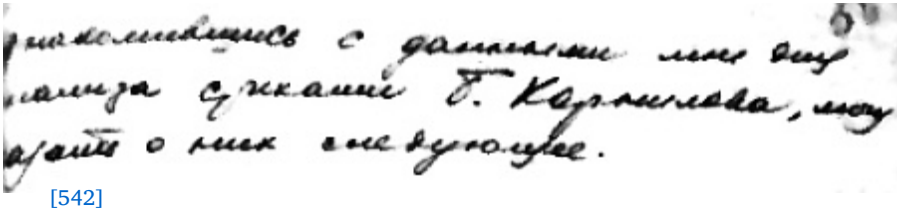
Эти контр-революционные произведения я читал среди писателей, артистов и художников. Ответы записаны с моих слов верно и мною лично прочитаны.

Борис КОРНИЛОВ

Допросил Опер. Уполном.

5 отд. IV отдела мл. лейтенант Лупандин

Н. Лесючевский. О стихах Б. Корнилова (литературоведческая экспертиза)



[542]

Ознакомившись с данными мне для анализа стихами Б. Корнилова, могу сказать о них следующее.

В этих стихах много враждебных нам, издевательских над советской жизнью, клеветнических и т. п. мотивов. Политический смысл их КОРНИЛОВ обычно не выражает в прямой, ясной форме. Он стремится затушевать эти мотивы, протащить их под маской «чисто лирического» стихотворения, под маской воспевания природы и т. д. Несмотря на это, враждебные контрреволюционные мотивы в целом ряде случаев звучат совершенно ясно и недвусмысленно. Они отчетливо прорываются во многих стихотворениях, они являются лейт-мотивами некоторых стихотворений целиком.

Прежде всего здесь следует назвать стихотворение «Елка». В нем КОРНИЛОВ, верный своему методу двурушнической маскировки в поэзии, дает, якобы, описание природы, леса. Но маска здесь настолько прозрачна, что даже неопытному, невооруженному глазу становится полностью ясна откровенная контрреволюционность стихотворения. Написанное с большим чувством, с большим темпераментом, оно является тем более враждебным, тем более активно направленным на организацию контрреволюционных сил[543].

КОРНИЛОВ *цинично пишет о советской жизни* /якобы о мире природы/:

«Я в мире темном и пустом…»

«Здесь все рассудку незнакомо…
здесь ни завета,
Ни закона
Ни заповеди,
Ни души».

Насколько мне известно, «ЕЛКА» написана в начале 1935 г., вскоре после злодейского убийства С. М. КИРОВА[544]. *В это время шла энергичная работа по очистке Ленинграда от враждебных элементов. И «ЕЛКА» берет их под защиту. КОРНИЛОВ со всей силой чувства скорбит о «гонимых», протестует против борьбы советской власти с контрреволюционными силами. Он пишет, якобы, обращаясь к молодой елке*[545]:

«Ну, живи,
Расти, не думая ночами
О гибели
И о любви.
Что где-то смерть,
Кого-то гонят,
Что слезы льются в тишине
И кто-то на воде не тонет
И не сгорает на огне».

А дальше КОРНИЛОВ откровенно говорит о своих чувствах:

«А я пророс огнем и злобой,
Посыпан пеплом и золой,
Широколобый;
Низколобый,
Набитый песней и хулой».

Концовка стихотворения не менее показательна:

«И в землю втоптана подошвой,
Как елка, молодость моя»

мрачно заключает КОРНИЛОВ.

Стихотворение «ВОКЗАЛ», стоящее у КОРНИЛОВА рядом с «ЕЛКОЙ», перекликается с нею. Маскировка здесь более тонкая, более искусная. КОРНИЛОВ старательно придает стихотворению неопределенность, расплывчатость. Но политический смысл

стихотворения все же улавливается вполне.

Автор говорит о тягостном расставании на вокзале, об от'езде близких друзей своих. Вся чувственная настроенность стихотворения такова, что становится ясно ощутимой насильственность от'езда, разлуки:

«И тогда —
Протягивая руку,
Думая о бедном, о своем,
Полюбил я навсегда разлуку,
Без которой мы не проживем.
Будем помнить грохот на вокзале,
Беспокойный, тягостный вокзал,
Что сказали, что не досказали,
Потому, что поезд побежал.
Все уедем в пропасть голубую»[546].

Очень двусмысленны следующие строки о том, что потомки скажут, что поэт любил девушку, «как реку весеннюю», а эта река —

«Унесет она и укачает
И у ней ни ярости, ни зла,
А впадая в океан, не чает,
Что меня с собою унесла!»

И дальше, обращаясь к уехавшим:

«Когда вы уезжали
Я подумал,
Только не сказал —
О реке подумал,
О вокзале,
О земле — похожей на вокзал».

Повторяю, это стихотворение воспринимается особенно ясно,

будучи поставлено рядом с «ЕЛКОЙ». А в рукописи КОРНИЛОВА, подготовленной как книга, между «ЕЛКОЙ» и «ВОКЗАЛОМ» стоит только одно и тоже политически вредное стихотворение «ЗИМОЙ».

Смысл этого стихотворения в клеветническом противопоставлении «боевой страды» периода гражданской войны и нынешней жизни. Последняя обрисована мрачными красками. Мир встает убогий, безрадостный и кроваво-жестокий.

«А на улице —
Все снег, все снег.
Прижимается сосна к сосне
И ночные часы горьки,
И в печурке дрова трещат,
И в хлеву душат кур хорьки,
И от яростной злобы пищат.
Вся избушка похожа на гроб,
Намело до крыши сугроб,
Накрошу в картошку груздей,
Позову на ужин друзей».

И вот приходят в эту «избушку-гроб» друзья, пьют водку и вспоминают с горечью КОТОВСКОГО.

«А на улице — все снег,
Все снег.
Прижимается сосна к сосне.
Ходит по лесу
И по полю метель…»

Не случайно, видимо, эти три стихотворения поставлены КОРНИЛОВЫМ рядом. Они усиливают друг друга, они делают особенно ощутимым вывод, который сам собой выступает между строчек: нельзя мириться с такой мрачной жизнью, с таким режимом, нужны перемены.

Этот контрреволюционный призыв является квинт-эссенцией приведенных стихотворений. Он не выражен четко, словами. Но он выражен достаточно ясно всей идейной направленностью стихотворений и их чувственным, эмоциональным языком.

Вот почему по-крайней мере двусмысленно звучат имеющиеся в одном из стихотворений строки —

«Мы переделаем ее,
Красавицу планету».

Уже разбор этих трех стихотворений показывает, что они не случайны. Неслучайность их дополнительно подтверждается тем, что во многих других стихотворениях прорываются сходные и прямо те же мотивы. Они ловко вставляются в безобидный как будто-бы текст стихотворения.

В стихотворении «Песня о шахтерской слободке», например, прорывается известный уже нам мотив: «за что боролись». Шахтеры возвращаются с гражданской войны. Но нет им радости:

«Воротились родимые други,
Разогнав и волков и волчат —
Только видят — все те-же лачуги,
Тихо плачут и горько молчат».

В большом стихотворении «Начало земли» в целом как будто не вызывающем особых сомнений /это — советские, но весьма риторические, поверхностные стихи, как часто бывает у КОРНИЛОВА в его «благонамеренных» произведениях/, вдруг выскакивают такие строки:

«Так повелось из рода в род,
Что по равнине гладкой
Любой из нас идет вперед,
Но все-таки с оглядкой.
Крадется около стены,
Чтоб не напали со <спины>.
Глаза,
Биенье крови
И руки наготове».

Вероятно, КОРНИЛОВ стал бы доказывать, что я понимаю эти

строки неправильно, что они может быть относятся к другому времени, что в «контексте это иначе» и т. п., и т. п.

Но это было-бы лишь попыткой увернуться. Никакого контекста в сущности нет. Приведенные строки выглядят, как совершенно самостоятельная вставка. И они воспринимаются, как относящиеся к нашей советской действительности. Значит здесь — либо наглая клевета на советский строй, если речь идет действительно о «любом», либо, что вернее, скорбно-сочувственное изображение изолированности в нашей стране ее заклятых врагов. Это тот же мотив о «гонении», который так резко звучит в «ЕЛКЕ».

В стихотворении «МОЛОДОЙ ДЕНЬ», как будто воспевается празднование Международного Юношеского Дня. Но за внешней и пустой риторикой этого «воспевания» выступают такие эмоционально куда более полновесные строки:

«Вот и осень.
Леса не дышат,
Много горести,
Много тьмы…»

Или:

«И в Японии
И в Сибири
Громыхая — вперед, вперед
В целом мире,
В тяжелом мире,
Этот день по земле идет».

Что Япония, — что Сибирь для автора это одинаково «тяжелый мир».

Такие «крики души», как «тьма», «ненастье», «темная судьба», «большая сердечная мука», «некуда деться», «мне не петь, не плясать, мне осталось только локти кусать» и т. д. в большом количестве разбросаны в стихотворениях КОРНИЛОВА.

Отсюда — мотивы побега, ухода от «тяжелого мира». В одном из стихотворений читаем:

«Я пойду тропой окольной,
Даль-дорога нипочем
В стороне чужой раздольной
Встречу милого.
Вдвоем
С чернобровой, окаянной
Девкой яростных кровей…»

В другом стихотворении поэт завидует гусям улетающим к «берегам другим, красивым». Он завидует гусям, потому, что:

«Темнота идет немая
По моей стране по всей»[547].

Следует также отметить, что в своих риторических и по существу холодных стихах о революционных боях КОРНИЛОВ прибегает к изобразительным средствам, зачеркивающим героическую, целеустремленную борьбу масс, под руководством партии завоевывающих социалистическое будущее.

В стихотворении «САМСОН» гражданская война выглядит такой же печальной необходимостью, как война империалистическая. Матросы идут воевать лишь «повинуясь приказам». Эпитеты и метафоры, которыми, пользуется КОРНИЛОВ говоря о Красной Армии, характеризуют ее так, как могли бы быть охарактеризованы махновцы. Кон. армия, например, «хмельная без вина». О погибших красных бойцах говорится так:

«Красиво прожили свой век,
Отгуляли,
И отвоевали».

Революционные песни — «Песни пьяные без вина».

Полновесного художественного звучания достигают стихи КОРНИЛОВА там, где речь идет о кулацком быте. Поэт по сути дела воспевает этот быт, воспевает кулака. /Впрочем, это общеизвестно/. Таковы стихи, рисующие пир в белогвардейском

штабе, расположившемся в поповском доме /стихотв. «САМСОН»/, таково стихотворение без названия, несомненно воспевающее кулака:

«Видел я, как шел через деревню
Незнакомый мне досель мужик…»

Этот «мужик» видимо тайно возвращается в родное селение. Стихотворение кончается так:

«Эх, налей ендовы пенным медом,
Брагой золотистой и хмельной,
Похваляйся перед всем народом
Именитым, да мужицким родом,
Да смутьянной, песенной родней.
……
……
Он стоит Анемподист [548] *РОМАНОВ*
Дед мой —
Черная моя тоска».

Стихотворение «ЧАЕПИТИЕ» — явно кулацкое по своему духу. В нем дается любовное воспевание довольства и веселья кулацкой жизни, в нем канонизируется эта жизнь. Тесно примыкает к нему и стихотворение «НОВОГОДНИЕ СТИХИ».

В стихотворении «ОДИНОЧЕСТВО» речь идет о «хозяине», страдающем от одиночества, так как «в колхозе пожалуй полсела». Этот «хозяин» не оставляет никаких сомнений относительно его социального лица. Он — кулак. Вот его сон:

«Приснился сон хозяину:
Идут за ним грозя,
И убежать нельзя ему
И спрятаться нельзя.
……
Идут за ним по клеверу,
Не спрятаться ему
Ни к зятю,

И ни к деверю,
Ни к сыну своему.
Заполонили поле —
Идут со всех сторон…»

КОРНИЛОВ не скрывает своей горячей симпатии к этому «гонимому» кулаку. Он прямо говорит:

«И что его касаемо —
Мне жалко старика».

И с какой болью за этого «старика» говорит КОРНИЛОВ:

«Но, впрочем, есть компания,
Друзья у старика,
Хотя скажу заранее,
Собой невелика —
Царица мать небесная,
Отец небесный царь,
Да лошадь бессловесная,
Бессмысленная тварь».

После этого весьма подозрительно в политическом отношении выглядит концовка стихотворения:

«Мне хорошо,
Мне весело,
Что я не одинок.
Мне поле песню вызвени,
Колосья-соловьи,
Что в Новгороде,
В Сызрани
Товарищи мои».

И не случайно так почтительно, с таким преклонением неоднократно вспоминает КОРНИЛОВ *кулацкого поэта Сергея ЕСЕНИНА*.

Чтобы закончить, хочу остановиться еще на двух стихотворениях КОРНИЛОВА.

Одно из них называется «ПОРОСЯТА И ОКТЯБРЯТА» и представлено в двух вариантах. Внешне оно представляется шутейным стихотворением. Но на самом деле оно полно издевательства над октябрятами, над возможностью их общественно полезных поступков. Автору как бы все равно, что октябрята, что поросята. Октябрята так и говорят /встретив грязных поросят и решив их выкупать/:

«Будет им у нас не плохо,
В нашей радостной семье.
Мы… Да здравствует эпоха!
Получайте по свинье».

Октябрята вымыли поросят, но те снова ринулись в грязь и октябрята, ловя их, сами очутились в грязи.

«В лужу первую упали,
Копошатся, голосят
И грязнее сразу стали
Самых грязных поросят».

В другом варианте:

«В грязь упали октябрята,
Нестерпимо голосят,
Стали хуже поросят.
Полежали в грязной яме,
— Ну теперь мы квиты с вами —
Поросятам говорят».

«И сказали сразу тут же —
Поросятам надо лужи,
Октябрятам же — всегда

Только чистая вода».

«И теперь при солнце звонком
В мире сосен и травы
Октябренок над свиненком,
А свинья над октябренком,
Все смеются друг над другом
И по своему правы».

Так кончается это издевательское, под маской невинной шутки, стихотворение.

Следует отметить, что в одном из вариантов этого стихотворения, октябрята называются по именам, причем это — имена подлинных людей; например — берется имя *помощника Областного Прокурора т. Н. СЛОНИМ*:

«Тут, конечно, Нёмка СЛОНИМ
Закричал: „Пойдем, догоним…“
Тоже в лужу
„Караул!“
И по шею утонул».

Каверзный смысл стихотворения от этого становится еще злее.

Второе стихотворение, о котором я хотел упомянуть отдельно, это — «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КИРОВА». Это стихотворение, посвященное, якобы, памяти С. М. КИРОВА опошляет эту исключительно высокую тему. По адресу С. М. КИРОВА говорится много хвалебных и даже как будто восторженных слов, но эти слова пусты, холодны и пошлы. Разве передают великое горе народное и гнев народа такие слова:

«Секретарь, секретарь,
Незабвенный и милый!
Я не знаю, куда мне
Тоску положить…»

Пустые, холодные, лицемерные слова.

А вот образ С. М. КИРОВА в начале стихотворения. КИРОВ идет по Троицкому мосту. КОРНИЛОВ рисует его так:

«Он мурлычет:
— Иду я,
Полегоньку иду…»

Что это, как не издевательство над образом Сергея Мироновича?

Политический смысл злодейского убийства С. М. КИРОВА затушевывается, извращается. Пошло говорит КОРНИЛОВ об этом бандитском убийстве.

По сути дела КОРНИЛОВ прячет настоящих убийц, он их не называет, этих троцкистско-зиновьевских мерзавцев. Он по настоящему и не возмущается гнусным делом их рук.

Пространно и эпически спокойно говорит КОРНИЛОВ о каких-то непонятных «видимых врагах», раз'езжающих «в пышных шубах матерых», «на роскошных моторах».

«Этим был ненавистен
КИРОВ, знавший навек
Много тягостных /? — Н. Л./ истин,
Большевик,
Человек».

Так об'ясняются причины покушения на С. М. КИРОВА.

Дальше идет балаган с передачей молитвы этих бестелесных каких-то врагов, просящих бога помочь им.

Следующая глава «конкретизирует» облик врага. Это баба-яга, прилетевшая в гости к фашисту. КОРНИЛОВ дает их разговор о России. Эта галиматья занимает целую главу и делает стихотворение еще более пошлым.

Следующая глава рисует убийство С. М. КИРОВА. КОРНИЛОВ эпически спокойно дает слово злодею-убийце С. М. КИРОВА: Злодей НИКОЛАЕВ молодечески восклицает:

«Мы подходим к решению,
Смелее,

Смелей, —
КИРОВ будет мишенью
Для пули моей».

КОРНИЛОВ считает нужным передать состояние злодея. И как он его передает:

«Лихорадка и злоба,
*Потом **торжество**»*[549].

Ни слова о том, кем был гнусный убийца НИКОЛАЕВ. Ни звука о том, кто явился организаторами этого подлого убийства. Ни намека на контрреволюционную террористическую «работу» троцкистско-зиновьевских выродков. Вместо этого невнятица о бабе-яге и каких-то трутнях. И концовка стихотворения — приспособленчески заздравная, полная ячества, пошлая.

Таким образом, я прихожу к следующему заключению.

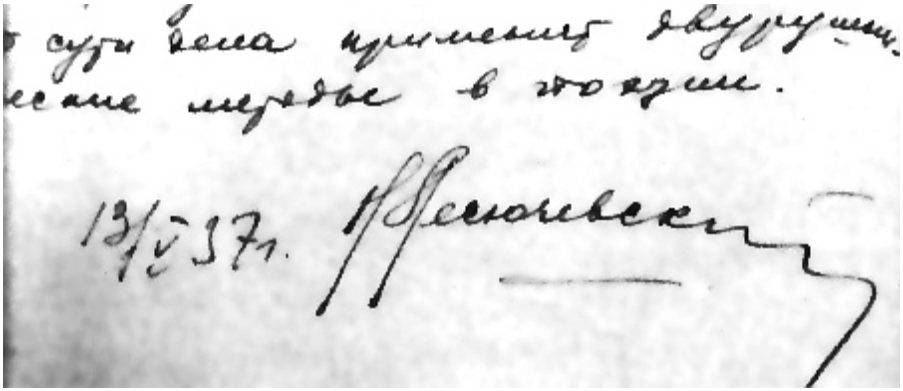
1/ В творчестве Б. КОРНИЛОВА имеется ряд антисоветских, контрреволюционных стихотворений, клевещущих на советскую действительность, выражающих активное сочувствие оголтелым врагам народа, стихотворений, пытающихся вызвать протест против существующего в СССР строя.

2/ В творчестве Б. КОРНИЛОВА имеется ряд стихотворений с откровенно-кулацким, враждебным социализму содержанием.

3/ Эти стихотворения не случайны. Однозвучные с ними мотивы прорываются во многих других стихотворениях КОРНИЛОВА. Это говорит об устойчивости антисоветских настроений у КОРНИЛОВА.

4/ Б. КОРНИЛОВ пытается замаскировать подлинный контрреволюционный смысл своих произведений, прибегая к методу «двух смыслов» — поверхностного для обмана и внутреннего, глубокого — подлинного. Он по сути дела применяет двурушнические методы в поэзии.

13/V-37 г. Н. ЛЕСЮЧЕВСКИЙ
Верно:



Обвинительное заключение

«УТВЕРЖДАЮ»
ЗАМ. НАЧ. УНКВД ЛО —
Ст. Майор Гос. Безопасности:
/ШАПИРО/
«_» февраля 1938 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
ПОМ. ПРОКУРОР Союза ССР
«19» февраля 1938 г.
ПОДПИСЬ / /

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По след. делу № 23229-37 года по
обв. КОРНИЛОВА Бориса Петровича
в пр. пр. ст. 58 п. п. 8—11 УК РСФСР. —

Следствием по делу ликвидированной троцкистско-зиновьевской террористической организации, совершившей 1-го декабря 1934 года злодейское убийство секретаря ЦК ВКП/б/ С. М. КИРОВА, была установлена принадлежность к этой организации КОРНИЛОВА Бориса Петровича.

На основании этих данных КОРНИЛОВ Б. П. был привлечен к ответственности и арестован.

Установлено, что КОРНИЛОВ Б. П. с 1930 г. является участником троцкистско-зиновьевской террористической организации, куда был завербован руководящим участником той-же организации ГОРБАЧЕВЫМ /осужден/ /л. д. 29./.

С 1930 г. обв. Корнилов участвовал на нелегальных сборищах указанной организации, устраиваемых на квартире ГРАБАРЯ / осужден/.

На этих сборищах участники организации критиковали с контрреволюционных позиций мероприятия ВКП/б/ и Советского правительства, по основным хозяйственно-политическим вопросам культивировали злобную ненависть к руководству ВКП/ б/ и высказывали террористические намеревания против руководителей ВКП/б/ и Советского правительства. Эти террористические установки обвин. КОРНИЛОВ одобрял /л. д. 29, 30, 33/.

Обв. КОРНИЛОВ нелегально распространял свои контрреволюционные литературные произведения под названием

«Чаепитие», «Елка», и «Прадед», в которых призывал к организованному противодействию коллективизации сельского хозяйства и защите кулачества от репрессий Советской власти. /л. д. 30–31/.

На основании изложенного **обвиняется**:

КОРНИЛОВ, Борис Петрович, 1907 г. р., урож. Горьковского края, г. Семенов, русский, гр-н СССР, литератор.

В ТОМ. ЧТО:

1. С 1930 г. является участником троцкистско-зиновьевской террористической организации, куда был завербован активным участником той-же организации ГОРБАЧЕВЫМ.

2. С 1930 г. по 1936 г. участвовал на нелегальных сборищах указанной организации, устраиваемых на квартире участника той-же организации ГРАБАРЯ, на которых критиковали с контрреволюционных позиций мероприятия ВКП/б/ и Советского правительства по основным хозяйственно-политическим вопросам, культивировали злобную ненависть к руководству ВКП/б/ и высказывали террористические намеривания против руководителей ВКП/б/ и Советского правительства. Эти террористические намерения КОРНИЛОВ одобрял.

т. е. в пр. пр. ст. 58—8 и 11 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ, кроме того изобличается показаниями обв. СВИРИНА /л. д. 52–53/, свидетелей САВРОНСКОГО /л. д. 47/ и АНДРЕЕВА /л. д. 51/, а также материалами экспертизы /л. д. 77–84/.

Настоящее дело по обвинению КОРНИЛОВА Б. П. в пр. пр. ст. 58 п. 8 и 11 УК РСФСР подлежит рассмотрению Военной Коллегии Верховного Суда СССР в порядке закона от 1-го декабря 1934 года.

Обвинительное заключение составлено 13 февраля 1938[550] года.

ПОМ НАЧ 10 ОТД. IV ОТДЕЛА
Лейтенант Госбезопасности: /РЕЗНИК/

НАЧ 10 ОТД. IV ОТДЕЛА УГБ
Лейтенант Госбезопасности: /ГАНТМАН/

«СОГЛАСЕН» НАЧ IV ОТДЕЛА УГБ
Капитан Госбезопасности: /КАРПОВ/

СПРАВКА

1. Обвин. КОРНИЛОВ содержится под стражей в Ленинград. Тюрьме ГУГБ с 20/III-37 года.

2. Акт экспертизы находится в деле.

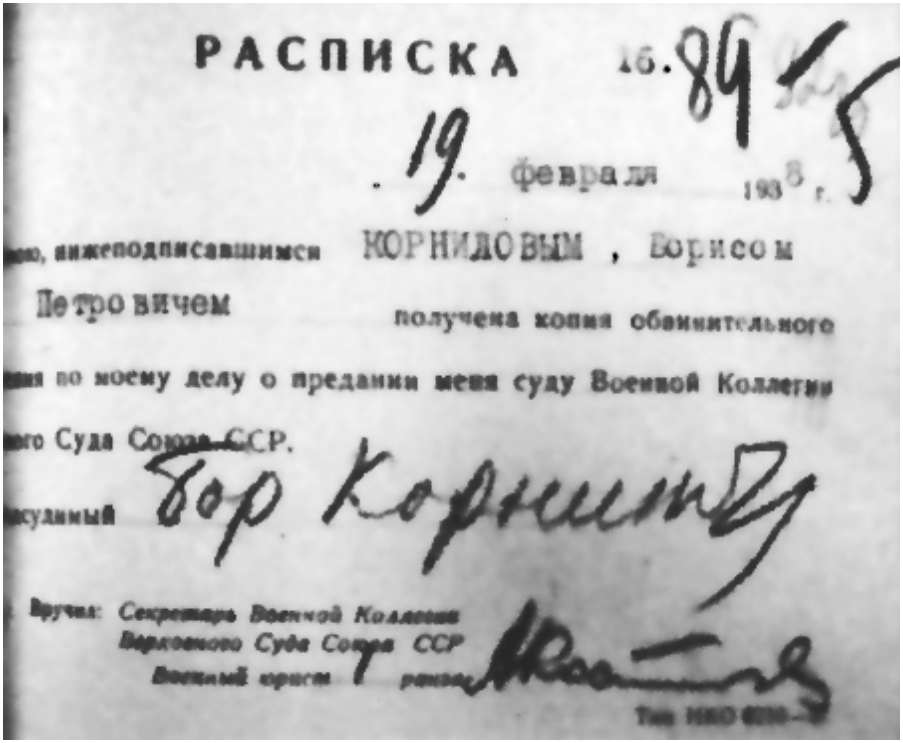
3. Проходящие по делу: ГОРБАЧЕВ, Г., ГРАБАРЬ, Л. — осуждены. РОМАНОВ Олег — устанавливается.

4. Вещественных доказательств по делу нет.

ПОМ НАЧ 10 ОТД. IV ОТДЕЛА

Лейтенант Госуд. Безопасности: /РЕЗНИК/

Расписка о получении копии обвинительного заключения



РАСПИСКА 16.84 1 5

19. февраля 1938 г.

мною, нижеподписавшимся КОРНИДОВЫМ, Борисом Петровичем получена копия обвинительного заключения по моему делу о предании меня суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР.

Подсудимый Бор Корнидов

Вручил: Секретарь Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР Военный юрист 1 ранга

Тип НКО

Протокол закрытого судебного заседания. 20 февраля 1938 года

«По предложению председательствующего секретарем оглашено обвинительное заключение.

Председательствующий разъяснил подсудимому сущность предъявленных ему обвинений и спросил его, признает ли он себя виновным, на что подсудимый ответил, что виновным себя признает. Свои показания на предварительном следствии подтверждает полностью. Больше дополнить судебное следствие ничем не имеет.

Председательствующий объявил судебное следствие законченным и предоставил подсудимому последнее слово, в котором он просит суд учесть его чистосердечное раскаяние и дать ему возможность стать полезным членом общества.

Суд удалился на совещание.

По возвращении суда с совещания председательствующий огласил приговор» (из Протокола).

Приговор

ПРИГОВОР
именем Союза Советских Социалистических Республик
выездная сессия
Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР
в составе:
Председательствующего Корвоенюриста МАТУЛЕВИЧ
Членов: Диввоенюрист МАЗЮК и Бригвоенюрист ЖДАН
При секретаре военном юристе I ранга КОСТЮШКО

В закрытом судебном заседании, в гор. Ленинграде,
«20» февраля 1938 года, рассмотрела дело по обвинению: КОРНИЛОВА, Бориса Петровича, 1907 г. рождения, бывшего литератора, в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58–8 и 58–11 УК РСФСР

Предварительным и судебным следствием установлено, что Корнилов с 1930 г. являлся активным участником антисоветской троцкистской террористической диверсионной вредительской организации, действовавшей в г. Ленинграде. Корнилов систематически присутствовал на нелегальных сборищах участников антисоветской организации, на которых в злобном духе критиковалась политика партии и советского правительства, пропагандировались террористические методы борьбы против руководителей ВКП(б) и Советского правительства, кроме того Корнилов нелегально распространял свои контрреволюционные произведения.

Таким образом доказана виновность Корнилова в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 58–8 и 58–11 УК РСФСР, руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УК РСФСР

Военная Коллегия Верховного Суда СССР

Приговорила:

Корнилова Бориса Петровича к высшей мере уголовного наказания — расстрелу с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и на основании Постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года подлежит немедленному исполнению.

Председательствующий /МАТУЛЕВИЧ/
Члены /МАЗЮК/
/ЖДАН/

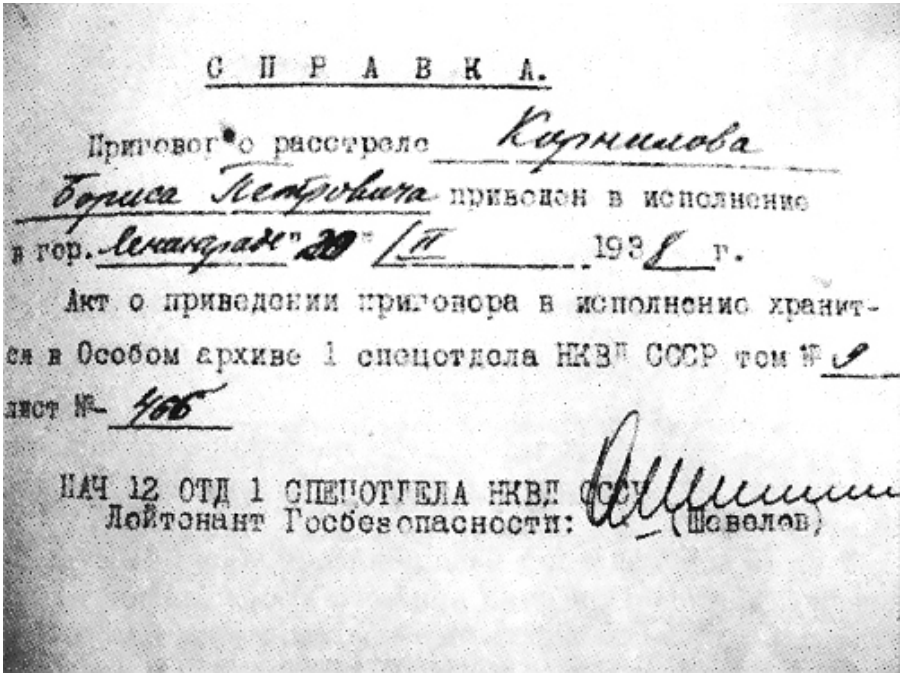
* * *

Само заседание, совещание суда, написание и оглашение приговора заняли 20 минут, с 13 часов 00 минут до 13 часов 20 минут.

У этого документа нет машинописной копии. И, судя по почерку, приговор спешили привести к «немедленному исполнению», о чем свидетельствует датированная тем же числом воспроизведенная далее «СПРАВКА».

* * *

Справка о приведении приговора в исполнение



СПРАВКА.

Приговор о расстреле Кузнецова Бориса Петровича приведен в исполнение в гор. Ленинграде "20" IV 1938 г.

Акт о приведении приговора в исполнение хранится в Особом архиве 1 спецотдела НКВД СССР том № 9 лист № 466

НАЧ 12 ОТД 1 СПЕЦОТДЕЛА НКВД СССР
Лейтенант Госбезопасности: (Шевелов)

Заявление Ольги Берггольц военному прокурору

№ 696

ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Товарищу Ершову

от БЕРГГОЛЬЦ ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ, поэта,
члена Партии с 1940 г., лауреата Сталинской премии.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Глубокоуважаемый товарищ Ершов!

В середине 1937 года органами МГБ был арестован мой бывший муж, — поэт Борис Петрович КОРНИЛОВ, уроженец г. Семенова Нижегородской губернии / ныне Горьковской области / 1908 г. рождения, сын сельских учителей, член Лен. отд. Союза Советских Писателей.

Я была замужем за Б. П. Корниловым с 1927 по 1930 г. После развода в 1930 г. у меня оставалась от него дочь Ирина, умершая в 1936 году. Наши встречи с Корниловым после развода были случайны, лишь на почве Союза Писателей. Я сообщаю все это Вам лишь для того, что б Вы поняли, что в данном заявлении мною не руководят никакие личные мотивы, в то время как именно я решаюсь обратиться к Вам с просьбой о ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА Б. П. КОРНИЛОВА В ЦЕЛЯХ ЕГО ПОСМЕРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.

Я пишу — «посмертной»: дело в том, что в конце 30 годов писательской общественности стало известно, что Борис Корнилов погиб, — не то в тюрьме, не то в лагере… Не так давно мне сообщили, что вся его семья, проживавшая в те годы /1937—38/ в городе Семенове, а именно: старик-отец, старый сельский учитель Петр Тарасович Корнилов; мать — сельская учительница, — Таисия Михайловна Корнилова, сестры Александра и Елизавета — так же погибли в лагерях и т. п., как «родственники врага народа»[551]. О местонахождении его второй жены, вышедшей замуж почти сразу после его ареста и сменившей фамилию — нам ничего не известно. Я не знаю, подавала ли она просьбу о Б. П. Корнилове. Поэтому я считаю своим гражданским и поэтическим долгом поднять голос за его — увы, — посмертную реабилитацию.

К моему заявлению присоединяется так же Секретариат ленинградского отделения Советских писателей. Меня, как и моих товарищей-писателей, заставляет просить о пересмотре дела Корнилова и его посмертной реабилитации главным образом то обстоятельство, что наша писательская организация — от старых до самых молодых, — знает и помнит его, как автора нескольких /около ДЕСЯТИ/ замечательных книг стихов, в которых Корнилов обнаружил себя, как талантливейший советский поэт, один из первых молодых поэтов призыва первой пятилетки. Он рос непрерывно и бурно. Именно на ЕГО слова была написана знаменитая песнь Д. Шостаковича — «Нас утро встречает прохладой», для кино-фильма — «Встречный»; эта песня — со всеми *его*[552] словами — распевается до сих пор во всем мире. Его стихи, — например, такие, как «Интернациональная», многие лирические стихи, поэмы «Триполье», «Моя Африка», либретто оперы по рассказу Бабеля «Соль» /что является самостоятельным художественным произведением — я говорю о либретто/, — проникнуты духом подлинного патриотизма, дружбы народов и отмечены печатью самой высокой художественности. В свое время они были встречены читательской и писательской общественностью с огромной радостью. Их помнят наизусть и сейчас, — даже те люди, которые в глаза не видали Корнилова. Он погиб в расцвете творческих сил, — ему не исполнилось еще и *тридцати лет*[553].

Я убеждена, что то, что произошло с ним, — эта бессмысленная и страшная трагедия, — не более, чем результат тех враждебных советскому народу и советской культуре действий, которые производили ежовцы и бериевцы.

Я, как и Секретариат ЛОССП, обращаюсь к Вам с просьбой о пересмотре дела Б. Корнилова и его реабилитации потому, что наследие его, — до сих пор живое, актуальное, патриотическое, — нельзя держать под полóй, нельзя скрывать от народа: оно должно стать на вооружение нашей молодежи. Лучшее из того, что написал Борис Корнилов — более чем достойно этого.

Еще раз убедительно прошу Вас, товарищ прокурор, пересмотреть дело Бориса Петровича Корнилова /он шел не то по Тройке, не то по особке, именно через наш округ…/, — в целях его посмертной реабилитации.

Его знают в нашем Союзе Советских писателей — все. За свидетельскими показаниями /кроме меня, разумеется,/ Вы можете обратиться к известным поэтам — лауреату Сталинской премии Виссариону САЯНОВУ, к поэту и заместителю секретаря партбюро Александру Ефимовичу РЕШЕТОВУ, к поэту

Б. Лихареву.

Прилагаю при этом обращение Секретариата Лен. отд. Союза Со<в>. Пис.

Мой домашний адрес: Ленинград, ул. Рубинштейна, 22, кв. 8
д. тел. А-4-97-48.
№ п/б 04770770, Дзержинский райком.
№ паспорта XXXI — ПС—627025, выд. 5 отд. ЛГМ 23/VII-51.

Заявление военному прокурору от секретариата ЛО СП СССР

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
Ленинградское отделение
Телефон Ж 3-33-43
26 июля 1955 г.

Военному прокурору Ленинградского военного округа
полковнику юстиции т. ЕРШОВУ

Секретариат Ленинградского отделения Союза писателей СССР поддерживает заявление писательницы Ольги Берггольц о посмертной реабилитации поэта Бориса Петровича Корнилова, осужденного в 1937 году.

Писательской общественности неизвестны обстоятельства, при которых он был осужден, неизвестна степень его виновности, но, присоединяясь к заявлению о реабилитации, Секретариат Лен. отд. СП исходит из того факта, что произведения талантливого поэта Бориса Корнилова до сих пор сохраняют свое художественное значение. Его поэма «Моя Африка», проникнутая духом пролетарского интернационализма, получила в свое время восторженную оценку великого французского писателя Ромена Роллана. Поэма Бориса Корнилова «Триполье» посвящена героям-комсомольцам гражданской войны и до сих пор остается одним из ярких произведений о комсомоле. Сохраняют свою ценность стихи о Кирове и стихи для детей и многочисленные лирические произведения поэта.

ЗАМ. ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ
ЛЕН. ОТД. СП /ХОЛОПОВ/
СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ЛЕН. ОТД. СП
/ЧИВИЛИХИН/

Заявление в Ленинградскую прокуратуру поэта Я. Смелякова

В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ВОЕННУЮ ПРОКУРАТУРУ

С поэтом Борисом Корниловым я был не просто знаком, а очень близок в 1932—34 гг., когда он — житель Ленинграда — приезжал в Москву или я бывал в Ленинграде. В такое время мы почти не расставались с ним. Поэтому я считаю себя вправе говорить о нем как о человеке хорошо мне известном.

Никогда я не слышал от него ни одной антисоветской мысли, ни одного, даже замаскированного, антисоветского намека.

Те его стихи, напечатанные и ненапечатанные, которые я знаю, отличались прямотой и цельностью истинного патриота. Он был поэтом крупного масштаба, большого таланта. Именно так расценивали его и относились к нему и авторитетные знатоки литературы того времени и читатели.

На днях я достал две книги стихов Корнилова и перечитал их. Считаю, что и сейчас, после двадцати лет прошедших с тех пор, как его арестовали, большинство стихотворений Б. Корнилова живет и имеет полное право на переиздание.

Ничего криминального, кроме того, что он, как говорится, любил выпить, я о нем не знаю. А у меня, повторяю, есть все основания полагать, что он от меня своих воззрений не скрывал.

Я глубоко убежден, во-первых, в его невиновности и, во-вторых, в том, что реабилитация его принесет значительную пользу делу развития советской поэзии.

20 марта 56 г. Поэт Ярослав Смеляков
гор. Москва, Большой Демидовский переулок, д. 17, кв. 5

* * *

В июне 1934 года, накануне Первого съезда писателей, на котором Николай Бухарин будет говорить о Корнилове как о первом, самом ярком поэте нового поколения, М. Горький (уже

давно общесоюзный «дорогой Алексей Максимович», восхищавшийся «удивительной культурной работой рядовых чекистов в лагерях», мечтавший воспеть труд этих людей «поразительной душевной сложности»[554], печатает статью «Литературные забавы», где о друзьях Корнилова поэтах Павле Васильеве и Ярославе Смелякове сказано:

«…На характеристике молодого поэта Яр. Смелякова всё более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически <…> это враг. <…>…в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюбленности, и поведение Смелякова все менее и менее становится комсомольским». «… Поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин». «…Те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно „взирают“ на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние „короче воробьиного носа“».

Именно фраза про «фашизм» будет использована в редакционной статье «Зорче глаз, выше большевистскую бдительность» газеты «Литературный Ленинград» (№ 40 от 29 августа 1936 года), когда уже вовсю шла травля Б. Корнилова. Так отеческой рукой основоположник метода соцреализма подвел Павла Васильева (1909–1937) и Бориса Корнилова под высшую меру. Ярослав Смеляков (1912/1913—1972) в 1934–1937 годах отбыл свой первый срок.

* * *

Повторная литературоведческая экспертиза стихов Бориса Корнилова. 1956 год

В ПРОКУРАТУРУ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

По вашему поручению мы познакомились заново с книгами поэта Бориса Корнилова и с отдельными публикациями его произведений в журналах «Звезда», «Литературный современник», «Новый мир», «Залп», «30 дней» и «Молодая гвардия» за период с 1934 по 1936 гг.

Из книг Бориса Корнилова нами перечитаны следующие:

«Молодость» /1928/

«Первая книга» /1931/

«Книга стихов» /1933/

«Стихи и поэмы» /1933/

«Триполье» /1934/

«Моя Африка» /1935/

«Новое» /1935/

Изучение стихов Бориса Корнилова приводит нас к твердому убеждению, что их автор был *бесспорно талантливым советским поэтом*[555]. В его произведениях большое место отведено темам пролетарского интернационализма, героики гражданской войны, социалистического преобразования деревни.

Экспертное заключение о стихах Бориса Корнилова /принадлежащее неизвестному нам лицу/[556], *с которым вы нас познакомили, носит безусловно клеветнический характер*. Совершенно очевидно, что обвинение Корнилова в продолжении традиций «кулацкого поэта С. Есенина» является решительно несостоятельным, ибо сам Есенин не был кулацким поэтом, а был и остается выдающимся поэтом начала нашей революционной эпохи.

Все «экспертное заключение» о Борисе Корнилове построено на клеветнических натяжках и передержках. Это видно хотя бы из того, что автор «экспертизы» толкует шуточное стихотворение для детей «Поросята и октябрята», пытаясь путем лживых натяжек объявить его клеветой на советских ребят. Это видно и из того, что совершенно революционные строки поэта:

Мы переделаем ее,
Красавицу планету, —

«эксперт» также тщится взять под сомнение.

Вот один из ярких примеров грубой и клеветнической тенденциозности «эксперта»: есть у Бориса Корнилова стихотворение «Одиночество», оно целиком направлено против частнособственнического индивидуализма и ратует за коллективизм. «Эксперт» считает это стихотворение криминальным, а его концовку политически подозрительной. Но вот эта концовка:

Ночь окна занавесила,
но я заснуть не мог,
мне хорошо,
мне весело,
что я не одинок.
Мне поле песню вызвени,
колосья-соловьи,
что в Новгороде,
Сызрани,
товарищи мои.

Такими же неубедительными и необъективными приемами, совершенно неосновательно опорочил «эксперт» и ряд других хороших стихотворений Корнилова /«Начало земли», «Молодой день», «Последний день Кирова»/ и многие другие его талантливые пейзажные стихи.

Борис Корнилов — автор многих хороших стихов и поэм, песен /вроде «Песни о встречном»/, которые поет советский народ. Его имя и творчество безусловно достойны реабилитации.

Члены КПСС, члены СП СССР /А. ДЫМШИЦ/
/Б. ЛИХАРЕВ/
/А. РЕШЕТОВ/
9 июня 1956.

Определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 5 января 1957 года

ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА ССР
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4 п. 019657/56
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
В составе: Председательствующего полковника юстиции Лихачева
и членов: полковников юстиции Сенина и Семика

рассмотрев в заседании от 5 января 1957 г. в порядке ст. 378 УИК РСФСР заключение Главной военной прокуратуры по уголовному делу на Корнилова Бориса Петровича, 1907 года рождения, уроженца гор. Семенова, Горьковской области, осужденного 20 февраля 1938 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР по ст. 58–8 и 58–11 УК РСФСР к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, с конфискацией имущества.

Заслушав доклад т. Лихачева и заключение пом. Главного военного прокурора полковника юстиции Корюкина об отмене приговора и прекращении дела.

УСТАНОВИЛА:

Корнилов был признан виновным в том, что с 1930 года являлся участником антисоветской троцкистской террористической организации и нелегально распространял свои контрреволюционные литературные произведения (стихи). В заключении Главная военная прокуратура просит приговор отменить и дело производством прекратить, т. к. дополнительным расследованием установлены новые обстоятельства, свидетельствующие о том, что уголовное дело по обвинению Корнилова было сфальсифицировано производившим расследование бывшим работником УНКВД по Ленинградской области Резником.

Военная коллегия Верховного Суда СССР, проверив материалы дела и учитывая, что заключение Главной Военной Прокуратуры основано на объективных данных дополнительного расследования, —

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 20 февраля 1938 года в отношении Корнилова Бориса Петровича, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, отменить и дело производством прекратить за отсутствием состава преступления. —

Председательствующий: /ЛИХАЧЕВ/
Члены: /СЕНИН/
/СЕМИК/

* * *

Поразительный в своем роде документ. Можно ли «отменить» смертный приговор, *приведенный в исполнение*?

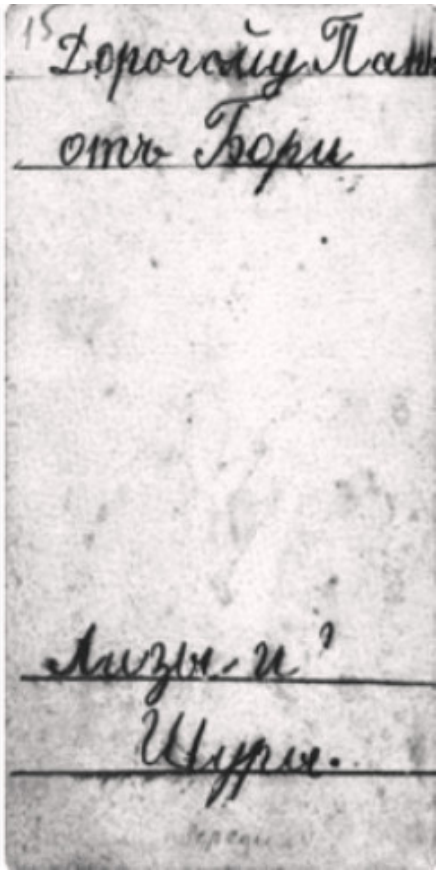
* * *

Часть четвертую «Причина смерти — *расстрел*» (по материалам следственного дела Бориса Корнилова из архивных фондов ФСБ РФ) подготовила *Наталия Соколовская*

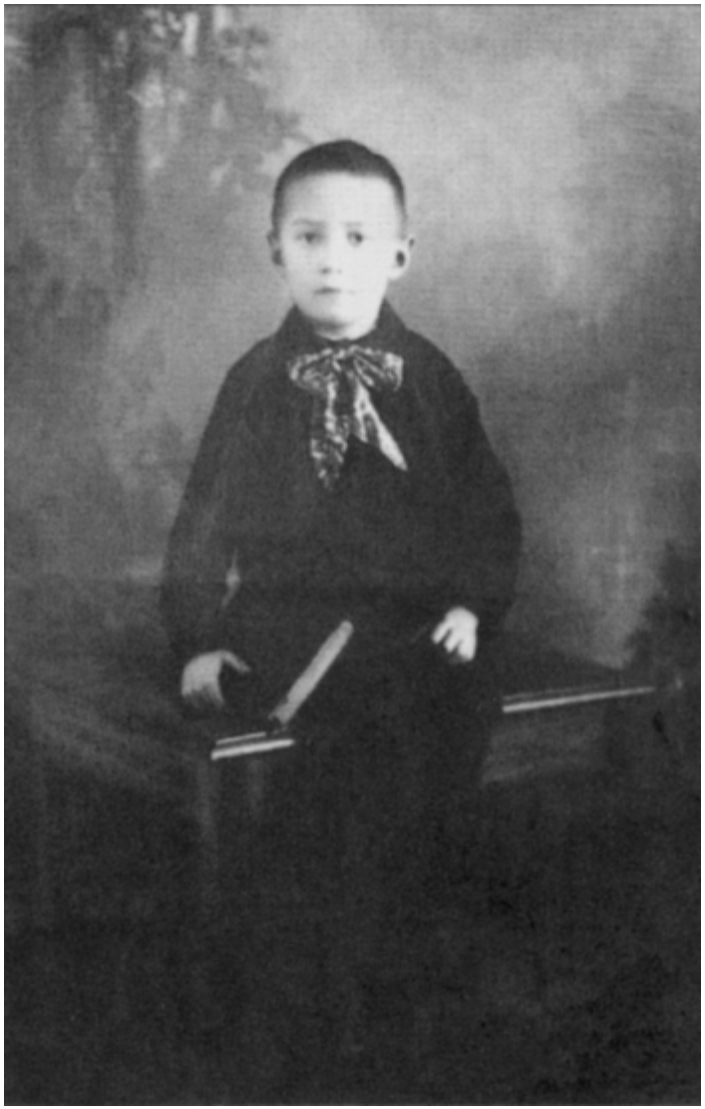
Цифровая съемка *Аллы Чикичевой*

Иллюстрации

Петр Тарасович и Таисия Михайловна Корниловы.
Из Личного архива И. Басовой



Борис Корнилов с сестрами Елизаветой и Александрой. Текст на обороте фотографии. (ИРЛИ)



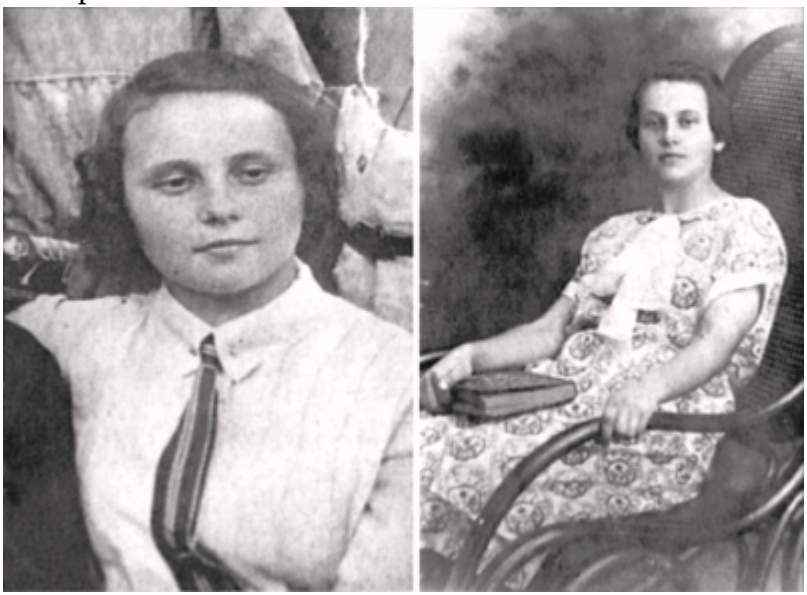
Борис Корнилов. Пять лет. (ИРЛИ). Редкая фотография

Семья Корниловых: Елизавета, Александра, Петр Тарасович, Таисия Михайловна и Борис. Середина 1920-х годов. (ИРЛИ)

Семенов. Соборная площадь

Школа первой ступени, в которой учился Борис Корнилов. Семенов. (ИРЛИ)

Борис Корнилов с друзьями. Семенов. Сентябрь 1925 года. Из личного архива И. Басовой

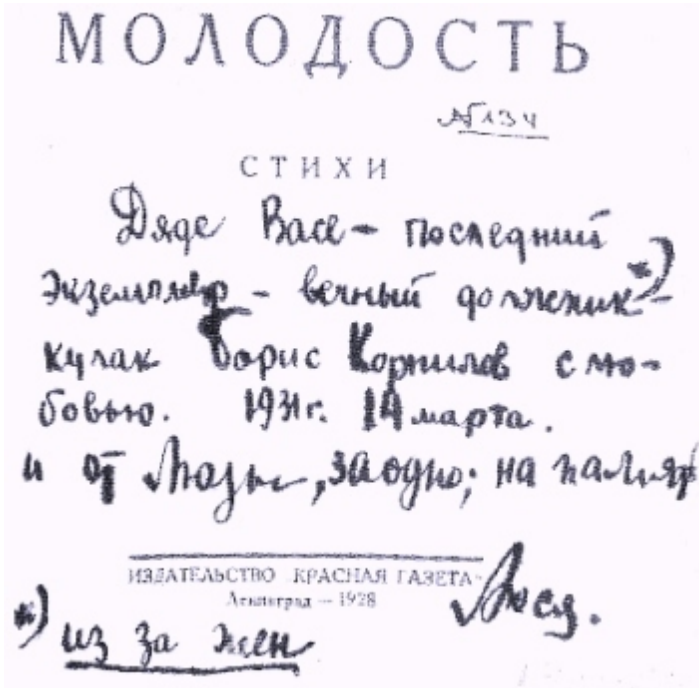


Татьяна Степенина. (ИРЛИ)

Борис Корнилов и Ольга Берггольц. Семенов. 1929 год. (ИРЛИ)

Борис Корнилов, Ольга Берггольц, Петр Тарасович, Елизавета и Таисия Михайловна. На руках у Петра Тарасовича Ирина, дочь Бориса и Ольги. Семенов. 1929 год. (ИРЛИ)

Ирина, дочь Ольги и Бориса, с бабушкой Марией Тимофеевоной Берггольц. Надпись на обороте. Из личного архива И. Басовой


МОЛОДОСТЬ

СТИХИ

Дяде Васе — последний
Экземпляр — вечный должник*)
Кулак Борис Корнилов с мо-
бовью. 1931г. 14 марта.
и от Люды, заодно; на память

ИЗДАТЕЛЬСТВО КРАСНАЯ ГАЗЕТА
Ленинград — 1928

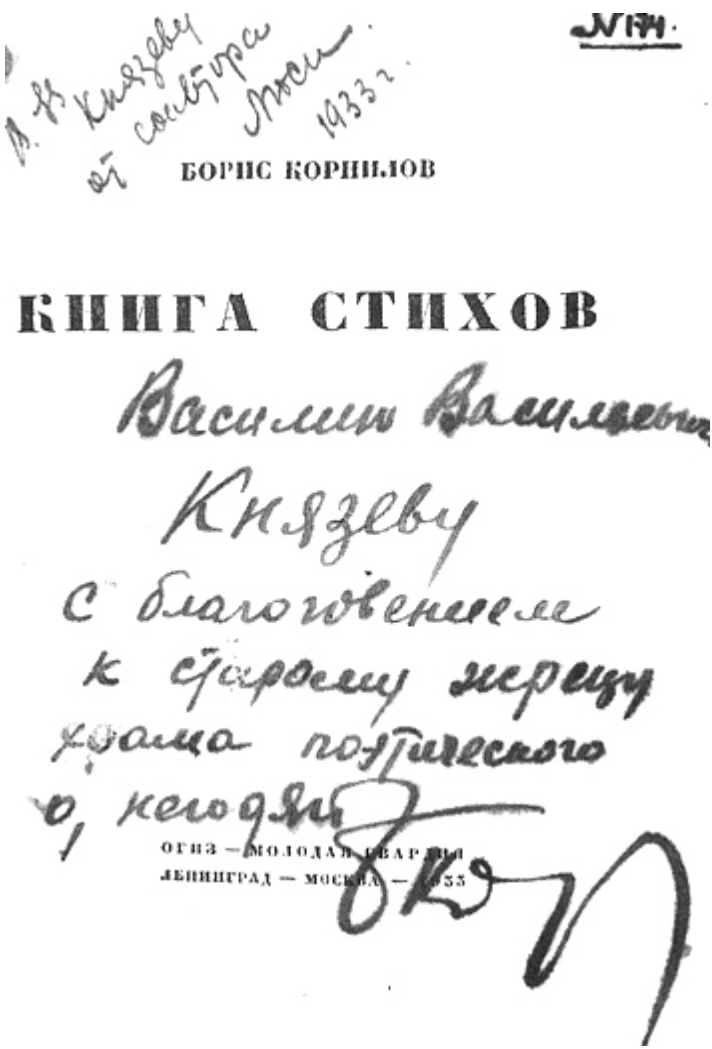
*) из за жен

Надпись на книге «Молодость». (Дядя Вася — Василий Васильевич Князев, поэт-сатирик, собиратель писательских автографов). (ИРЛИ)

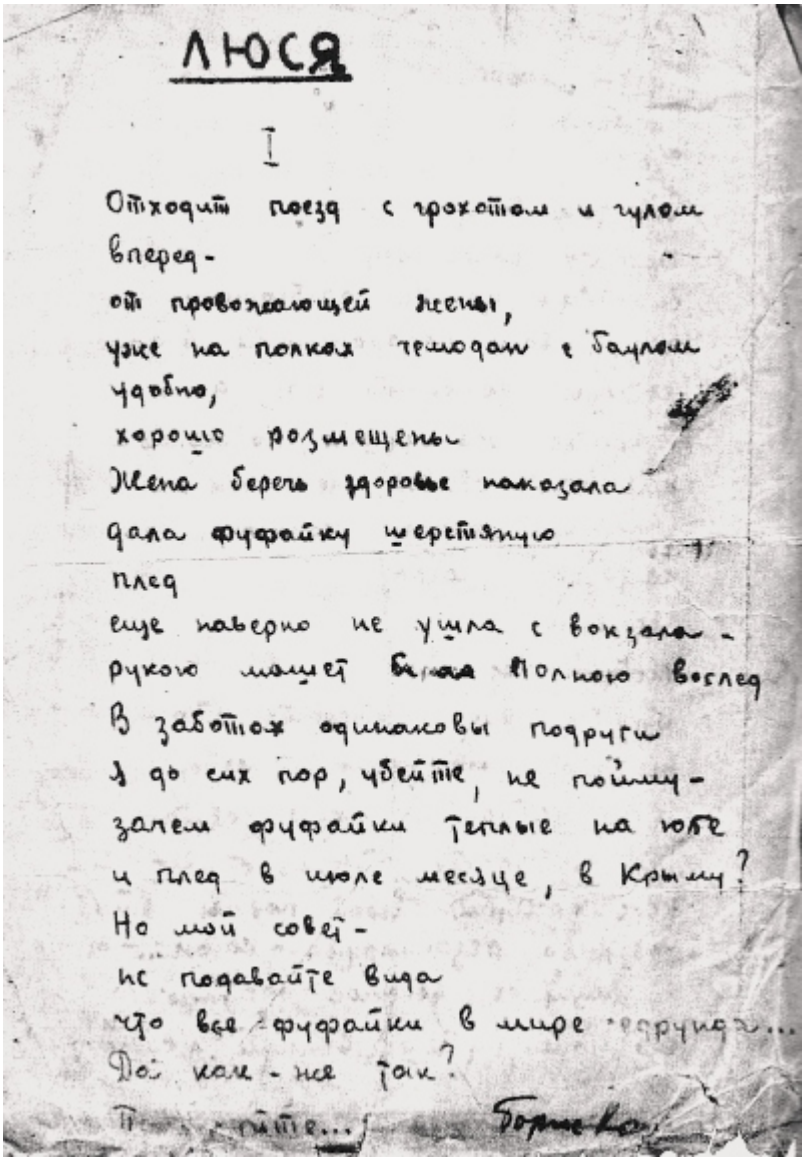
Борис Корнилов. Текст на обороте фотографии: «В те дни, когда были молоды, ходили, швыряясь дверьми (т. е. в 1925). Твой Б. Корнилов. Ноябрь 31 г.» Из личного архива И. Басовой

Борис Корнилов с женой, Людмилой Борнштейн, Люсей. Начало 1930-х годов.

Из личного архива И. Басовой



Автограф на «Книге стихов». Вверху приписка Люси. (ИРЛИ)



ЛЮСЯ

I

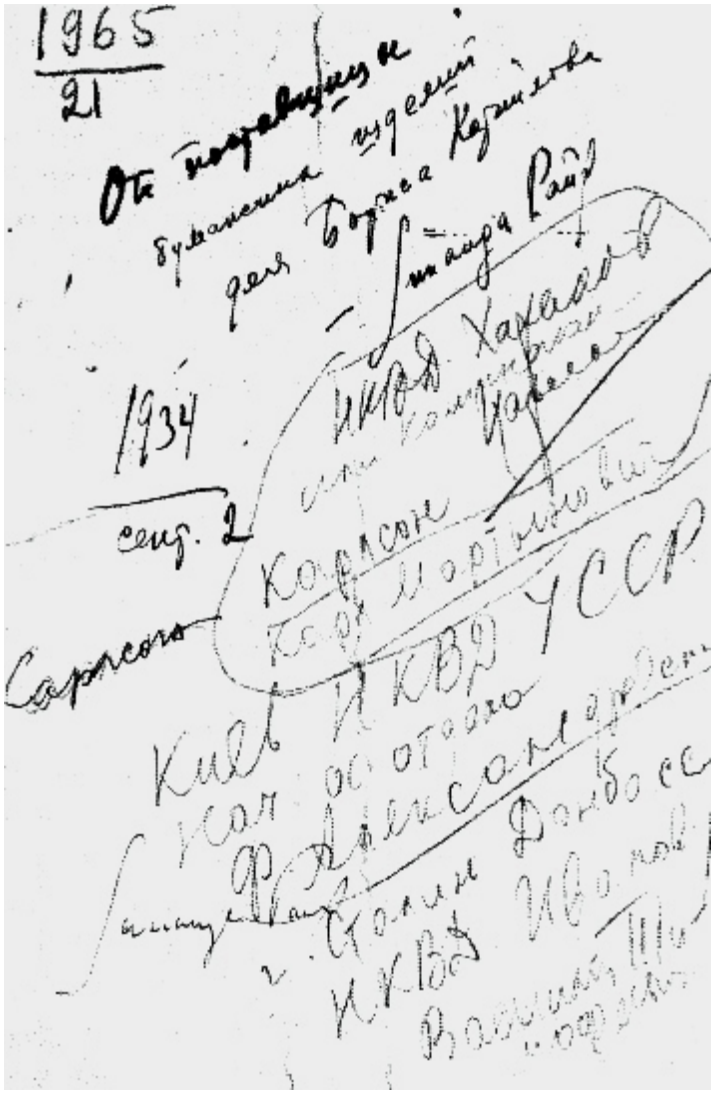
Отходит поезд с грохотом и гулом
вперед -
от провожающей жены,
уже на полках чемоданы с баулами
удобно,
хорошо размещены.
Жена берегь здоровье наказала
дала фуфайку шерстяную
плед
еще наверно не ушла с вокзала -
рукою машет белым полною вослед
В заботах одинаковы подруги
и до сих пор, убейте, не пойму -
зачем фуфайки теплые на юге
и плед в июле месяце, в Крыму?
Но мой совет -
не подавайте вида
что все фуфайки в мире подруги...
Вот как-нибудь так?

Пастернак

Автограф первой страницы незаконченной поэмы «Люся» (вариант). (ИРЛИ)

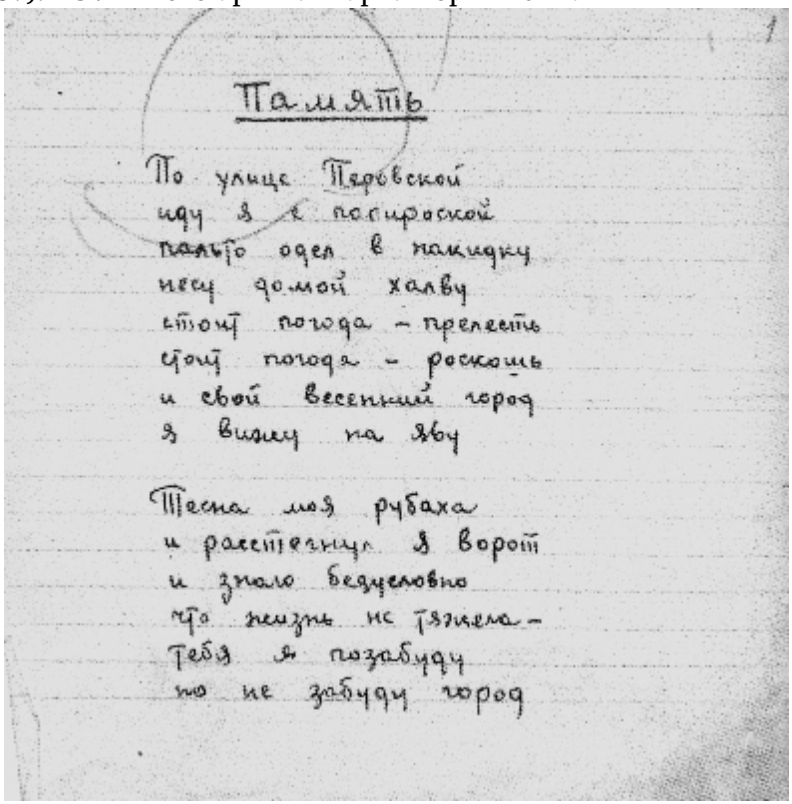
Люся, Борис Корнилов и неустановленное лицо. Начало 1930-х годов.

Из личного архива И. Басовой



Тетрадь Бориса Корнилова. На обороте обложки дарительная надпись Зинаиды Райх. 1934. (ИРЛИ)

В первом ряду: Александр Мгебров, Зинаида Райх, Всеволод Мейерхольд, Людмила Борнштейн и Борис Корнилов. Ленинград. (1935?). Из личного архива Марка Борнштейна



Память

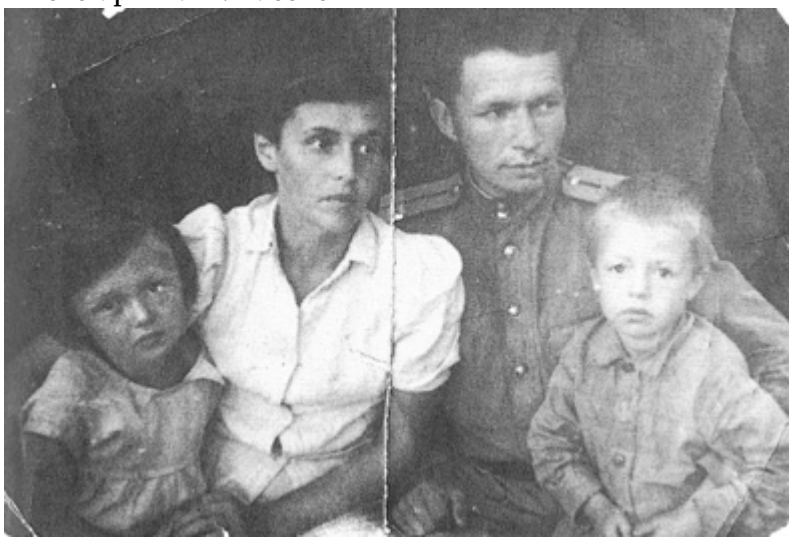
По улице Первой
иду я с портфелем
пальто одел в накидку
несу домой халву
стоит погода – прелесть
сто́ит погода – роскошь
и свой весенний город
я вижу на яву

Тесна моя рубаха
и расстегнул я ворот
и знало безделово
что жизнь не тяжела –
Тебя я позабуду
но не забуду город

Автограф стихотворения «Память». (ИРЛИ)

Дом на канале Грибоедова, где с 1934 по 1937 год жили Люся и Борис Корнилов, Их окно третье от края на четвертом этаже (вид с Малой Конюшенной ул., бывшей ул. Софьи Перовской). Октябрь 2011 года

Ира, дочь Люси и Бориса Корнилова. Довоенная фотография. Из личного архива И. Басовой



Ира, Люся, Яков Басов, Саня Басов. Кострома, 1943 (1944?). Из личного архива И. Басовой

Люся с детьми Ирой и Саней. Крым, Алупка. 1948. Из личного архива И. Басовой

Александр Басов. Ноябрь 1961 года. Из личного архива И. Басовой

Ирина Басова с мужем, художником Борисом Заборовым, и дочерью Мариной. Москва. 1959. Из личного архива И. Басовой

Яков Александрович Басов, народный художник Украины. Крым. Алупка. Конец 1960-х — начало 1970-х годов.

Людмила Басова около картины мужа. Крым, Алупка. Начало 1950-х годов. Из личного архива И. Басовой

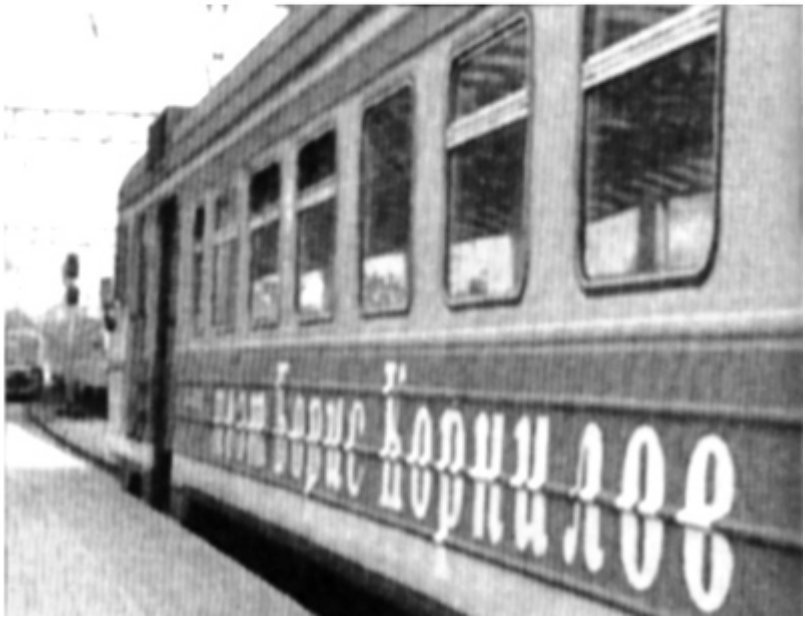
Ирина Басова, Ольга Федоровна Берггольц и Таисия Михайловна Корнилова на закладке памятника Борису Корнилову. Семенов. 1967. Из личного архива И. Басовой

Таисия Михайловна Корнилова. Семенов. Июль 1970 года. Из личного архива Ирины Басовой

Ирина Басова и Александр Олейников на Левашовской пустоши. Здесь, на территории тайного могильника НКВД, покоится прах их отцов.

Ирина Басова. Май 2011 года

Условная могила Бориса Корнилова. Май 2011 года



Электропоезд «Поэт Борис Корнилов» с 2010 года курсирует по Горьковской железной дороге

Из материалов следственного дела Бориса Корнилова

СССР
Народный Комиссариат Внутренних Дел

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ ВЧК—ОГПУ—НКВД

УДАЛО

в 1962 г.

Год производства 19

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО №

по обвинению Корнилова

Бориса Петровича

Форма 1

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХСУДА СССР

ВТ ВК ВС СССР

№ 11 01957

Докладчик

Прокурор

195

Зак. 555 22.7 1965 ЦТ МО—5/67

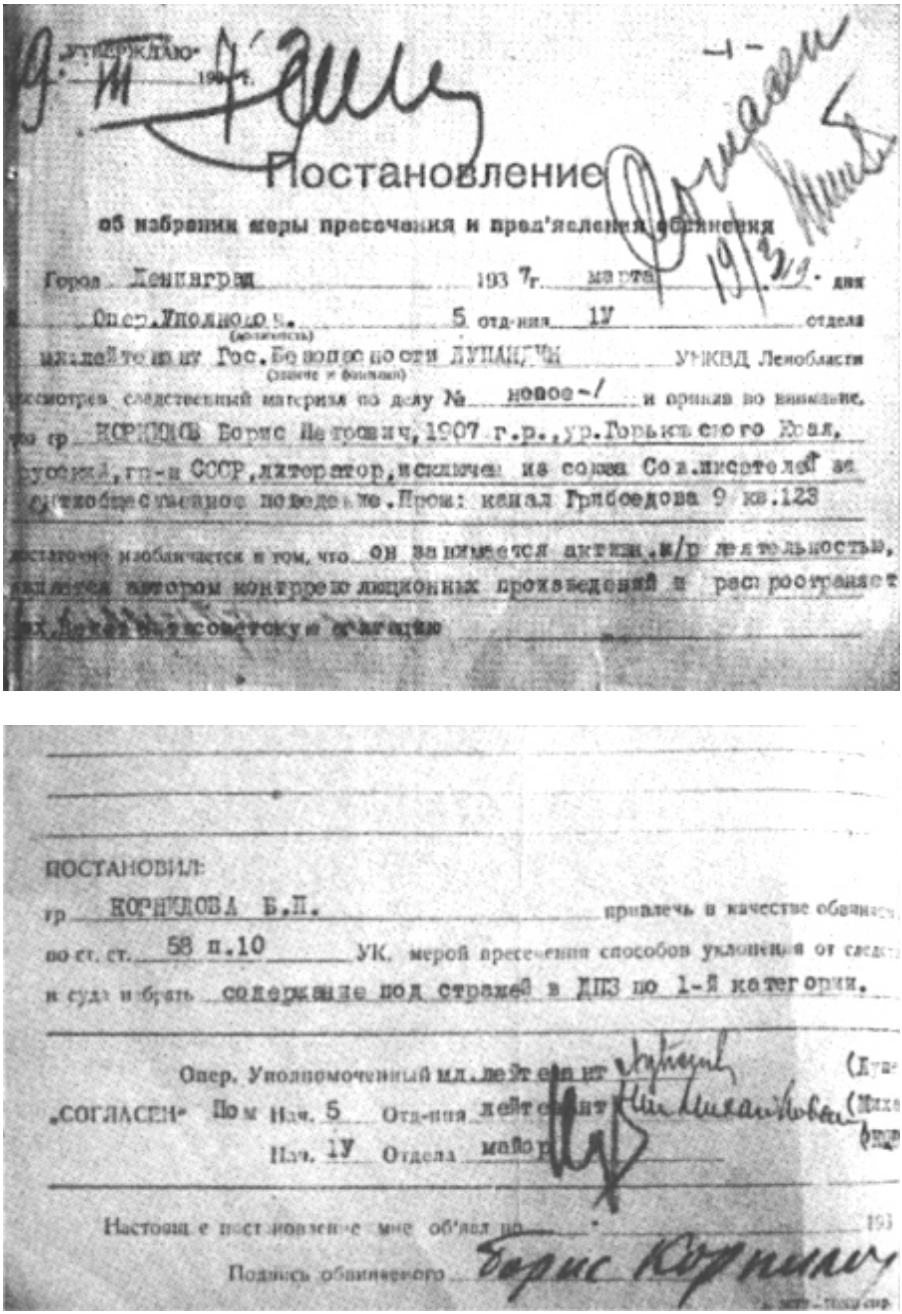
хива дело должно быть воз-
дней с момента получения его.
ученных из архива дел
или органы производится
через 1 спецотдел НКВД

П-19929

Арх. № 266169 Том № 1

Переплетено в 19 г. Дело в томах

Обложка следственного дела Бориса Корнилова



Утверждаю
19 37 г.

Постановление

об избрании меры пресечения и пред'явления обвинения

Город Ленинград 193 7 г. марта 19/3 дня

Опер. Уполномоч. (должность) 5 отд-ния 1У отдела

мл. лейтенант Гос. Безопасности ЛУПАНЧУК (звание и фамилия) УНКВД Ленобласти

рассмотрев следственный материал по делу № новое-/ и приняв во внимание,

что гр КОРНИЛОВ Борис Петрович, 1907 г.р., ур. Горьковского Края,

русский, гр-н СССР, литератор, исключен из союза Сов. писателей за

антиобщественное поведение. Прож: канал Грибоедова 9 кв. 123

достаточно изобличается в том, что он занимается актив. к/р деятельностью,

являясь автором контрреволюционных произведений и распространяет

их. Литературу враждебную советскому государству

ПОСТАНОВИЛ:

гр КОРНИЛОВА Б.П. привлечь в качестве обвиняемого

по ст. ст. 58 п.10 УК. мерой пресечения способов уклонения от следствия

и суда избрать содержание под стражей в ДПЗ по 1-й категории.

Опер. Уполномоченный мл. лейтенант (Лупанчук)

„СОГЛАСЕН" Пом Нач. 5 Отд-ния лейтенант (Михайлова)

Нач. 1У Отдела майор

Настоящее постановление мне об'явл. по 193

Подпись обвиняемого Борис Корнилов

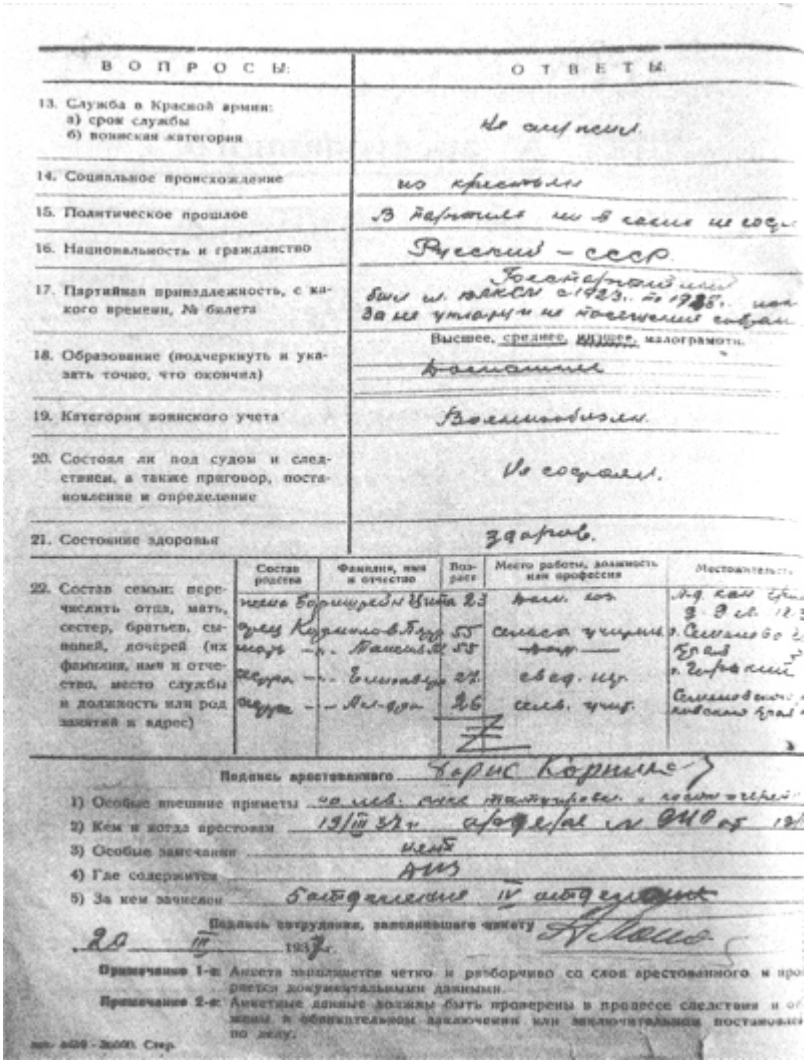
Постановление об избрании меры пресечения и пред'явлении обвинения — первый документ в следственном деле Бориса Корнилова (лицевая и оборотная сторона)

Наименование органа, архива

Д-33. 9909-82 58/10 у Пост. 5 4 3

АНКЕТА арестованного

ВОПРОСЫ:	ОТВЕТЫ
1. Фамилия	Карнилов
2. Имя и отчество	Борис Петрович
3. Год и место рождения	Родился 1907 года 22/I области, края Смоленской района гор. Смоленск село
4. Постоянное местожительство (адрес)	г. Ленинград Канал Грибоедова 9, кв. 123
5. Место службы и должность, или род занятий	Ленинград. Литератор с 1926 г.
6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета	Литератор из числа прозаиков
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-хоз. орудия, количество обрабатываемой земли, количество скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. и индивид. Если колхозник, указать имущественное положение до вступления в колхоз, время вступления в колхоз).	Из книг
8. То же до 1929 г.	тоже
9. То же до 1917 г.	тоже
10. Социальное положение в момент ареста	Сотрудник с 1923 г.
11. Служба в царской армии и чин	нет
12. Служба в белой армии и чин	нет



ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
13. Служба в Красной армии: а) срок службы б) воинская категория	Не служил.
14. Социальное происхождение	из крестьян
15. Политическое прошлое	В партии не в каких не состоял
16. Национальность и гражданство	Русский – СССР.
17. Партийная принадлежность, с какого времени, № билета	Беспартийный был в ВЛКСМ с 1923. по 1925. исключен за не уплату членских не платежей членских взносов
18. Образование (подчеркнуть и указать точно, что окончил)	Высшее, среднее, низшее, малограмотн. Начальное.
19. Категория воинского учета	Военнообязан.
20. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление и определение	Не судился.
21. Состояние здоровья	здоров.

22. Состав семьи: перечислить отца, мать, сестер, братьев, сыновей, дочерей (их фамилия, имя и отчество, место службы и должность или род занятий и адрес)

Состав родства	Фамилия, имя и отчество	Возраст	Место работы, должность или профессия	Местожительство
жена	Борисенко Нина	23	дом. хоз.	Ленинград Кр. 3 Э кв. 12
сын	Борисенко Владимир	5	семья учащ.	г. Семипалатинск Казахской
мать	– " – Павловна	58	дом. хоз.	
сестра	– " – Елизавета	27	свед. муз.	г. Горький
сестра	– " – Анна	26	семья учащ.	Семипалатинск Казахской

Подпись арестованного Борис Борисенко

1) Особые внешние приметы на лев. щеке бородавка, голова седая

2) Кем и когда арестован 19/III 37 г. оперсектором УНКВД по ВКО лейтенантом

3) Особые замечания нет

4) Где содержится ДПЗ

5) За кем записан батальонным IV отдела

Подпись сотрудника, заполнившего анкету

20 III 1937 г.

Примечание 1-е: Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется документальными данными.

Примечание 2-е: Анкетные данные должны быть проверены в процессе следствия и отражены в обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.

Анкета арестованного

С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Управление НКВД—СССР по Ленинградской области

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К ДЕЛУ №_____

23 7-го Марта мес. 40 дня. Я, Опер Уполном. 5 отд. 1 отд. 4 отд. 1 отд. 5 отд. Мукомолов допросил в качестве свидетеля

1. Фамилия Корнилов
2. Имя и отчество Борис Петрович
3. Дата рождения 1907
4. Место рождения г. Семенов Горьковской обл.
5. Местожительство Канал Грибоедова 9 кв. 128
6. Нац. и гражд. (подданство) русский, гр. СССР
7. Паспорт отобран при аресте (когда каким органом выдан, номер, категор. и место прописки)
8. Род занятий литератор исключен из Союза сов. писателей за пьянство (место службы и должность)
9. Социальное происхождение сын сельского учителя (род занятий родителей и их имущественное положение)
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)
    а) до революции сын и литератор
    б) после революции литератор
11. Состав семьи женат - жена Корнилова Нина Сергеевна (данные родственников до имен, фамилия, адреса и род занятий) дер. год; сестра Шабарова Елизавета проживала с сестрой Александра - сельская учительница - отец Корнилов Петр и мать Корнилова Таисия Ивановна - умерли в Детстве

Борис Корнилов

12. Образование (общее, специальное) среднее

13. Партийность (в прошлом и в настоящем) б/п С 1923 по 1928 г. со
в ВКП(б) - исключен за контрреволюционную троцкистскую оппозицию

14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким орган и за что)

а) до революции нет

б) после революции нет

15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. власти
нет

16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете
в запасе рядовой

17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах), когда и в качестве кого Проходил обучение в киевской школе

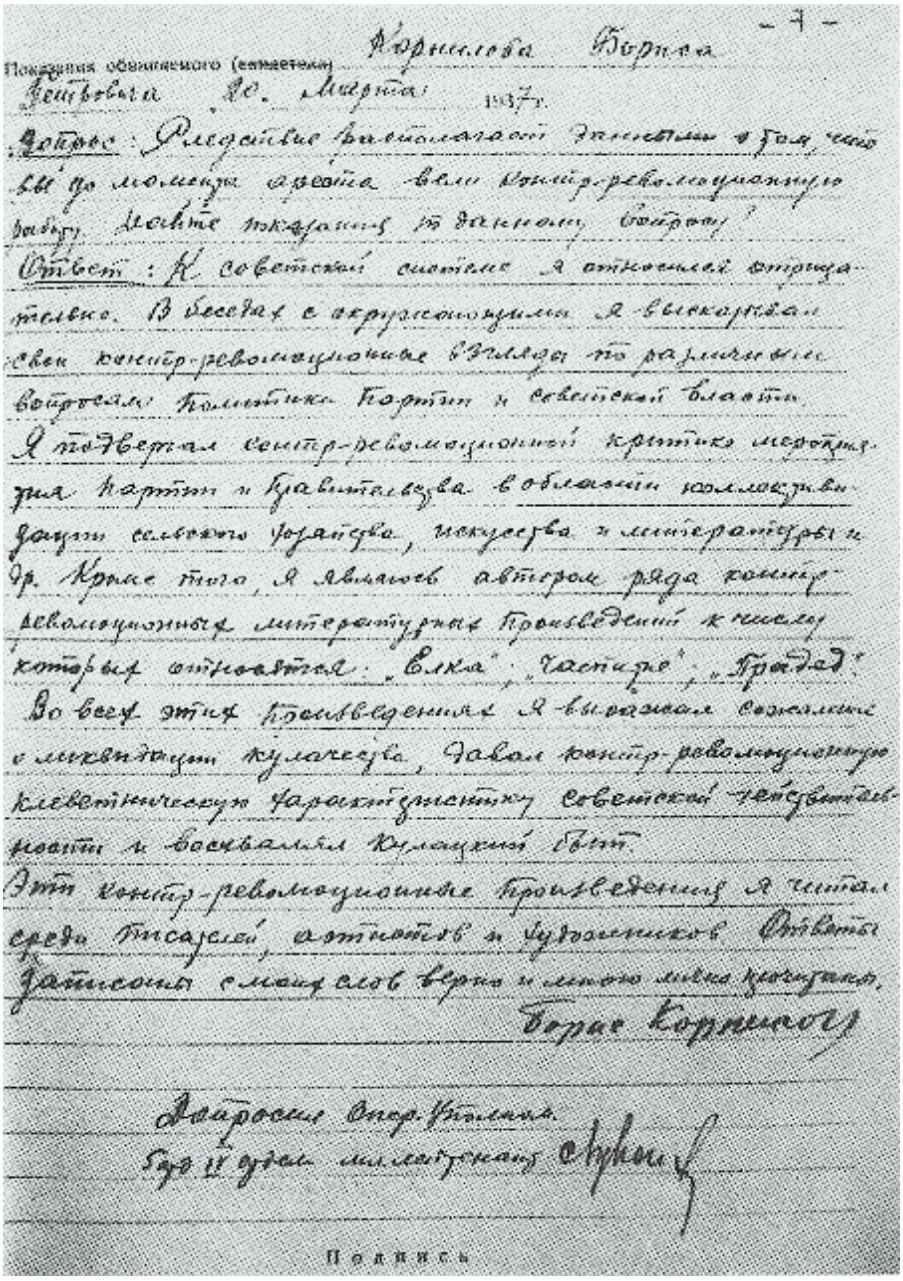
18. Служба в белых и др. к-р. армиях (когда, в качестве кого) не служил

19. Участие в бандах, к-р. организациях и восстаниях нет

20. Сведения об общественно-политической деятельности
нет.

Борис Корнилов

Примечание. Каждая графа должна быть заполнена подробно, точно и исчерпывающе.



Протокол первого допроса Бориса Корнилова

УТВЕРЖДАЮ
Нач. УНКВД по
Ленинградской Области:
/КИРО/
* Февраля 1938 года.

УТВЕРЖДАЮ
ПРОКУРОР Союза ССР
19 Февраля 1938

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По след.делу № 28229-37 года по
обв.КОРНИЛОВА Бориса Петровича в
пр.пр.ст. 58 п.п.8-11 УК РСФСР.-

Следствием по делу ликвидированной троцкистско-зиновьевской террористической организации, совершившей 1-го декабря 1934 года злодейское убийство секретаря ЦК ВКП/б/ С.М.КИРОВА, была установлена принадлежность к этой организации КОРНИЛОВА Бориса Петровича.

Обвинительное заключение составлено 18 Февраля 1937 года.

НОМ НАЧ 1ООТД.IУ ОТДЕЛА
Лейтенант Госбезопасности: /РЕЗНИК/

НАЧ 1О ОТД.IУ ОТДЕЛА УГБ
Лейтенант Госбезопасности: /ГАНТМАН/.

"СОГЛАСЕН" НАЧ IУ ОТДЕЛА УГБ
Капитан Госбезопасности /КАРПОВ/

СПРАВКА: 1. Обвин. КОРНИЛОВ содержится под стражей в Ленинград. Тюрьме УГБ с 20/Х-37 года.
2. Акт экспертизы находится в деле
3. Проходящие по делу: ГОРБАЧЕВ.Г., ГРАБАРЬ.И. -осуждены. РОМАНОВ Олег-устанавливается.
4. Вещественных доказательств по делу нет.

НОМ НАЧ 1О ОТД.IУ ОТДЕЛА
Лейтенант Госуд.Безопасности: / РЕЗНИК/.-

Фрагмент оригинала обвинительного заключения

6 90

ПРОТОКОЛ

ЗАКРЫТОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР

[illegible] февраля 193[illegible] года. Город Ленинград

Председательствующий [illegible]

Члены [illegible]

Секретарь военный юрист 1 ранга [illegible]

Заседание открыто в 13 час. 00 мин.

Председательствующий об'явил, что подлежит рассмотрению дело по обвинению КОРНИЛОВА Бориса Петровича

в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР

Секретарь доложил, что [illegible]

[illegible]

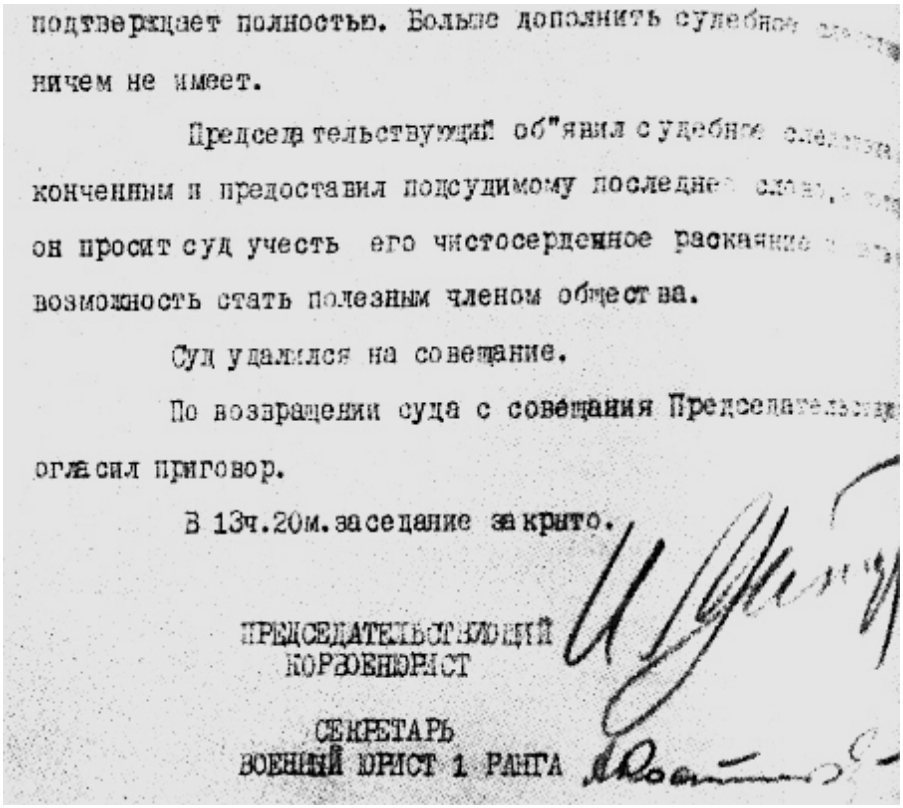
Председательствующий удостоверяется в самолячности подсудимого и спрашивает вручена ли ему копия обвинительного заключения, на что подсудимый ответил [illegible] Подсудимому раз'яснены его права на суде и состав суда.

Подсудимый [illegible]

[illegible]

По предложению председательствующего секретарем оглашено обвинительное заключение.

Председательствующий раз'яснил подсудимому сущность предъявленных ему обвинений и спросил его, признает ли он себя виновным, на что подсудимый ответил, что



подтверждает полностью. Больше дополнить судебное [illegible] ничем не имеет.

Председательствующий об"явил судебное следствие конченным и предоставил подсудимому последнее слово, в котором он просит суд учесть его чистосердечное раскаяние и дать возможность стать полезным членом общества.

Суд удалился на совещание.

По возвращении суда с совещания Председательствующий огласил приговор.

В 13ч.20м. заседание закрыто.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
КОРВОЕНЮРИСТ

СЕКРЕТАРЬ
ВОЕННЫЙ ЮРИСТ 1 РАНГА

Протокол закрытого судебного заседания. 20 февр. 1938 г.

ПРИГОВОР

...ем Союза Советских Социалистических Республик

выездная сессия

...нной Коллегии Верховного Суда Союза ССР

в составе:

Председательствующего Корвоенюриста МАТУЛЕВИЧ

Членов Диввоенюрист МАЗИН и Бригвоенюрист ЖДАН

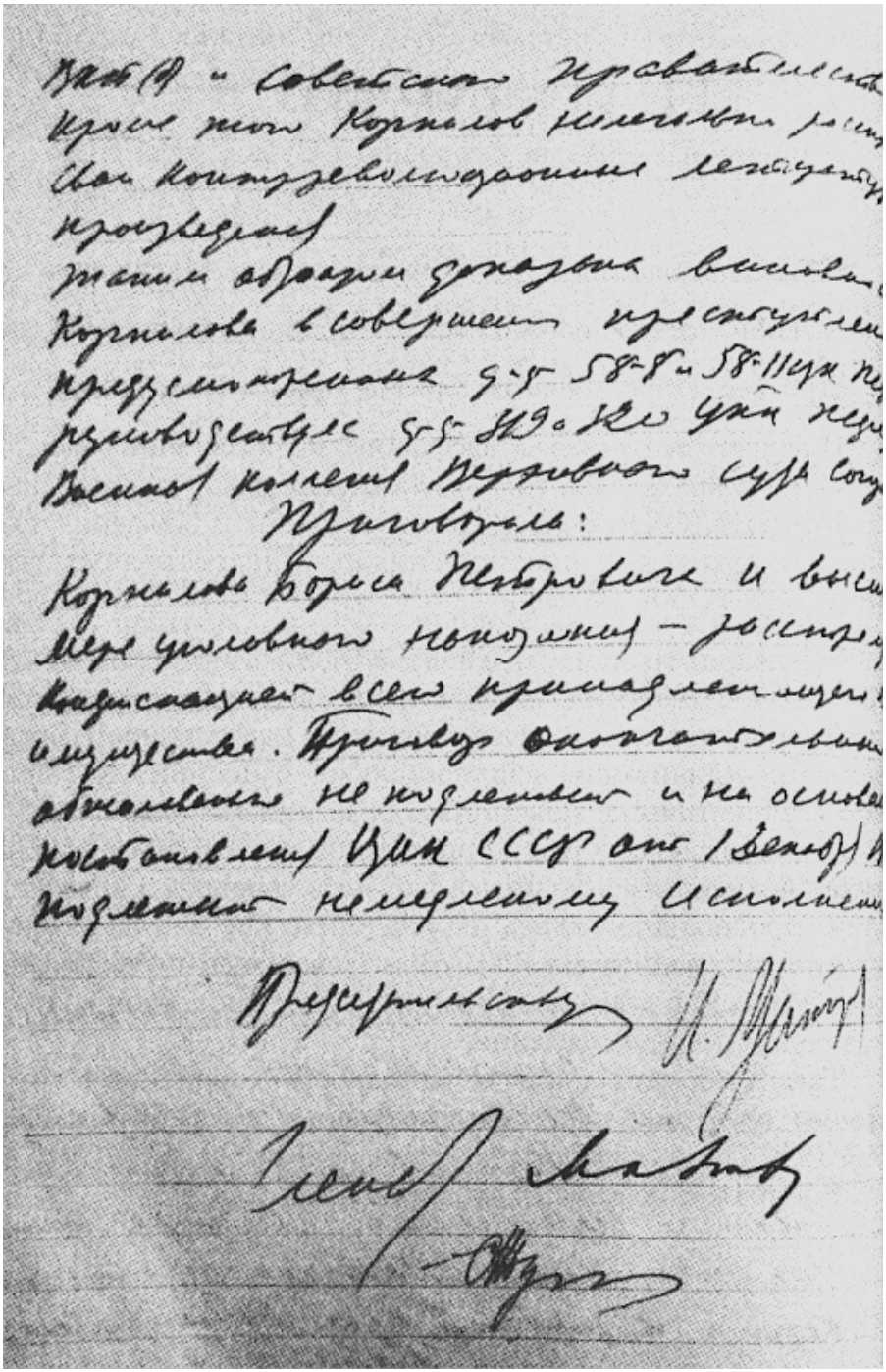
При секретаре военном юристе 1-го ранга ЮСТИНКО

...ании в судебном заседании, в гор. Ленинграде

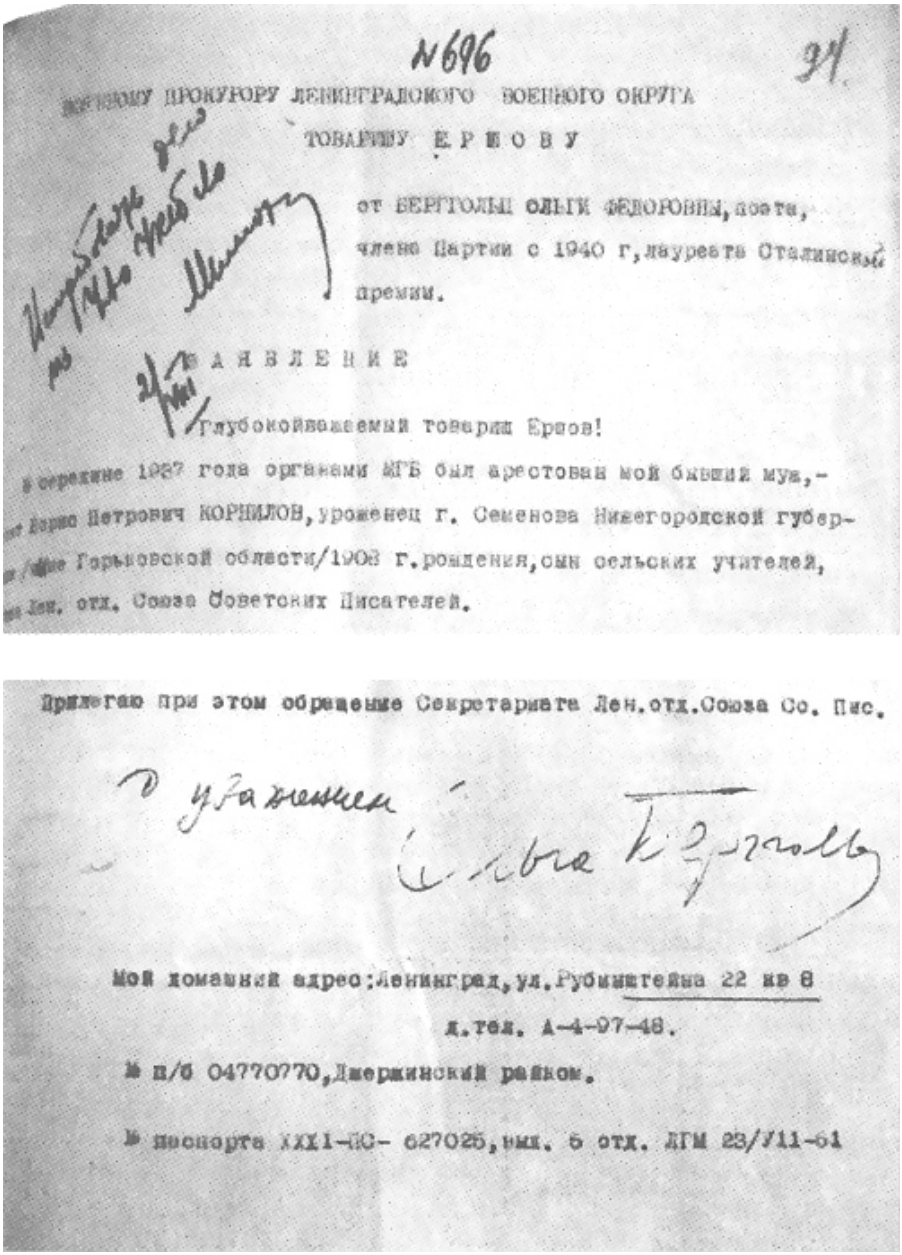
...25. февраля 1938 года, рассмотрела дело по обвинению:

КОРНИЛОВА, Бориса Петровича, 1907 г. рождения, бывшего ...литератора, в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР.

...ительным и судебным следствием установлено, что Корнилов с 1930 г. ...вшись участником антисоветской ...ской террористической двурушнической ...ой организации действовавшей ...Ленинграде. Корнилов состоял непосредственно ...вился на исключительно сложных ...ручениях антисоветской организации ...ой являлся в любом деле практическим ...ителем партии и Советской власти, ...ятельно участвовал террористической ...ьбе против руководителей



Расстрельный приговор Борису Корнилову



№696

ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ТОВАРИЩУ Е Р Ш О В У

от БЕРГГОЛЬЦ ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ, поэта, члена Партии с 1940 г, лауреата Сталинской премии.

З А Я В Л Е Н И Е

Глубокоуважаемый товарищ Ершов!

В середине 1937 года органами НКВД был арестован мой бывший муж, - Борис Петрович КОРНИЛОВ, уроженец г. Семенова Нижегородской губернии /ныне Горьковской области/ 1903 г. рождения, сын сельских учителей, член Лен. отд. Союза Советских Писателей.

Прилагаю при этом обращение Секретариата Лен. отд. Союза Со. Пис.

С уважением

Ольга Берггольц

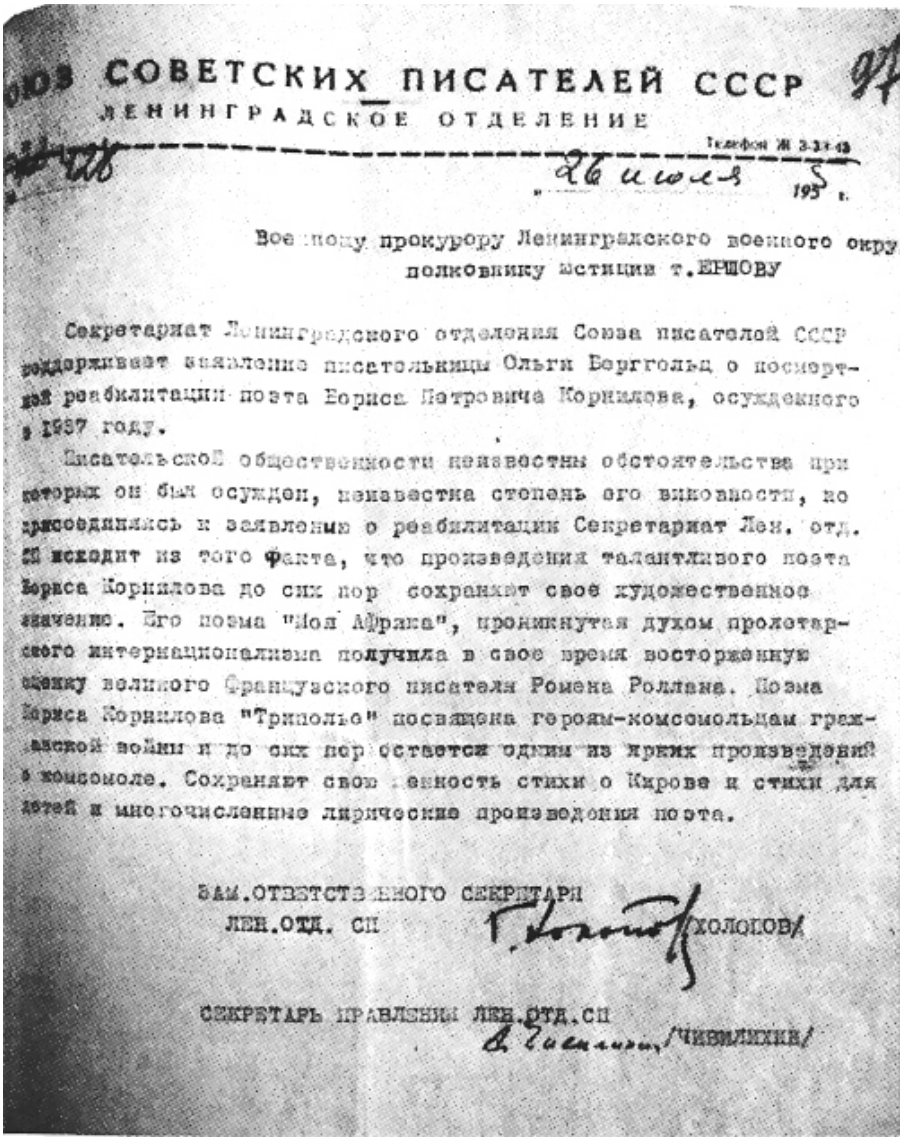
Мой домашний адрес: Ленинград, ул. Рубинштейна 22 кв 8

д. тел. А-4-97-48.

№ п/б 04770770, Дзержинский райком.

№ паспорта XXXI-ПС- 627025, вып. 5 отд. ДГМ 23/VII-61

Фрагмент ходатайства Ольги Берггольц о пересмотре дела Бориса Корнилова и его посмертной реабилитации. 1955 год



СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Телефон Ж 3-33-43

«26» июня 195[illegible] г.

Военному прокурору Ленинградского военного округа
полковнику юстиции т.ЕРШОВУ

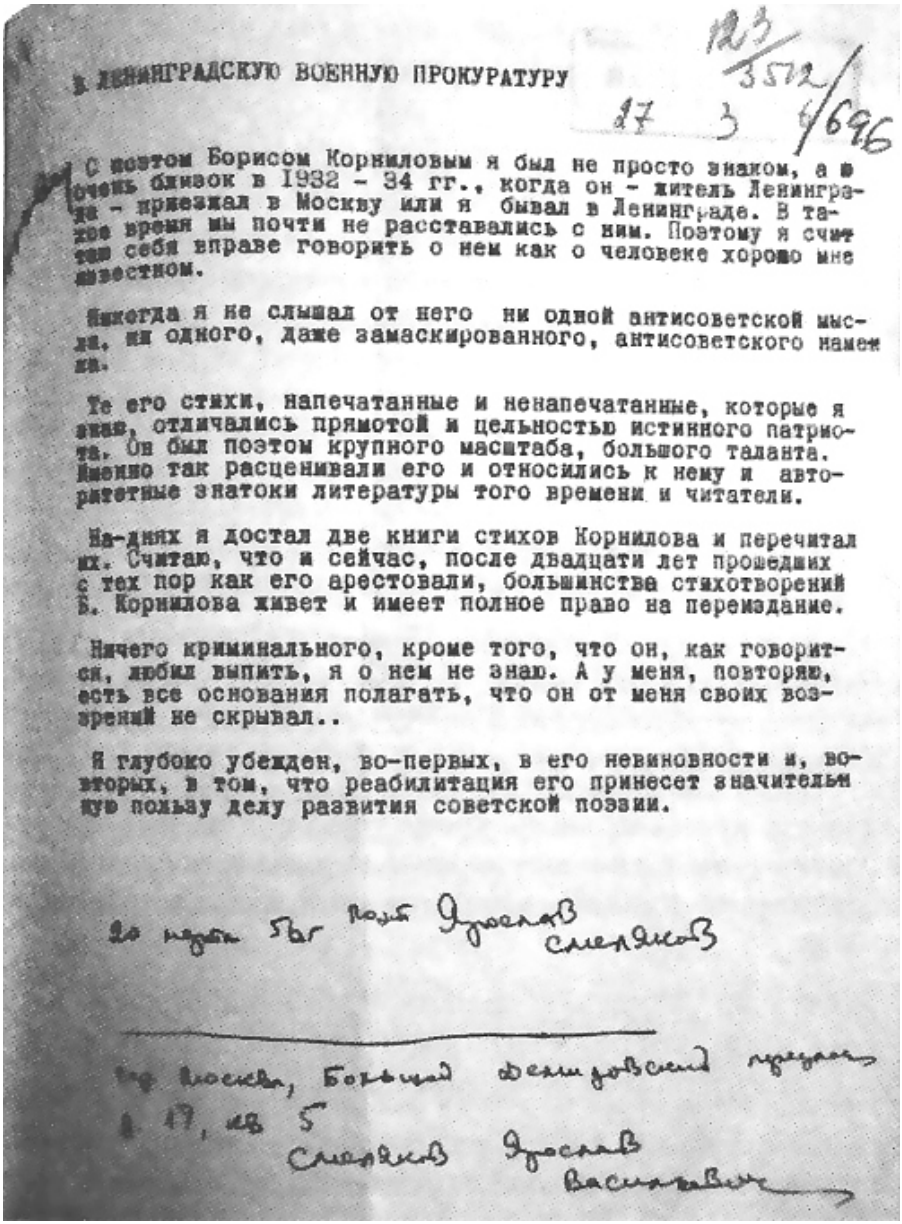
Секретариат Ленинградского отделения Союза писателей СССР возбуждает заявление писательницы Ольги Берггольц о посмертной реабилитации поэта Бориса Петровича Корнилова, осужденного в 1937 году.

Писательской общественности неизвестны обстоятельства при которых он был осужден, неизвестна степень его виновности, но присоединяясь к заявлению о реабилитации Секретариат Лен. отд. СП исходит из того факта, что произведения талантливого поэта Бориса Корнилова до сих пор сохраняют свое художественное значение. Его поэма "Моя Африка", проникнутая духом пролетарского интернационализма получила в свое время восторженную оценку великого французского писателя Ромена Роллана. Поэма Бориса Корнилова "Триполье" посвящена героям-комсомольцам гражданской войны и до сих пор остается одним из ярких произведений о комсомоле. Сохраняют свою ценность стихи о Кирове и стихи для детей и многочисленные лирические произведения поэта.

ЗАМ.ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ
ЛЕН.ОТД. СП /ХОЛОПОВ/

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ЛЕН.ОТД.СП /ЧИВИЛИХИН/

Заявление в прокуратуру от секретариата ЛО ССП



В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ВОЕННУЮ ПРОКУРАТУРУ

123/3572/1
17 3 4/696

С поэтом Борисом Корниловым я был не просто знаком, а в очень близок в 1932 - 34 гг., когда он - житель Ленинграда - приезжал в Москву или я бывал в Ленинграде. В такое время мы почти не расставались с ним. Поэтому я считаю себя вправе говорить о нем как о человеке хорошо мне известном.

Никогда я не слышал от него ни одной антисоветской мысли, ни одного, даже замаскированного, антисоветского намека.

Те его стихи, напечатанные и ненапечатанные, которые я знаю, отличались прямотой и цельностью истинного патриота. Он был поэтом крупного масштаба, большого таланта. Именно так расценивали его и относились к нему и авторитетные знатоки литературы того времени и читатели.

На-днях я достал две книги стихов Корнилова и перечитал их. Считаю, что и сейчас, после двадцати лет прошедших с тех пор как его арестовали, большинство стихотворений Б. Корнилова живет и имеет полное право на переиздание.

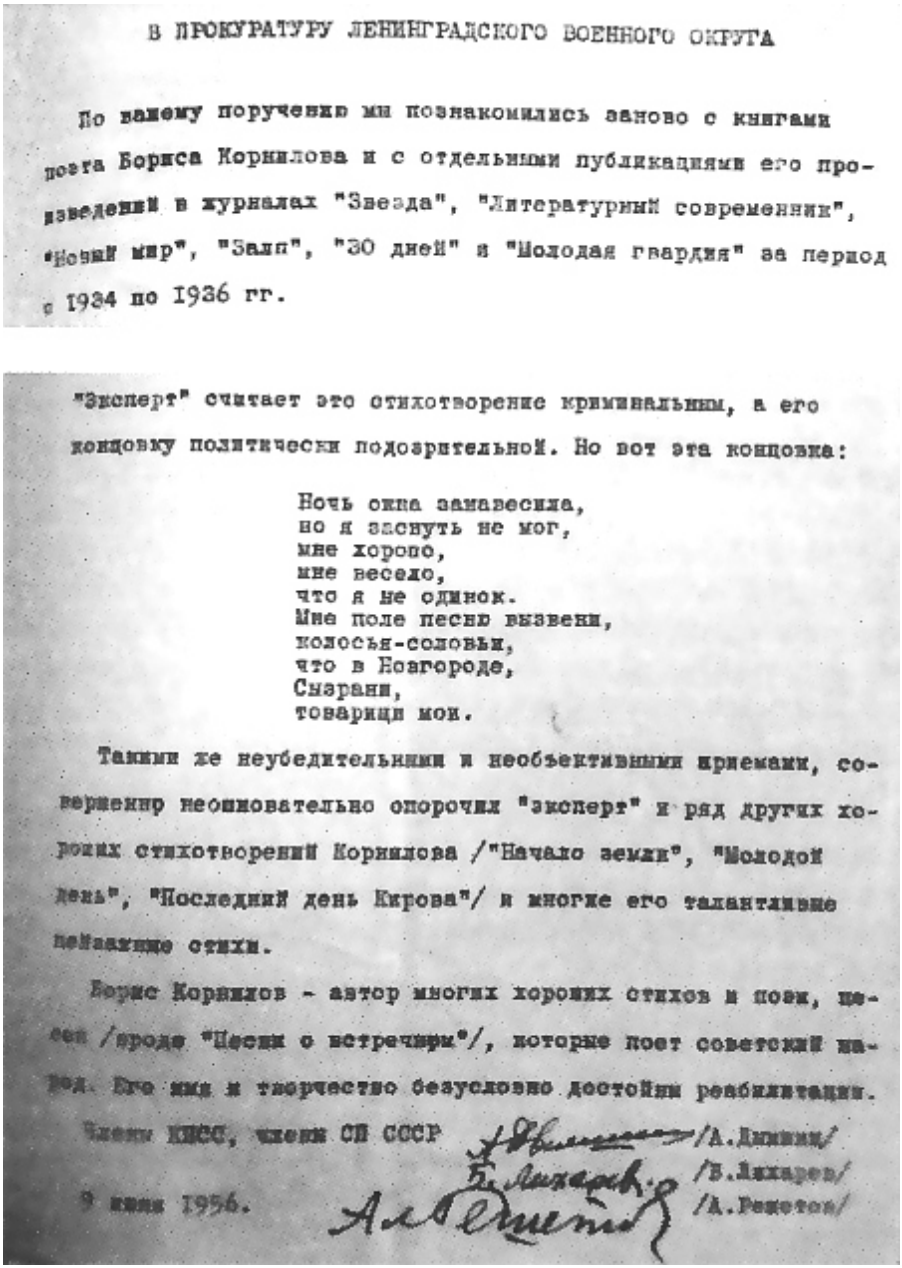
Ничего криминального, кроме того, что он, как говорится, любил выпить, я о нем не знаю. А у меня, повторяю, есть все основания полагать, что он от меня своих воззрений не скрывал..

Я глубоко убежден, во-первых, в его невиновности и, во-вторых, в том, что реабилитация его принесет значительную пользу делу развития советской поэзии.

Это писал Б.г. поэт Ярослав Смеляков

г. Москва, Большой Харитоньевский переулок
д. 17, кв. 5
Смеляков Ярослав Васильевич

Заявление в военную прокуратуру друга Бориса Корнилова — поэта Ярослава Смелякова



В ПРОКУРАТУРУ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

По вашему поручению мы познакомились заново с книгами поэта Бориса Корнилова и с отдельными публикациями его произведений в журналах "Звезда", "Литературный современник", "Новый мир", "Залп", "30 дней" и "Молодая гвардия" за период с 1934 по 1936 гг.

"Эксперт" считает это стихотворение криминальным, а его концовку политически подозрительной. Но вот эта концовка:

Ночь окна занавесила,
но я заснуть не мог,
мне хорошо,
мне весело,
что я не одинок.
Мне поле песню вызвени,
колосья-соловьи,
что в Новгороде,
Снэрани,
товарищи мои.

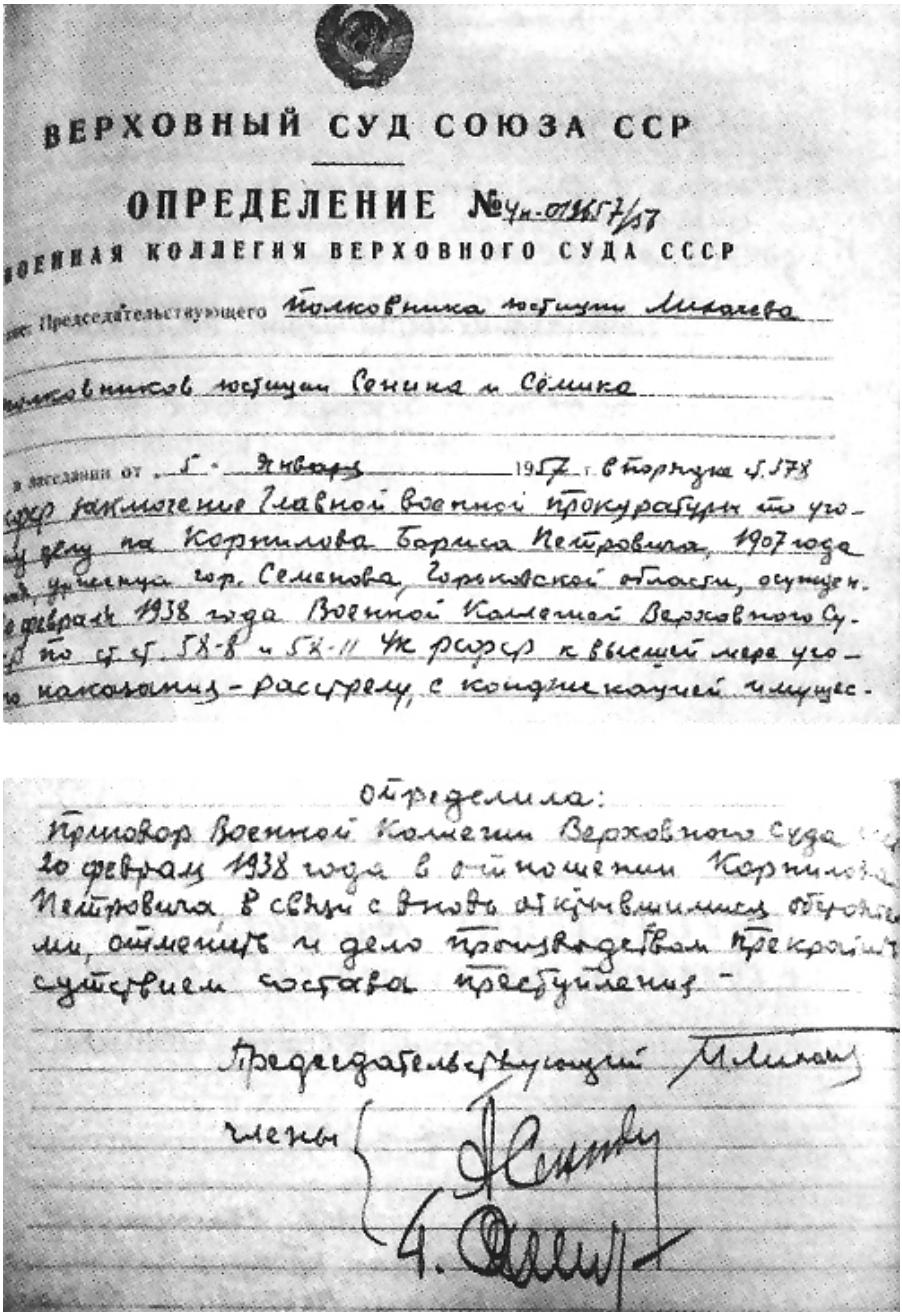
Такими же неубедительными и необъективными приемами, совершенно неоправданно опорочил "эксперт" и ряд других хороших стихотворений Корнилова /"Начало земли", "Молодой день", "Последний день Кирова"/ и многие его талантливые пейзажные стихи.

Борис Корнилов - автор многих хороших стихов и поэм, песен /вроде "Песни о встречном"/, которые поет советский народ. Его имя и творчество безусловно достойны реабилитации.

Члены КПСС, члены СП СССР /А.Дымшиц/
/В.Лихарев/
/А.Решетов/

9 июня 1956.

Повторная литературоведческая экспертиза стихов Бориса Корнилова. 1956 год



ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА ССР

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №4н-01667/57

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

Председательствующего полковника юстиции Михеева

полковников юстиции Сенина и Сёмина

в заседании от 5 января 1957 г. в городе Л. 178

рассмотрение Главной военной прокуратуры то уго-
ное дело по Корнилова Бориса Петровича, 1907 года
ждения, уроженца гор. Семенова, Горьковской области, осуждён.
20 февраля 1938 года Военной Коллегией Верховного Су-
по ст.ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР к высшей мере уго-
наказания - расстрелу, с конфискацией имущес-

определила:

Приговор Военной Коллегии Верховного суда
20 февраля 1938 года в отношении Корнилова
Петровича в связи с вновь открывшимися обстоя
ми, отменить и дело производством прекрати
существием состава преступления.

Председательствующий

члены

Определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 5 января 1957 года

КОПИЯ

Герб
СССР

Герб
РСФСР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

I-ОБ № 035947

Гр. КОРНИЛОВ

Борис Петрович

умер 20 XI - 1938 г. двадцатого ноября тысяча девятьсот тридцать восьмого года,

возраст 31 год.

Причина смерти нет сведений

о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти 1957 года июня месяца 30 числа произведена соответствующая запись за №109.

Место смерти: город, селение /прочерк/
район /прочерк/
Область, край, республика /прочерк/
Место регистрации: ЗАГС Куйбышевского района г. Ленинграда.

Дата выдачи 07 /седьмого/ августа 1957 г.

Заведующий бюро записей актов гражданского состояния

Подпись

Печать учреждения, выдавшего документ

ПОДПИСЬ /неразборчиво/

За отчуждение 1960 г. Новец нотариус
Селиванов государственной нотариальной
свидетельствую верность этой копии под
сделания копии с оригинала документа,
приписок, зачеркнутых слов и других особенностей не оказалось.

Нотариус

Свидетельство о смерти Б. Корнилова (ИРЛИ). Выдано 7 августа 1957 года. Копия заверена 30 апреля 1960 года. Дата смерти указана неверно. «Причина смерти — *нет сведений*».

повторно

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Гражданин (ка) Корнилов
Борис Петрович
(имя, отчество)
умер (ла) 20 февраля 1938 года
(число, месяц, год)
двадцатого февраля тысяча девятьсот тридцать восьмого года
(цифрами и прописью)
в возрасте 56 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти
19 57 года июня месяца 30 числа
произведена запись за № 108
Причина смерти расстрел

Место смерти: город, селение Ленинград
район
область, край
республика РСФСР
Место регистрации Ленинград
Куйбышевский район
(наименование органа ЗАГС)
м. п. Дата выдачи 20 июня 19 90 г.
Заведующий отделом (бюро)
записи актов гражданского состояния

V-АК № 361307

Свидетельство о смерти Б. Корнилова. Из личного архива И. Басовой (передано К. В. Ефимовым). Выдано 20 июня 1990 года. «Причина смерти — *расстрел*».

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю. *Наталия Соколовская* 5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «Снова звезды пылают и кружатся...»
Избранные стихотворения и поэмы

Никита Елисеев. Разорванный мир. *Эссе* 9

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

«Усталость тихая, вечерняя...» 41
Лошадь 42
Окно в Европу 43
«Так хорошо и просто...» 44
Терем 45
Девушке заставы 46
«Под равнодушный шепот...» 47
Книга 48
В нашей волости 50
Лесной дом 50
«Айда, голубарь...» 52
Ожидание 53
На Керженце 55
Лирические строки 56
Обвиняемый 57
Последнее письмо 59
Цыганки 60
Провинциалка 62
«Похваляясь любовью недолгой...» 63
Русалка 64
Начало зимы 67

Лес 68
Лесной пожар 69
Однажды ночью 71
Чаепитие 73
Война 75
«До земли опуская длани...» 76
Дед 78
Качка на Каспийском море 80
«Снова звезды пылают и кружатся...» 82
Подруга 84
«Ты как рыба выплываешь с этого...» 86
Открытое письмо моим приятелям 88
Продолжение жизни 92
«Большая весна наступает с полей...» 94
«Тосковать о прожитом излишне...» 95
Сыновья своего отца 96
Песня о встречном 98
Вошь 100
«Ты шла ко мне пушистая, как вата...» 102
Семейный совет 104
Убийца 107
«Я замолчу, в любови разуверясь...» 110
«Мы хлеб солили крупной солью...» 111
Охота 112
«В Нижнем Новгороде с Откоса...» 113
Ящик моего письменного стола 115
«Без тоски, без грусти, без оглядки...» 116
«Под елью изнуренной и громоздкой...» 118
«Лес над нами огромным навесом...» 119
Из летних стихов 121
Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое 123
Эдуарду Багрицкому 124
Соловьиха 127
«Знакомят молодых и незнакомых...» 130
Открытие лета 131
Мечта 133

Вечер . . . 135
Одиночество . . . 136
Как от меда у медведя зубы начали болеть . . . 139
Елка . . . 144
Прадед . . . 146
Ленинградские стихи . . . 148
Мама . . . 153
Из автобиографии . . . 154
«Яхта шла молодая, косая...» . . . 156
«Спичка отгорела и погасла...» . . . 158
У меня была невеста . . . 159
Сын . . . 160
Скала «Пронеси, Господи» . . . 161
«Мы, маленькие, все-таки сумели...» . . . 163
Собака . . . 164
Память . . . 166
Путь корабля . . . 167
Чиж . . . 168
Зоосад . . . 171
Ночные рассуждения . . . 173
Разговор . . . 174
Последняя дорога . . . 177
В селе Михайловском . . . 179
Триполье. *Поэма* . . . 182

Из неоконченного

Воззвание . . . 229
«Я приличий не нарушу...» . . . 230
«У моей, у милой, у прелестной...» . . . 231
«Вы меня теперь не трогте...» . . . 231
Люся *(Отрывки из поэмы)* . . . 233
Парашютист *(Отрывок из поэмы «Люся»)* . . . 237

Комментарии. *Никита Елисеев* . . . 241

Н. А. Прозорова. Новонайденные тексты Бориса Корнилова из архива Г. М. Козинцева . . . 253

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. «Нас укачивала любовь»

«Я хочу жизни — много, много...» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928—1930 годов. *Публикация Н. А. Прозоровой* 271

«Моя девчонка верная...»: Письмо Б. Корнилова к Т. Степениной. *Публикация Н. А. Прозоровой* 343

Письмо Бориса Корнилова к Ольге Берггольц. *Публикация Н. Е. Соколовской* 354

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. «Я — последний из вашего рода...»
Материалы из личного архива Ирины Басовой

Ирина Басова. «Я — последний из вашего рода...» К переписке Л. Г. Басовой с Т. М. Корниловой 359

Переписка Людмилы Григорьевны Басовой с Таисией Михайловной Корниловой. 1941—1959. *Публикация И. Б. Басовой* 377

Письма Б. М. Лихарева к Л. Г. Басовой. *Подготовка текста И. Б. Басовой, комментарии Н. А. Прозоровой* 423

Людмила Басова. <Жена поэта>. Воспоминания. *Подготовка текста И. Б. Басовой, комментарии Н. А. Прозоровой* 426

«Но о сохранении рукописей после меня пора подумать...» Переписка Л. Г. Басовой с М. П. Берновичем. *Публикация Н. А. Прозоровой* 434

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. «Причина смерти — *расстрел*»
Материалы из следственного дела Бориса Корнилова
Публикация Н. Е. Соколовской

Обложка следственного дела 461

Постановление об избрании меры пресечения 462

Анкета арестованного 464

Протокол первого допроса 466

Н. Лесючевский. О стихах Б. Корнилова (литературоведческая экспертиза) 471

Обвинительное заключение 483

Расписка 487

Протокол закрытого судебного заседания 488

Приговор 490

Справка 494

Заявление О. Берггольц военному прокурору 495

Заявление военному прокурору от секретариата ЛО СП СССР . . . 499

Заявление в Ленинградскую прокуратуру поэта Я. Смелякова 501

Повторная литературоведческая экспертиза 504
Определение Военной коллегии Верховного суда СССР 507
Свидетельство о смерти Б. Корнилова (1957 год) 510
Свидетельство о смерти Б. Корнилова (1990 год) 511

Литературно-художественное издание

«Я БУДУ ЖИТЬ ДО СТАРОСТИ, ДО СЛАВЫ...» БОРИС КОРНИЛОВ

Ответственная за выпуск Наталия Соколовская
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Мария Антипова
Корректоры Станислава Кучепатова, Светлана Федорова
Верстка Александра Савастени

Подписано в печать 17.10.2011.
Формат издания 60×90 1/16. Печать офсетная.
Гарнитура «Петербург». Тираж 5000 экз.
Усл. печ. л. 33,00 (включая вклейки). Заказ № 3796.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Тульская типография»
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109

«Я буду жить до старости, до славы...» Борис Корнилов до старости не дожил: его убил советский режим. Но слава у него была уже при жизни. Он был самым ярким поэтом поколения, входившего в литературу в конце 1920-х годов. Песню из кинофильма «Встречный» на его слова пела вся страна: «Нас утро встречает прохладой, Нас ветром встречает река...» После его гибели эту песню стали объявлять как *народную*. Корнилову благоволила Зинаида Райх: поэтической повадкой он был похож на ее первого мужа, Сергея Есенина.

По ее просьбе Корнилов посвящает ей стихотворение «Соловьиха». Знаменитый Мейерхольд ценил стихи Корнилова, уговаривал его писать пьесу для театра. В Москве он шумно дружил с Павлом Васильевым и Ярославом Смеляковым...

Корнилов входил в литературу со стихотворением «Окно в Европу» — дерзкой переклички с Пушкиным. Его травля начиналась на фоне грандиозной подготовки годовщины смерти Пушкина.

Его последние, написанные в конце 1936 года стихотворения посвящены Пушкину.

Он был арестован в 1937-м, через месяц после того, как страна с помпой отметила *смерть поэта*.

Через год, в *пушкинскую* февральскую, он был расстрелян в тюрьме НКВД.

В первую часть книги входят избранные стихотворения и поэмы Б. Корнилова, а также новонайденные материалы из архива Пушкинского Дома. Вторая часть содержит уникальный дневник Ольги Берггольц 1928–1930 годов — периода их брака с Корниловым, а также письма Бориса Корнилова к Татьяне Степениной, своей первой любви, и Ольге Берггольц. Третью часть книги составили материалы из личного архива Ирины Басовой, дочери поэта. Эту часть открывает эссе И. Басовой «Я — последний из вашего рода...».

В четвертую часть вошли материалы следственного дела Бориса Корнилова из архивов ФСБ.

Предваряет книгу эссе Никиты Елисеева «Разорванный мир».

ISBN 978-5-389-02023-8 01
9 785389 020238

© iStockphoto.com / Abeleao

notes

Примечания

1

«„Моя девчонка верная…“: Письмо Б. Корнилова к Т. Степениной». Публикация Н. А. Прозоровой. *Здесь и далее в статье — прим. ред.* (Кроме оговоренных случаев.)

2

Там же.

3

Там же.

Л. Г. Басова. <Жена поэта>. Воспоминания. См. наст. изд.

5

«Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годов. Публикация Н. А. Прозоровой. См. наст. изд.

6

ЛАПП — Ленинградская ассоциация пролетарских писателей. Представительство РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей) в Ленинграде. РАПП — литературное объединение в СССР (1928–1932 гг.). — прим. верстальщика.

Л. Г. Басова. <Жена поэта>. Воспоминания. См. наст. изд.

8

Дочь О. Ф. Берггольц и Б. П. Корнилова — Ирина (1928–1936). — прим. верст.

9

Л. Г. Басова. <Жена поэта>. Воспоминания. См. наст. изд.

10

«Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годов. Публикация Н. А. Прозоровой. См. наст. изд.

11

Там же.

12

Там же.

13

Там же.

14

В книге: в безлюдьи. — прим. верст.

15

Фантастический роман братьев Стругацких, изданный впервые в 1972-м году. — прим. верст.

16

В книге: около-чоновском. — прим. верст.

17

Борис Колоницкий. Красные против красных. К 90-летию окончания Гражданской войны в России. Опубликовано в журнале: Нева — 2010. — № 11. — С. 144–164. [Электронный ресурс] // http://magazines.russ.ru/neva/2010/11/ko4.html (2016.01.05). — прим. верст.

18

«Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годов. Публикация Н. А. Прозоровой. См. наст. изд.

19

Нибелу́нги (дети тумана) — мифический древний род карликов, владетелей и хранителей древних сокровищ на землях по реке Рейн. — прим. верст.

20

См. полностью в части четвертой наст. изд.: «„Причина смерти — расстрел“. *Материалы из следственного дела Бориса Корнилова*».

21

Кулиги — лес, расчищенный под пашню. Здесь и далее в «Избранные стихотворения и поэмы» — примечания Н. Елисеева (кроме оговоренных случаев).

22

Омет — большая куча соломы, собранная после молотьбы.

23

Выборгская сторона — историческая часть Санкт-Петербурга на правом берегу Невы. Фабричный район. На Выборгской стороне родилась первая жена Бориса Корнилова, поэтесса Ольга Берггольц.

24

…всадник, скомканный из меди… — «Медный всадник» — конная статуя Петра Первого, выполненная Этьеном Фальконе в 1768–1770 годах. Голову Петра лепила ученица Фальконе, Мария-Анна Колло.

25

…Пушкин прокричал, Что здесь продавлено сейчас Окно В рабочую Европу. — «Окно в Европу» — образ из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник». Пушкин использовал метафору венецианского писателя Альгаротти: «Петербург — окно, сквозь которое Россия смотрит на Европу».

26

В стихотворении сплавились впечатления от двух книг: не названной «Конармии» И. Э. Бабеля и названного «Тараса Бульбы» Н. В. Гоголя.

27

Голубарь — то же, что «голубчик». См.: С. А. Есенин. «Анна Снегина»: «Гляди, голубарь, веселей!»

28

Овин — хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молотьбой.

Пристяжные — две лошади в тройке, запряженные по бокам.

Коренник — лошадь в тройке, запряженная в центре.

31

Коростель, или дергач, — небольшая птица. Летает мало и неохотно. В случае опасности предпочитает спасаться бегством.

32

Керженец — река в Нижегородской области, левый приток Волги. На берегах Керженца располагались старообрядческие скиты.

33

…У любого кержачьего скита… — Старообрядцев было так много на берегах Керженца, что слово «кержаки» стало синонимом слова «старообрядцы».

34

Первая публикация стихотворения была с посвящением Т. А. Степениной.

35

…коробочки ТЭЖЭ… — «ТЭЖЭ» — «Трест Жиркость» или «Государственный союзный трест высшей парфюмерии, жировой, мыловаренной и синтетической промышленности (ТЭЖЭ) Главного управления маслобойно-жировой и парфюмерно-косметической промышленности Наркомпищепрома СССР», производивший духи.

36

…Кричит татарин на дворе… — В дореволюционном Петербурге и Ленинграде 20-х годов татары были, в основной своей массе, старьевщиками.

В книге: гоноррея. — прим. верст.

38

Я уйду с толпой цыганок За кибиткой кочевой… — Цитата из стихотворения Я. П. Полонского «Песня цыганки», положенного на музыку Ф. К. Садовским и ставшего народной песней.

39

Первая публикация стихотворения была с посвящением О. Берггольц.

Иванов день — Иван Купала. Народный языческий праздник в день летнего солнцестояния. Православной церковью приурочен к дню рождения Иоанна Крестителя (Ивана Купалы). В этот день, по народным поверьям, особенно активны и опасны ведьмы и русалки.

41

Ветлугай — или ветлужанин, человек, проживающий на берегах реки Ветлуги.

42

Эпиграф из стихотворения В. И. Нарбута «Чета» (сб. «Плоть», быто-эпос, Одесса, 1920). В. И. Нарбут (1888–1938) — поэт-акмеист, издатель. В 20-х годах — руководитель издательства «Земля и фабрика». В 1928 году исключен из партии «за сокрытие ряда обстоятельств, связанных с его пребыванием на юге России во время Гражданской войны». Репрессирован в 1938 году.

43

…Купите бублики, гоните рублики… — переиначенная цитата из популярной песни «Бублики» на стихи Я. П. Ядова (1873–1940). Песня написана Яковом Ядовым за 30 минут и первый раз исполнялась в 1926 году на открытии Одесского театра миниатюр.

44

…зовут Людмилой, разумеется — дорогой. — Речь идет о второй жене Бориса Корнилова — Людмиле Григорьевне Борнштейн.

45

Эпиграф из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» (1825).

46

Лешка Егоров, Мишка Кузнецов — А. П. Егоров, М. Кузнецов — члены Семёновского уездного комитета комсомола.

47

Васька Молчанов — В. Ф. Молчанов — друг Б. П. Корнилова.

48

…*батальоны ЧОНа* — части особого назначения (1919–1925), военно-партийные отряды, создававшиеся при заводских партячейках, райкомах, губкомах и укомах партии.

49

…и зовут чужбиною Царские Села, и зовут отечеством Советский Союз. — Переиначив цитату из хрестоматийного пушкинского стихотворения, Борис Корнилов почти вернулся к источнику пушкинского афоризма: «Для нас, христиан, всякая отчизна — чужбина; и всякая чужбина — отечество» (Василий Великий).

50

«Были два товарища в одном они полку…» — Переиначенная цитата популярной солдатской песни «Служили два товарища…». Сама песня — перевод немецкой песни «Der gute Kamerad» (муз. Фридриха Зильхера, сл. Людвига Уланда, 1825).

… *от тебя ощую* — слева. — прим. верст..

52

Его отмечает звезда Козерог. — Созвездие Козерог отождествлялось древними греками с богом лесов и полей Паном.

53

Песня написана для фильма «Встречный» (реж. Фридрих Эрмлер, Сергей Юткевич). Муз. Дмитрия Шостаковича.

Встречный — встречный социалистический план, в ответ на план другого предприятия.

54

«Где вы теперь? Кто вам целует пальцы?» — Цитата из песни А. Н. Вертинского «Лиловый негр» (1916).

55

«Прости меня, прости…» — Первая строчка романса на слова А. Н. Апухтина «Прости меня, прости!» (1870-е).

56

…поговорю о «странностях любви». — Измененная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Гавриилиада» (1821). «Поговорим о странностях любви (Другого я не смыслю разговора)».

Тать (устар.) — вор, хищник, похититель. — прим. верст.

58

Откос — так горожане называют набережную на Дятловых горах, излюбленное место встреч и прогулок.

59

Пески — «Наносы песка в той части Волги, что неподалеку от Сенной площади» (Поздняев К. Незабываемое // Поэт, рожденный Октябрем. Горький, 1987).

60

Стенич (Сметанич) В. И. (1897–1938) — эссеист, переводчик. Переводил Честертона, Дюамеля, Брехта, Дос Пассоса, Джойса. Автор либретто к новой версии оперы «Пиковая дама», поставленной Мейерхольдом. Прототип юноши Стэнча, главного героя эссе А. А. Блока «Русский денди». Снимался в фильмах «Чапаев», «Ленин в 1918», «Волочаевские дни» в эпизодических ролях белогвардейцев и иностранных шпионов. За годы советской власти четырежды арестовывался. Последний раз — в 1938-м. Расстрелян.

61

Товарищ Кузьма — К. Краюшкин — друг Бориса Корнилова, сельский учитель, убит кулаками в деревне Зубово Нижегородской области.

62

…над твоим торгсиновским беретом… — Торгсин (1931–1936) — Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами. Обслуживало иностранцев или советских граждан, имеющих «валютные ценности» (золото, драгоценные камни, предметы старины, наличную валюту). Торгсиновский — очень дорогой, стильный.

63

Громобой — герой первой части баллады В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев» (1817). — Историю написания и публикации этого текста, а также о литературно-фольклорных источниках имени Громобой см. Н. А. Прозорова «Новонайденные тексты Бориса Корнилова…» (наст. издание).

64

Багрицкий Э. Г. (1895–1934) — поэт. Борис Корнилов дружил с ним. Испытал огромное влияние его баллад. Стихотворение написано спустя 15 дней после смерти Багрицкого.

65

Эпиграф из стихотворения А. А. Блока «Поэты» (1908).

66

…Охотник, поэт, рыбовод… — Измененная цитата из стихотворения Багрицкого «Вмешательство поэта» (1929). У Багрицкого: «Механики, чекисты, рыбоводы, Я ваш товарищ, мы одной породы…».

67

В одесской пивной подают… — Багрицкий родился и долгое время прожил в Одессе.

68

…И Тиль Уленшпигель и Ламме. — Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак — герои романа бельгийского писателя Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных и достославных деяниях во Фландрии и другие краях» (1867). Багрицкий написал о Тиле два стихотворения.

69

…С бандитами, с батькой Махною… — Н. И. Махно (1888–1934) — анархист. Руководитель крестьян-повстанцев на Украине, сражавшихся против белых и против красных, коммунистических, отрядов. «Дума про Опанаса» (1926) Багрицкого посвящена войне против махновских отрядов.

70

…Ах, Черному, злому, ах, морю… — Переиначенная цитата из стихотворения Багрицкого «Котрабандисты» (1927).

71

…да здравствуют гёзы! — Гёзы (нищие) — сначала прозвище, а потом самоназвание нидерландских повстанцев XVI века, боровшихся против испанского владычества и Католической церкви. Гёзами были Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак.

72

…Расстрел Опанаса-бандита… — Опанас — главный герой поэмы Багрицкого «Дума про Опанаса», красноармеец, перешедший на сторону Махно, убивший комиссара своего отряда, Иосифа Когана, взятый в плен и расстрелянный.

73

Хозяин сидит у стены, Вдыхая дымок от астмы… — Багрицкий был астматиком.

74

Аквариумы во мглу… — Увлечением Багрицкого было собирание экзотических рыб.

75

…Его подмосковный зяблик. — Другим увлечением Багрицкого были птицы.

76

И сзади идут фырча кавалерийские кони. — Гроб с телом Багрицкого в крематорий Донского кладбища сопровождал эскадрон кавалеристов.

77

…Двустволка — его подарок. — Багрицкий действительно подарил Борису Корнилову охотничье ружье. Ружье было конфисковано при обыске, но в описи изъятых вещей не значилось.

В книге: поларшинными. — прим. верст.

79

Самое известное стихотворение Бориса Корнилова для детей. Неоднократно печаталось отдельным изданием.

80

Мы с тобою в кино «Аврора»… — Кинотеатр «Аврора» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Один из первых кинотеатров в России. Открыт в 1913 году. До 1932 года назывался «Пикадилли». В 1932-м переименован в «Аврору». В 1920-е годы здесь работал тапером Д. Д. Шостакович.

81

…запевает начдив высоко про безмолвие Иртыша. — Описывается фильм «Чапаев» (1934). В фильме Чапаев поет песню «Смерть Ермака».

82

…это каппелевцы пошли. — Описывается знаменитая «психическая атака каппелевцев» в фильме «Чапаев». Любопытно, что во главе кинематографических каппелевцев с сигарой во рту шагал друг Бориса Корнилова, Валентин Стенич.

83

…я крестьянил в деревне Дьяково… — В большинстве изданий читаем: «Я родился в деревне Дьяково…». Что ошибочно. См. автограф этого стихотворения в: *Поздняев К.* Продолжение жизни: Книга о Борисе Корнилове. М., 1978.

84

У Бориса Корнилова рождались только дочки. Первая от Ольги Берггольц, Ирина, родилась в 1928-м, умерла в 1936-м от болезни сердца, возникшего как осложнение после ангины. Вторая, от Люси Борнштейн, тоже Ирина, родилась в 1937-м, в настоящее время живет в Париже.

85

Стихотворение написано во время поездки Бориса Корнилова на Северный Кавказ.

Скала «Пронеси, Господи» — скала, нависающая над одним из участков Краснополянского шоссе, горной дороги из Адлера в Красную Поляну. Дорога и стометровый туннель строились с 1897 по 1899 год под руководством инженера-путейца Василия Константиновича Константинова (1867–1920). Перед въездом в туннель установлен барельеф инженера.

86

…дорогу рубили вручную. — При строительстве Краснополянского шоссе использовалась самая примитивная техника: лом, кирка, лопата.

87

Висели на люльках, вгрызаясь в гранит… — В путеводителе С. Дороватовского приводится описание очевидца: «За выступ скалы привязывалась веревка, на которой спускался рабочий, и, повисая над бушующей Мзымтой, он просверливал скважину, в которую закладывал динамитный патрон. Затем откачивался на веревке в сторону, чтобы выждать взрыва, но иногда не удерживался, и его подносило к забою. Тогда взрыв оказывался для рабочего смертельным».

88

Река сумасшедшая… — *Мзымта* — река в Краснодарском крае. «Мзымта» в переводе с убыхского языка — «бешеная».

89

…ответят вполголоса, тяжко дыша: с Украины, из России… Армяне и турки… — Строили Краснополянское шоссе главным образом греки и турки. Основной контингент строительных рабочих был — турки, набранные из турецкого поселения в Сочи, Турецкий овраг.

90

…высоко два лома под самой скалой вонзил разъяренной рукою. — В расщелине на скале «Пронеси, Господи» действительно врублены два лома.

91

Измененный эпиграф из стихотворения О. Э. Мандельштама (1891–1938) «Только детские книги читать…» (1908). В 1933 голу Мандельштам побывал в Ленинграде, где были устроены два его вечера в Доме печати и в Капелле. Ахматова пишет об этом в своих воспоминаниях: «В Ленинграде его встречали как великого поэта, persona grata, и к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград (Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский), и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет». В 1934 году Мандельштам был арестован за антисталинскую сатиру «Мы живем, под собою не чуя страны». В 1935-м, когда Борис Корнилов писал стихотворение «Мы, маленькие…», Мандельштам находился в ссылке, в Воронеже.

92

…злая осторожность добермана… — Доберман — порода короткошерстных служебных собак, выведена в конце XIX века в Тюрингии в г. Апольда Фридрихом Луисом Доберманом. В России доберманы появились в начале XX века. С середины 20-х годов и до начала 40-х доберман был основной служебной собакой в погранчастях, в армии и милиции. Затем его сменила немецкая овчарка. Дело было в том, что доберман, в отличие от овчарки, болезненно реагирует на смену хозяина, а Сталинская «ротация кадров», т. е. террор, таковую смену обеспечивал с завидной регулярностью. У Б. Корнилова была собака породы доберман, о чем вспоминала его жена Л. Борнштейн.

93

По улице Перовской… — Ныне Малая Конюшенная. С 1918-го по 1990-й — имени Софьи Перовской (1853–1881), революционерки. На этой улице расположен знаменитый «писательский» дом, выходящий другой стороной на канал Грибоедова. В этом доме с 1934-го по 1937 год жил Борис Корнилов со второй женой, Люсей. Здесь он и был арестован. Его соседом был М. М. Зощенко.

94

Второе стихотворение из цикла стихов Бориса Корнилова о Пушкине, написанного в 1936 году.

95

…Увозят Пушкина украдкой… — Похороны Пушкина и в самом деле напоминали операцию спецслужб. «…Назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какою-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви», — жаловался Василий Андреевич Жуковский Бенкендорфу (цит. по книге В. Вересаева «Пушкин в жизни», которая неоднократно переиздавалась в СССР). 1 февраля 1837 года было отпевание. 3 февраля тело Пушкина было отправлено в Святогорский монастырь. Сопровождали труп друг поэта А. И. Тургенев, жандармский капитан и крепостной дядька Пушкина, Никита Козлов.

96

…Да отделенье это Третье… — Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии — орган политического сыска и следствия, создан императором Николаем I в 1826 году. Упразднен Александром II в 1880-м, когда его функции были переданы Департаменту полиции МВД.

97

Пой, Революция! Пылай! — Революция как возмездие за Пушкина — общее место романтической советской поэзии 20—30-х годов. (Ср. «Я мстил за Пушкина под Перекопом». Эдуард Багрицкий.)

98

Об этом не забудь, Уваров… — Сергей Семенович Уваров (1786–1855) — рус. гос. деятель, создатель теории «официальной народности» и основополагающей ее формулы: «Самодержавие. Православие. Народность». В 1833–1849 годах — министр народного просвещения. Весьма неприязненно относился Пушкину. Известно, как он отнесся к публикации журналистом Андреем Краевским некролога о Пушкине, начинающегося словами: «Солнце русской поэзии закатилось»: «Я должен вам передать, — сказал председатель цензурного комитета князь Дондуков-Корсаков Краевскому, — что министр (Сергей Семенович Уваров) крайне, крайне недоволен вами! К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия в кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это еще куда бы ни шло! Но что за выражения! „Солнце поэзии!!“ Помилуйте, за что такая честь? „Пушкин скончался… в средине своего великого поприща!“ Какое это такое поприще? Сергей Семенович именно заметил: разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Наконец, он умер без малого сорока лет! Писать стишки не значит еще, как выразился Сергей Семенович, проходить великое поприще! Министр поручил мне сделать вам, Андрей Александрович, строгое замечание и напомнить, что вам, как чиновнику министерства народного просвещения, особенно следовало бы воздержаться от таковых публикаций» (П. А. Ефремов // Русская старина. 1880. Т. 28. С. 536).

99

…И в розвальни коней почтовых Другую тройку запрягли. — О похоронах Пушкина А. И. Тургенев вспоминал так: «В 1 час пополуночи отправились сперва в Остров, за 56 верст, где исправник и городничий нас встретили и послали с нами чиновника далее; оттуда за пятьдесят верст к Осиповой — в Тригорское, где уже был в три часа пополудни. За нами прискакал и гроб в седьмом часу вечера; гроб оставил я на последней станции с почтальоном и дядькой. Осипова послала, по моей просьбе, мужиков рыть могилу; вскоре и мы туда поехали с жандармом; зашли к архимандриту; он дал мне описание монастыря; рыли могилу; между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду и здания. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь. Гроб внесли в верхнюю церковь и поставили до утра там» (цитируется по книге В. Вересаева «Пушкин в жизни»).

100

Могила тихая у Пскова К шести часам обнажена… — Ср. свидетельство А. И. Тургенева: «6 февраля, в 6 часов утра, отправились мы — я и жандарм!! — опять в монастырь, — все еще рыли могилу; моим гробокопателям помогали крестьяне Пушкина, узнавшие, что гроб прибыл туда; мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу — немногие плакали».

101

Михайловское — родовое имение матери А. С. Пушкина Н. О. Ганнибал. С августа 1824-го по сентябрь 1826-го Пушкин был в ссылке в родовом имении матери.

102

…Но вяжет нянюшка-старуха… — Арина Родионовна Яковлева (1758–1828) — крепостная Ганнибалов, родом из деревни Суйды. Няня Пушкина и кормилица его старшей сестры Ольги.

103

…румяный Онегин с Лариной Татьяной… — В Михайловском были написаны главы «Евгения Онегина», в которых появляются Татьяна Ларина и Ленский.

104

«Роняет молча пистолет»… — Строка из шестой главы «Евгения Онегина», описывающей дуэль Онегина и Ленского.

105

…Одни товарищи в могиле, Другие — неизвестно где… — Переиначенная строка из романа «Евгений Онегин»: «Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал». Саади (1181–1291) — персидский поэт. Его строчки: «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уж нет, другие странствуют далече» — Пушкин взял эпиграфом к поэме «Бахчисарайский фонтан».

106

…Сидит товарищ перед ним. — Речь идет о декабристе И. И. Пущине (1798–1859). Он был первым из друзей Пушкина, кто посетил его в Михайловском. Это случилось 11 января 1825 года.

107

…И Пушкин, руку простирая, Читает «Горе от ума». — Пущин привез в Михайловское рукопись комедии Грибоедова «Горе от ума». Комедия Грибоедова была запрещена и распространялась в списках. Впервые была напечатана в Германии в 1831 году в переводе на немецкий. Спустя два года была напечатана в Москве со значительными цензурными купюрами. Полный текст комедии был напечатан в России после отмены крепостного права, в 1862 году.

108

Поэма написана в 1933–1934 годах и посвящена боевым действиям сводного комсомольского отряда против повстанческого отряда атамана Зеленого (Данило Ильич Терпило) в июле 1919 года в районе села Триполье, близ Киева. После упорных боев повстанцы были выбиты из села Обухова и села Триполье. Входивший в сводный отряд Караульный полк, понесший серьезные потери, был выведен в Киев на пополнение. Используя численное превосходство, повстанцы окружили Триполье и вновь захватили село. Взятых в плен комсомольцев казнили. 25 июля совместными действиями советских войск и Днепровской военной флотилии отряд атамана Зеленого был разбит. Ср. строки из Части третьей поэмы «Коммунисты, вперед…» со знаменитым послевоенным стихотворением А. Межирова «Коммунисты, вперед!».

109

…с атамана Зеленого…— Д. И. Терпило (1888–1919), атаман Зеленый, сельский учитель. Участник революции 1905–1907 годов. Эсер. В 1908 году сослан в Холмогоры. В 1913 году, после амнистии политических преступников к 300-летию дома Романовых, вернулся на родину, в Триполье. Участник Первой мировой войны. Служил писарем. В конце 1917 года вернулся в Триполье. Летом 1918 года во время восстания против гетмана Скоропадского организовал повстанческий отряд. В ноябре 1918 года создает трехтысячную Днепровскую повстанческую дивизию, входящую в состав войск Симона Петлюры. Дивизия участвует во взятии Киева 14 декабря 1918 года. В результате конфликта с Петлюрой 6 января 1919 года распускает дивизию. В середине января 1919 года вновь собирает отряд и выступает против петлюровцев. В феврале предлагает свои услуги Красной армии. 20 марта 1919 года поднимает восстание против Советской власти в Триполье, уничтожает продотряд и агитаторов. 25 марта 1919 года Совнарком Украины объявляет атамана Зеленого вне закона. 25 июля 1919 года разбит Красной армией и отходит на Левобережье. Погиб в бою с деникинцами у Канева.

110

…все из вольницы Григорьева… — Атаман Григорьев (Никифор Серветник) (1885–1919) — участник Первой мировой войны, штабс-капитан, кавалер Георгиевского креста. Командир дивизии Красной армии, в мае 1919 года поднявший антибольшевистский мятеж. В 1919 году убит Нестором Махно за попытку связаться с деникинцами.

111

Шли Аронова, Ратманский… — Аронова — пулеметчица сводного отряда, погибла в бою. Ратманский Михаил Самойлович (1900–1919) — один из организаторов комсомола на Украине. Член РСДРП (б) с 1916 года. С 1912 года работал в ювелирной лавке. Участник вооруженных восстаний в Киеве в октябре-ноябре 1917 года, в январе 1918 года. Один из основателей Социалистического союза рабочей молодежи «III Интернационал». Казнен по приказу атамана Зеленого.

112

И рабочих из Киева в бой повел Травиенко. — Травиенко — командир Шулявского рабочего батальона, выбившего атамана Зеленого из Триполья.

113

Отрывки из поэмы, посвященной второй жене Бориса Корнилова, Людмиле Борнштейн.

114

Впервые с небольшими изменениями опубл.: Русская литература. 2011. № 2. С. 214–224.

115

Известия. 1934. 6 авг. № 182. С. 3; текст без даты.

116

Корнилов Б. Новое: [Стихи]. Л., 1935. С. 65–66. Стихотворение получило название: «Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое». В книге не были помещены 11—13-я строфы стихотворения, опубликованные в газете; слово «попы» в 5-й строфе исправлено в книге на «паны».

117

Корнилов Б. П. Стихотворения и поэмы / Вступ. Статья Л. Аннинского; Сост., подгот. текста и прим. М. Берновича. М.; Л., 1966 (Библиотека поэта. Большая сер. 2-е изд.). С. 208–209. Текст был воспроизведен по книге «Новое» с незначительной орфографической и синтаксической правкой.

В книге: *на долго*. — прим. верст.

119

Корнилов Б. П. Продолжение жизни: Стихотворения и поэмы / Предисл. О. Берггольц; Сост., подгот. текста и послесл. К. Поздняева. М., 1972. С. 114–115.

120

Корнилов Б. П. Стихотворения. Поэмы. Пермь, 1986. С. 177–178; Корнилов Б. Песня о встречном. СПб., 2011. С. 120–130.

Цурикова Г. М. Борис Корнилов. М.; Л., 1963. С. 101.

122

См.: *Прокофьев А. А.* Собр. соч.: В 4 т. Л., 1978. Т. 1. С. 145–148. Отметим попутно, что впервые имя Громобой появилось в «Русских сказках» В. А. Левшина — в «Повести о дворянине Заолешанине, богатыре, служившем князю Владимиру» (1780). Отец богатыря Заолешанина, Свеналд получил имя Громобой за воинские победы, будучи на службе у князя Святослава Игоревича. Литературный герой Громобой встречается также в «героической повести» Г. П. Каменева «Громобой» (1796) и у В. А. Жуковского в первой части баллады «Двенадцать спящих дев» (1810); здесь Громобой — имя раскаявшегося грешника, продавшего душу дьяволу. Впоследствии на этот сюжет А. Н. Верстовским была написана опера «Громобой» (1854). Известны также фольклорные переработки баллады Жуковского (см.: *Неклюдов С. Ю.* Фольклорные переработки русской поэзии XIX века: Баллада о Громобое // И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. М., 2008. С. 574–593). Во время Русско-японской и Первой мировой войн имя Громобой было на слуху как название российского броненосного крейсера, построенного на верфи Балтийского завода в 1900 году и затем принимавшего участие в боевых действиях в составе Тихоокеанской эскадры.

123

Селивановский А. П. В литературных боях. М., 1963. С. 585. Критик цитирует стихотворение Корнилова по первой, газетной публикации.

124

Прокофьев А. А. Первая песня о Громобое. Вторая песня о Громобое // Залп. 1932. № 9. С. 4–5.

125

См. об этом подробнее: *Молдавский Дм.* Песни о Громобое и «Новые времена». Г. М. Козинцев и А. А. Прокофьев (К 80-летию со дня рождения поэта) // Кадр. 1980. 19 ноября. С. 4. В. Г. Козинцева показывала Молдавскому автографы песен Прокофьева, находящиеся в архиве режиссера.

Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989. С. 301.

127

Слова автографа «Пушки рвут» заменены в первой публикации на «Пушка рвет». От книжных изданий автограф отличается наличием трех строф, в дальнейшем при публикациях опущенных (см. прим. 115).

128

По сообщению Поздняева, автограф отличается от газетной публикации отсутствием слова «шуточное» в названии; написанием слова «че-пу-ха» через дефис; заменою строчек автографа «Пушки рвут холостою пальбою, всем приказано в ноги упасть» на: «Пушка рвет холостою пальбою, раззевая горячую пасть». Три же строфы, «пропавшие» в книжных изданиях, есть и в газетной публикации, и в автографе. См. подробнее об этом: *Поздняев К.* Обнаружен автограф Бориса Корнилова: раздумья, навеянные этой находкой // Нижегородская правда. 1996. 12 ноября. № 129. С. 3.

129

ЦГАЛИ СПб. Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 6–6 об.

130

В начале 1920-х годов Г. Козинцев, Л. Трауберг и С. Юткевич основали в Петрограде творческое объединение «Фабрика эксцентрического актера» (ФЭКС). Начав режиссерскую работу, они привнесли в советский кинематограф эстетическую программу фэксовцев: цирковую клоунаду, карнавал, буффонаду (см. фильмы «Похождения Октябрины» (1924), «Шинель» (1926) и др.).

131

Правильное название фильма «Путешествие в СССР» (см.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247).

132

«Путешествие по СССР» / Публ. интервью И. Чанышева // Советский экран. 1974. № 11. С. 19.

133

Там же.

134

См.: Переписка Г. М. Козинцева: 1922–1973. М., 1998. С. 24.

135

Эта редакция, вероятно, близка по времени написания к текстам автографов из архива Г. А. Некрасова и коллекции М. С. Лесмана.

136

ЦГАЛИ СПб. Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 7–7 об.

137

Там же. Л. 8—14.

138

ИРЛИ. Ф. 600. Ед. хр. 44–45.

139

См., например: «Громобой», «Песня о председателе сельсовета Громобое», «Артельная», «Песня о Громобое» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 15–22).

140

Прокофьев А. А. Три песни о Громобое. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 146.

141

Там же. С. 145.

Цит. по: *Корнилов Б. П.* «Новое». С. 65.

143

См. наст. публ.

144

См., например, его «Сказание о сыне товарища Громобоя» («Мы Громобоя не порочим…») (впервые опубл.: Известия. 1934. 6 авг. № 182. С. 3), а также помету в черновой тетради: «Включить в книгу „Громобоев“», сделанную на одном из листов с записью детской сказки «Как от меда у медведя зубы начали болеть» («Вас когда-нибудь убаюкивали, мурлыкая?..»); первоначальное название в тетради: «Баю-баю» (ИРЛИ. Ф. 600. Ед. хр. 44. Л. 12).

145

ЦГАЛИ СПб. Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 95 (слово «песня» подчеркнуто три раза).

Там же. Л. 46.

147

Там же. Л. 150.

148

Там же.

Юткевич С. Садовник // Кино. 1936. 1 мая. № 22. С. 2.

150

Корнилов Б. Песнь о шахтерской слободе // Там же. С. 4 (позднее стихотворение называлось «Песня о шахтерской слободке»).

151

С небольшими изменениями работа републикуется по: Русская литература. 2010. № 2. С. 135–177.

152

К настоящему времени опубл.: *Берггольц О.* Из дневников / Вступ. статья, публ. и прим. М. Ф. Берггольц // Звезда. 1990. № 5. С. 180–191; Там же. № 6. С. 153–174; *Берггольц О.* Из дневников (май, октябрь 1949) / Вступ. статья В. Оскоцкого, публ. М. Ф. Берггольц // Знамя. 1991. № 3. С. 160–172; О ГУЛАГе невидимом: К публикации фрагментов дневника Ольги Берггольц / Публ. М. Ф. Берггольц // Апрель. М., 1991. Вып. IV. С. 127–144; *Берггольц О.* Встреча / Сост. М. Ф. Берггольц. М., 2000 (переизд.: СПб., 2003); Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц / Сост. Н. Е. Соколовской. СПб., 2010. Обзор опубликованных дневниковых записей Берггольц за 1939–1949 годы см. в кн.: *Оскоцкий В.* Дневник как правда: Из мемориального наследия В. Вернадского, О. Берггольц, К. Чуковского. М., 1995.

См.: *Хренков Д. Т.* От сердца к сердцу. Л., 1982.

Там же. С. 12.

155

В описании фонда О. Берггольц указаны также дневниковые записи (1920–1971) и записные книжки (1927—[1975]). См.: Российский государственный архив литературы и искусства. Путеводитель. Вып. 8. М., 2004. С. 43.

Хренков Д. Т. От сердца к сердцу. С. 11.

157

Дневники за 1923 г. См.: «Так хочется мир обнять»: О. Ф. Берггольц. Исследования и публикации. СПб., 2011. С. 125–201.

158

«Борис Михайлович Эйхенбаум, — вспоминала Ольга Федоровна об учителях в 1972 году, — изящный как Буратино, читал нам о молодом Пушкине; Тынянов вел семинар „Неизвестные поэты пушкинской поры“; Шкловский вообще говорил, о чем придется, главным образом о кино, о гениальности Эйзенштейна, Пудовкина, выпускавших тогда одну картину за другой. Шкловский начинал свои лекции словами: „Знаете, что я вам скажу…“ — и говорил так, что мы теряли смысл начала речи, когда приближался ее конец, потому что были опьянены ее великолепным содержанием» (*Берггольц О. Ф.* Попытка автобиографии // Берггольц О. Ф. Собр. соч.: В 3 т. Т. I. С. 35–36).

159

Гинзбург Л. Я. Вспоминая институт истории искусств… / Российский институт истории искусств в мемуарах. СПб., 2003. С. 57.

Друзин В. Трехлетие «Смены» // Резец. 1927. № 48. С. 1.

161

О работе литгруппы «Смена» // Юный пролетарий. 1925. № 15. С. 30.

Сама Ольга Федоровна в «Попытке автобиографии» отмечала, что первым руководителем «Смены» был Илья Садофьев. Объясняется это скорее всего тем, что Садофьев вообще очень много занимался с литературной молодежью Ленинграда, собиравшейся в том числе и в редакции «Красной газеты», в которой курьером работала О. Берггольц.

163

Гор Г. Замедление времени // Звезда. 1968. № 4. С. 176.

Левго. «Фабзайчата» литературы (начало) // Смена. 1927. 13 нояб. № 259. С. 3.

165

То же (продолжение) // Там же. 1927. 20 нояб. № 265. С. 3.

166

Первое из выявленных в печати стихотворений см.: *Берггольц О.* Песня о знамени // Ленинские искры. 1925. 1 мая. № 18. С. 4.

167

«Надо признать, что „сменовцы“, работая всего два года, — писал Друзин, — и каждый из них имея от роду не столь много лет (подавляющее большинство — 1907 года рождения, а есть и более молодые), конечно, еще не успели выявить своих индивидуальных литературных физиономий» (*Друзин В.* Трехлетие «Смены» // Резец. 1927. № 48. С. 1).

Мессер Р. Альманах «Кадры» // Там же. С. 12.

169

Гольдин А., Петров Н. Три года (О литгруппе «Смена») // Там же. 1928. № 1. С. 20–21.

Там же. С. 21.

171

В «Кадрах» были напечатаны стихи О. Берггольц («Астраханская селедка»), Б. Корнилова, Н. Теплова, Б. Звонарева, Б. Лихарева, Д. Левоневского, В. Саянова, И. Авраменко и прозаические произведения Ю. Берзина, И. Скоринко, М. Глухова, М. Вашенцова, М. Останина, В. Заколдаева, Я. Эйдука, С. Михайлова, Н. Петрова, Г. Гора.

172

Стенограмма собрания ЛАПП от 28 октября 1928 года // ИРЛИ. Ф. 493 (архив ЛАПП; фонд не обработан).

173

Там же.

Там же.

175

Мессер Р. Группа «Смена» // Резец. 1929. № 14. С. 15.

176

В архиве ЛАПП сохранился протокол заседания Комиссии, который приводим ниже в сокращении.

Протокол заседания комиссии по поверке состава ЛАПП

от 13 апреля 1929 г<ода>.

Присутствовали: Либединский, Садофьев, Эйдук, Саянов, Ефремов.

Председатель: Либединский.

Секретарь: Ефремов.

<…>

3. Слушали: Доклад т. Мустанговой о проверке гр<уппы> «Смена».

Постановили: Исключить из состава группы как творческий балласт — Брусенцова Я., Аршавского И., Малышева Л., Теплова Н., Рывкина Д., Шевелева М.

т. Берггольц О. исключить, т<ак> к<ак> ее творчество ни в какой мере не является творчеством пролетарского писателя. т. Берггольц может быть принята в ЛАПП вновь только через рабочий кружок.

тт. Гору, Левоневскому, Гитовичу и Лихареву поставить на вид недостаточное осознание ими задач, стоящих перед пролетарской литературой и указать на возможность их исключения из ЛАПП'а, если их творчество не [будет находиться] в соответствии с требованиями, выдвигающимися перед каждым пролетписателем.

т. Друзину предложить изменить курс учебы «Смены» в сторону повышения не только чисто литературного, но и общекультурного и, главным образом, политического уровня сменовцев.

Предложить сменовцам шире втягивать в группу молодежь и не замыкаться в рамках существующей группы.

Поставить доклад комиссии на группе, проработав вопрос предварительно на фракции ВКП(б) «Смена». <…> (ИРЛИ. Ф. 493).

177

Доклад В. М. Саянова «О творческом лице Ленинградской ассоциации пролетарских писателей» на Второй областной конференции ЛАПП (22 апреля 1929 г<ода>) / Публ. В. П. Муромского // Из истории литературных объединений Петрограда — Ленинграда 1920—1930-х годов: Исследования и материалы. СПб., 2006. Кн. 2. С. 90.

178

Либединский Ю. «Перестройка рядов» (К итогам II обл<астной> конференции ЛАППа) // Ленинградская правда. 1929. 28 апр. № 98. С. 3

179

Заявление О. Берггольц опубликовано В. П. Муромским в комментариях к публикации доклада В. М. Саянова «О творческом лице Ленинградской ассоциации пролетарских писателей» на Второй областной конференции ЛАПП (22 апреля 1929 г<ода>). См.: Из истории литературных объединений Петрограда — Ленинграда 1920—1930-х годов. С. 100.

180

ИРЛИ. Ф. 870. В письме упоминается лирическая поэма И. П. Уткина «Милое детство» (Октябрь. 1929. № 4. С. 2—22).

181

См., например, дневниковую запись П. Н. Лукницкого от 11 июня 1928 года о том, как Берггольц была у него в гостях: «Дома. У меня Ольга Берггольц (жена Б. Корнилова). Показываю ей книги Н. Г. Чай. Читаю „Гондлу“» (*Лукницкий П. Н.* Дневник 1928 года. Acumiana. 1928–1929 / Публ. и комм. Т. М. Двинятиной // Лица: Биографический альманах. СПб., 2002. Вып. 9. С. 424; в цитируемом тексте: Н. Г. — Н. С. Гумилев).

182

ИРЛИ. Ф. 870. Первая книга стихов Берггольц появилась позднее и называлась нейтрально: «Стихотворения» (Л., 1934).

183

ИРЛИ. Ф. 870.

Имя Молчанова появляется лишь один раз в конце дневника.

185

Берггольц О. Ф. Попытка автобиографии. С. 35. Вот, собственно, почти все, что позволила себе написать Ольга Федоровна о своей первой любви в автобиографии 1972 года. В ее предисловии «Продолжение жизни» к первому посмертному изданию произведений Корнилова (Стихотворения и поэмы. Л., 1957) личная тема вообще не затронута. В автобиографии, написанной для врача-психиатра Я. Л. Шрайбера, она писала:

«В литгруппе „Смена“ в меня влюбился один молодой поэт, Борис К. Он был <…> стихийно, органически талантлив. <…> Был очень настойчив, ревнив чудовищно, через год примерно после первого объяснения я стала его женой, ушла из дома» (Берггольц О. Ф. Автобиография // *Берггольц О. Ф.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 483).

Гор Г. Замедление времени. С. 176.

187

ИРЛИ. Ф. 870.

188

Предположительно развод по инициативе Берггольц состоялся в первых числах марта 1932 года. Сохранилось письмо Берггольц к сестре, по содержанию датируемое 1932 годом, которое Ольга Федоровна писала несколько дней подряд; дата — 4 марта указана ею в середине текста. Письмо начинается сообщением: «Милая Мария. Сейчас пишу тебе из не вполне обычного места — из ЗАГСа. 2 события, потрясающие жизнь, должны произойти сейчас: мой развод с Б<орисом> и свадьба с Ник<олаем> он уезжает через 3 дня, и возможно, что если будет у него документ о женитьбе и удостоверение, что я беременна, ему дадут отсрочку. А может, и не дадут. Тогда я останусь одна» (ИРЛИ. Ф. 870). Письмо датируется нами 1932 годом в связи с тем, что именно в это время Николай Степанович Молчанов был призван в РККА. *Башурова О. А.* Молчанов Николай Степанович // Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Биографический словарь. Т. 3: Государственная Публичная библиотека в Ленинграде — Государственная Публичная Библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1931–1945. СПб., 2003. С. 398.

189

Психоаналитическое движение поддерживается Наркомпросом, создается Государственный психоаналитический институт (1923), действует Русское психоаналитическое общество, выходит сборник «Психология и марксизм» (1925), в котором большевики предпринимают попытки связать марксизм с идеями Фрейда (фрейдомарксизм). См. об этом главу «Психоанализ в стране большевиков» в кн.: *Эткинд А. М.* Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб., 1993. С. 213–268.

190

См.: «Дневник Кости Рябцева» (М.; Л., 1927), «Исход Никпетожа: Дневник Кости Рябцева» (М., 1929), «Три измерения Калерии Липской» (Молодая гвардия. 1929. № 7—10), отд. изд. «Три измерения» (М., 1933).

191

Мария Константиновна Башкирцева (1858–1884) — русская художница, автор знаменитого дневника. С тринадцати лет и до самой смерти вела дневник, куда с поразительной откровенностью заносила все события своей жизни, мысли, чувства. «Я говорю все, все, все», — писала она, предназначая свой дневник для печати. «Дневник Марии Башкирцевой» впервые был опубликован во Франции в 1887 г. В 1893 г., выдержав уже несколько изданий на французском языке, вышел в свет и в России. Он запечатлел образ юной девушки — молодой женщины — художницы, стремившейся к счастью, свободе и творчеству, имевшей для этого, казалось бы, все возможности, но так и не успевшей реализовать себя (Мария умерла от туберкулеза). В начале XX века эта книга была очень популярна в России, а самой известной поклонницей творчества и личности Башкирцевой была Марина Цветаева, в молодости переписывавшаяся с матерью Башкирцевой и посвятившая «блестящей памяти» Башкирцевой свой первый сборник стихов «Вечерний альбом». — прим. верст.

Показателен в этой связи читательский вопрос на страницах «Резца»: «Нужно ли вести дневник и что в него записывать», заданный Ю. Либединскому, и его ответ: «Дневник или записную книжку вести очень хорошо» (Резец. 1930. № 12. С. 15).

Огнёв Н. Три измерения. М., 1933. С. 6.

194

В правом верхнем углу листа рукой неустановленного лица сделана надпись карандашом: «3.12.1928—11.4.1930 + запись 17.10.1931 г<ода>».

195

Ирина, дочь Б. П. Корнилова и О. Ф. Берггольц, родилась 13 октября 1928 года, умерла 14 марта 1936 года от болезни сердца, возникшей как осложнение после ангины. «Выволакивала ее из гроба несколько раз, — писала Берггольц, — наняла ей комнату в Детском Селе, где она жила с мамой и няней, и целыми периодами бывала она почти здоровым ребенком. Девочка была изумительная, рано стала читать, и читала много, трудолюбивая, общительная, фантазерка, любила рисовать и… тоже стишки сочиняла» (*Берггольц О. Ф.* Собр. соч.: В 3 т. Л., 1990. Т. 3. С. 486).

196

О литературной группе «Смена» см. во вступительной статье к «Дневнику».

197

Лихарев Борис Михайлович (1906–1962) вошел в литературную группу «Смена» в 1925 году. Учился в Литературном институте им. В. Я. Брюсова и ЛГУ. Автор десяти сборников стихов. В послевоенное время был редактором журналов «Ленинград», «Ленинградский альманах», главным редактором ЛО издательства «Советский писатель».

198

О *Гитовиче Александре Ильиче* (1909–1966), который пришел в «Смену» в 1927 году, Геннадий Гор писал: «Гитович был типичным сменовцем. Он остался юношей и в пятьдесят лет, по-прежнему был влюблен в Багрицкого, Заболоцкого, Хемингуэя. В сущности, сменовцы мало менялись, и, встречаясь сейчас с Ольгой Берггольц, Рахмановым и другими, я каждый раз с их помощью снова обретаю утерянное время…» (Гор Г. Замедление времени. С. 188).

199

Левоневский Дмитрий Анатольевич (1907–1988) окончил филологический факультет ЛГУ в 1930 году. Начинал как поэт, работал редактором в Ленрадиокомитете (1933–1938), был заместителем редактора журнала «Звезда» (1946–1952), занимался переводами, писал документальную прозу.

200

Речь идет о сестрах Данько: *Данько Елена Яковлевна* (1898–1942) — писательница, художник по росписи фарфора, драматург: *Данько-Алексеенко Наталья Яковлевна* (1892–1942) — скульптор-керамист.

201

Имеется в виду Ефремов Евгений Л., автор передовиц в журнале «Резец», активный рапповец, секретарь ЛАПП. См., например, его статьи: За укрепление рядов ЛАПП // Резец. 1929. № 11. С. 1; На путях роста (К Ленинградской областной конференции пролетписателей) // Там же. № 16. С. 1; Сплоченными рядами (К итогам 2-й Ленинградской областной конференции пролетписателей) // Там же. № 19. С. 1–2.

202

Здесь и далее Борис — поэт Корнилов Борис Петрович (1907–1938).

203

Школьная подруга Бориса Корнилова, *Степенина (Шишогина) Татьяна Александровна* (Федоровна; 1906 — после 1985). Подробно о ней см. далее: «Моя девчонка верная…»: Письмо Б. Корнилова к Т. Степениной / Публ. Н. А. Прозоровой.

Возможно, Ю. Сеткова. Ей посвящено стихотворение Берггольц «Академик», опубл.: Смена. 1927. 13 нояб. № 259. С. 3.

205

Берггольц (урожд. Грустилина) *Мария Тимофеевня* (1884–1957).

206

Корнилов Петр Тарасович (1884–1939) и *Корнилова* (урожд. Остроумова) *Таисия Михайловна* (1884–1979) — сельские учителя. Судьба Петра Тарасовича, как и его сына, была трагична. После окончания педагогических курсов в Нижнем Новгороде в 1902 году он начал педагогическую деятельность. Работал в деревенских школах, заведовал детским домом в Семенове, служил инспектором школ Семеновского РОНО. В ночь с 7 на 8 марта 1938 года был арестован. Умер в тюремной больнице 10 июня 1939 года. Т. М. Корнилова вспоминала: «В 1938 году вместе с 7-ю учителями Семеновских школ был арестован Горьковским НКВД и направлен в г. Горький. Пробыв следственным в продолжении 1 года и 3-х месяцев, он умер в больнице при тюрьме в 1939 год<у> 10 июня, а остальные по истечении 2-х лет были оправданы без суда» (там же. Л. 4.).

207

Томашевский Борис Викторович (1890–1957) работал в Государственном институте истории искусств (ГИИИ) в 1921–1930 годах, на Высших государственных курсах искусствоведения (ВГКИ) читал курсы по метрике, поэтике и текстологии.

208

Энгельгардт Борис Михайлович (1887–1942) служил в ГИИИ с 1920 года, на ВГКИ вел семинар по методологии истории литературы и читал курс по истории русской критики.

209

Среди опубликованных стихотворений Берггольц «Цирк» и «Радио» не обнаружены.

210

Возможно, описка. Вероятно: 17/XII.

211

Горелов Анатолий Ефимович (1904–1991) — критик, журналист, литературовед, редактор журналов «Резец» (1929–1937), «Звезда» (1934–1937), в 1920-е годы — активный приверженец РАПП. Отдельные стихотворения Берггольц печатались в «Резце» начиная с 1926 года, а в 1928 году был помещен блок стихотворений («Кузня», «Сапожник», «Тянет предыюньскою травою…», «Улов») с ее портретом (Резец. 1928. № 45 С. 9). Общение Ольги Федоровны с Гореловым прервалось в 1937 году, когда он был арестован и приговорен к пятнадцати годам исправительно-трудовых лагерей. См. об этом в воспоминаниях его сестры: *Лилина М.* По эту сторону колючей проволоки // Звезда. 1998. № 11. С. 59–89. После возвращения Горелова в Ленинград в 1954 году дружеские отношения с Берггольц возобновились. См. главу «Про Олю» в кн.: *Горелов А.* Тропою совести. Л., 1987. С. 96—105.

212

Первые стихотворения, появившиеся в молодежном литературно-художественном журнале «Юный пролетарий» после декабрьской записи Берггольц, — «Запевала» («Ты бахвалишься, что — запевала…») (1929. № 12. С. 17) и «Война» («Синее холеры, чернее чумы…») (1929. № 13. С. 10).

213

В детской и юношеской газете «Ленинские искры» (1924–1991) в начале 1929 года были напечатаны стихотворения Берггольц «Зима» («Ну, как не верить сказкам…») (1929. 3 янв. № 1. С. 1) и «В хлеву» («В хлеве пахло пряным навозом…») (1929. 20 марта. № 23. С. 4).

214

Возможно, имеется в виду стихотворение «Мой путь» («Я так давно не верю в сосны…») (1928).

215

Имеется в виду стихотворение «Может быть, я к тебе и приеду…» (1928).

216

Знакомая школьных лет.

217

Имеется в виду автобиографический роман из четырех книг Е. Н. Чирикова «Жизнь Тарханова»: «Юность» (1911), «Изгнание» (1913), «Возвращение» (1914), «Семья» (1925).

218

Отрицательная оценка *Шведова Якова Захаровича* (1905–1985) как прозаика относится, скорее всего, к роману «Юр-Базар», который печатался в это время в журнале «Октябрь» (1928. № 9—12). Берггольц могли быть также знакомы поэтические сборники Шведова: «Шестеренные перезвоны» ([М.,] 1924), «Разлив» ([М.,] 1925), «Вьюги» ([М.,] 1925), «Березовые окраины» ([М.,] 1928). Позднее были популярны стихи Шведова «Орленок» и «Смуглянка», положенные на музыку В. Беловым и А. Новиковым.

219

Уроженец архангельского края, *Молчанов Иван Никанорович* (1903–1984) начал печататься с 1920 года в архангельских, а затем в московских газетах. Окончил Государственный институт журналистики в Москве, был членом литературной группы «Молодая гвардия». После публикации стихотворения «Свидание» стал объектом критики А. Безыменского, Л. Авербаха и В. Маяковского, написавшего стихи: «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им, как о том сообщается в № 219 „Комсомольской правды“ в стихе по имени „Свидание“» (1927) и «Размышление о Молчанове Иване и поэзии» (1927). Особенной популярностью пользовалась песня «Прокати нас, Петруша, на тракторе…» на стихи Молчанова из поэмы «Петр Дьяков», опубликованной в 1930 году. Был автором нескольких поэтических сборников, занимался переводами поэтов коми.

220

Алтаузен Яков (Джек) Моисеевич (1907–1942) — комсомольский поэт. Учился в Москве в Высшем литературно-художественном институте, а затем на факультете общественных наук Московского университета. Печатался в «Комсомольской правде», «Звезде», «Красной ниве», «Красной нови» и др. Был дружен с И. Уткиным, которому посвятил поэму «Баллада о четырех братьях» (1928). Автор 17 поэтических сборников.

221

Семейная жизнь родителей Ольги Федоровны — *Марии Тимофеевны* (1884–1957) и *Федора Христосоваться* (1885–1948) — не сложилась, с начала 1930-х годов они жили раздельно. «Были они, конечно, совсем неподходящей парой, — писала Берггольц. — Отец был жизнелюбив, обладал огромным чувством юмора (а мать лишена этого чувства абсолютно), в бабку вспыльчив и ревнив, прям и совершенно непосредственен (а мама, бедняга, все время кого-то изображала), был он влюбчив, любил женщин, вино, веселье, песни, искусство. А главное — он любил свое дело. <…> Но все это я поняла много позднее, тогда же отца только осуждала, томилась семейной обстановкой, всей — как „сплошным мещанством“» (*Берггольц О. Ф.* Собр. соч.: В 3 т. Л., 1990. Т. 3: Автобиография. С. 481–482).

222

Государственный институт истории искусств. В тексте дневника — ИИИ. Возник в 1912 году по инициативе и на средства графа В. П. Зубова (неофициальное название — Зубовский институт) с целью изучения изобразительных искусств. С этого же времени начали работать искусствоведческие курсы, которым с 1924 года было присвоено наименование Высших государственных курсов искусствоведения (ВГКИ). Институт менял свое название несколько раз: Институт истории искусств (1912–1920), Российский институт истории искусств (1920–1924), Государственный институт истории искусств (1924–1931) и др.

223

Имеется в виду *А. А. Ахматова*. Они познакомились с ней в 1928 году. «Кланяюсь Анне Андреевне Ахматовой, — писала Берггольц, — я имела счастье быть ее другом — с того дня, когда девчонкой с косами пришла к ней, до дня ее смерти» (*Берггольц О. Ф.* Собр. соч.: В 3 т. Л., 1988. Т. 1. С. 39. Ольга Федоровна устраивала выезд Ахматовой из блокадного Ленинграда в Москву, где Анна Андреевна остановилась в квартире ее сестры, Марии Федоровны. Позднее хлопотала о возвращении Ахматовой из Ташкента в Ленинград и прописке в городе. Осенью 1946 года, после известного Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», бесстрашно выступала в защиту Ахматовой. «И в Ленинграде не все смирились с постановлением. Больше других, рискуя всем, открыто помогала Ольга Федоровна Берггольц» (*Пунина И. Н.* Сорок шестой год // Воспоминания об Анне Ахматовой / Сост. В. Я. Виленкин, В. А. Черных. М., 1991. С. 470). По воспоминаниям Л. К. Чуковской, в 1956 году, когда Берггольц выступила за отмену ждановского постановления, Ахматова сказала: «Относительно меня Оля всегда вела себя безупречно…» (*Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 1997. Т. 2. С. 222).

224

Восстановленный текст колыбельной «Придет серенький волчок» может иметь другие варианты. См.: Детский поэтический фольклор: Антология // Вступ. статья, сост. А. Н. Мартыновой. СПб., 1997. С. 76–79.

225

Последние слова не следует воспринимать буквально. Отношения с отцом у Ольги действительно были неровными. В детстве и юности сочувствие дочери было на стороне страдающей от ревности матери, но в зрелые годы духовная связь с Федором Христофоровичем укрепилась. О биографии Ф. Х. Берггольца и его отношениях с Ольгой Берггольц см.: Письма О. Ф. Берггольц к отцу Ф. Х. Берггольцу (1942–1948) / Публ. Н. А. Прозоровой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007–2008 годы. СПб., 2010. С. 603–635. В 1948 году в последнем письме к отцу, лежавшему тогда в больнице, Ольга Федоровна писала: «Я обязана тебе всем самым лучшим, что есть во мне: жадным жизнелюбием, чувством юмора, упрямством, целомудрием чувств, даже — здоровым цинизмом. Я так хочу, чтоб ты жил!» (там же. С. 635).

226

Поэт *Браун Николай Леопольдович* (1902–1975) учился одновременно в ЛГПИ им. А. И. Герцена и ГИИИ, участвовал в работе литературного объединения ЛГПИ «Мастерская слова». В 1923 году вошел в литературную группу при газете «Красный студент», затем был членом литературных групп «Содружество» и позднее — «Ленинград».

Фейербах Людвиг (1804–1872) — философ-материалист.

228

О так и не вышедшем собрании стихотворений Ахматовой в это же время писал П. Н. Лукницкий Л. В. Горнунгу: «Собрание ее стихотворений разрешено Гублитом на том условии, что из 1-го тома будет выкинуто 18 стихотворений, а из 2-го — 40. Иначе говоря, собрание издаваться не будет (если условия не будут изменены, на что надежды почти нет)» (цит. по: *Черных В. А.* Летопись жизни и творчества А. А. Ахматовой. М., 2008. С. 258).

229

Знакомый Ольги и Марии по их летнему отдыху в Глушино. Ольга Федоровна упоминает о нем в письме к сестре от 15 августа 1929 года: «Муська, помнишь, как мы гуляли с тобой по Барской Ниве, совсем маленькие, играли; помнишь, гать через болото, светлое такое… Потом помнишь, за этим болотом лесок с красными… А Глушино? А прогулки с Ермоловым, с Пашкой, — луна, поля темные… Муська, я вспоминаю все это, и у меня сейчас сердце щемит…» (ИРЛИ. Ф. 870).

230

Здесь описка: 1929 год.

231

Имеется в виду день смерти В. И. Ленина, 21 января 1924 года, когда отмечались дни его памяти.

232

В поэтический сборник «Турман» (Л., 1930) Берггольц включила семь стихотворений, написанных в 1928–1929 годах.

233

Неустановленное лицо.

234

Неустановленное лицо.

235

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) работал в ГИИИ в 1920–1922 годах, преподавал на ВГКИ, был участником заседаний Комитета современной литературы.

236

Тихонов Николай Семенович (1896–1979) участвовал в заседаниях Комитета современной литературы и Общества изучения художественной словесности при ГИИИ, а также вел семинар по поэзии во второй половине 1920-х годов при Комитете современной литературы. См. мемуарную статью Н. Тихонова «Ольга Берггольц» в кн.: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. С. 33–49.

237

На ул. Некрасова (б. Бассейная), д. 14, кв. 5, Корнилов проживал в 1927 году. Его адрес указан в списке действительных членов ЛО Всероссийского Союза поэтов на 10 декабря 1927 года (ИРЛИ. Ф. 172. № 1951. Л. 2).

238

Поэт, переводчик, драматург *Маршак Самуил Яковлевич* (1887–1964) был редактором первых книг Берггольц для детей. В архиве поэтессы сохранилась дарительная надпись Ольги Федоровны к Маршаку на книге «Пимокаты с Алтайских» (Л., 1934): «Милому Самуилу Яковлевичу, на строгий суд — с благодарностью за учебу, с желанием работать вместе еще и еще. Ольга <9>V—34» (ИРЛИ. Ф. 870). В письме от 31 августа 1929 года к сестре Берггольц писала: «Маршак говорит, что учиться писать надо по библии. Для наших дней это несколько парадоксально, но мысль об учебе — у первоисточников — так сладка…» (там же).

239

По обстоятельствам голодного времени весной 1918 года Мария Тимофеевна с дочерьми выехали из Петрограда в Углич, в котором прожили почти два с половиной года. *Мария Федоровна Берггольц* (1912–2003) — сестра, актриса, мемуарист, хранительница и публикатор материалов архива О. Ф. Берггольц. В дневнике: Мария, Муся, Муська, Мусёша, Мусёна.

240

Имеются в виду Богоявленский девичий монастырь и Богоявленский собор в Угличе, построенный в 1843–1853 годах по проекту архитектора К. А. Тона.

241

Имеется в виду детская книжка стихов «Как Ваня поссорился с баранами» (Л., 1929).

242

Федин Константин Александрович (1892–1977), входивший в литературную группу «Серапионовы братья», и близкая к «серапионам» *Ольга Дмитриевна Форш* (1873–1961) играли значительную роль в жизни Ленинградской писательской организации и оказывали влияние на литературную молодежь.

243

Чумандрин Михаил Федорович (1905–1940) — прозаик, драматург, публицист. Один из руководителей ЛАПП, редактор журнала «Ленинград» и газеты «Наступление». В литературных кругах слыл убежденным рапповцем, не признающим классическую и переводную литературу. Отличался самоуверенным, воинственным нравом. Позднее, в февральском письме 1940 года к сестре, Ольга Федоровна сообщала о смерти Чумандрина во время советско-финской войны: «Да, убит Мишка Чумандрин, вчера получили подтверждение с фронта. Противный был человек, а все-таки пусть бы жил… И ребята сиротами остались…» (ИРЛИ. Ф. 870. Ксерокопия письма).

244

В иллюстрированном литературном журнале «Красная панорама» (1923–1930) были опубликованы в 1929 году стихотворения Берггольц «Цыгане в городе» («О, табор в городе! О, табор…») (1929. № 33. С. 15) и «Сеятель» («В скважину между землей и небом…») (1929. № 52. С. 4).

245

Берггольц могла посылать свои стихи в Ленинградское отделение издательства «Молодая гвардия», либо, что вероятнее, в одноименный ежемесячный журнал в Москве, выходивший в 1922–1941 годах.

246

Цитата из стихотворения Ахматовой «Дал Ты мне молодость трудную…» (1912).

М. Ф. Чумандрин.

248

С поэтом и переводчиком *Фроманом* (наст. фам. Фракман) *Михаилом Александровичем* (1891–1940) и его женой Идой Наппельбаум Берггольц сблизилась, когда они поселились в писательском Доме-коммуне. См. также прим. 322.

249

Имеется в виду граф *Фердинанд Георгиевич де Ла Барт* (1870–1915) — историк западной литературы. Автор перевода «Песнь о Роланде» (СПб., 1897), книг «Шатобриан и поэтика мировой скорби во Франции» (Киев, 1905), «Разыскания в области романтической поэтики и стиля» (Киев, 1908), учебного пособия «Беседы по истории всеобщей литературы» (ч. 1. Киев, 1903; изд. 2-е. М., 1914). См. о нем: Ф. Г. де Ла Барт / Публ. П. Р. Заборова // Наследие Александра Веселовского: Исследования и материалы. СПб., 1992. С. 328–340.

250

Неслуховская (в замуж. Тихонова) *Мария Константиновна* (1892–1975) — художница, режиссер кукольного театра. В 1920—1940-е годы квартира Тихоновых была литературным центром Ленинграда. «Тихонов вел у нас в институте семинар по поэзии, — вспоминал И. Рахтанов, — и часто приглашал студентов к себе. Жил он тогда открытым домом на Петроградской стороне, на Зверинской, 2, куда можно было зайти и по надобности и без нее и где всегда тебе были рады. Превосходный рассказчик, влюбленный в свое искусство, Николай Семенович соперничал в нем с Марией Константиновной Неслуховской, своей женой, богато одаренной этим же талантом. И было совсем не просто решить, кого же из них слушать — его или ее: оба владели устным словом блистательно» (*Рахтанов И.* Рассказы по памяти. М., 1971. С. 60).

В этот период ГИИИ находился в состоянии реорганизации, и, возможно, коллектив института предполагал издавать свой журнал.

252

Дочь директора ГИИИ Ф. И. Шмидта П. Ф. Шмидт вспоминала об этом времени: «Понемногу разваливались и Высшие курсы искусствоведения: постановлением коллегии Наркомпроса от 16 сентября 1929 г<ода> были закрыты второй и третий курсы словесного и изобразительного отделов ВГКИ, а пролетарская часть студенчества, не свыше 150 человек, была переведена в ЛГУ на соответствующие отделения. Для студентов четвертого курса ВГКИ были организованы ускоренные занятия с тем, чтобы выпуск четвертого курса был произведен не позже 1 мая 1930 г<ода>» (*Шмидт П. Ф.* Воспоминания об отце // Российский институт истории искусств в мемуарах. С. 202).

253

Коммунистический союз молодежи.

254

Возможно, ремарка Берггольц о мещанстве — реакция на публикацию в журнале «На литературном посту» статьи М. Горького «О мещанстве» (1929. № 4–5. С. 7—13), которая затем вызвала дискуссию о мещанстве в быту и искусстве, продолжавшуюся в подборках «Писатели о мещанстве» (1929. № 6. С. 15–29), «Деятели искусства о мещанстве» (1929. № 11–12. С. 81–91).

255

Город в Горьковской области (Нижегородская губерния), где родился Б. Корнилов и жила его семья.

256

Цитата из стихотворения Ахматовой «Отрывок» («И кто-то, во мраке дерев незримый…») (1912).

Неточно, в стихотворении так:

«Он предал тебя тоске и удушью

Отравительницы-любви». — прим. верст.

257

Балухатый Сергей Дмитриевич (1893–1945) служил в ГИИИ в 1923–1930 годах, преподавал на ВГКИ. В 1929 году (момент записи Берггольц) Балухатый — декан словесного отделения ВГКИ и заведующий словарно-библиографическим кабинетом отдела истории словесных искусств.

Имеется в виду Детская секция Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей (1920–1932).

259

В записи Берггольц слышится отклик на дискуссию о детской литературе, начавшуюся в литературных группах и секциях в 1929 году и развернувшуюся в периодической печати на страницах «Литературной газеты», «Комсомольской правды» и др. изданий под лозунгом «идеологизации» и «социологизации» книг для детей. См. подробнее об этом в главе «Дискуссия о детской литературе 1929–1931 гг.» в кн.: *Путилова Е. О.* Очерки по истории критики советской литературы: 1917–1941. М., 1982. С. 44–61.

260

Берман Лазарь Васильевич (Вульфович) (1894–1980) — поэт, прозаик, автор поэтических сборников «Неотступная сила» (Пг., 1915), «Новая Троя» (Пб., 1921). После революции писал научно-популярные книжки для детей, работал в редакции газеты «Ленинские искры», с которой сотрудничала Берггольц.

261

Имеется в виду наиболее известная книга М. Чумандрина «Фабрика Рабле», в которой писатель развивал тему частнособственнической психологии у рабочих фабрики времен НЭПа.

262

Тверяк (наст. фам. Соловьев) *Алексей Артемьевич* (1900–1937) — прозаик. Входил в литературную группу «Стройка». Печатался в «Юном пролетарии», «Звезде» (роман «Трактор». 1926. № 5) и др. Автор книг: «Ситец» (Л., 1926), «На отшибе» ([М.], 1926), «Передел» (Харьков, 1927) и др. Был репрессирован и расстрелян.

263

Грабарь (наст. фам. Шполянский) *Леонид Юрьевич* (1896–1937) — прозаик. Автор книг: «Лахудрин переулок» (Л., 1926), «Люди-человеки» (Л., 1927), «Коммуна восьми» (М.; Л., 1927), «Записки примазавшегося» (М., 1928), «Жемчуга от Тэт-аТэт'а» (М.; Л., 1928), «Запах императрицы» (Рига, 1929) и др. В 1936 году был арестован, в 1937 году расстрелян. См. о нем: Распятые: Писатели — жертвы политических репрессий // Сост. З. Дичаров. СПб., 1993. Вып. 1. С. 176–177.

264

Живописец, график, художник театра и иллюстратор русских народных сказок *Билибин Иван Яковлевич* (1876–1942) выработал свой — «билибинский стиль», основанный на системе графических приемов (тщательно прорисованный узорчатый контурный рисунок расцвечивался акварелью) в сочетании со своеобразной трактовкой былинных и сказочных образов.

265

Козлова (урожд. Корнилова) *Александра Петровна* (1910–2000) — сестра Б. Корнилова.

266

Фиш Геннадий Семенович (1903–1971) учился в ГИИИ (1924) и на факультете общественных наук ЛГУ (1925). Начинал как поэт, входил в литературную группу «Стройка», в дальнейшем перешел на документальную прозу, был автором нескольких книг о Скандинавских странах.

267

Корнилов посвятил Берггольц только свою первую книгу: Молодость: Стихи. Л., 1928. С посвящением Ольге Берггольц было опубликовано стихотворение Корнилова «Русалка» (Ленинград. 1930. № 1. С. 12), которое в дальнейшем печаталось без посвящения.

См. об этом во вступительной статье к «Дневнику».

269

Роман И. В. Гёте «Страдания юного Вертера» (1774).

270

Перифраз последних слов «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834) Н. В. Гоголя.

271

Неустановленное лицо.

272

Неустановленное лицо.

Об исключении из ЛАПП см. во вступительной статье к «Дневнику».

Об отношениях в семье Таисия Михайловна вспоминала: «Дети считали его (Петра Тарасовича. — Н. П.) старшим товарищем и другом, всегда были с ним откровенны. Семья была всю жизнь дружной» (ИРЛИ. Ф. 600. № 59. Л. 3).

275

Рахтанов Исай Аркадьевич (1907–1982) — писатель, автор книг для детей и статей по детской литературе. Учился на ВГКИ, занимался в семинаре по поэзии Н. Тихонова. Посещал собрания литературных групп «Смена» и «Резец», о которых писал: «На этих собраниях всегда бывало интересно, как может быть только в юности; литературный процесс там не протекал, не шел, а бежал со стремительностью спринтера…» (*Рахтанов И.* Рассказы по памяти. С. 58).

Последнее слово прочитывается в рукописи как «хор». Возможно, однако, что слово не дописано (например, «хорошие», «хороший»), поскольку знак препинания в конце предложения четко не просматривается.

277

Слова «нет, не гм» приписаны позже.

278

Издательство писателей в Ленинграде возникло на кооперативных началах в 1927 году и издавало художественную и критическую литературу. В 1938 году на его базе было создано государственное издательство «Советский писатель».

Слова «Нет. Не может быть. Дура» добавлены позже.

280

Среди опубликованных произведений Берггольц не обнаружено.

281

Возможно, Александр (в кругу друзей — Саша) Гитович.

282

Имеется в виду стихотворение «Заставская» («Русые закручивая челки…») (март 1929). Опубл. М. Ф. Берггольц: Огонек. 1987. № 27. С. 15.

283

Мокульский Стефан Стефанович (1896–1960) читал на ВГКИ курсы по западноевропейской литературе и по истории драмы. С 1929 года возглавлял ВГКИ.

Здесь: учебная дисциплина — история РКП(б).

285

Начальные строчки стихотворения *Владислава Фелициановича Ходасевича* (1886–1939) «Друзья, друзья! Быть может, скоро…» (1921).

286

Из контекста следует, что стихотворение «На Памир» О. Берггольц предполагала включить в книгу, которую она в это время готовила («подпирала»). Среди опубликованных стихотворений Берггольц «На Памир» не обнаружено. В 1920—1930-е годы темой Памира были увлечены многие литераторы. См., например: *Шкапская М.* Человек идет на Памир (1924); *Броневский Б.* «На Памире» (1919); *Сажин П.* У ворот Памира (1928); *Лукницкий П. Н.* Памир без границ (1932) и др. Советско-германская экспедиция на Памир 1928 года, в которой участвовал известный полярник О. Ю. Шмидт, освещаемая в печати, вероятно, побудила Берггольц обратиться к этой теме.

287

Возможно, студент ВГКИ.

288

Дементьев Николай Иванович (1907–1935) — рано ушедший из жизни комсомольский поэт, развивавший в творчестве темы индустриализации страны и социалистического труда. Автор нескольких сборников: «Шоссе энтузиастов» (М.; Л., 1930), «Овладение техникой» (М.,1933), «Рассказы в стихах» (М, 1934), «Избранные стихотворения» (М., 1936).

289

Колбасьев Сергей Адамович (1899–1942) — поэт, прозаик. После окончания Петербургского морского кадетского корпуса состоял на военной морской службе. В 1922 году уволен в запас, начал заниматься литературой, работал в издательстве «Всемирная литература», был переводчиком в советском посольстве в Кабуле, затем в Хельсинки. В Ленинград он вернулся в 1928 году и вступил в Ленинградско-Балтийское отделение Литературного объединения Красной Армии и Флота (ЛОКАФ). К этому периоду его жизни относится знакомство с О. Берггольц.

290

Русанова Анна Андреевна (1907–1991) — детский нейрохирург, автор стихов и рассказов, мемуаристка. Внучка Г. А. Русанова, друга и корреспондента Л. Н. Толстого. Жила и работала в Воронеже. В 1928 году приехала в Ленинград на зимние каникулы к А. И. Шингаревой (тете Саше), которая устроила через своих знакомых племяннице встречу с Н. Тихоновым, а затем (при помощи П. Н. Лукницкого) с А. Ахматовой. В гостях у Ахматовой Русанова и познакомилась с Берггольц, причем время их знакомства определяется с точностью до одного дня. В публикуемом дневнике в записи от 4 января 1929 года Берггольц указывает, что она была в гостях у Ахматовой «вчера», т. е. 3 января. Ср. с дневником П. Н. Лукницкого: «*1929. 2-го января*. Вечером у А. А. была Ан<на> Андр<еевна> Русанова — девушка из Витебска, пишущая стихи (которой я устраивал свиданье с А. А., по просьбе Н. Тихонова). Позже к А. А. пришла Ольга Берггольц» (*Лукницкий П. Н.* Дневник 1928 года. Acumiana.1928–1929. С. 480). (Лукницкий ошибочно указывает местожительство Русановой; она приехала из Воронежа.) Сама Русанова о единственной встрече с Ахматовой оставила короткую мемуарную новеллу «Фонтанный Дом», в которой писала: «Я пришла к ней вечером, как было предложено. <…> Она была не одна. Против нее за круглым столом сидела белокурая, розовощекая девушка с большой золотой косой. Это была Ольга Берггольц, о которой я никогда не слыхала и не знала, что она пишет стихи. Ахматова познакомила нас и сразу предложила мне прочитать какие-либо свои стихи» (*Русанова А. А.* Поэты: Фонтанный Дом // Русановы: Из века в век / Сост. Т. Н. Русанова, А. В. Русанов. Воронеж, 1996. Т. 1. С. 281–282). Встреча прервалась приходом дамы, которая пришла просить Ахматову «похлопотать, походатайствовать за арестованного писателя, кажется, Замятина». «Я поняла, — пишет Русанова, — что мне надо уйти. Вместе со мной встала и Ольга Берггольц. Ахматова еще раз пронзила меня своим взглядом и, прощаясь, сказала: „Будете в Петрограде — заходите. Ваша судьба мне интересна“. Мы ушли. Душевного восторга встреча та у меня не вызвала. Ахматова была горда, обособленна и стояла на пьедестале. Это было заметно во всем. В полупоклоне, снисходительном пожатии руки, выражении лица. Она забыла обо мне, как только я переступила порог ее комнаты. И больше я ее никогда не видела. Недолго переписывались мы и с О. Берггольц. Потом я кончила

университет, уехала в Глубокую, и дальше жизнь перемешала все события, и я перестала ей писать. <…>

Правда, Ольга Берггольц писала мне, что Ахматова несколько раз в разговоре с ней вспоминала „девушку чистых акварельных тонов, напоминающую полянку в лесу“, но ни разу речь не заходила о моих стихах. Может быть, она поняла, что цель моей жизни другая, а стихи лишь кипение юности» (там же. С. 282–283).

291

Речь идет о заседании Детской секции ЛО ВСП, проходившем в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена.

292

«Зима — лето — попугай» впервые напечатано: Чиж. 1930. № 2. С. 1–4; отд. изд.: Л., 1930. Второе издание книги в 1933 году вызвало резко отрицательную рецензию: *Яновская Э., Верт В.* Вредная книжка // Критико-библиографический бюллетень: Детская и юношеская литература. 1934. № 5. С. 17–19.

Чуковского Корнея Ивановича (наст. фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969), как и Маршака, Берггольц считала своими первыми учителями. Историю чтения своего стихотворения «Каменная дудка» на заседании Союза поэтов, которое вел Чуковский, Берггольц описала в «Попытке автобиографии».

294

Стихотворение «Пасека» впервые напечатано: Звезда. 1929. № 10. С. 133.

Далее следует текст, написанный Б. П. Корниловым:

«Нет, Ляленька, все что-то не то. Не такой уж я пропащий, каким выглядываю из страниц этого дневника. Но все может быть, что эти „Поляковы“ (все-таки ты фамилию-то знаешь) лучше меня. Конечно же, тебе с ними интереснее.

Только минуту тому назад я писал тебе записочку и думал о нашем. Мне казалось многое ясным, все было хорошим, а сейчас, прочитав несколько самодовольных и пустых по существу строчек твоего дневника, я беру свои слова обратно. Назови меня мещанином, это лишний раз будет оттенять тебя, как таковую.

Прочитай мою записку, я ее все-таки оставляю.

О Тане вопрос решен — никого мне не надо.

P. S. Прости, что прочел дневник. Что-то на сердце нехорошо. Неспокойно».

Текст записи Корнилова перечеркнут, а после слов «никого мне не надо» рукою Берггольц приписано: «Гм!!»

296

Казанский Борис Васильевич (1889–1962) служил в ГИИИ в 1921–1930 годах, преподавал на ВКГИ. В 1929 году Берггольц слушала его курс по античной литературе.

297

Название острова Тайвань, данное ему в XVI веке португальскими моряками.

298

Лебедев Владимир Васильевич (1891–1967) — архитектор-художник, живописец, график, мастер карикатуры. Был иллюстратором детской книжки Берггольц «Зима — лето — попугай» (1-е изд.: Л., 1930; 2-е изд.: Л.; М., 1933).

299

В этом месте текста стрелка указывает на два густо зачеркнутых слова.

300

«Еж» («Ежемесячный журнал») — детский журнал, выходивший в Ленинграде в 1928–1935 годах. Ответственный редактор — Н. М. Олейников. Историю издания журналов «Еж» и «Чиж» и литературные портреты их участников Олейникова, Е. Шварца, Д. Хармса и др. см. в воспоминаниях И. Рахтанова «Рассказы по памяти», а также в статьях: *Шатилов Б.* «Еж» // Октябрь. 1929. № 12. С. 184–189; *Исакова Н. Н.* Журнал «Еж» — зачинатель детской публицистики. Ученые записки (Петрозаводский ун-т). Т. XVIII. Вып. 3. 1972. С. 112–130; *Беленькая Л. Н.* Роль журналов «Еж» (1928–1935 гг.) и «Чиж» (1930–1941 гг.) в становлении художественной публицистики для детей: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1984. В 1929–1930 годах в журналах «Еж» и «Чиж» печатались прозаические произведения Берггольц: Пыжик // Еж. 1929. № 9. С. 9—16; Манька-нянька // Чиж. 1930. № 1. С. 1–6; Запруда // Чиж. 1930. № 6. С. 1–3, 6; Нигер // Чиж. 1930. № 7–8. С. 6–7.

301

Далее следует текст, написанный Корниловым: «Я требую, чтобы мое имя сошло со страниц этого документа, характеризующего тебя очень плохо». Приписка сделана в нижней части листов дневника.

302

Запись не окончена.

303

Лакрима-Кристи — известное итальянское красное вино; в буквальном переводе «слезы Христа» (*лат.*).

304

Один из своих рисунков Лебедев прислал Берггольц, когда она отдыхала летом в Семенове. Ольга Федоровна писала сестре 27 августа 1929 года: «Вл<адимир> Вас<ильевич> прислал мне картинку, изображающую, по-видимому, меня в лесу. Ребята говорят, что ноги очень похожи. Ничего рисунок…» (ИРЛИ. Ф. 870).

305

Писатель и критик *Либединский Юрий Николаевич* (1898–1959).

306

Здесь: бордоское вино из окрестностей Барзака (Франция).

307

Либединский Ю. Н. являлся активным сотрудником критическо-теоретических литературных журналов «На посту» (1923–1925) и «На литературном посту» (1920–1932) и был членом редакции последнего (наряду с Л. Авербахом, Б. Волиным, М. Ольминским и Ф. Раскольниковым). *Напостовство* — литературно-критическое движение, толкующее литературу в духе вульгарного социологизма. О литературной политике напостовцев, их притязаниях на гегемонию пролетарской литературы, жестком противостоянии писателям-попутчикам, отрицании опыта классического наследия и др. см.: *Шешуков С. Н.* Неистовые ревнители: Из истории литературной борьбы 20-х годов. М., 1970; *Кларк К.* РАПП и институализация советского культурного поля в 1920-х — начале 1930-х годов // Социалистический канон. СПб., 2000. С. 209–224.

308

Причину, по которой Берггольц не вела летом дневника, она поясняла в письме от 31 августа 1929 года к сестре: «Я уже писала тебе, что этим летом не веду дневника. Причины — невозможность вести его без контроля Бориса. Но дневник я люблю; и вести его буду, только надо устроить так, чтобы он помогал самоорганизации, а не дезорганизации» (ИРЛИ. Ф. 870).

309

Дневниковых записей в виде отдельных вложений в дневнике не обнаружено.

310

Рассказ А. П. Чехова «Душечка» (1898).

311

«Рабочая окраина» — литературный рабочий кружок, организованный в 1924 году при клубе им. К. Самойловой. Первый год кружком руководил И. Авраменко, позднее — М. Чумандрин. Участник «Рабочей окраины» рабочий Евсеев рассказывал о ней на заседании 24 ноября 1929 года: «Я принадлежу к числу тех четырех ребят-фабзайчат, которые в 1925 году стали ходить в литературную группу „Смена“. <…> В „Смене“ большинство ребят были студенты и, благодаря этому, мы там заниматься в дальнейшем не могли. Уровень знаний у студентов был довольно высок, нам трудно было там заниматься, и порой мы были в кружке „Смена“ пешками. Когда „Смену“ начал „завоевывать“ формализм, мы решили, что необходимо организовать свою собственную группу. <…> С этой целью здесь, в клубе им. Самойловой, была организована группа, в которую в качестве руковода был прислан Ильюша Авраменко» (ИРЛИ. Ф. 453. Оп. 3. № 19. Л. 14).

Здесь и далее имеется в виду Ю. Н. Либединский.

313

Башкирцева Мария Константиновна (1860?—1884) — художница, автор «Дневника» (СПб., 1893), в котором жизнь женщины записана «изо дня в день, безо всякой рисовки, как будто бы никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время с страстным желанием, чтобы оно было прочитано» (Дневник Марии Башкирцевой. М., 1991. С. 20).

314

Огнёв Н. (наст. фам. Розанов Михаил Григорьевич; 1888–1938) писатель. Особенной популярностью пользовались его книги: «Дневник Кости Рябцева: Картины из жизни школы второй ступени» (М.; Л., 1927) и «Исход Никпетожа: Дневник Кости Рябцева» (М.,1929).

315

Калерия Александровна Липская — героиня повести Н. Огнёва «Три измерения». Берггольц неточно цитирует ее дневник. Ср.: «Иногда я плачу над дневником Марии Башкирцевой. Но я не так заносчива, как она. Она во много раз бедней меня…» (*Огнёв Н.* Три измерения. М., 1933. С. 29). Берггольц знакомилась с повестью, скорее всего, по журнальной публикации под названием «Три измерения Калерии Липской», помещенной в «Молодой гвардии» (1929. № 7—10, 19–22).

316

Ежемесячный журнал марксистской критики «Печать и революция» (1921–1930) был справочным изданием для читателей, в котором, помимо обширного массива обзоров книжных новинок, печатались сообщения о литературных вечерах, деятельности издательств и т. д.

317

Родственники по материнской линии.

Спрохвала — исподволь, полегоньку, невдруг (*нареч, вост., юж.*).

319

О вхождении Берггольц в рабочий кружок «Красный путиловец» см. во вступительной статье.

320

Путиловский машиностроительный и металлургический завод в годы, о которых пишет Берггольц, освоил и выпускал отечественные тракторы.

321

Запись не окончена.

322

Писательский Дом-коммуна под шуточным названием «слеза социализма» находился на углу ул. Рубинштейна и Пролетарского (ныне — Графского) переулка и был построен архитектором А. А. Олем. Там жили Берггольц со вторым мужем Н. С. Молчановым и Мария Берггольц с Ю. Н. Либединским, М. Фроман, И. Наппельбаум, А. Штейн, М. Чумандрин и др. О своеобразном быте Дома-коммуны см. в воспоминаниях: *Наппельбаум И.* Угол отражения: Краткие встречи долгой жизни. СПб., 1995.

323

Молчанов Николай Степанович (1910–1942) — филолог, второй муж Ольги Федоровны, отец ее второй дочери Майи (1932–1933). Родился в Новочеркасске в семье учителей. В 1930 году окончил факультет языкознания и материальной культуры Ленинградского государственного университета, работал в издательской сфере, Публичной библиотеке и др. Подробнее о Молчанове см.: *Башурова О. А.* Молчанов Николай Степанович. С. 397–398.

Дата написана еще раз.

325

В творческую командировку в Азербайджан Корнилов был отправлен от киностудии «Ленфильм» в начале лета 1930 года. Д. Левоневский вспоминал: «Собираясь в Баку, мы купили себе по костюму и тяжелые ботинки на толстой резиновой подошве… Деньги на дорогу мы получили от студии „Ленфильм“ и небольшие авансы от Госиздата. Каждый из нас обязался дать по возвращении что-нибудь художественное о пятилетке…» (цит. по: *Безруков Л.* Из писем, архивов, журналов, газет… // Корнилов Б. Избранное. Горький, 1966. С. 222). Цикл «Апшеронский полуостров», посвященный Левоневскому, и знаменитая «Качка на Каспийском море» были написаны на пароходе во время возвращения домой. В открытке, экспонирующейся в Семеновском историко-художественном музее, Корнилов сообщал родителям: «Здравствуйте, мои милые, крепко целую всех. Мои дела идут хорошо, 5-го июля заканчиваю свою работу в Баку, сажусь на аэроплан и вылетаю в Тифлис. 10-го сажусь на пароход — еду через Каспийское море по Волге к вам. Следовательно — скоро увидимся. Я потолстел, загорел, отъелся, чувствую себя прекрасно. Материалу собрал уйму — только садись и пиши. Приеду домой, поработаю. До скорого свидания. Ваш Борис. 22 июня. 1930 г.» (там же. С. 223).

326

Далее две строчки зачеркнуты.

327

Возможно, описка. Вероятно, речь идет о поэте и писателе-очеркисте *Костареве Николае Константиновиче* (1893–1941?), первые книги которого вышли в Перми и Владивостоке. В дальнейшем работал в Москве, был специальным корреспондентом в Китае. По возвращении из Китая в Ленинграде была издана книга его очерков «Мои китайские дневники» (1928), выдержавшая несколько изданий. С 1930 года мог встречаться с Берггольц в литературных кругах, а затем и в писательском Доме-коммуне, в котором жил. См. о нем: *Крившенко С.* Возвращение Николая Костарева // Дальний Восток. 1991. № 1. С. 145–156.

328

Имеется в виду творческий вечер литературной группы «Резец», в которую входили Я. Калнынь (председатель), И. Дмитроченко, А. Решетов, Ю. Инге, Д. Остров, Г. Файвилович и др. См. заметки о группе: *Калнынь Я.* На ступеньках роста (Литгруппа «Резец») // Резец. 1929. № 7. С. 14; *Он же.* Пять лет «Резца» // Резец. 1929. № 22. С. 1. Литературные вечера проходили на фабриках, заводах, районных клубах Ленинграда и близлежащих городов.

329

Стихотворения записаны на последних листах дневника рукою О. Берггольц, а затем перечеркнуты ею. В первых публикациях стихотворений допущены неточности; датировки не соответствуют автографу. Ср.: *Берггольц О.* Из литературного наследия / Публ. М. Ф. Берггольц // Октябрь. 1983. № 6. С. 163; Берггольц О. Ф. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 102–104; *Берггольц О.* Прошлого — нет! / Сост. М. Ф. Берггольц. М., 1999. С. 223.

330

Впервые опубл. в «Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2009–2010 год».

331

См.: 1) Письмо к родителям от 22 июня 1930 года см.: *Корнилов Б.* Избранное / Вступит. ст., прим. и подгот. текста Л. Безрукова. Горький, 1966. С. 223; 2) Черновое письмо в Ленинградское отделение Союза советских писателей (без даты) см.: *Цурикова Г. М.* Борис Корнилов. М.; Л., 1963. С. 243–244; 3) Письмо к О. Ф. Берггольц 1933 года. См. далее; 4) Письмо в Ленинградское отделение издательства «Молодая гвардия» от 3 января 1935 года находится: РО ИРЛИ. Ф. 840 (не обработан); 5) Письмо в издательство «Молодая гвардия» от 15 мая 1935 года см.: РО ИРЛИ. Ф. 600. № 52. Л. 1.

332

Фонд находится в предварительной научно-технической обработке.

См.: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 12. № 604. Л. 4.

Сообщено К. В. Ефимовым.

335

РО ИРЛИ. Ф. 600. № 363. Л. 1.

Сообщено К. В. Ефимовым.

Берггольц О. Ф. Собр. соч.: В 3 т. Л., 1990. Т. 3: Автобиография. С. 483.

338

РО ИРЛИ. Ф. 600. № 54. Л. 1–1 об. Портрет Б. П. Корнилова. Рисунок тушью неустановленного лица. С автографом и дарительной надписью Корнилова Степениной на обороте.

339

Стихотворение приводится в публикуемом письме. См. также прим. 350.

340

Цит. по: Ранние стихи Ольги Берггольц / Публ. В. В. Улыбина // «Так хочется мир обнять»: О. Ф. Берггольц: Исследования и публикации. СПб., 2011. С. 232.

341

Подробнее см.: «Я хочу жизни — много, много…»: Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годов. Наст. изд.

342

Там же.

343

Там же.

344

Цит. по: *Шамшурин В. А.* «Я вижу земную мою красоту…»: Книга о Борисе Корнилове. Нижний Новгород, 2007. С. 75.

345

Ленинградский мартиролог, 1937–1938. СПб., 2008. Т. 8 (янв. — февр. 1938). С. 566–567. См. далее: «Материалы из следственного дела Бориса Корнилова».

346

Цит. по: *Бондина Л.* И светел день тот…: Рассказ о матери поэта // Литературная газета. 1971. 23 июля. № 30. С. 11.

347

Семеновский историко-художественный музей основан в 1934 году. Основная экспозиция посвящена художественным народным промыслам XIX–XX веков. В ней широко представлены хохлома, деревянная скульптура, семеновская игрушка.

348

Имеется в виду литературная экспозиция, посвященная Б. Корнилову.

349

РО ИРЛИ. Ф. 600. № 363. Л. 4–4 об. (ксерокопия записи из Книги отзывов Семеновского историко-художественного музея за 1985 год).

350

Корнилов Б. Лирические строки // Смена. 1927. 9 окт. С. 3. В дальнейшем печаталось без посвящения.

351

О выходе сборника именно в январе свидетельствует дарительная надпись Бориса Корнилова, обращенная к М. Т. Берггольц, матери О. Берггольц, на книге «Молодость», хранящейся в РО ИРЛИ, в ф. 870.

352

См. анкету, заполненную Б. П. Корниловым при поступлении на ВГКИ при РИИИ. ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. № 777. Л. 1.

353

Упоминаются: поэт *Александр Алексеевич Жаров* (1903–1984); писатель *Виссарион Михайлович Саянов* (1903–1959); критик, публицист, писатель, нарком просвещения (с 1917) *Анатолий Васильевич Луначарский* (1875–1933).

354

Стихотворение «Ольха» («Очень я люблю…») впервые опубл.: Резец. 1927. № 26. С. 8. Затем вошло в книгу «Молодость».

355

Стихотворение «Лошадь» («Дни-мальчишки!..») впервые опубл.: Смена. 1926. 21 марта. С. 3. Затем вошло в сборник «Молодость».

Среди опубликованных произведений не обнаружено.

357

Неустановленное лицо.

358

Предположительно Володя Марков — общий друг школьных лет Бориса и Татьяны.

359

Дочь О. Берггольц и Н. Молчанова — Майя — родилась 27 сентября 1932 года, умерла 25 июня 1933 года от инфекционного заболевания.

Дочь О. Берггольц и Б. Корнилова — Ирина.

361

Курсивом выделены слова, подчеркнутые в тексте письма. — прим. верст.

362

Еселев Николай Хрисанфович (1907—?) — критик, автор книг о А. Твардовском, Г. Маркове, В. Шишкове и др.

363

Летом — осенью 1930 года О. Берггольц проходила учебную практику во Владикавказе в газете «Власть труда». Там она познакомилась с деятелем ингушского комсомола Али Алмазовым (Асланбек Абдулаевич Алмазов) (1906–1965). В конце 1930-х годов Алмазов был репрессирован. В 1937–1938 годах Берггольц посвятила ему цикл «Али Алмазову», состоящий из двух стихотворений: «Письмо» и «Песня».

364

Людмила Григорьевна Борнштейн, вторая жена Б. Корнилова. О ней см. «Я — последний из вашего рода…» (наст. изд.).

365

Речь идет о Галине, дочери А. П. Козловой, сестры Б. Корнилова.

Государственное издательство художественной литературы.

367

Мария Тимофеевна Берггольц — мать О. Ф. Берггольц.

368

Николай Степанович Молчанов, второй муж О. Ф. Берггольц.

Ирина Басова, урожд. Корнилова

Родилась в Ленинграде 21 августа 1937 года. Среднюю школу окончила в Крыму. По образованию — биолог. Многие годы работала редактором научно-популярного кино на киностудии «Беларусьфильм». В 1980 году вместе с мужем, художником Борисом Заборовым, и детьми эмигрировала во Францию. С тех пор живет в Париже. С 1982 по 1992 год работала редактором и состояла членом редколлегии газеты «Русская мысль» (Париж). Ее стихи в разные годы были напечатаны в журналах «Нева», «Неман», «Грани», в альманахе «День поэзии». Автор двух поэтических сборников, вышедших в Санкт-Петербурге («Вечерние стихи», изд. Алитея, 2003; «Избранная лирика», изд. Вита Нова, 2010), а также двуязычного русско-итальянского сборника, изданного в 2007 году в Вероне в графическом ателье Анны Зилиотто (Anna Ziliotto, Verona, Italia). Как журналист и эссеист публикуется во французской и русской периодической печати.

Корнилов Борис Петрович. См. Послесловие.

371

Левашовская пустошь — мемориальное кладбище под Ленинградом, одно из тайных мест захоронения жертв сталинских репрессий 1937–1954 годов. Считается, что здесь покоится прах Бориса Корнилова. В его память установлена мемориальная табличка. — Здесь и далее прим. Ирины Басовой (кроме оговоренных случаев).

372

«По улице Перовской иду я с папироской». Из стихотворения Бориса Корнилова «Память».

Ленинградский мартиролог. 1937–1938. СПб., 2008. Том 8 (ил. № 158).

Борнштейн Людмила Григорьевна. См. Послесловие.

Я родилась в Ленинграде 21 августа 1937 года.

Корнилова Таисия Михайловна. Мать Бориса Корнилова. См. Послесловие.

377

Басов Яков Александрович. В те годы — студент Академии художеств. См. Послесловие.

378

Мой муж — Борис Заборов (1935 г. р.), художник. В те годы — студент Московского художественного института им. Сурикова.

Наша дочь — Марина Заборова, родилась в Москве в 1958 году. Биолог, живет в Чикаго. В 1970 году в Минске родился наш сын — Кирилл Заборов, музыкант, композитор. Живет в Париже.

380

Александр Яковлевич Басов, мой брат. См. Послесловие.

381

См. примеч. 427 (письмо 26).

382

Операция по депортации крымскотатарского населения Крымской АССР проведена Народным комиссариатом внутренних дел СССР 18–20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны. Вместе с крымскими татарами в списки на переселение попали турки, цыгане, караимы. Депортируемым отводилось от нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках транспортировали к железнодорожным станциям. Оттуда эшелоны с конвоируемыми отправлялись к местам ссылки. Некоторые районы (горы и Южный берег Крыма, населенные до того в основном крымскими татарами) остались практически без населения. Несмотря на активную кампанию по заселению Крыма переселенцами из России и с Украины, хозяйство полуострова смогло оправиться только к 1960-м годам. — прим. верст.

383

Помню в нашем доме театральную звезду довоенных лет Анатолия Петровича Кторова, певца Анатолия Леонидовича Доливо, балерину Марину Тимофеевну Семенову. Их имена-отчества — из той, детской памяти…

384

Из стихотворения Бориса Корнилова «В селе Михайловском».

385

Из стихотворения Осипа Мандельштама «Ленинград». Именно так — *с кровью* — запомнила я с маминого голоса.

См. также <Жена поэта> — наст. издание.

Во время пересылки часть писем была утрачена. Сегодня в моем архиве хранятся пятьдесят три письма. Письма военных лет — в основном «открытые» или «треугольники», некоторые из них помечены штампом «Просмотрено военной цензурой».

Корнилов Петр Тарасович. См. Послесловие.

389

Борис Корнилов. Из стихотворения «Прадед».

390

Берггольц Ольга Федоровна. О ней см. наст. изд. «Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годов.

391

См. прим. 395

Эта книга готовилась к печати, когда из Семенова пришло сообщение о смерти Карпа Васильевича Ефимова. Не сомневаюсь, что он был бы самым доброжелательным, но и самым строгим ее читателем. Склоняю голову перед его памятью. Карп Васильевич Ефимов родился 4 октября 1924 года, умер 16 апреля 2011 года.

393

Каля — Клавдия Михайловна Кононова, урожд. Остроумова, сестра Т. М. Корниловой, после ареста мужа отбывала ссылку в Сибири.

Лиза — Елизавета Петровна, старшая дочь Т. М. Корниловой. После ареста мужа (1937) была сослана в Сибирь, в Томск. Из ссылки вернулась тяжело больной. Скончалась в 70-е годы.

Шура — Александра Петровна Козлова, дочь Т. М. Корниловой. Сельская учительница. Учительствовала и жила в деревне Беласовка Семеновского района Горьковской области. *Вася* — Василий Васильевич Козлов, ее муж.

396

Анна Михайловна — сестра Т. М. Корниловой (о ней см. письмо 33).

«В этой жизни» мама с Таисией Михайловной так больше и не встретились.

398

См. примеч. 398 (письмо 25).

399

Чивилихин Анатолий Тимофеевич (1915–1957) — поэт, один из руководителей Союза писателей СССР.

Остров Дмитрий Константинович — писатель, был репрессирован, но вскоре вышел на свободу.

401

По этому адресу находится Большой театр кукол. Директор с такой фамилией в нем не служил. Сведений о том, что кто-то по просьбе мамы разговаривал с Шалытом, — нет.

402

Берггольц Ольга Федоровна — поэт. Имя О. Берггольц — Ольга, Оля, Ляля, Леля — часто упоминается в маминых письмах.

«Семнадцатилетняя поэтесса Ольга Берггольц с необыкновенно нежным цветом лица и двумя золотистыми косами. Ее муж — поэт Борис Корнилов, небольшого роста коренастый парень с нависшей на лоб прядью. Брак их оказался недолгим: уже в 1929 году Корнилов вдруг попросил меня помочь ему найти отдельную комнату, а через год у него появилась Люся, молчаливая, очень красивая и по виду совсем девочка» (Леонид Рахманов «Из воспоминаний», 1984 год).

403

В книге: в постеле. — прим верст.

В книге: Кажуховская. — прим верст.

405

В книге эта строчка отсутствует. — прим. верст.

406

С 1931 по 1937 год.

407

В протоколе первого допроса, 20 марта 1937 года, перечисляется состав семьи: «Женат — жена Борнштейн Ципа Григорьевна — домохозяйка».

408

В 1957 году исполнилось пятьдесят лет со дня рождения Б. Корнилова.

409

Александр Прокофьев (1900–1971) — поэт, долгие годы руководил Ленинградским отделением ССП.

След об этом периоде маминой жизни находим у Надежды Мандельштам: «„Правда“ заказала ему (речь идет о Зощенко. — И. Б.) рассказ, и он написал про жену поэта Корнилова, как она ищет работу и ее ото всюду гонят как жену арестованного». (*Н. Я. Мандельштам*. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. В указателе имен, составленном А. Морозовым: *Корнилова Людмила Григорьевна — жена поэта*. Это, пожалуй, единственное упоминание о маме под фамилией Корнилова.)

Об этом же времени пишет и Лидия Жукова в своей книжке «Эпилоги» (Нью-Йорк, 1983) в Воспоминаниях о Стениче (который, в свою очередь, был арестован 14 ноября 1937 года): «Его квартира была впритык с квартирой Бориса Корнилова, замечательного поэта. Когда <…> к Корнилову пришли его забирать, он читал. <…> И до самого утра, пока они шарили и усердствовали, Корнилов не повернул головы, он просидел так всю ночь, уткнувшись в книгу, не удостаивая вниманием незваных гостей».

Легенда? Может быть, и легенда.

411

Из стихотворения Бориса Корнилова «Эдуарду Багрицкому»:

«И снова, не помнящий зла,
Рассвет поднимается ярок,
У моего стола
Двустволка — его подарок».

(Протокол допроса от 09.07.1937 года. На вопрос: «Назовите лиц, которые имеют огнестрельное оружие военного образца» — отец, перечисляя имена, добавляет: «У меня был браунинг № 1, купленный мной у Контаровича в 1934 году и который я подарил своему товарищу Клинову Александру, адъюнкту Толмачевской академии». В протоколе нет упоминания о винтовке; что позволяет думать, что винтовка была не конфискована, а попросту украдена.)

412

О дочери О. Берггольц и Б. Корнилова см. в публикации Н. А. Прозоровой «Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годов (наст. издание).

413

Алексей Сурков (1899–1983) — поэт, один из руководителей Союза писателей СССР.

414

Сергей Егорович Кононов — муж Клавдии Михайловны. Занимал высокую руководящую должность на Путиловском заводе. В 1937 году был арестован. Погиб. Посмертно реабилитирован.

415

В моем архиве сохранился черновик маминого письма, адресованного М. П. Берновичу, одному из составителей, совместно с О. Берггольц, первого посмертного сборника Бориса Корнилова (1957); а также составителю сборника «Борис Корнилов. Стихотворения и поэмы» в Большой серии «Библиотеки поэта» (М.; Л.: Сов. пис., 1966):

«Уважаемый Михаил Петрович!

Получила Ваше письмо, которое меня чрезвычайно обрадовало тем, что в Пушкинском доме сохранилась корректура последнего сборника Б. П.

У нас был уже сигнальный экз. этого сборника, и Б. П. отдал его М. М. Зощенко, по-моему. Остальной тираж в 37 году был пущен в размол, и я все время искала этот сигнальный, не думая, что могла сохраниться корректура.

Правленная? Б. П.? Иногда он мне поручал правку.

Очень прошу Вас прислать мне стихотворение „Сыну“ и *ответить, есть ли у Вас „Лесной пожар“*, если нет, то он должен быть в той корректуре, а то у меня этих двух стихотв. нет.

„За это“ я Вам пришлю „Ты как рыба выпл.“ и еще неопубликованные из той тетрадки. Тогда у Вас будет полный Корнилов (см. также комментарий к письму 18. — *И. Б.*).

„Елка“ нигда не была напечатана, это я знаю хорошо. Думаю, что ее и не стоит пытаться сдавать, а оставить лишь для полного.

Если не затруднит, спишите мне оглавление с корректуры, т. к. я разыскиваю одно стихотвор., названия которого не помню».

См. также Переписку Л. Г. Басовой с М. П. Берновичем.

416

В Примечаниях к сборнику из «Библиотеки поэта» М. Бернович пишет:

«Большая часть рукописей Корнилова погибла. (Когда мама писала М. Берновичу: „Тогда у Вас будет полный Корнилов“, она знала, о чем говорила: кроме этих двух тетрадей, она сохранила и другие черновики, переданные ею через М. Берновича в ПД. Многие стихи мама сохранила в памяти. — *И. Б.)* В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) в Ленинграде хранится рукопись сборника „Все мои приятели“, расклейка наборного экземпляра книги „Новое“ и гранки сборника „Избранное“, а также две черновые тетради Корнилова: первая со стихами 1934–1935 годов (в оранжевом переплете), подаренная поэту в сентябре 1934 года Зинаидой Райх, с шутливой надписью: „От поставщицы бумажных изделий для Бориса Корнилова…“; вторая — темно-коричневая тетрадь, содержащая большую часть поэмы „Моя Африка“ и ряд стихотворений 1935–1936 года». (См. прим. 415 — письмо 16).

417

Зелик (Залман) Штейнман (1907–1967) — литературный критик, друг юности моих родителей. Был осужден дважды: первый раз в 1936 году, второй — в 1949-м. Был реабилитирован в 1956 году.

Борис Лихарев (см. о нем примеч. 197), *Александр Решетов* (см. о нем примеч. 446) — ленинградские поэты.

419

Бабушка перечислила мне половину гонорара за первый посмертный сборник отца.

420

Письмо, о котором идет речь, датировано 22 августа 1957 года. См. «Письма Б. М. Лихарева к Л. Г. Басовой» (наст. издание).

Антология русской советской поэзии. М., 1957.

422

Маргарита Степановна Довлатова (1907–1975) — литературовед, редактор издательства «Молодая гвардия», многолетний секретарь и друг Ольги Форш, тетя С. Д. Довлатова. Также см. о ней прим. 501.

Надо сказать, что в Крыму маму навещали ее друзья по «прошлой жизни». Эту возможность давало соседство с Домами творчества: писателей в Ялте, ВТО — в Алупке (потом ВТО тоже переместился в Ялту).

Из «Воспоминаний» М. Довлатовой (Нева. № 2. 1972):

«В тот месяц в Ялтинском доме [творчества] жили друзья и товарищи Ольги Дмитриевны [Форш. — И. Б.], в том числе и Константин Паустовский, Илья Сельвинский, Юрий Либединский.

На машине Юрия Николаевича, с ним и с его женой Лидией Борисовной, мы ездили, и не раз, в Алупку — к Люсе, вдове Бориса Корнилова.

[…]

Все мы помнили Люсю еще девочкой, когда она чуть ли не в шестнадцать лет стала женой Бориса Корнилова. […] она была всегда одухотворенно красивой. В Гослитиздате и в Союзе писателей тех лет ее называли Нарциссом. […]

А однажды Люся сама приехала в Ялтинский дом творчества в гости к Ольге Дмитриевне — и повидалась с Паустовским и Сельвинским».

В тексте М. Довлатовой ялтинские встречи не датированы. Думаю, что это были 1955–1956 годы. Летом 1956 года мама сняла для Паустовских домик у наших соседей, Бобовых. Я, уже москвичка, студентка биофака, морячка, «листригонка», по приглашению Константина Георгиевича выхожу с ним в море на утлой шлюпочке на рыбную ловлю (рыба не ловилась). Мама общается с ними почти ежедневно — 1956 год, им есть о чем поговорить.

Ольга Дмитриевна Форш, а также «Люба» и «Валя» Стеничи, Зощенки были соседями родителей по этажу в Писательском доме на канале Грибоедова.

423

Александра Борнштейн, тетя Саша. О ней см. прим. 427 (письмо 26).

424

В оккупированном Симферополе оставалась мама отца, Ф. М. Басова, бабушка Фаня. Я познакомилась с ней в 1946 году, когда наша семья переехала жить в Крым. О моей бабушке со стороны мамы см. прим. 427 (письмо 26).

Так в книге. — прим. верст.

426

Письмо Бориса Лихарева, о котором идет речь, датировано 17 октября 1957 года.

427

Мои дедушка и бабушка по материнской линии — петербуржцы.

Григорий Осипович Борнштейн (1872–1947), до революции 1917 года — владелец деревообрабатывающей фабрики, купец Первой гильдии. Странным образом избежал репрессий, вероятно, «молодой республике» все-таки пригодился его опыт; хотя сколько их, «опытных», погибло на лесоповале. Вероятно, просто «повезло» в этой «рулетке». Думаю, что страха ожидания ареста он не избежал, но об этом приходится только догадываться — никто из взрослых не посвящал нас, детей, во все эти ужасы.

Елена Михайловна Борнштейн, урожденная Кушак (1883–1970). Бабушка Лена после смерти мужа какое-то время жила с нами в Крыму. Если кто-то и «воспитывал» нас, так это она: как сидеть за столом, как держать вилку, как пропустить старших вперед, придерживая дверь и т. д. Вот такое «дореволюционное воспитание» мы получили. С тех пор я стараюсь следовать ее наставлениям.

В семье было восемь детей, два сына и шесть дочерей. Из девочек мама, Люся, была самой старшей. Самая младшая, Ниночка, умерла в эвакуации в Новосибирске от туберкулеза в девятнадцать лет. По возрасту за ней шли: Анна (Нюся), Рита, Саша, Тамара. Дочь Анны — Люся, моя «родная двоюродная сестра», живет в Москве.

Старший сын, Володя, в 1941 году ушел в Ленинградское ополчение и пропал без вести. Бабушка долго надеялась, что он не погиб, ждала Володеньку. Второй сын, Ося, Осип Григорьевич, был художником. Это он — в то время студент Академии художеств — познакомил Люсю со своим другом Яшей Басовым. По болезни не был призван в армию. Умер в Ленинграде в 1980 году. Его сын, Марк Борнштейн, театральный художник и режиссер. Живет в Санкт-Петербурге.

Действительно, после окончания средней школы в 1957 году и не поступив по конкурсу в институт, Саня был призван в армию. И, попрощавшись, отправился в Симферополь на призывной пункт. Откуда, к радости родителей, вернулся через три дня, так как план по призыву был перевыполнен. В армию его призовут только в 1961 году, уже после маминой смерти.

В книге: *наложным*. — прим. верст.

430

Анна Михайловна, Анюта — сестра Т. М. Корниловой. О ней см. также письмо 33.

431

Двухтомник О. Берггольц вышел в издательстве «Художественная литература» (Москва) в 1958 году. На титульном листе надпись: «Дорогой Люсе, с нежностью, доброй памятью, грустью. Сердечно, Ольга Берггольц. Март 1959, Ленинград». Не уверена, что в письме идет речь именно об этом издании. Была еще одна книжка, присланная О. Берггольц маме с таким посвящением: «И плакать, и плакать, и плакать мы будем / Мы знаем с тобою — о чем». Это строчка из ее стихотворения «Борису Корнилову» (1939).

432

Борис Корнилов. Стихотворения и поэмы. Предисловие О. Берггольц.

433

В сборнике Бориса Корнилова, вышедшем в 1966 году в Большой серии «Библиотека поэта», вариант этого стихотворения датирован 1935 годом, а в примечании к нему указано, что оно было опубликовано в 1935 году в «Литературном современнике» № 6. В письме мама по памяти цитирует стихотворение из «Автобиографии» (см. прим. 83 — *Прим. ред*.).

434

В стихотворении «Из автобиографии» (см. наст. изд.): голяши. — прим. верст.

435

Вероятно, речь идет о М. С. Довлатовой (1907–1975).

Речь идет о заведующем кафедрой истории русской литературы и журналистики МГУ Александре Васильевиче Западове и о его жене — Гаяне Христофоровне Башинджагян, Гане, подруге маминой юности, которая когда-то познакомила маму с молодым поэтом — Борисом Корниловым.

Я познакомилась с Западовыми, когда училась в Москве, бывала у них. Ганя приезжала к нам, в нашу комнату на Ленинском проспекте, знакомиться с новорожденной Маринкой.

«Литературная газета» от 10.04.1958 года.

438

Речь идет о той же самой публикации, о которой пишет Т. М. в письме 37.

439

Леонид Безруков — горьковский писатель. У меня, к сожалению, нет его книжки о Б. Корнилове. Однако у меня хранятся страницы из журнала «Волга» (1966, № 1) с его статьей «Новое о Борисе Корнилове», со ссылками на мамины письма. На письма мамы, адресованные Л. Безрукову, ссылается и Лев Аннинский в своей вступительной статье к сборнику из Большой серии «Библиотеки поэта» (1966).

В моем архиве хранится одно письмо Леонида Безрукова к маме, датированное 14.07.59 г. Из контекста ясно, что это не первое его письмо.

См. о нем также прим. 512 и 524 (Переписка Л. Г. Басовой с М. П. Берновичем).

440

См. прим. 415 и 416 (Переписка Л. Г. Басовой с М. П. Берновичем).

441

Имеется в виду: *Луконин М.* Продолжение жизни // Новый мир. 1959. № 1. С. 255–259. *Луконин Михаил Кузьмич* (1918–1976) — известный советский поэт.

442

Имеется в виду: *Банк Н.* Черты поколения // Молодой Ленинград. Л., 1958. [Сб. 4]. С. 209–211. *Наталья Борисовна Банк* (1933–1997) — литературный критик, автор книг об О. Берггольц. Она бывала у нас в Крыму, находилась с мамой в переписке.

443

Книга была прислана бабушкой с такой надписью: «Басовой Ире, Боре, Мариночке, от бабушки Корниловой Т. М. юбилейная к 60-летию. Горьковская обл. Г. Семенов ул. Учительская 14. 9 ноября 1966 г.»

Письма публикуются по автографам из личного архива И. Б. Басовой. Сокращения при публикации раскрыты в ломаных скобках, подчеркнутые слова выделены при печати курсивом, описки исправлены без пояснений; сохранены авторские словообразования («привключения», «по заграницам»), а также написание некоторых слов с прописной буквы.

445

Имеется в виду публ.: «Коммунисты идут вперед: Из поэмы „Триполье“» («Утро. Смазано небо зарею как жиром…») // Ленинградский альманах. Л., 1957. Кн. 12. С. 238–240.

446

Поэт *Решетов Александр Ефимович* (1909–1971). С 1925 г. жил в Ленинграде, публиковался в журналах «Резец», «Юный пролетарий», «Звезда», «Красная нива», «Октябрь» и др.; автор поэтических сборников «Так мы живем» (М.; Л., 1931), «Северные стихи» (Л., 1941), «Ленинградская доблесть» (Л., 1942), «Стихотворения (1929–1949)» (Л., 1950) и др.

447

Первый посмертный сборник Корнилова вышел в 1957 г. См. прим. 486

448

Об О. Ф. Берггольц см. «Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годы. (наст. изд.)

449

О М. П. Берновиче см. «Но о сохранении рукописей после меня пора подумать…» Переписка Л. Г. Басовой с М. П. Берновичем. (наст. изд.)

450

Поэт *Авраменко Илья Корнильевич* (1907–1973) исполнял обязанности главного редактора Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» в 1958–1961 гг.

451

О литературной группе «Смена» см. «Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годы. (наст. изд.)

Книгу стихотворений и поэм, подготовленную Берггольц и Берновичем, редактировал Авраменко.

453

Лихарев был главным редактором «Ленинградского альманаха» с 1955 по 1959 г. (Кн. 10–17); в состав редколлегии альманаха в эти годы входили: И. К. Авраменко, А. М. Бейлин (отв. секретарь), Ю. П. Герман, А. Л. Дымшиц (с № 13 Б. О. Костелянц), В. К. Кетлинская, В. Б. Соловьев.

454

Речь идет о писательском поселке, возникшем в Комарово в середине 1950-х годов.

455

Воспоминания Л. Г. Басовой из частного архива ее дочери И. Б. Басовой (Франция) представляют собой три мемуарных рукописных фрагмента с авторской правкой. Записи сделаны на отдельных листах, один из текстов имеет название «Жена поэта». При публикации воспоминаний сокращения в тексте раскрыты в ломаных скобках, синтаксис приближен к современным правилам, сохранено авторское написание некоторых слов («счастие», «тесность»), описки и ошибки исправлены без пояснений.

456

Возможно, ошибка памяти. В мае 1930 года в Доме печати проходила III-я областная конференция Ленинградской ассоциации пролетарских писателей.

457

Киплинг Редьярд Джозеф (1865–1936) — английский писатель и поэт.

458

Локафовцы — члены Ленинградско-Балтийского отделения Литературного объединения Красной Армии и Флота (ЛОКАФ), которое было учреждено 29 июля 1930 года с целью организации работы писателей вокруг военно-патриотической темы. Печатным рупором организации, существовавшей по 1934 год, был в Ленинграде журнал «Залп», в котором печатались Н. Тихонов, Г. Фиш, П. Лукницкий, Д. Левоневский, А. Гитович, Н. Браун, А. Решетов и др. Корнилов стал печататься в «Залпе» с 1932 года. Подробнее о деятельности ЛОКАФ см.: *Шошин В. А.* Ленинградско-Балтийское отделение Литературного объединения Красной Армии и Флота (1930–1934) // Из истории литературных объединений Петрограда-Ленинграда 1920—1930-х годов: Исследования и материалы. СПБ., 2006. Кн. 2. С. 160–189.

459

Об А. И. Гитовиче см. прим. 198.

Прокофьев Александр Андреевич (1900–1971) — поэт.

461

Стихотворение Корнилова, в котором цитировались бы строчки из поэмы «Мэри Глостер» Киплинга, не выявлено. Среди первых переводчиков Киплинга в России были Ю. Н. Чюмина, А. И. Оношкович-Яцына, М. А. Фроман. Корнилов и его современники, видимо, знакомились с «Мэри Глостер» (1894) в переводе А. Оношкович-Яцына по книге: *Киплинг Р.* Избранные стихотворения. Петроград, 1922. С. 46–49.

Там же.

463

В последние дни перед смертью Есенин общался с семьей Устиновых, которые также жили в гостинице «Англетер». Е. А. Устинова, жена писателя Г. Ф. Устинова, вспоминала: «28-го я пошла звать Есенина завтракать, долго стучала, подошел Эрлих — и мы вместе стучались. Я попросила наконец коменданта открыть комнату отмычкой. Комендант открыл и ушел. Я вошла в комнату: кровать была не тронута, я к кушетке — пусто, к дивану — никого, поднимаю глаза и вижу его в петле у окна. Я быстро вышла» (*Устинова Е.* Четыре дня Сергея Александровича Есенина // Сергей Есенин глазами современников. СПб., 2006. С. 548.

О Д. Левоневском см. прим. 199.

465

«Красная газета» издавалась Ленинградским областным издательством Обкома ВКП(б); Клаас Генрих Карлович был заведующим этим издательством.

466

Имеется в виду Дом писателей на ул. Литераторов, 19. Известно, что по завещанию инженера В. Ф. Голубева, умершего в 1902 году, его наследники пожертвовали в Литературный фонд 150 тыс. руб. на устройство Общежития русских писателей. По проекту архитектора Е. П. Вейнберга на Петроградской стороне, у реки Карповки, был построен и открыт в 1905 году двухэтажный особняк, который стал называться Домом писателей имени В. Ф. Голубева. В разное время здесь жили М. В. Матюшин, П. Н. Филонов, А. П. Чапыгин, М. М. Зощенко. См. об этом в кн.: *Полевая М. И.* Дома Голубевых. СПб., 1997.

В настоящее время там находится детский сад № 50 Петроградского района Санкт-Петербурга.

Чапыгин Алексей Павлович (1870–1937) — прозаик, автор исторических романов, жил в Доме писателей с 1924 года.

469

Далее текст оборван.

470

Среди упоминаемых лиц *Остров* (наст. фам. Остросаблин) *Дмитрий Константинович* (1906–1971) — прозаик; *Берзин Юлий Соломонович* (1904–1942) — писатель, драматург. О Либединском см. прим. 305, 307.

471

Адрес семьи: Фонарный переулок, д. 10. кв. 12.

472

Из «Думы про Опанаса» (1926) Э. Багрицкого.

473

О Корнилове Петре Тарасовиче см. прим. 274, а также Послесловие.

Поверх слова «занятости» в рукописи написано «увлеченности»; поверх слов «не хотелось готовить» написано «не хватало времени на стряпню».

475

Имеется в виду незаконченная поэма «Агент уголовного розыска» (1933).

Ср. с воспоминаниями И. Эвентова: «…на четной стороне Невского проспекта, в помещении нынешнего ресторана „Универсаль“, существовало превосходно поставленное питательное заведение, принадлежавшее Ленкублиту — Комиссии по улучшению быта литераторов (предшественнице теперешнего Литфонда). По вечерам, когда кончались обеды, столовая эта превращалась в писательский клуб (которого в Ленинграде тогда не было) — там часто проходили обсуждения вышедших книг, встречи с москвичами, импровизированные дискуссии» (*Эвентов И.* Встречи, беседы… // Воспоминания о Михаиле Зощенко. СПб., 1995. С. 362–363). О бытовом положении писателей в 1930-е годы писал в своих «Воспоминаниях» и Е. Э. Мандельштам: «Поясню, почему появилась необходимость в ЛЕНКУБЛИТе. Условия жизни тогда, в 1932 году, были нелегкими. Карточная система на продукты и промтовары, талоны на топливо, зарплата, которой не хватало для того, чтобы что-либо докупать на рынке. А материальное положение основной писательской массы, с нерегулярными заработками, было особенно трудным. <…> Это была общественная писательская организация во главе с избираемым правлением. <…> Перед ЛЕНКУБЛИТом стояла задача улучшения питания писателей, надо было организовать столовую и закрытый писательский распределитель. Вскоре и то и другое было создано. Причем в столовой начали проводиться читки новых произведений, так как писательского клуба еще не было. Здесь читали свои стихи А. Прокофьев, Борис Корнилов, А. Гитович и другие» (*Мандельштам Е. Э.* Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10. С. 168).

Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) — писатель.

478

Вероятно, имеется в виду *Валентин Лозин* (1906—?), псевд. Безбрежный, автор поэтических сборников «Объявление войны» (Л., 1931), «Простор» (Л., 1938), «Здесь я живу» (Л., 1940); печатался в «Звезде»; был участником сборника «Дружба» (Л., 1930; соавт. С. Бытовой, А. Решетов).

479

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) — композитор, пианист, педагог, общественный деятель; *Соллертинский Иван Иванович* (1902–1944) — музыковед, театральный и музыкальный критик (в рукописи ошибочно: Соляртинский); *Андроников (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович* (1908–1990) — писатель, литературовед.

480

Имеются в виду композиторы *Дзержинский Иван Иванович* (1909–1978) и *Богословский Никита Владимирович* (1913–2004).

481

Упоминаются: *Фадеев Александр Александрович* (1901–1956) — писатель; *Светлов Михаил Аркадьевич* (1903–1964) — поэт. Уткин Иосиф Павлович (1903–1944) — поэт, о нем см. также Предисловие к «Дневнику» Ольги Берггольц (наст. изд.).

482

Стенич (Сметанич) Валентин Иосифович (1897–1938) — переводчик, поэт, эссеист, о нем см. также прим. 60, 82, 410, 422.

483

Начало стихотворения Б. Л. Пастернака «Любимая — жуть! Когда любит поэт…» (1917) приведено по памяти (ср.: Пастернак Б. Стихотворения. Петрозаводск, 1989. С. 51).

484

Речь идет о рассказе А. П. Чехова «Спать хочется» (1888), в котором героиня — измученная недосыпанием девочка-нянька в состоянии умопомрачения убивает хозяйского ребенка.

485

О судьбе Л. Г. Басовой см. в наст. изд. статью И. Б. Басовой. «Я — последний из вашего рода…».

Корнилов Б. Стихотворения и поэмы / Сост. О. Берггольц, М. Бернович; (Предисл. О. Берггольц; ред. И. Авраменко). Л., 1957.

487

РО ИРЛИ. Ф. 600. № 35. Л. 1; запись сделана по правому краю официального заявления М. П. Берновича в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР с предложением тетради Корнилова, принадлежащей Басовой (<1959>).

РО ИРЛИ. Ф. 600 (арх. М. П. Берновича). «Формуляр фонда».

489

Точными сведениями о том, кто и когда передал Берновичу корниловские тетради, не располагаем. По мнению К. И. Поздняева, «тетради от Л. Г. Басовой перешли к Т. М. Корниловой, от нее — к М. П. Берновичу, а потом последний передал их в рукописный отдел Пушкинского дома, где они сейчас и находятся» (*Поздняев К. И.* Продолжение жизни: Книга о Б. Корнилове. М., 1978. С. 221–222).

490

Об О. Ф. Берггольц см. «Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годы (наст. изд.).

491

Видимо, речь идет о переиздании: *Корнилов Б.* Стихотворения и поэмы / Сост. О. Берггольц, М. Бернович; (Предисл. О. Берггольц; ред. И. Авраменко). Л., 1960.

492

Критическое отношение к своему первому сборнику «Молодость» (Л., 1928) у Корнилова выразилось, в частности, в том, что второй поэтический сборник поэт озаглавил «Первая книга» (Л.; М., 1931).

493

Как свидетельствуют документы Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР, Берггольц указывала наследницей авторских прав Т. М. Корнилову. Обращаясь в правление ЛО ССП, Ольга Федоровна писала:

«В связи с реабилитацией Корнилова Бориса Петровича прошу восстановить его в правах члена Союза писателей посмертно.

Двухмесячное пособие прошу выслать его матери, Корниловой Таисии Михайловне, по адресу: Горьковская обл., город Семенов, Учительская улица, дом № 14.

Ольга Берггольц»

(ЦГАЛИ СПб. Ф. 371. Оп. 3. № 113. Л. 11).

494

Нумерация пунктов в письме нарушена.

495

На обороте обложки надпись актрисы *Райх Зинаиды Николаевны* (1894–1939), в то время жены В. Э. Мейерхольда: «От поставщицы бумажных изделий для Бориса Корнилова Зинаида Райх 1934 / сент. 2».

496

Написано рукой Корнилова. Правильно: «В багрец и в золото одетые леса…» Из стихотворения А. С. Пушкина «Осень» (Отрывок) (1833).

497

Речь идет об опубликовании Горьким первой статьи из серии «О литературных забавах», появившейся сразу в нескольких центральных газетах и посвященной резкой критике А. Молчанова, П. Васильева и Я. Смелякова (*Горький М.* О литературных забавах // Литературная газета. 1934. 14 июня. № 75. С. 2). Статья, обличавшая «бытовое хулиганство» и богемствующие настроения, заставила обратиться Васильева к Горькому с «покаянным» письмом, а Корнилова — набросать в тетради черновик обращения в Ленинградское отделение Союза писателей, в котором поэт соглашался с принятием «педагогических» мер к советским писателям. Набросок письма цитируется в кн.: *Цурикова Г.* Борис Корнилов. М.; Л., 1963. С. 243–244.

О Б. М. Лихареве см. прим. 197.

499

Речь идет о переговорах с Пушкинским Домом.

500

Имеется в виду издание: *Корнилов Б.* Стихотворения и поэмы / Предисл. О. Берггольц; сост. М. Бернович. М.: Гослитиздат, 1963.

501

Довлатова Маргарита Степановна. (См. Письмо 24 и прим. 422.) Из письма Басовой к Довлатовой от 29 июля 1958 года следует, что Людмила Григорьевна планировала переиздание и публикацию новых стихотворений Корнилова. «Я тебя давно просила, — пишет она Маргарите Степановне, — переговорить с Андр<еем> Х<рш>ановским, если он еще в Детиздате, о переиздании корниловской сказки „Как от меда у медведя…“ с рисунками К. Ротова. Говорила ли? И наконец, последнее: те неопубликованные стихи Корнилова я сейчас хочу послать Твардовскому в „Новый мир“ и хочу знать, не сдала ли ты их куда-нибудь» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 221. Оп. 1. № 8. Л. 1 об. — 2).

502

Стихотворения опубл.: «Из летних стихов» («Все цвело. Деревья шли по краю…») // Юность. 1962. № 1. С. 61–62; «Спасение» // Вечерний Ленинград. 1962. 24 февраля. № 47. С. 3. Впервые «Из летних стихов» опубл.: Известия. 1934. 28 мая.

503

См. примеч. 501 (Письмо 2).

504

«Ленинградский альманах» опубликовал в 1957 году только отрывок из поэмы «Триполье» «Коммунисты идут вперед» («Утро. Смазано небо зарею, как жиром…») (Ленинградский альманах. Л., 1957. Кн. 12. С. 238–240).

505

Речь идет о корректуре сборника «Избранное» (1936), которая хранится в фонде Ленинградского отделения Гослитиздата (ГИЗ): РО ИРЛИ. Ф. 124. № 171.

506

См.: *Корнилов Б.* Чаепитие («Как медная туча, шипя и сгорая…» // Звезда. 1930. № 2. С. 24.

507

Речь идет о поэтическом сборнике: *Бернович М. П.* Зеленый свет. Л., 1960.

508

См. переписку Л. Г. Басовой с Т. М. Корниловой (наст. изд.).

509

Имеется в виду Остроумова Клавдия Михайловна. См. о ней прим. 393.

510

В мае 1959 года Берггольц ездила в Сибирь, творческим результатом этой поездки стал цикл очерков «На Енисее», опубликованных затем в июньских и июльских номерах «Литературной газеты».

511

Аналогичные замечания Берновича сохранились в его дневниковых записях середины 1960-х годов после посещений Ольги Федоровны:

«12/VII. Был у О<льги> Ф<едоровны>. Разговор о Пастернаке. Ей привезли стихи Живаго. Читала. Плакала. „Мы жили рядом с гением“. <…>

16/VII. Был у О<льги> Ф<едоровны>. Опять пьяная. Несла немыслимое. Она скоро умрет!

20/VII. Сделал для О<льги> Ф<едоровны> расклейку стихов для однотомника. Трезвая, хорошая, умная, щедрая. Предлагала за работу (5–6 часов) расклейки 500 руб. Я не взял. Говорила: „Наверно, я мало предложила“. Потом: „Я не забуду Вашего отношения ко мне“. *Забудет*. Я попрощался с ней. <…> Просил написать статью о Корнилове. Обещала. Уверен, что не напишет. Чувствую, что обижена на меня, что я с ней не поехал на Урал.

12/IX. Разговаривал с Ольгой по телефону. Трезвая, умная. Говорила о том, что очень устала, что ни грамма спиртного во время поездки. Вряд ли это так…» (РО ИРЛИ. Ф. 600. № 20. Л. 6).

512

Безруков Леонид Михайлович (1930–2003) — нижегородский исследователь творчества Корнилова, автор повестей «Далекое детство» (Горький, 1989), сб. рассказов «Древо жизни» (М., 1976). См. о нем: Писатели-горьковчане. Горький, 1976. С. 21. Статьи и публикации Безрукова, относящиеся к биографии и творчеству Корнилова, см. в справочнике: Борис Петрович Корнилов: 1907–1938. Библиографический указатель. Нижний Новгород, 2007.

513

Имеется в виду сестра Елизавета Петровна (1909—?). О ней см. также прим. 394.

В дальнейшем Людмила Григорьевна изменила свое отношение к начинающему исследователю, «до фанатизма влюбленному в стихи» Корнилова.

515

Комиссия по литературному наследию Б. П. Корнилова была назначена в начале лета 1957 года. Состав комиссии указан в документах Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР: О. Ф. Берггольц, М. П. Бернович, А. Л. Дымшиц, Б. М. Лихарев, А. Е. Решетов (ЦГАЛИ СПб. Ф. 371. Оп. 3. № 113. Л. 12).

516

Речь идет о критике Штейнмане Зелике Яковлевиче и его статье «Стихи и встречи», опубликованной в «Звезде» (1959. № 7. С. 187–190).

517

Имеется в виду статья «Продолжение жизни» поэта *Луконина Михаила Кузьмича*, опубликованная в журнале «Новый мир» (1959. № 1. С. 255–259). *Твардовский Александр Трифонович* (1910–1975) редактировал журнал с 1950-го по 1954-й и с 1958-го по 1970 год.

518

Стихотворение называется «Из автобиографии» (<1935>).

519

Малова Марфа Ивановна (1907–1978) — ученый секретарь Рукописного отдела Пушкинского Дома. Занималась комплектованием, описанием архивных фондов, устройством выставок, была участницей коллективных трудов: «Бюллетени РО Пушкинского Дома». Вып. 1–9. М.; Л., 1947–1961; «Ежегодник РО на 1969–1971»; ПСС М. Е. Салтыкова-Щедрина. Т. 14 (М., 1972); ПС стихотворений А. В. Кольцова (Л., 1958); ПС стихотворений И. С. Никитина (М.; Л., 1965) и др. Во время Великой Отечественной войны добровольцем ушла на фронт, была медсестрой, а затем рядовым бойцом.

520

Из стихотворения В. В. Маяковского «Юбилейное» (1924). См. об этом: *Пяткин С. Н.* Пушкин и пушкинисты Маяковского // Грехнёвские чтения: Сб. науч. трудов. Нижний Новгород, 2008. Вып. 5. С. 28–34.

521

Имеется в виду Л. М. Безруков. См. о нем прим. 512 (Письмо 4).

522

О Прокофьеве, Решетове и Левоневском см. прим. — соответственно: 409, 446, 199.

523

Кочин Николай Иванович (1902–1983) — прозаик. Автор романов «Девки» (1928), «Парни» (1933). За антисталинские настроения был арестован в 1943 году и 10 лет находился в лагерях Сибири и Казахстана. После освобождения описал лагерную жизнь в рассказах и повестях «Цыпленок пареный» (1962), «По вольному найму» (1964).

524

Первая статья Безрукова о Корнилове появилась в «Волжском альманахе» (орган горьковского отделения ССП). См.: *Безруков Л.* Черты биографии: (О Б. Корнилове) // Волжский альманах. 1961. № 14. С. 136–142.

525

Упоминаются *Вячеслав Яковлевич Шишков* (1973–1945) — прозаик; *Федин Константин Александрович* (1892–1977) — прозаик; *Каверин* (наст, фам. Зильбер) *Вениамин Александрович* (1902–1989). Из контекста неясно, имеется ли в виду *Гладков Федор Васильевич* (1883–1958) — прозаик, автор романа «Цемент» (1925) или *Гладков Александр Константинович* (1912–1976) — драматург, киносценарист. Об О. Д. Форш см. прим. 242, 422.

526

С Басовым Яковом Александровичем, художником и мужем Л. Г. Басовой, Бернович продолжал поддерживать отношения и после ее смерти, о чем свидетельствует дарительная надпись на Каталоге выставки работ художника в Ялте: «Дорогому Михаилу Петровичу сердечно! Басов 1 октября 61 г.» (РО ИРЛИ. Ф. 600. № 288. Л. 1).

527

«Знакомят молодых и незнакомых…» опубл.: Литературная газета. 1959. 1 авг. № 95. С. 3. Однако в редакционной заметке благодарность Басовой, как обещал Бернович, выражена не была. Приводим редакционное предисловие полностью: «Из рукописного наследия Бориса Корнилова сохранилась только одна тетрадь, в которой, помимо таких известных произведений, как „Соловьиха“, „Моя Африка“ и других, обнаружено несколько неизвестных стихотворений. Одно из них мы печатаем сегодня» (там же).

528

Постскриптум написан по правому полю листа.

529

Смирнов Сергей Сергеевич (1915–1976) — прозаик, очеркист, главный редактор «Литературной газеты» в 1959–1960 годах.

530

На правом поле сделана приписка карандашом, видимо, рукою Берновича: «Это печаталось в „Литер<атурном> современнике“». Впервые «Из автобиографии» («Мне не выдумать вот такого…») опубл.: Литературный современник. 1935. № 6. С. 33–34.

531

«Б. Корнилов» приписано карандашом.

В рукописи «крестьянил» заменен «родился» (*прим.* — Л. Г. Басовой). Знак * поставлен Басовой. См. прим. 83.

В этом месте помета карандашом: «(на обороте)».

При публикации стихотворений сохранена пунктуация Басовой.

535

См. прим. 507 (Письмо 3).

536

По всей видимости, это письмо не сохранилось.

537

Речь идет о публикации стихотворения «Знакомят молодых и незнакомых…» (см. прим. 527 — Письмо 10). Басова пишет об измененной редакцией строчке, которая в подлиннике выглядит так: «А под окном щебечут клен и ясень, / не признавающие директив…» (РО ИРЛИ. Ф. 600. № 44. Л. 10). Подробнее о непростой истории публикации этого текста см.: *Прозорова Н. А.* Материалы Б. П. Корнилова в Рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год (в печати).

Знак * поставлен Басовой.

539

Знак * поставлен Басовой.

540

Расшифровка протокола. Всего в деле содержится восемь протоколов допросов (последний датирован 2 января 1938 года), из которых видно, как Б. Корнилова «подводили» под дело «троцкистско-зиновьевского центра».

541

Здесь и далее сохранена орфография и пунктуация книжного издания. — прим. верст.

542

Экспертиза-донос написан Лесючевским Николаем Васильевичем (1908–1978), критиком, публицистом. В 1931–1941 годах он работал редактором в журналах «Литературная учеба» и «Звезда». Это не единственная его «литературоведческая экспертиза» тех лет. В начале и в конце документа воспроизведены факсимиле оригинала.

Здесь и далее подчеркивания на полях и в тексте сделаны следователем.

(Подчеркиванию в издании соответствует выделение курсивом в настоящей книге. — прим. верст.)

544

Убийство С. М. Кирова произошло 1 декабря 1934 года. Стихотворение «Елка» написано в 1934 году, осенью. В деле Б. Корнилова эта «неточность» тоже будет играть свою роль.

Подчеркнуто дважды на полях слева. — прим. верст.

546

Фрагмент стихотворения «Спичка отгорела и погасла…».

547

Правильно: «Тишина идет немая / По моей округе всей» («Ночные рассуждения»).

548

Анемподист — мужское имя (от греч. Anempodistos). Значение имени: свободный, неудержимый, настойчивый. — прим. верст.

549

Кроме того, что эти две строки выделены в тексте вертикальной чертой, слово *«торжество»* подчеркнуто отдельно. — прим. верст.

В книге: 1937 года. — прим. верст.

551

П. Т. Корнилов был арестован и погиб (см. прим. 206, 388), Елизавета была в ссылке в Сибири (см. прим. 394). Остальные члены семьи уцелели.

Здесь и далее подчеркнуто в тексте. (Подчеркнутому в издании соответствует курсив наст. книги. — прим. верст.).

553

Б. Корнилов был убит в возрасте тридцати лет.

Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 27. М., 1949 (Статьи «От врагов общества — к героям труда» и «Правда социализма»).

555

Здесь и далее подчеркнуто сотрудником прокуратуры. (Подчеркнутому в издании соответствует курсив наст. книги. — прим. верст.).

Обратим внимание на фразу: «Экспертное заключение о стихах Бориса Корнилова (принадлежащее неизвестному нам лицу)… носит безусловно клеветнический характер». «Лицом», как мы знаем, был Н. В. Лесючевский. В 1956 году (год написания нового экспертного заключения) он занимал высочайшие посты в писательской иерархии: являлся главным редактором издательства «Советский писатель» и членом Правления Союза Писателей СССР и РСФСР. Но имена «своих» система не выдавала.